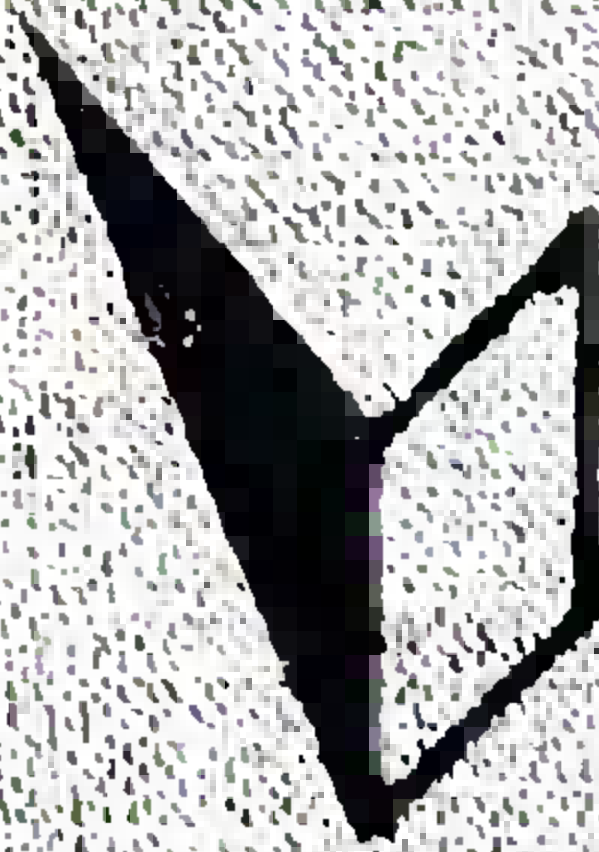
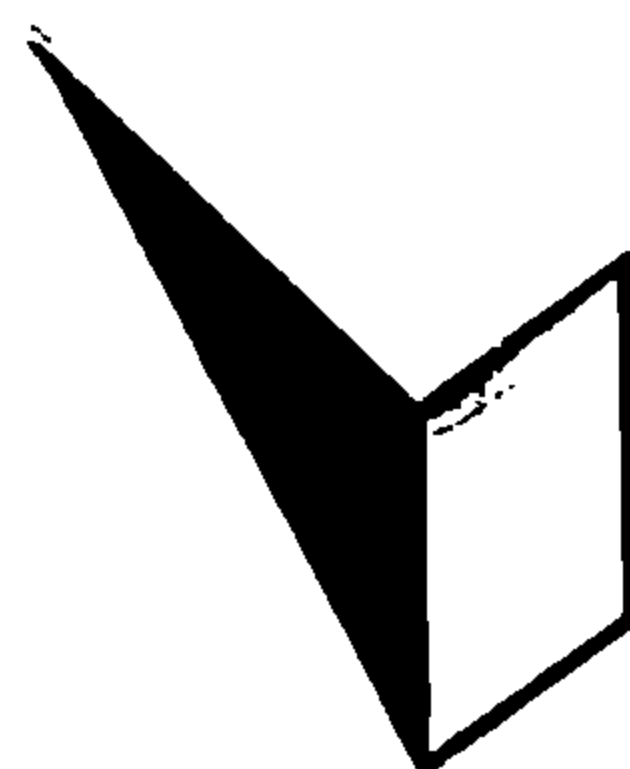


С. С. Склярѣнко



Мав. Латыш Г. Г.
за активное участие
в общественной работе
Местком Бослана
1960 г. у сср

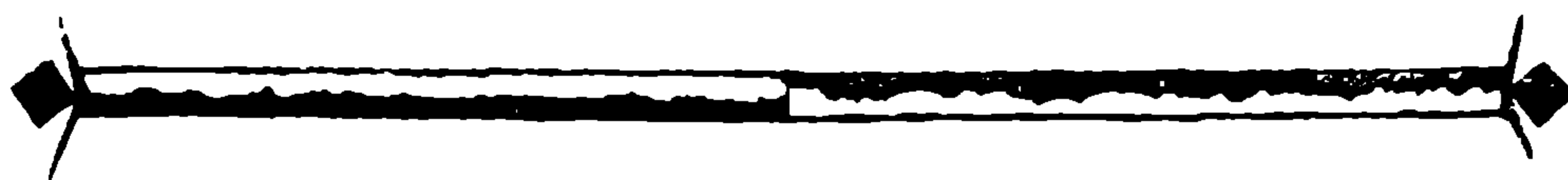




**БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ПРОЗЫ**

Семен Скляренко

КАРПАТЫ



РОМАН
В ДВУХ
КНИГАХ

*Авторизованный перевод
с украинского
Бориса Турганова*

КНИГА

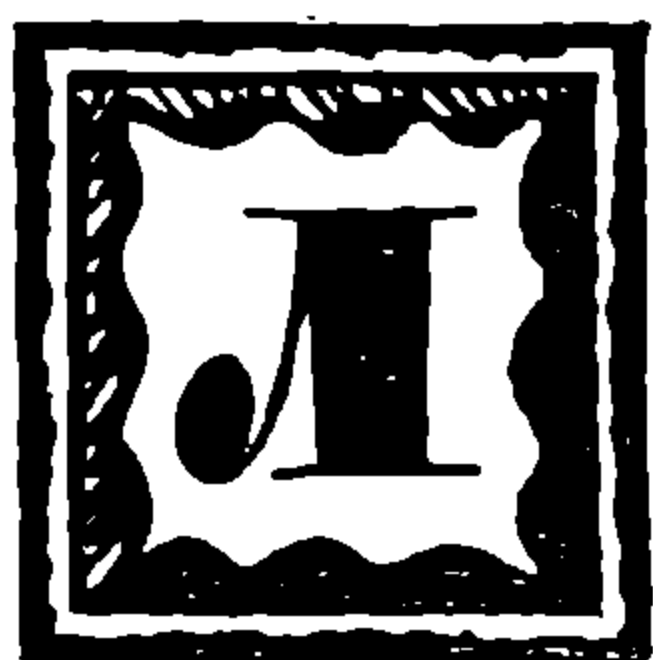
2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА — 1960

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

1



летом 1943 года в маленьком закарпатском городке Хусте, приютившемся в широкой котловине среди гор, где ночью и днем катит свои бурные, мутные воды Тисса, состоялась необычная церемония—открытие памятника героям первой мировой войны.

Для непосвященного это могло показаться шуткой. На Восточном фронте, где Советская Армия упорно боролась с фашистскими ордами, в это время шли величайшие в истории человечества бои. В Хуст, хотя он и лежал за Карпатами, доносились отзвуки этих боев. Здесь, как и повсюду в Закарпатье, знали правду о Сталинградской битве, сюда то и дело доходили слухи о новых и новых поражениях фашистов, о катастрофическом отступлении гитлеровцев. Что уж тут поминать каких-то героев бесславной первой мировой войны, да еще в Хусте, где почти тридцать лет проклинали эту войну, где на окраине города, в тени кленов у подножия Замковой горы, стоял сооруженный руками русских братьев памятник дружбы, из гранита и цемента, с короткой, но красноречивой надписью «1915»!..

Но фашистских захватчиков это не останавливало. Однажды темною июньскою ночью, когда ни один человек в Хусте под страхом смертной казни не смел выйти

из дому, когда зловещая тишина залегла над Затиснянской долиной, над Городиловым и под Замковой горой, — на главной улице города слышалась военная команда, гулкие шаги.

В эту ночь большая партия заключенных из хустского концлагеря до самой зари выкапывала камни на центральной площади, рыла землю, ставила ограду. И дальше, изо дня в день, за этой оградой не стихала работа: заключенные тесали камень, сваривали куски железа, лили цемент.

Никто в городе не знал, что творится за этой оградой, что стерегут там важные, с петушиными перьями на шапках, жандармы.

— Не слышали, — катилось от дома к дому, — какую это пакость строят гакенкрейцы¹ на площади? Какие-то бункеры...

— Нет, нет! — возражали другие. — Какие там бункеры? Когда перешибут им спину на линии Арпада, в горах, никакой бункер их здесь, в долине, не спасет. Строят, наверно, виселицу на наши шеи.

А в это время окружные и хустские власти по приказу регентского комиссара Закарпатья спешно собирали сведения о том, кто именно из живых и мертвых уже закарпатцев воевал на Восточном фронте в первую мировую войну и прославил себя геройством. Сведения были неутешительны. Франц-Иосиф не слишком охотно посылал украинцев на Восточный фронт, потому что они, попав туда, в первых же боях сдавались в плен. Охотнее рассказывали в селах про солдат, которые побывали в первую войну на Итальянском фронте... Но ведь теперь фашистская Италия была союзницей фашистской Венгрии, и в самом Хусте, на улицах, нередко можно было увидеть итальянских солдат...

Но выход был найден. В конечном счете Будапешт не интересовало, кто на каком фронте тогда воевал. Был на войне в 1914—1915 годах? — Был! А итальянские солдаты, которые проходят через Хуст, — стоит ли им думать о том, когда и за что их били? Лишь бы теперь уцелеть!..

Вот и случилось, что в конце лета 1943 года, по про-

¹ Гакенкрейц — свастика; в переносном смысле — фашисты (нем.).

екту какого-то будапештского архитектора, в Ужгороде был отлит из гипса неуклюжий памятник. На памятнике этом было вырезано больше сорока имен закарпатцев, якобы проявивших героизм в первой мировой войне, и между ними имя хустского жителя Обручара, который на самом деле погиб в Альпах.

Однажды ночью заключенные из хустского концлагеря разобрали ограду на центральной площади, выровняли землю, залили ее асфальтом, поставили похожую на эшафот трибуну, а самый памятник окутали брезентом.

Дела на фронте шли все хуже, и Будапешт приказывал открыть памятник героям первой мировой войны в Хусте немедленно.

2

Церемония открытия памятника намечена была на вторую половину дня. Уже за несколько дней до того Хуст начал походить на огромную ярмарку. Гостиницы «Централь» и «Корона» заполнили правительственные чиновники, корреспонденты берлинских и будапештских газет, кинооператоры. Хуст, как и раньше, в дни создания Карпатской Украины, привлекал внимание не только Берлина и Будапешта, — по узким улочкам города шныряли корреспонденты со всяческими визами, прибывшие не только из европейских, но и заокеанских стран...

В Хуст, конечно, съехались и закарпатские богачи — Лендваи, Ганцы, Бюхлеры, Клочуряки, Клемпуши. На собственных машинах прикатили вожаки Автономного земледельческого союза — отставной премьер-министр и депутат венгерского парламента Андрей Бродий, депутаты Демко, Шпак. На свет вынырнули и руководители партии «Украинское национальное объединение». На этот раз они не козыряли своими шапками-мазепинками с трезубцами и на церемонию пришли тихо, смирно. Был еще целый отряд римско-католического и греко-католического «воинства» из епископата, отцы ордена базилиан, семинаристы, гимназисты.

Каждому из них хотелось пристроиться поближе к трибуне. Жандармы в этот день хорошо подработали, продавая лучшие места. Брали жандармы взятки также

и с тех, кто принес с собой стулья, чтобы на них становиться. Кто-то пустил слух, будто на открытие памятника приедет в Хуст из Будапешта некое важное правительственное лицо. А что, если сам Миклош Хорти? Хоть бы постоять возле него... И панки, кто как умел, толкались, лезли к трибуне. Площадь в Хусте невелика, часть ее занял памятник с трибуной, и панству пришлось потесниться: с одной стороны — к костелу, к банку — с другой. Все это пестрое сборище кричало, ревело, гудело.

Не только панство собралось на открытие памятника. Людно было и в тех переулках, которые тянутся от главной улицы к базару и к речке Хустец, где в обычные дни располагались торговые ряды. Эти ряды были сейчас закрыты, а в улочках плотной стеной стояли простые люди — трудящиеся Закарпатья, украинцы.

Собрать их всех было нелегко. Будапештские власти приказали, чтобы на открытии памятника непременно были русины¹ с гор и из долин, недаром ведь в газетах писали, что, мол, идея сооружения памятника в Хусте принадлежит русинам. Регентский комиссар Закарпатья Вильмош Пал Томчани отдал соответствующее распоряжение шефу жандармов полковнику Кричфалуши. А жандармы полковника знали уже, как действовать. Они отправились по селам, отобрали там украинцев, годных на то, чтобы их поставить и сфотографировать перед памятником, арестовали их и привезли в Хуст...

Но недостаточно было привезти их. Регентский комиссар приказал полковнику Кричфалуши во все глаза следить за украинцами. Ведь еще недавно, при открытии памятника Яношу Другету², в самый торжественный момент, когда брезент сползал с бронзовой фигуры Другета, в толпе насильно согнанных селян кто-то крикнул: «Петлю бы ему на шею! Вешатель... Злодей!..» Сколько ни искали тогда жандармы этого человека, так и не нашли...

Вот потому-то теперь полковник Кричфалуши почей не спал и уж позаботился о том, чтобы селяне молчали, чтобы с их губ не могло сорваться ни слова. Жандармы с оружием в руках и с наручниками в карманах окру-

¹ Русин — украинец из Галиции или Закарпатья (местн.).

² Янош Другет — итальянский князь, один из крупнейших феодалов в Закарпатье XVI—XVII вв.

жали верховинцев и долинян, сбившихся в узких переулках; жандармские патрули расхаживали по всему городу. В Хуст на время открытия памятника был вызван один полк из расквартированного в Закарпатье 8-го корпуса. Несколько машин с пулеметами патрулировали за городом. Среди верховинцев стояли и по всему городу рыскали сотни шинков — в одежде лесорубов, в верховинских пастушьих уборах и даже в черных рясах отцов базилиан...

Это было диковинное зрелище! Трибуна, затянутый брезентом памятник, толпа чиновников, панов, подпанков, «петухов»¹, сыщиков — и напротив них люди, ненавидевшие и проклинавшие войну, жаждавшие свободы и мира.

Толпа молчала. Украинское население, которое, в зависимости от обстоятельств, называли то русинами, то рутенами, а теперь, при фашистах, — венгерцами грекокатолического вероисповедания, вынуждено было молчать.

Но если бы кто-нибудь мог заглянуть в сердца этих людей! Он увидел бы там тот немеркнущий пламень, который горит всегда и который нельзя погасить. Солнце стояло еще высоко над Замковой горой, с гор, голубым кольцом обступивших долину, не доносилось ни дуновения, нечем было дышать. А над толпой вставало и подымалось к небу, как пламя над горном, жаркое, полное ненависти дыхание людей Закарпатского края.

3

В толпе этих простых людей Закарпатья стоял и лесоруб с Верховины Данило Ковач. Он был одет, как на праздник: вышитый яркими нитками кожушок с висячими шнурами покрывал его плечи, зеленая крисаня² с синим перышком за шнуром была надета набекрень, широкий, желтой кожи пояс обтягивал талию. Правую руку он опирался на старинный, дедовский, окованный медными и серебряными бляшками топорик, и так и

¹ «Петухи» — насмешливая кличка жандармов (они носили петушиные перья на касках).

² Крисаня — круглая войлочная шляпа гуцулов.

стоял — высокий и статный; густые и ровные брови, точеный нос, тонкие усы стрелками сбегают вниз.

О, если бы кто-нибудь знал, какие мысли-молнии вспыхивают в мозгу лесоруба с Верховины, если бы кто-нибудь слышал, с какой силой стучит кровь в его жилах, как болит, горит, на куски разрывается сердце! Данило оглядывался по сторонам и думал, как это все случилось, что он очутился в Хусте? Но разве он виноват — скажите, что ж ему было делать, люди?

В его село, Клены, с рассветом приехали жандармы из Рахова и стали сгонять к сельской управе лесорубов, плотовщиков, чабанов. И люди шли, — а что поделаешь, если над головой стоит жандарм со своим карабином?..

Пришлось явиться в сельскую управу и Данилу. Его схватили три жандарма по дороге из села на лесосеку. Схватили, поворотили назад, повели в сельскую управу. А там старший жандарм глянул на него, как волк на овцу, и крикнул: «Годен!»

А чтоб он лопнул — этот старший жандарм, который сам на одно только годен — о камень головой или вверх тормашками в бездну, в пропасть! «Годен!» — сказал он и еще: «Одеться получше...» Не зная украинского языка, жандарм показал руками, чтобы на Даниле были кри-сая, меховой кожушок, кожаный пояс...

Такой одежды, да еще новой, у Ковача не было. Приказали взять в долг! И взял — зеленую крисаню со шнуром взял у Кирила Диянича, желтый пояс — у чабана Сегиня; рубаха и кожаные лапти у него были свои. Ну, и дедовский топорик. Годен!

Посадили в машину.

Данило попрощался с сестрой Юлиной, с чабаном Сегинем и учителем Короджием. Никто из них не знал, куда везут жандармы Ковача, для чего он «годен». «Прощай, Данило!» И всё!

В Рахове, когда жандармы забежали в корчму выпить, а Данило сидел возле дома и, опираясь на свой топорик, глядел на улицу, костел, Тиссу, к нему подошел лесник Ярослав Гишка. Ни одним движением не выказали они, что знают друг друга; но разве нельзя арестанту перекинуться словечком с незнакомым человеком, да еще пока жандармы пьют в корчме?

— Так они и тебя взяли? — спросил Гишка.

— И меня... А не знаешь, Ярослав, куда везут?

— Памятник будут открывать в Хусте. Так вот хотят получить украинцев. Ну и получают. Наших, раховских, повезли еще вчера... А ты зайди в Хусте в лавку Логойды, на улице Ракоци, возле Словацкого банка, и скажи то, что я сейчас буду говорить...

Данило слово в слово повторил то, что ему сказал свой человек, коммунист Ярослав Гишка.

4

Церемония открытия памятника началась...

Много веков пронеслось над старинным украинским городом Хустом, и многое видели стены замка, развалины которых, точно гигантские копья, видны и по сей час на темени горы.

Хустский замок был в давно прошедшие времена твердыней русских людей на пути из Карпат в Семиградье; гости из далеких стран дивились красоте этого замка, его богатству, неприступности; каждый камешек этого замка и каждая песчинка на склонах горы щедро политы кровью его защитников. Хустский замок знал годы славы, но изведal и насилие, и обиды, и позор...

Летом 1943 года развалины хустского замка стали свидетелями еще одного события. В этот день в Хусте был открыт памятник героям, которые никогда героями не были, памятник войне и насилию!

Несколько машин промчалось от вокзала по улице Ракоци и остановилось у дворца. Из машин выходили один за другим: вчерашний священнослужитель, а ныне регентский комиссар Вильмош Пал Томчани, советники регентского комиссара — высшие чины мукачевского капитула — отцы Александр Ильницкий и Юлий Марина, ужгородский жупан¹ доктор Шименфельд, отставной премьер-министр Андрей Бродий, генерал Винце и, наконец, премьер-министр королевства доктор Миклош Калаи.

— Ура Калаи! Ура! Хорти! Калаи! Хорти! — ревели панки и жандармы, а музыканты, надувая щеки, играли фашистский гимн.

Только люди, которые стояли в переулках и должны были представлять собой народ, молчали. Шпики, переоде-

¹ Жупан — глава окружного управления (венгерск.).

тые лесорубами и рабочими, пытались расшевелить толпу, начали было выкрикивать: «Эльен... ура, Калаи!» — но тут же и осеклись. Рабочие, лесорубы, чабаны, сплавщики стояли молча, опираясь на свои топорики, и никакой силой нельзя было вырвать из их уст хотя бы слово.

Из-за хустского замка выплывала темная, грозовая туча. Тень этой тучи коснулась площади, и сразу очертания предметов стали неясными, лица людей — зеленоватыми, хмурыми. На площади было тихо, только стаи галок, напуганные тучей, кружились и кричали над ближним базаром.

В этой тишине пан Калаи поднялся на трибуну, протянул вперед руки и заговорил.

5

Данило Ковач не понимал языка пана премьер-министра. Да разве он и все бедняки могли понимать язык захватчиков, которые один за другим поработали его родной край? Был когда-то над ними австрийский Франц-Иосиф, тот также кричал, сказывают люди, что в его империи никаких украинцев нет. Так разве мог угнетенный бедняк украинец понимать такого цербера. А разве понимал когда-нибудь он чешского агрария? Э, нет! Говорить говорили, а понимать их — ну, нет! А теперь получили еще и Хорти, который покрыл и Венгрию и Закарпатье виселицами и концлагерями! Данило не понимал ничего из того, о чем разглагольствовал сейчас премьер.

Но все же он узнал, что говорил Калаи. Едва Данило стал в толпе, рядом с ним очутился пожилой уже человек, курносый, с широкими и толстыми губами, в одежде лесоруба, даже с зеленой веточкой за лентой шляпы.

— Я уж постою с тобой рядом, — сказал он, прижимаясь в толпе плечом к плечу Данила.

— Ну и стой! — ответил Ковач, подумав: кто это еще может быть?

И человек, — а он, как видно, хорошо знал по-венгерски, — вполголоса объяснял все, что происходило на трибуне.

— Вот, человек, что говорит премьер-министр. Говорит, что на Карпагах нет и никогда не было никаких

особых украинцев, а есть венгерцы греко-католического вероисповедания. Слышал такое?

— Да вот слышу,— сказал Данило и взглянул на соседа.

— Еще послушай, человек,— продолжал шептать тот,— говорит премьер-министр, что взгляды этих венгерцев греко-католического вероисповедания всегда были обращены на Европу, а не на восток, где живут еретики-большевики. Еще говорит пан Калаи, что подстрекали народ против властей одни коммунисты, а вот сейчас он сказал, человек, что секретаря закарпатских коммунистов Олексу Борканюка давно повесили в Будапеште, а всю организацию коммунистов и на Закарпатье и в Венгрии давно уже ликвидировали... Ну, что вы скажете?

Данило Ковач и на это ничего ему не сказал. Все коммунисты разгромлены — но ведь он жив, существует.

— А теперь он обращается к пану Бродию,— сыпал словами сосед,— и говорит ему, что о партии «Автономный земледельческий союз» всякий знает, что она, слышите, эта партия, содействовала присоединению всей территории и народа к тысячелетней Венгрии. Вы поглядите только, что делается...

А разве сам Данило Ковач не видел? Пан Калаи схватил обеими руками руку Андрея Бродия и на глазах у всех пожал ее. До трибуны было далеко, но Ковач видел, как засияло в эту минуту длинное лицо рослого смуглого Бродия.

— И пан премьер-министр говорит,— продолжал сосед,— что нынче они открывают памятник тем героям, которые сражались на Восточном фронте в первую войну, но еще больший памятник соорудят тем героям, которые сражаются на Восточном фронте сейчас. Но смотрите, смотрите! Ура, Калаи! Эльен, Хорти! — закричал рассказчик, приглашая всех соседей сделать то же.

Данило Ковач понял, кто стоит рядом с ним и почему он так кричит «ура» и так хлопает в ладоши.

Туча уже закрыла всю Замковую гору и раскинула свой шлейф по долине. Вокруг стало совсем темно. Площадь вдруг затихла.

Во внезапно наступившей тишине пан Калаи сделал несколько шагов вперед, ухватился за шнурок, протянутый услужливыми руками, и изо всех сил дернул его. Брезент начал спадать с памятника, и все увидели серый,

отлитый из гипса и украшенный мемориальной доской, неуклюжий, похожий на кучу грязного снега памятник участникам первой мировой войны... Папы на площади кричали что есть силы. В вышине орали перепуганные галки. Оркестр играл фашистский гимн. Сосед-шпик отошел от Данила Ковача. Все жандармы исчезли. Теперь уже украинцы не были им нужны.

6

Надвигалась гроза. Тучи затянули всю долину за Тиссой, серый туман плыл по улицам Хуста. С неба срывались холодные капли дождя.

Данило Ковач постоял недолго посреди площади, раздумывая, что ему делать. Сюда его жандармы довели быстро, а назад в горы идти высоко и далеко.

В его память глубоко врезались слова Ярослава Гишки про лавку Логойды на улице Ракоци.

В трафике¹ Логойды пахло табаком. Сквозь единственное оконце и узкую дверь с улицы пробивался слабый свет. Все стены трафики занимали полки, на них лежали пачки табаку, сигареты, чинадиевские спички. Еще одна дверь вела в заднее помещение.

Когда Данило Ковач вошел в трафику, там за прилавком сидел и читал книгу молодой узкоплечий человек, темноглазый, с приятным лицом.

— Вам угодно папирос? — спросил он, отложив книгу и пристально глядя на Данила. — Каких именно? Есть «Мемфиски», «Спорт»...

Данило Ковач несколько смутился и оглянулся по сторонам.

— Каких мне папирос?.. Я, знаете... не курю... а скажите, это трафика Логойды?

— Да, Логойды, — юноша подбадривал взглядом Данила. — В Хусте, — подчеркнул он, — имеется только одна трафика Логойды. Я — Гаврило Логойда. Так говорите, каких вам папирос угодно?

— Я, знаете... — Данило вспомнил, что ему сказал Ярослав Гишка в Рахове, и закончил: — Я хотел бы купить меду...

¹ Т р а ф и к а — табачная лавка (местн.).

Как ни странно было слышать эти слова в лавке, где торговали только табаком, сигаретами и спичками, но они нисколько не удивили Гаврила Логойду — наоборот, он спокойно и серьезно ответил:

— У нас нет меду, но можно купить подсолнечного масла...

— Очень хорошо,— услышав условные слова, сказал Данило.— Так ведь я от Ярослава из Рахова.

— Отлично,— ответил Логойда.— Тогда идите назад по улице, до памятника, и там сверните направо. Выйдете на Киришскую улицу, с Киришской свернете на Глубокую и там спросите Логойду. Да вы и сами увидите. Минуете колодец, и сразу на пригорке будет дом, окнами на улицу, во дворе кухня. Там и спросите у старухи, как пройти к Миколу...

Данило пошел так, как ему сказал Логойда, нашел Глубокую улицу, колодец, дом на пригорке. Во дворе хлопотала по хозяйству пожилая женщина.

Три ступеньки вели на открытое крыльцо с навесом во всю стену. Вокруг деревянных столбиков крыльца вились голубые цветы «крученых панычей» и багряные лодочки гороха. У левой стенки крыльца, где стояла лестница, ведущая на крышу, в камышовой кошелке тихо попискивали молодые гусенята. Данило отворил дверь в первую комнату, там были две женщины — одна из них, уже в годах, очень напоминала старушку, встретившую Данила во дворе, и была, должно быть, её дочерью, вторая — молодая девушка — приходилась ей, как видно, внучкой. У молодой девушки были необычайно длинные косы, и она была так красива, что у Данила сердце екнуло.

— Мне Миколу...

— Вон туда! — указала девушка на дверь в соседнюю комнату.

— Слава Иисусу! — сказал Ковач, переступив порог.

— Почет труду!¹ — слышалось в ответ.

Данило даже вздрогнул. Навстречу ему вышел человек, по виду очень знакомый. Крутые, выдающиеся скулы, прищур серых глаз, крепко сжатые губы, — только больше, пожалуй, стало седины на голове, а виски и

¹ Почет труду — приветствие коммунистов-подпольщиков в Закарпатье.

вовсе побелели. Это был Степан Шегута, с которым он когда-то познакомился на лесосеке у Клумаков, которому поведал свои сокровенные мечты и просил указать, где же искать коммунистов? И Шегута указал. Вместе с ним Данило Ковач слушал в горном зимовье Олексу Борканюка, он, Шегута, в ту ночь, когда фашисты забрали Олексу, принимал Данила в партию коммунистов...

— Степан? — радостно воскликнул Ковач.

— Он самый!... — ответил Степан.

— Постой, — растерянно сказал Ковач, — но я должен был увидеть вроде бы товарища Миколу?

— Я и есть товарищ Микола, — улыбнулся Шегута. — А для тебя, разумеется, Степан. Значит, они и тебя пригласили сюда как делегата Верховины! — засмеялся Шегута.

— Ну да, — засмеялся и Данило, оглядывая свой новый кожух, пояс, кожаные лапти.

— Ей-ей, они не ошиблись, — продолжал Шегута. — Делегат из тебя, друже, отличный. Только не для этого балагана...

— И верно, настоящий балаган! — подхватил Данило. — Знаешь, стою слушаю этого прожорливого пса-премьера, а сам думаю: что, если выйти вперед и убить нуду! Слушай, Степан, а почему бы вправду не убить его? Поручили бы мне или кому-нибудь другому, ей-ей, подстерег бы и убил.

— Правда, Данило! — вздохнул Шегута. — Убить этого Калаи нетрудно! Знаю, рука у тебя не дрогнула бы; еще несколько человек, из тех, кого я видал вчера и сегодня, говорили мне о том же.

— Значит, там были такие же делегаты, как и я?

— А как же! Были и такие. Говорили — согласны убить, и убили бы. Но что с того? Завтра фашисты залили бы кровью Хуст, всю долину, Верховину... Слишком большая плата за одного пса! И что значит один пес, если их целая стая?

На дворе начинало смеркаться. Багряные цветочки гороха за окном стали сиреневыми, а «крученые паньчи» сворачивали свои лепестки.

— Надо еще потерпеть, Данило, — в раздумье проговорил Шегута. — Его веревку сохраним для него. Уж это наверно! А ты лучше скажи мне, что делается у вас на Верховине?

— Шумит Верховина, гремит день и ночь... Ведь сколько лет по хребту строили линию Арпада, а теперь снова точно взбесились, тянут ее по склонам, через чащи, пропасти... Губят леса, разоряют богатства Карпат.

— А может, это и не плохо, Данило?

— То есть как это?

— А так! Уж если вор начинает свою хату стеной огораживать, а перед стеной ставит еще одну стену — значит, бонтя, проклятый!

Откуда-то издалека в окно доносились звуки военного оркестра. Странно было слышать его на тихой улице Хуста. Но музыка эта вызвала новый прилив мыслей у Степана Шегуты.

— Ты, как делегат Верховины, — сказал он, — должен знать и рассказать людям обо всем, что происходило здесь, в Хусте. Пан Калаи кричал нынче, — мол, у нас здесь нет и никогда не было украинского народа, — и врет: этот народ был и есть тут испокон веку, и никому этот народ не уничтожить. Пан Калаи говорит, будто здешние люди всегда обращали свои взгляды на запад, на Европу, — а они всегда, особенно в трудные годы, обращали свой взгляд на восток, ведь там живут родные нам люди, наши братья, там Советская Украина! Пан Калаи сказал, что наш секретарь Олекса Борканюк убит и вся коммунистическая организация разгромлена. О нег, на место Олексы Борканюка стали другие товарищи, а организация коммунистов в Закарпатье, как ни громят ее фашисты, растет... Пан Калаи, видно, забыл или хочет забыть, что в свой смертный час говорил Олекса Борканюк: «Меня вы убьете, но народ вам не покорить». Борканюк это сказал — так оно и есть, так должно быть. С этими Калаи боролись и будут бороться трудящиеся украинцы, этих Калаи ненавидит и с ними борется каждый честный венгерец. Ты это хорошо сказал, Данило: премьер-лес! Что ж, премьеры, да еще собачьего рода, очень быстро приходят и уходят, а народ будет жить. Нет, народ не убить!

Он помолчал и поглядел в окно, за которым все больше темнело. Темно было и в комнате.

— Эх, — сказал Степан Шегута, — кабы поближе было от нас к родным людям, к Советской Украине. Фронт далеко, и мы — лишь капля великого моря, выплеснутая за Карпаты. Но капля все равно вернется

к своему морю. Родные люди о нас никогда не забывали и не забудут. Фронт все ближе. Здесь, ты сам знаешь, всюду идет борьба. А кроме того, ты не забыл, наверно, что пять лет назад тысячи наших людей ушли за Карпаты, в Советскую Украину.

— А как же! Мы тогда вместе их отправляли.

— Так вот, эти люди побывали в Советском Союзе, научились и скоро уже возвратятся назад. Это наша великая сила...

— Кабы скорей они возвратились!

— Есть сведения,— продолжал Шегута,— что они будут уже скоро. Мы не знаем, где именно и когда появятся наши люди. Верховина велика — где Верецкий, а где Яблунецкий перевалы! Нужно ожидать их на всех полонинах, и у вас — на Печенежской,— кажется, так она зовется?

— И Печенежская, и Драгобрат, и Шумеска...

— Знаю,— тихо сказал Шегута.— Так вот, слушай...

Глава вторая

1

Степан Чижмарь вышел из лесу, сторожким шагом прошел по скалистой площадке и остановился над кручей. Стоя за кустом, который неизвестно как удержался на такой вышине, он посмотрел вниз.

Позади него еще лежали сумрак и тишина густолесья, он еще ощущал всем своим телом холодок непрогретой солнцем земли, сырость лесной чащи, а в глаза ему уже било ясное, утреннее солнце, грудь вдыхала свежий, бодрящий воздух.

Приставив к глазам руку козырьком, чтобы защититься от ярких лучей солнца, он долго вглядывался в даль, раскрывавшуюся перед ним, впитывая в себя каждую точку, каждую мельчайшую деталь бескрайнего, чудесного ландшафта.

Гора, у обрыва которой он стоял, круто, будто обрубленная, спадала вниз грядами, подобными волнам гигантского окаменевшего моря. На склонах ютились одинокие

низкорослые, приземистые деревца, они, казалось, впились в скалу, чтобы не скатиться в пропасть. Кое-где видны были сизоватые заросли ивняка; среди них груды круглых валунов, сглаженные дождями и ветрами, напоминали стада диких кабанов или медведей, — катясь с горы, они вдруг остановились, задрав морды кверху. Один островерхий камень поодаль стоял над кручей, похожий на женщину с поднятыми руками.

Внизу, точно исполинская чаша, лежала долина. Казалось, серебристая речушка рассекла ее надвое. По обоим берегам речушки лежало село — с островерхими черными хатками, с узкими полосками огородов, с несколькими большими усадьбами богачей, шатровой церковкой и кладбищем.

За долиной начинались и тянулись до края неба, подымаясь все выше и выше, горы.

Степан Чижмарь прислушивался к звукам, рождавшимся в горах и в долине. Он слышал, как спокойно, словно человек, который устал и глубоко вздыхал во сне, шумит позади него лес на горе, как звенит совсем близко между камнями ручеек, как ревет где-то на горных пастбищах скот, а там, далеко, невидимый трембитарь тоскливыми звуками выпевает свою печаль...

Он знал эти горы и долину, ведь не раз приходилось ему бывать и на горе Менчул, и в убогом селе в долине, с обманчивым названием — Лучшее, — за ним начиналась Иза, а там, за гребнем, и Хуст... Ему хотелось выйти из-за куста, крепко упереться в скалу ногами, приложить руки ко рту и крикнуть так, чтобы голос докатился до дальних гор, возвратился назад и снова ударил в грудь... «А-ге-е-й! А-ге-е-й!»

Но он не крикнул, не подал голоса, а только глядел сквозь ветви куста на горы и долину и все ждал, когда увидит то, чего искал, и услышит то, что жаждал услышать...

Был первый час ночи, когда Степан Чижмарь, брат его Василь, Вацлав Цемпер, Иван Лога, Михайло Дякун да еще Лизанец и Крух — один за другим спрыгнули с самолета.

Самолет шел где-то над тучами, и когда Степан оторвался от него, раскрыл парашют и, покачиваясь, опускался в холодном воздухе, он увидел далеко-далеко на востоке золотую полоску зари. Он подумал даже, как

это странно, что он видит рождение нового дня, а внизу, там, на Карпатах, еще темень, ночь. Как раз в это время вблизи показались еще два парашютиста, они почему-то спускались очень быстро и вдруг исчезли из глаз.

А после он и сам нырнул в сырое, непроглядное облако, висевшее над горами. Спуск в облаке длился очень долго, каждую секунду Степан ожидал, что ударится о скалы.

Спустился он плавно на какие-то кусты, росшие посреди лощины, и сразу же кинулся вперед, раздвигая заросли и натыкаясь на деревья, в сплошной предрасветной темени. Потом в прорезях между ветвями вверху заголубел свет, а там зажглись и золотые блески. Но внизу, под деревьями, все еще стоял полумрак. Степану казалось, что он идет по дну глубокого моря; и тихо здесь было, как и под водою. Будто обломки разбитых кораблей, перед ним возникали всё новые и новые, поваленные бурей и истлевшие от времени стволы буков и пихт; как водоросли, тянулись кверху кусты папоротника; совсем близко покачивались во влажном воздухе огромные грибы, нечем было дышать. Совсем обессиленный, Степан все чаще останавливался, переводил дыхание, спрашивал себя: «Когда же конец этой чаще?»

И вот все же он вышел. «Вышел!» — повторял он про себя. «Вышел!» — радостно звенела каждая частица его тела.

Но где его друзья? Они условились встретиться на заре у южного склона горы. Вот и южный склон, солнце стоит высоко над горами, пронизывает своими лучами все окрест. Степан Чижмарь долго стоял под кустом, приглядывался, слушал, раздумывая, что делать дальше?

Потом он услышал, как где-то выше его, на скале, возникли звуки сопилки. За ее печальными переливами угадывались слова:

Ой, боже мій милостивий,
Що літа стрічаю,
Пасу вівці в синіх горах,
Про добро не знаю.

Степан Чижмарь даже вздрогнул, услышав мелодию этой песни. Многое напомнила она ему! Далекое детство, полонины, тоскливое мычание коров, звон колоколец, чабан с сопилкой над обрывом горы...

Но Чижмарь очень хорошо знал эти места, как знал и то, что поблизости здесь нет пастбища. А сопилка играла и играла, и он пошел на голос сопилки.

2

Чуть начало светать. Свежий ветерок пронесся меж деревьями, несколько холодных капель росы упало на лицо Вацлава Цемпера, и он открыл глаза, увидел розоватое небо над собой, стволы деревьев, точно покрытые бронзой...

Вацлав попробовал встать на ноги, но не смог. Малейшее движение вызывало нестерпимую боль в ногах, они не слушались, были как деревянные.

Все стало понятно. Когда земля была уже совсем близко, парашют подхватило мощным порывом ветра. Вацлав неудержимо полетел в темную бездну. В последнюю минуту успел раскрыть добавочный парашют, но было, как видно, уже поздно.

«Что же делать? — спросил сам себя. — Идти я не могу. А там меня ждут товарищи».

Напрягая все силы, подавляя боль, подтягивая за собой автомат и рацию, он пополз по скользкой, устланной мохом земле. Ползок — и передышка, ползок — и рука на автомат; хотя друзья были недалече, но и враг мог появиться из-за каждого куста.

Проще всего и легче всего было ему, разумеется, ползти по склону горы вниз, но Вацлав, сын лесника из Чешских Татр, знал закон леса: если хочешь встретить друга — иди выше в горы. Так он и полз, все выше и выше, опираясь на локти, подтягивая тяжелое, непослушное тело и оружие.

По временам он останавливался, опускал голову на влажный мягкий мох и так лежал, в полубреду; ему мерещился родной край, отвесные вершины Татр, извечный шум леса, такой же, как и здесь, на Карпатах.

Ему было горько, что так бессмысленно может все закончиться, ведь летел он сюда, на Карпаты, не для того, чтобы с первых же шагов стать калекой или погибнуть.

Однако он думал не о себе только. Его не страшила смерть. Нужно будет — он сумеет умереть, как надлежит

коммунисту. У него есть оружие, рука его не дрогнет, когда он увидит врага. Кровь за кровь и смерть за все муки и страдания его народа! Он думал о своих товарищах. Их предупреждали, и сами они хорошо знали, как трудно спускаться над лесами и скалами в Карпатах, но разве все рассчитась? Не случилось ли беды с ними, живы ли и здоровы его друзья? Он снова и снова прислушивался, не слышать ли шагов, не шевельнется ли где-нибудь ветка от прикосновения людской руки. Лес молчал.

Вацлав долго полз на руках, подтягивая за собой тело, и скоро до крови изодрал руки об острые камни. Тогда он попытался ползти на локтях. Каждый шаг, каждый сантиметр давался ему с огромным трудом...

Наконец пришла минута, когда он понял: дальше ползти уже не сможет. «Отдохнуть, а тогда уже и дальше», — думал он.

Вацлав остановился и долго лежал неподвижно, опустив горячую голову на куст холодного папоротника и раскинув по земле усталые, окровавленные руки. Над самой его головой мелко вздрагивала веточка бука; на одном из листков ее сидел, смешно перебирая хоботками, с шариками на концах, мотылек; он, должно быть, отдыхал и, намереваясь взлететь, то опускал, то поднимал свои чудесные, похожие на павлиньи перья крылышки. Где-то вблизи какая-то птица монотонно тянула свое печальное «пиу-ю, пиу-ю». Он позавидовал птичке. Все вокруг было зеленовато-желтое, лесное, свежее; краски сверху темнели и сливались в сплошную лиловую шаль, сквозь которую прорезывались окна в голубое, бездонное небо. Вацлав закрыл глаза.

И вдруг откуда-то издалека донеслась песня. Он сразу ее узнал — эту песню играют на дудках чабаны в Татрах, эту песню пела над его колыбелью мать:

Ой, боже мій милосердний,
Що літа збігають,
А я пасу вівці в Татрах
І добра не знаю.

Где же он? Может быть, это — Татры, может, где-нибудь вблизи — родной дом? Так и есть, вот покойница мать вышла из чащи, идет вперед и протягивает к сыну свои руки...

Залегши в кустах, Степан Чижмарь долго поглядывал вверх, на скалу, стараясь увидеть того, кто играл на сопилке. Но музыкант был неуловим: поиграв немного, он замолкал, а затем начинал играть совсем в другом месте — выше или ниже на скале.

Но вот неизвестный музыкант заиграл за один шаг от Степана. Степан раздвинул ветви куста и прямо перед собой увидал смуглое, темноволосое, с лукавыми глазами и маленькими усиками лицо брата Василя.

— Василь! — прошептал из кустов Степан. — Так это ты, оборотень, приманиваешь меня битый час!

— Мамочка! — по-детски как-то вырвалось у Василя, и он быстро спрятал сопилку. — Ну и напугал ты меня, Степан.

— «Напугал... напугал!» — передразнил его Степан. — А вот ты начудил — это правда.

— А что? — широко раскрыл свои и без того большие глаза Василь.

— Сопилку достал... Играешь на весь лес... Того и гляди врага накличешь...

— Нигде ее не доставал, а сам сделал... И никого сопилкой не накличешь. Что сопилка? Кто на ней не играет? А как, скажи, наших людей в этом лесу найдешь? Я ведь играл осторожно, пригляжусь — поиграю, пройду немного — и снова за сопилку...

— Ой, Василь, Василь! — вздохнул Степан. — Ничем тебя не переделать... Хорошо, если бы только сопилкой кончилось.

— Оставь, Степан! — сердито сказал Василь, и в его глазах заиграли огоньки.

— А я оставил. Ну, говори, нашел людей?

— Они меня нашли, — ответил Василь, — на сопилку вышли. Вон идут, гляди!

От куста к кусту, вверх по скале поднимались Михайло Дякун и Иван Лога. На носилках из двух жердей, переложенных ветвями и накрытых парашютом, лежал Вацлав Цемпер.

— Что с ним? — с тревогой спросил Степан.

— Зашибся при посадке...

— А Лизанец и Крух?

— Пошли воду искать.

Михайло Дякун и Иван Лога взошли на скалу и опустили носилки в тени куста. Цемпер, необычайно бледный и изможденный, открыл глаза, огляделся. Степан Чижмарь наклонился над ним.

— Что с тобой, Вацлав?

Цемпер поглядел на свои ноги, накрытые краешком парашюта, дотронулся до них рукой, ответил:

— Должно быть, вывихнул ногу. Да это ничего, все пройдет, должно пройти, но командиром теперь придется быть тебе.

— Не тужи, Вацлав,— сказал Чижмарь.— Разве я не вижу: повредил ноги ты не сильно, все скоро пройдет, лежишь до вечера...

— А я что говорю? — махнул рукой Цемпер.— Конечно, до вечера... Может, еще какой-нибудь там день... Но сейчас нужно собрать парашюты, спрятать их... Ну, и рации, понятно, и оружие. Кому-то надо сходить в село, наладить связь с местными коммунистами.

— Все сделаем,— успокоил Вацлава Чижмарь.

— Ну и ладно! — тяжело вздохнул Цемпер и затуманенными глазами огляделся вокруг.

— Что это? — сердито и очень громко сказал он погоды.— Горы колышутся, земля проваливается. И пихты валяются, падают на меня...

Он откинулся назад на носилках и долго лежал так, бледный, изможденный.

Степан сидел подле Вацлава, прислушиваясь, как он тяжело дышит, как с его губ срываются по временам невнятные слова. Вокруг стояли друзья — опечаленные и встревоженные.

— Придется нам несколько дней прятаться,— сказал Степан.— Ну, а коли прятаться, так куда-нибудь поглубже, в самую чащу, где ни одна собака нас не сможет найти. Но до этого нам нужно закончить все дела.

— Пока мы со Степаном добрались сюда, обшарили весь южный склон горы,— сказал Крух.— А теперь еще раз прошлись в поисках воды. Рации на месте, но не все.

— Сколько раций не нашли? — спросил Чижмарь.

— Двух раций нет,— ответил Крух.

— Нужно искать,— проговорил Степан.— Не дай бог, чтобы им в лапы попало хоть что-нибудь.

С вышины скалы, на которой все они собрались, видна была широкая долина, горные перевалы, даль в

сизой дымке. Казалось, так недавно очутились они на Карпатах, а сколько событий произошло уже за это время! И солнце неумолимо совершало свой круг по небу, спустилось к горловине ущелья, тянущегося до самой Тиссы, краски в долине и в горах стали нежнее, расплывчатей.

— Ночью я спущусь в долину,— сказал Степан Чижмарь.— Пять лет прошло, как был здесь, но все же найду своих людей. А возвращусь сюда, на эту скалу, через три дня. Раньше не успею.

Тогда брат его Василь, который, прищурив глаза, мечтательно глядел на долину и по временам покусывал тонкие губы, обернулся, сказал:

— А почему именно ты пойдешь, Степан?

— Кто ж пойдет, Василь?

— Да я могу пойти... Ты за меня не бойся, Степан! Я — ловкий, и меня жандармы не схватят. Не беспокойся, все сделаю, как нужно, скажи только, куда мне идти, кого искать?

К побледневшему, усталому лицу Степана Чижмаря прилила кровь, оно помрачнело. Но Степан не сказал горячему своему брату ни одного обидного слова, а очень тихо и ласково возразил:

— Все мы, Василь, еще побываем в долине. Не горячись, и ты там побываешь! Но первым пойду я... На третий день жди меня на этой скале, Василь.

— Это верно! — заговорили все товарищи.— Иди же! Ни пуха ни пера тебе, Степан!

4

Степан Чижмарь возвратился на гору Менчул, как и обещал, на третий день. Выполнить свое обещание ему было не легко. К вечеру из-за перевалов, как стада испуганных овец, вырвались тяжелые свинцовые тучи. Они быстро затянули небо. Среда бела дня все вокруг потемнело, над землей закружились, заплясали вихри, столбы ржавой пыли, засохшие листья. Все больше темнело, словно спустилась ночь. С востока подул резкий, холодный ветер, кое-где метнул градом. Внезапно над Менчулом, как гигантская стрела, мелькнула ослепительная молния, точно в барабан ударила над горой, гулкое эхо

покатилось над полонинами и ущельями. Затем молнии сверкали до поздней ночи, раскаты грома сотрясали и сотрясали небо, тучи пролились обильным дождем; зашумели, зарокотали горные потоки.

Степан приближался к Менчулу. Может, и к лучшему, что настала непогода. Кого и куда понесло бы в такую грозу и ливень? А он шел; еще над Тиссой молнии чиркали по небу и грохотал гром, еще дождь досевал над горой последние капли и гудели в расщелинах буйные потоки, а он, мокрый с головы до ног, поднялся по крутым склонам к тому месту, где оставил товарищей.

Там его ждал Василь. Он сразу же нетерпеливо забросал Степана вопросами:

— Ты был в Копашневе? Как братья и сестры? Живы ли там наши? Да говори же, говори, Степан!

— В Копашневе я не был,— сразу же сказал Степан,— но о своих разузнал. Все здоровы, целы, хотя какая тут жизнь сейчас! Для всех одинаково — каторга и мука. Братьев на работу гоняют, жен наших по тюрьмам таскают.

Василь стоял так близко от брата, что Степан слышал его напряженное, жаркое дыхание.

— И ты не пошел в Копашнево? Не постоял на пороге нашей хаты?

— Не ходил, Василь,— твердо ответил Степан.— Говорил и говорю,— успеем, брат! Дай срок, придем как хозяева!

Он спросил о том, что беспокоило его все эти дни.

— А люди наши целы?

— Целы...

— Как Вацлав?

— Все так же... В горячке...

— Он на старом месте?

— Нет. Переночевали на этом склоне; поутру недалеко от нас прошли жандармы...

— И что?

— Пропустили их, а сами сразу перешли на северный склон горы, в ущелье.

— И лучше, что не сцепились с ними. А рации все наши?

— Не все...

Они пошли, раздвигая в темноте ветви кустов, брызгавшие на них холодной росой. Дождь уже утих, на небе

начали, точно из глубокой пропасти, проглядывать звезды. Повеяло теплым ветром из долины.

Вдруг Степан остановился.

— Ты, Василь, не сердись, что я в Копашнево не зашел. Вот погоди, я тебе расскажу...

Они стояли рядом на круче, за которой расстилалась долина. Оттуда не долетало ни звука. Там не видно было ни огонька. Только выше долины, где вилась дорога на перевалы, темноту пронизывали холодные белые клинки,— это в горы двигались вереницы автомобилей. Еще выше, там, где начинались перевалы, на высоких полонинах кое-где вспыхивали лезвия прожекторов — они впивались в небо, рассыпая под тучами серебристую пыльцу. Было что-то зловещее и страшное в этих огнях среди темной ночи, все это совсем не походило на те Карпаты, какие они знали, к каким привыкли, какие снились им много лет подряд.

— Сиерра-Гвадарама! — прошептал Степан.

— Что ты сказал? — не расслышал Василь.

— Сиерра-Гвадарама... — повторил Степан.

И Василь понял, почему Степан вспомнил пустыню Сиерра-Гвадарама. Оба они уже немало побродили по свету за свою короткую жизнь. Страшно сказать, но им не нашлось места в родном их селе — Копашневе — на Карпатах, где жили и похоронены их деды и прадеды, где жили отцы их и где сами они увидели свет. Их, молодых, бросали в тюрьмы за то, что они мечтали и боролись во имя счастья родных людей. Они извели подвалы хустской тюрьмы и казематы Сигота, камеры и одиночки «Маргит-Керута» в Будапеште. Вырываясь из тюрем, они по-прежнему не отказывались от борьбы, и потому, что для них не было места на Карпатах, шли в далекий мир, чтобы там бороться за счастье родного края.

Так Степан и Василь побывали и в Испании. Пустыня Сиерра-Гвадарама, покрытая желто-серыми камнями, с грядами скал, которые, точно волны гигантского моря, поднимались выше и выше, напоминала им родные перевалы, горы. Когда братья стояли у реки Тахо,— то зеленовато-золотой, то серебристой от пены, то темной в тени скал,— им представлялись Дина, Теремля, Тисса, которые так же беспокойно бились, кидались, кипели в ущельях Карпат.

Но не только этим Испания напоминала им Закарпатье. Она напоминала им родной край потому, что и там было невиданное богатство одиночек и убогая, нищенская жизнь тысяч; сложенные из камня лачуги испанской бедноты напоминали им карпатские хижины, в селах Испании была копашневская бедность, возле церквей стояли иссохшие, жалкие, похожие на птиц старики и старухи — нищие, и, как «подайте, не минайте», звучало их «un pedido»¹.

Василь и Степан Чижмари боролись за лучшую жизнь трудящихся Испании... В Карпатах отважные лесорубы и чабаны на горных пастбищах носят на своих крисанях знак мужества — зеленую веточку или цветок, а клянутся они на топориках. В Испании и мужчины и женщины носят на голове, в волосах багряные гвоздики или маки, а клянутся мужчины на ножах — навахах. Василь и Степан носили багряные гвоздики и клялись на навахах.

Далеко, очень далеко была от них в эту минуту Испания. Но черная долина и огни в горах напомнили им Сиерру-Гвадараму, изрытую долинами, разделенную грядами гор. Там они тоже не раз жаркими ночами смотрели на черные долины и на огни в горах. И, как из порабощенной Испании, так и со склона горы Менчул, далеко было Чижмарям до родного села. Между ними и родными людьми, между ними и родными селами лежал, как отвратительный спрут, фашизм.

Об этом и думал Степан Чижмарь, стоя ночью над обрывом. Он сказал брату:

— Я тебя знаю, Василь, и знаю, что тебя беспокоит. Уж очень горяч ты, не понимаешь меня часто, осуждаешь. Вот и сейчас ты думаешь: как это так, что я не побывал дома, в Копашневе? Но для чего идти? На минуту обрадуется душа у тебя и у родных людей. А дальше? Радость — что пташка, выпусти — и полетит! Проведают жандармы — и пропало. А люди на нас надеются, мы людям принадлежим. Идем, Василь!

Позже, в самые тяжелые минуты своей жизни, Василь Чижмарь не раз вспоминал эти слова брата. Но

¹ Просьба о милостыне (испанск.).

сейчас он выслушал его, подумал и, казалось, сдержал себя, но в душе не согласился со Степаном.

— Что ж, идем! — только и сказал Василь.

Они молча, перепрыгивая с камня на камень, с кручи на кручу, пробираясь сквозь непролазные чащи и лесные прогалины, прошли по склону горы и спустились в глубокое ущелье, где их ждали товарищи и где лежал Вацлав.

Здесь было необычайно темно. Над самой головой нависали ветви. Где-то вблизи, как серебряный колокольчик, журчал ручей. Камни, сдвинутые ногой, катились и катились в какую-то бездну.

Степан, у которого было очень острое зрение, узнал фигуры товарищей; в темноте к нему протягивались теплые дружеские руки.

— Добрый вечер, Степан! По тебе хоть часы заводи. Как далеко ушел — и уже здесь! Ну, говори, какие новости в долине?

Степан нашарил в темноте возле себя плоский камень и сел — ноги у него болели. Все тоже присели на корточки вокруг.

— Ну что ж, — начал он, — пошел я на полонину за Драговым, там когда-то был у меня знакомый чабан. Лежал на опушке леса, ждал его к рассвету. Гляжу, бредет с отарой. Все такой же, — был и остался коммунистом.

— Так ты на полонины ходил, — протянул где-то рядом Василь.

Степан, точно не расслышав, продолжал:

— А дальше уже легко было мне других членов нашей организации найти. Ходил в самый Хуст. Встретился там с одним членом краевого комитета. Комитет, оказывается, давно нас поджидает. Борканюк успел предупредить, что мы прилетим. Вот только не знали, откуда нас ожидать и где мы спустимся. И сейчас караулят люди и на Раховщине, и возле Турянской долины. Товарищ из комитета рассказал мне, что создано много партизанских отрядов, и, куда ни глянь, всё отряды имени Борканюка. Значит, живет он, будет жить! Товарищи надеются и на нас. Теперь пойдут дела, может, еще живее. Мы долго раздумывали, как быть с нашей группой. Наша группа разобьется — Михайло

Дякун, Федор Крух, Иван Лога пойдут в Севлюш, я с Лизанцом и Василем останемся в Хусте...

— А что ж вы забыли меня,— раздался голос.

Это говорил Вацлав Цемпер, слышавший беседу своих друзей.

Василь Чижмарь подошел к нему.

— Нет, Вацлав,— ответил он,— мы подумали о тебе. Ты будешь в Хусте... Тебе нужно полечиться.

Чижмарь взял руку Цемпера, пожал ее и почувствовал, как она горяча. Вацлав пылал в лихорадке, дышал тяжело.

— Степан,— позвал он.

— А что?

— Наклонись ко мне ближе,— зашептал Цемпер.— Вот так. А теперь слушай. Я, Степан, не вывихнул ногу, а сломал... Да, да, я ведь чувствую... Кости поломаны, началось, видно, воспаление — совсем не в пору! Но что поделаешь? Теперь ни часа нельзя терять, а скорее уходить из леса. Я все слышал. Очень хорошо, что все так складывается. Вы идите, а я? Вижу, я вам помеха, ноги у меня перебиты... Может, вы оставили бы меня здесь, в лесу?

— Дорогой Вацлав,— сказал Степан.— От тебя ли такое слышу? Нет, не годится тебе так говорить. Что ж, ты думаешь, куда мы прилетели? Мы — дома! И сделаем все, как дома. Неужто ты не надеешься на нас, Вацлав!

Сразу после полуночи они двинулись в путь. Впереди всех шел Степан Чижмарь. За ним цепочкой тянулись остальные. Вацлава несли на носилках. Ему в этот поздний час ночи стало хуже, он метался и бредил в лихорадке.

Выйдя из леса, покрывающего склоны горы Менчул, они сошли в долину, то взбираясь на безлесные холмы, то спускаясь с них. Несколько раз проходили мимо горных селений, где хаты маячили в ночной тьме, точно крепости, а однажды подошли так близко к какому-то дому, что слышны были голоса во дворе.

Там, где Дина, переливаясь по камням, вырывается из ущелья в долину, у обочины дороги, что ведет из Хуста на Севлюш, Степан Чижмарь приказал своим товарищам остановиться и один пошел вперед.

Он возвратился не скоро, но шел спокойно, размеренными шагами.

— Что же, товарищи,— сказал он,— пришла пора нам расстаться. Кто знает, скоро ли увидимся! Может и такое быть, что увидимся, да не сможем переговорить. Так попрощаемся, товарищи.

Степан отозвал в сторону Михайла Дякуна, Федора Круха и Ивана Логу, обнялся с ними и прошептал:

— Вот вам документы. Лесорубы из Иршавы. До рассвета побудьте здесь, в поле, а тогда идите смело, документы хорошие, с печатью жандармерии. В Севлюше зайдите к Марии Фаркаш. Скажите ей, что вы от Миколы. Ее уже предупредили, и она ждет вас. Прощайте.

И разошлись они в разные стороны,— делать общее дело. Была глубокая ночь, на дороге прозвучали и замерли шаги.

Глава третья

1

Наутро из Драгова в Хуст по извилистой дороге промчалась зеленая закрытая жандармская машина, которой так боялись повсюду, в горах и на долине. Машина остановилась не перед входом в здание жандармерии, находившееся у самой Замковой горы, а въехала прямо во двор. Там два жандарма, на которых покрикивал лейтенант с петушиными перьями на кивере, вытащили из машины нечто похожее на мешок, обвязанный веревками. Два жандарма понесли мешок вверх по лестнице, за ними шел лейтенант. Спустя несколько минут мешок очутился в кабинете начальника окружной жандармерии капитана Сиплоки. В кабинете в это время был и шеф жандармерии Закарпатья — полковник Кричфалуши.

— Разрешите доложить,— начал лейтенант, козыряя,— по вашему приказанию привезли.

— Показывайте! — сказал капитан.

Два жандарма с большим трудом развязали узлы, развернули мешок. В мешке лежал шелковый парашют и покрытый серой краской новый радиопередатчик.

— Где найдено? — встал со стула и остановился над парашютом капитан. За ним, тяжело шагая, подошел и полковник.

— В долине за горой Менчул, — отрапортовал лейтенант.

— Покажите мне на карте, — вмешался полковник Кричфалуши, — то место, где вы его нашли. Хорошо. Обведите это место карандашом. Так. И скажите, лейтенант, выявили парашют крестьяне или его нашли жандармы?

— О, разве от этих русинских крестьян можно ожидать добра? — ответил лейтенант. — Парашют нашли мои жандармы, — он указал на своих спутников. — Они тотчас доложили мне о происшествии, я немедленно уведомил господина капитана и по его приказанию сейчас же прибыл сюда.

— Значит, никто о парашюте не знает?

— Нет.

— А как вы думаете, лейтенант, — продолжал полковник, — когда он был спущен?

— Трудно сказать, господин полковник.

— Офицер венгерской жандармерии должен отвечать на вопросы точно и без всяких «трудно сказать», — заметил капитан.

— Мы в Драгове, — продолжал лейтенант, — каждую ночь слышим, как над нами проходят самолеты. Они летят из-за Карпат в сторону Чехии, Венгрии, Румынии.

— Идиот! — не выдержал полковник Кричфалуши. — Уши у вас большие, как у осла, но слышите вы ими не то, что нужно. Вы видите пятна и подтеки на шелку? Отчего они? Разумеется, от дождя... А дождь в районе Менчула шел два дня назад. Значит, вы спали два дня и две ночи и ничего не слышали.

Лейтенант вытягивался в струнку, как только мог. Казалось, его хребет вот-вот переломится. Вслед за своим начальником тянулись оба жандарма.

Полковник Кричфалуши нагнулся к аппарату, внимательно оглядел его со всех сторон, потрогал пальцами ручку управления, открыл доску...

— «Телефункен!» — сказал лейтенант, он стоял позади полковника и следил за каждым его движением.

— Уберите эту дрянь с моих глаз, — приказал капитану полковник Кричфалуши.

— Выйдите! — крикнул на лейтенанта и жандармов капитан Сиплоки.

Когда лейтенант и жандармы вышли из комнаты, рассерженный полковник Кричфалуши подошел к окну и долго смотрел на замок, — над развалинами его проплывало, цепляясь за башни, неприятное серое облачко. Поглядел он и на сжатое с обеих сторон хребтами ущелье, которое тянулось вплоть до Драгова, представил себе горный край, начинающийся там, за этими первыми хребтами.

Полковник Кричфалуши припомнил Верховину не случайно. Он знал там каждое село, вплоть до Волово-го, Волосянки, Синевирского озера.

Дело в том, что полковник, шеф жандармерии Закарпатья, он же флигель-адъютант при регентском комиссаре, Андрош Кричфалуши, вовсе был не Кричфалуши.

Родитель его — отец Евгений Грабарь — всю жизнь был греко-католическим священником в селе Майдане в горах за Воловым. Сын его при крещении был наречен Андреем. Детство и юность Андрея Грабаря прошли тихо и мирно. Отец его был священник и молился, казалось бы, за украинцев, сын его Андрей хвалился тем, что он украинского рода, и учился сначала дома, в семинарии, а затем в Вене.

При Франце-Иосифе отец клялся в любви к украинцам и благословлял их на первую мировую войну; сын его Андрей сделался «прогрессивным русином» и изо всех сил выказывал свою преданность, выслуживаясь перед венгерскими магнатами. Это на многих производило впечатление. На вечерах в Вене Андрей Грабарь выступал с речами, разглагольствуя о том, что украинцы якобы ничего общего не имеют с русскими людьми на востоке, а тяготеют только к Вене. Перед рослым, широкоплечим, с усиками «а-ля русин» и большими коровьими глазами Андрошем Грабарем, как начали тогда называть поповича с Верховины, приоткрылись двери аристократических салонов Вены; он пользовался исключительным успехом также и у выхоленных, жаждущих любовных приключений светских дам.

Две силы боролись за Андрея — Андроша Грабаря. Епископ мукачевский Александр Стойка, ссылаясь на то, что в роду Грабарей все были священниками, требовал, чтобы и Андрей пошел по духовной линии. Чиновные особы из Вены и Будапешта, понимая, на что способен Андрош Грабарь, тянули его на свою сторону.

Как решил эту проблему сам Андрей Грабарь и что он делал при чехах, то приезжая в Воловое, то уезжая в Прагу, Вену или Будапешт, выяснилось лишь тогда, когда к власти в Венгрии пришел Хорти и когда он назначил комендантом личной охраны Андроша Грабаря.

Но к этому времени майданский попович уже перестал быть Грабарем. Украинец? Но это было вовсе не к лицу коменданту личной охраны Хорти... Андрош Кричфалуши, ротмистр, капитан, флигель-адъютант, полковник, — так молниеносно создавалась карьера Кричфалуши.

Произошло еще одно «чудо в Майдане». Никто и никогда не выбирал какого-то Андроша Кричфалуши депутатом, никто в горах и не знал, кто такой Кричфалуши, а он уже очутился в венгерском парламенте как депутат украинского населения Воловщины и не раз даже выступал с речами от имени этого населения.

Когда венгерские оккупанты захватили Закарпатье, Хорти знал, кого послать туда вешателем. Андрош Кричфалуши-Грабарь появился там как доверенное лицо от правительства при регентском комиссаре. Он организовал жандармерию, вошел в руководство Автономного земледельческого союза. Священник в Майдане о. Евгений Грабарь молился за нищих украинцев и посылал их на смерть; сын его, полковник жандармерии Андрош Кричфалуши, этих украинцев безжалостно вешал.

Сейчас полковник Кричфалуши стоял у окна в жандармском управлении города Хуста и смотрел на Замок-овую гору, на кладбище с крестами, которое двумя ярусами тянулось по южному склону горы, и на широкую долину, убегавшую к горизонту.

— Мало! — вырвалось у него.

— Господин полковник изволили что-то сказать? — подскочил капитан, стоявший позади Кричфалуши.

Полковник обернулся. Лицо у него было сердитое.

— Говорю, крестов мало,— засмеялся полковник и указал рукой на кладбище.

— Осмелюсь доложить, сейчас их закапывают по большей части без крестов,— сказал капитан.

— Все равно, нужно больше,— заметил Кричфалуши.— Видите,— кивнул он на парашют и радиостанцию,— они не успокаиваются. Известно, кто эти парашютисты. Русины все они. Слушайте, капитан. Парашют и рацию сейчас же запакуйте — и в Ужгород. Кроме того, я считаю, что этого вашего лейтенанта придется, пожалуй, убрать. И обоих жандармов, что были с ним. К чему нам свидетели?

— Но это мой лучший лейтенант, господин полковник.

— Может быть, он и лучший, но мы сделаем, чтобы все было как можно лучше. Хорошо, согласен, перебросим их всех в другое место. А пока что в тюрьму их, господин капитан.

— Слушаюсь,— ответил капитан.— Какие еще будут приказания господина полковника? Может быть, послать экспедицию в те места, где найден парашют?

Полковник замахал руками.

— Нет, нет, нет! Никаких экспедиций. Они спустились где-то под Драговым — запомним это. Далеко они не уйдут — учтем. Значит, они где-то здесь сидят, выжидают. А мы будем пока молчать, точно мы ничего не знаем. Вы меня поняли, капитан? Кресты нужно ставить в несколько ярусов,— деловито добавил он.— Да зачем кресты? Можно и без них — рвы да ямы...

2

Председатель Автономного земледельческого союза и бывший премьер-министр Закарпатья Андрей Бродий засиделся допоздна в гостях у адвоката Будая — председателя отделения АЗС в Хусте. Он был весело настроен, оживлен и, как сам говорил о себе,— в голосе.

Не один пан Бродий был в эту ночь у Будая и также был в голосе. За столом, заставленным бутылками вина и тарелками с обильной закуской, сидели еще староста из Севлюша — Ортутай, советник при иршавском

коменданте Бенце, священник из Копашнева Косей, хустские богачи — Барабаш, Гуржий. Они не были пьяны. Пример подавал сам Андрей Бродий — он выпил ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы язык развязался, но не настолько, чтобы болтал, как колокол. И все выпили, как говорится, в меру.

— Не мне одному выразил благодарность пан Калан, — отчетливо, ясно говорил Бродий, — а всему нашему Автономному земледельческому союзу. Да, господа, всем нам выражена благодарность. К чему скрывать? Мы для них очень много сделали! Конечно, мы постоянно помним о королевстве, но не забываем и себя. На кого нам ориентироваться господа? На Москву, на Киев? О нет, господа, это — гибель наша, смерть, крах всех наших надежд. Киев и Москва — это большевизм, коммунистическая концепция, уничтожение священной собственности... Отрекаюсь, трижды отрекаюсь! Нас, западников, никакими речами не превратить в сторонников востока. К тому же русская культура нам чужда, с нею у нас нет ничего общего. У нас есть своя партия — «Автономный земледельческий союз». А имея такую партию, мы уж найдем, кому служить! Нужно только действовать, действовать...

— Действовать... — протянул Будай. — Это легко сказать. Но у нас, в Хусте, словно бы какая-то подземная сила действует.. Что ни ночь — листовки; красный флаг уже третий раз вывешивают на Замковой горе. Как-то три дня подряд висел — никак не могли снять.

— И у нас беспокойно, — цедил поп Косей из Копашнева. — У меня весьма многие на подозрении... Большинство обитателей села...

Староста из Севлюша Ортутай говорил еще более резко:

— А мы уж все эти окраинные халупы наполовину сократили... Оттуда, только оттуда идет вся эта зараза.

Бродий с презрительной улыбкой посмотрел на них и процедил сквозь зубы:

— Гляжу я на вас, господа, и думаю: за что вам, членам Автономного земледельческого союза, платит деньги королевская власть? Ведь берете? Да еще как! Обеими руками. А вам дают и дают: «фонд защиты веры», награды за каждое успешно выполненное задание. Но только не за что давать вам эти награды...

— Извините, Андрей,— возразил Будай.— А скольких уже в Хусте не стало?

— Да, да, пан Андрей,— прошамкал копашневский поп Косей.— Стараемся в меру своих сил...

Севлюшский староста Ортутай повторил свое:

— Мы уж все эти окраинные халупы наполовину...

За это слово «наполовину» и уцепился Бродий.

— А кто вам сказал,— уставился он своими серыми глазами навывкате в глаза Ортутая,— что нужно оставлять половину? Может, нужно оставить только пятого, седьмого, девятого человека? Много? Нет, не много. У меня есть сведения, что уже и парашютистов начали забрасывать в Закарпатье...

— Где? Что? Как? — заревело застолье.— Может, это Борканюк?

— Борканюк — это дело давнее,— ответил Бродий.— Слава богу, мы с ним покончили. Это уже новые, но всё той же масти — коммунисты! Где и как — еще рано говорить, об этом пускай знает тот, кому надлежит. Но забрасывают! И если вы так будете сидеть, скоро они прямо вам на голову начнут прыгать... Вы, господа, привыкли полагаться на жандармерию, полицию, кемельгарито? ¹ Все они, разумеется, люди хорошие и много делают, но горе в том, что там, в селах, даже духа их боятся, и чуть только кто-нибудь из них в село сунется — все оттуда бегут в горы да в леса. А ведь вы — истинные русины! От вас никто не прячется. Да и как от вас спрятаться, куда от вас убежишь? Парашютисты — с неба, а мы тут — в горах и в долинах. Жандармерия и полиция служат нам, господа, а мы должны им послужить! Не кому-нибудь — самим себе служим!

3

Гости пана Будая выходили на улицу шумно. У входа уже стоял автомобиль Андрея Бродия. Отставной премьер-министр любезно предложил гостям пана Будая подвезти их до отеля «Централь». Они и поехали, продолжая уже в машине свою беседу.

¹ К е м е л ь г а р и т о — венгерская фашистская контрразведка.

Только один гость не сел в машину — пан Адам Гуржий. Бродий предложил подвезти и его, но Гуржий жил в противоположном конце города, на Киришской улице, а потому и не стал утруждать пана Бродия и его друзей своею особой. Он только горячо, от души пожал всем им руки, постоял перед домом, пока машина не скрылась за углом, и пошел посредине темной пустынной улицы.

Адам Гуржий не боялся ночью ходить по улицам Хуста. У каждого члена Автономного земледельческого союза был пропуск от коменданта, — ведь все они были постоянными, да к тому же еще и ночными посетителями жандармерии, кемельгарито, жупаната. Был, разумеется, пропуск и у пана Адама Гуржия.

А пропуск на ту пору в Хусте был необходим. Хотя город, казалось бы, спал и на улицах никого не было видно, но патруль остановил Гуржия сразу же, едва он отошел от дома Будая. Блеснули карманные фонарики; жандармы полковника Кричфалуши откозыряли пану Гуржию и дали ему дорогу.

Гуржий понял, что жандармы их охраняли: ведь пан Бродий — особа не малая, хоть и отставной, а все же премьер-министр, депутат парламента, председатель Автономного союза. А полковник Кричфалуши — тоже депутат и член президиума Союза.

Это ему, по-видимому, звонил Андрей Бродий от Будая. «Дорогой Андрош, нам нужно встретиться сегодня ночью...» Андрош — Андрей, как это у них все так просто!

И у Адама Гуржия даже в груди защекотало при мысли, что и он, при всей своей незначительности, был на таком важном совещании, какое происходило только что у адвоката Будая. Ведь это не шутка — Бродий, Будай, Ортутай, Косей, Бенце... И он — Адам Гуржий, мелкий торговец, владелец магазина «люкс»!

В самом деле, что такое его магазин? Слово «люкс», как его понимал пан Гуржий, должно было означать — первый класс. Он видел несколько магазинов, называвшихся «люкс», в Вене, в Праге, Будапеште, Ужгороде. Вот это первый класс! Но какой шик, блеск у него? Старые, выцветшие зонтики, ржавые бритвы, кривые зеркала, вонючие одеколоны да чемоданы с испорченными замками!..

И все же магазинчик на улице Ракоци кормил Адама Гуржия, он же был причиной всех тех манипуляций и фортелей, какие Гуржий проделал в своей жизни. Еще при чехах Гуржий записался к аграриям и за них голосовал на выборах; пришел Волошин — он вступил в «Украинское национальное объединение». Бежал Волошин, и пришли мадьяры — пан Адам стал членом Автономного земледельческого союза... А что же делать, если Гуржий ненавидел свой «люкс» и всю жизнь мечтал открыть большой магазин с подвалами, железными шторами, плотняными жалюзи над окнами на улице Ракоци или хотя бы в одном из переулков возле рынка? Мечтал он, конечно, приобрести и дом в центре города — не все же ему ютиться в трехкомнатном домишке на Киришской — пускай там, в этом закоулке, возле «холерного колодца», живут Логойды, Штефуцы, Симковичи!

Он остановился на площади возле памятника Духновичу, осмотрелся. Ночь была темная, но он видел перед собой прекрасный дом Куртяка. Вот взять хотя бы этого Куртяка. Богатый был черт, а картошку крал на чужих огородах. Один раз его поймали, даже хотели убить. Но удрал, проклятый, за речку. Правда, с той поры и Федора и весь его род прозвали картофельными ворами. А им наплевать на все это было. Сын вора и сам вор, Иван Куртяк первую в Закарпатье фашистскую партию, гвардию чернорубашечников, организовал. Вот и посыпались деньги — выстроил Иван Куртяк роскошный дом, сыновья у него в Будапеште учатся.

«Почему же такому вору везет, — думал, прислушиваясь к тишине ночного Хуста, Адам Гуржий. — А у меня восемь билетов разных партий лежат в столе, ничего, кажется, я не украл, никого не убил, люди уважают, никто плохого слова не скажет. А все равно «люкс» прибыли не дает. В какую-нибудь там лавчонку Логойды или Ботки народ валом валит, а в «люксе» пусто, и в кармане не густо. Спасибо панам Бродию и Будаю, хоть за стол сажают, не брезгуют знакомством».

Его мучительно жгла зависть. Ему казалось, что все сплошь его обворовывают, что у него кто-то перехватывает славу, почести, деньги, которые он, бесспорно, заслужил на этом свете. Он долго стоял на одном месте и от нечего делать начал считать дома, которые тянулись вдоль улицы от площади. Один, два, три... Четыре, пять,

шесть... Семь, восемь, девять... Он даже вздрогнул. Девятый дом по улице принадлежал ему самому.

Адам Гуржий повторил слова Андрея Бродия, которые никак не выходили у него из головы: «Может, нужно оставить только девятого человека?»

«Может, и в самом деле так? — думал Гуржий. — Может, и вправду люди мешают друг другу жить? Пусть пораздвинутся! Пусть поработают Бродий и Кричфалуши. Ведь не он, не Адам Гуржий, станет это делать. Он — человек тихий и смирный! Ему бы только магазин — настоящий «люкс», да еще дом в центре города, под черепицей, за высоким забором, а на калитке дощечку с надписью: «Берегитесь, злые собаки».

Так размышляя, прошел он — низенький, сухонький, невидный, как и его отец Мефодий, — по тихой Киришской улице, перешагнул через перелаз, отпер дверь в дом, в котором было совсем темно.

Дома не все спали. Темно было в комнате, которую называли столовой, темно было в комнате направо — там спала жена Гуржия Настя. Но свет еще горел в комнате налево, где жил сын Адама Гуржия Яков, окончивший в прошлом году гимназию в Хусте и готовившийся к поступлению в Будапештский университет.

Сын слышал, как отец шел по улице, как вошел во двор и отпирал входную дверь, как снял и повесил на крючок у двери в столовую пальто, шляпу, как наконец прошелся по комнате, остановился, налил воды из графина, выпил.

Отец отворил дверь в комнату сына.

— Снова не спишь?

Яков, рослый юноша с темными задумчивыми глазами и пышной копной волос на голове, открыто и, как показалось отцу, дерзко поглядел на него.

— А что? — спросил Яков.

— Как это — что! Скоро, наверно, светать начнет. Поздно.

— А вам не поздно разгуливать в такую пору по Хусту и торговать людскими душами?

Отец плотно затворил за собой дверь, чтобы не разбудить жену, потом сделал шаг и сел к столу, на котором лежали раскрытые книги.

— Как ты сказал? «Торговать людскими душами»? Да ты подумал прежде, чем такое сказать?

— Я сижу и весь вечер думаю, что мне нужно сказать, но думаете ли вы о том, что делаете? То были аграрием, то волошинцем, теперь бродиевец, а дальше и идти некуда. Ведь Бродий — фашист.

— А я как будто не знаю? — усмехнулся отец. — Ты с Броднем меня не равняй. Я вижу, что они делают, но сам никого не убил и не убью. Я курицы убить не могу, ведь ты знаешь.

— Один режет курицу, другой ест, а оба одинаковы, — так же дерзко продолжал Яков. — Да и не говорил я, что вы убиваете, я говорю, что вы торгуете. Разбейтесь сами, кто лучше, — тот, кто убивает, или тот, кто торгует живыми душами.

— Слушай, Яков, я еще ни одной души не продал. Да, правда, был я в аграриях, записывался к волошинцам, сейчас я член Автономного союза. А что же мне, в коммунисты записаться? Да сейчас и партии такой нет, прикрыли.

Яков пристально посмотрел на отца.

— Нет такой партии или есть — это будет видно позднее. И коммунист из вас никогда не выйдет. Не такая у вас душа. Но честно жить вы все-таки могли бы. И земля у вас есть, есть виноградник, огород, дом, лавка...

— Ну, что ж ты замолчал? — насмешливо протянул отец. — Говори дальше, уж если начал... Говори: гни, отец, спину горбом, бери в руки мотыгу, в поте лица зарабатывай деньги, чтобы учить сына...

— Люди учились и учатся не на те деньги, какие платили волошинцы и бродиевцы.

— Кто же эти люди? Может, Логойды? Так у них трафика есть. Может, Сирки? Так и те зарабатывают...

— Трафика не кемельгарито! Туда они не ходят.

— Слушай, Яков! Не попрекай меня тем, куда я хожу. Не в кемельгарито моя дорога. Если хочешь знать — сидел я нынче у Будая, беседовал с нами пан Бродий, были такие солидные люди, как Ортутай, священник Косей, Бенце. А ты что думаешь? Нам нужно поговорить, если парашютисты уже появились в горах, если они уже сегодня, может быть, и в Хусте имеются. Ты меня не попрекай тем, что хожу. Я ведь тебя не попрекаю, когда ты ходишь? Я ведь знаю, ты бываешь

у Логойды, у Сирка, а уж известно, какие там ведутся разговоры...

Он взглянул на сына. Тот стоял рядом бледный, приложив руку к сердцу.

— В жизни,— продолжал отец, взяв со стола карандаш и чертя линии на клочке бумаги,— прямых дорог нет. Что ни шаг — то и кривулинка. Есть у меня кривулинки, знаю, но этими кривулинками хочу я выйти на ровную дорогу...

— Этими кривулинками выйдете вы прямо к виселице,— сказал сын.

— Что? — чуть не вскрикнул отец, но сдержал себя и только зловеще прошептал: — Так что же, по-твоему, только коммунисты идут прямым путем?

— Как видно, так,— вздохнул Яков.

— Хорошо.— Отец сердито отбросил карандаш.— Вижу я, что мы враги с тобой...

— Не мне вы враг, а людям. И слушайте. Я никуда теперь не поеду. На ваши деньги, на такие деньги, я учиться не стану.

— Вот какого выкормил,— закончил отец.— Погоди! Ты еще у меня заплашешь.

4

Андрей Бродий возвращался из Хуста в Ужгород. Опустив оконное стекло в машине, он любовался пейзажами Королевской долины, склонами гор, далекими перевалами, а в ушах у него звучало: «О вашей партии каждый знает, что она содействовала присоединению этой территории к короне святого Стефана. Спасибо вам, Пан Бродий!» Вот это рекомендация! И от кого? От премьер-министра Венгерского королевства!

О, если бы пан Калаи знал, какою ценой дается это присоединение! Ему легко говорить, будто коммунизм в Закарпатье ликвидирован. Думают, что если повесили Борканюка, то всему конец? Да и самому Бродию, когда он выступает в парламенте и регулярно посылает донесения в совет министров, приходится писать, что коммунизм в Закарпатье не имеет под собой никакой почвы, что он здесь почти ликвидирован...

Почти! При этой мысли Бродий потер лысину, кото-

рая неумолимо ширилась у него на голове, и потрогал кончик своего длинного носа. Он это делал в минуты особого волнения...

Всего лишь прошлой ночью они долго беседовали с полковником Кричфалуши относительно парашюта и радиостанции, найденных под Драговым. Парашют и рация в их руках. Но где же сами парашютисты? И сколько их? Ведь только один парашют найден, и то случайно. А были, может быть, и другие. Может быть, их десятки, сотни! От этих русинов, которые ушли когда-то за Карпаты, можно чего угодно ожидать: из-за угла подстрелят, посреди поля убьют!

В дорогу с собой Андрей Бродий взял двоих жандармов. Пусть едут, черт с ними, будет безопаснее. Держа автоматы наготове, они сидели сзади в машине и, должно быть, чувствовали себя не лучше, чем пан Бродий.

— Боже мой, боже мой,— вздохнул Бродий.— Вот такая жизнь у всех нас — политических деятелей Европы.

Мысли его перескочили на памятник, только что открытый в Хусте...

«Балаган! — искренне признался он сам себе.— Мы должны ставить памятники, но какие герои из этих русинов? Кого из них ни возьми.— Шугай¹, настоящий Шугай. Уж если открывать памятник в Закарпатье героям войны, то прежде всего следовало бы поставить памятник ему — Андрею Бродию!»

Закурив ароматную сигарету и зажмурившись, он даже представил себе, как выглядел бы такой памятник на площади в Хусте, а еще лучше — на площади Другета в Ужгороде. Получалось неплохо: грудь колесом, крутой поворот головы, улыбка. А внизу золотом, золотом: «Андрей Бродий»!

— Тьфу,— сплюнул он за окно.— Памятник пускай уж после смерти будет. Но почему не чтут живого Бродия? Почему Будапешт назначает регентскими комиссарами то Козму, то Томчания, пророчат в комиссары генерала Винце, яростно борется за этот пост и полковник Кричфалуши. Но почему же не назначают Бродия? Разве он плохо служит фашистам?

¹ Ш у г а й Микола — народный герой Закарпатья, крестьянин из села Колочавы, был взят в австро-венгерскую армию, но бежал с фронта, боролся против социальной несправедливости, убит жандармами и местными кулаками.

Ему вспомнился 1938 год. Тогда они с Августином Волошиным развили бешеную деятельность. Конечно, у Волошина, который имел связи и в Риме, и в Берлине, и в Нью-Йорке, и еще черт знает где, было больше шансов. У Андрея Бродия, бывшего учителя пения, шансов было меньше. Но голос, какой голос был у него! «Я русин был, есмь и буду!» И каждый из них на кого-нибудь опирался. Было на кого опереться и Бродию. Бродий со своими «карпато-русскими аграрниками» восстановили «Русскую центральную раду» и тянули к Будапешту. Августин Волошин со своими Реваями создал «Украинскую центральную раду» и требовал от чехословацкого правительства автономии, а в то же время служил Гитлеру.

И, однако, Волошин и Бродий были друзьями, при каждой встрече обнимались, целовались. А сколько крику, сколько политической трескотни! Европа, а еще лучше Америка — главное дело. Ведь недаром председатель «трехчленной американской делегации» Горовский, прибывший в те дни в Закарпатье, обещал каждому из них помощь Америки. Бродий и Волошин на этом сходились: каждому из них хотелось иметь за плечами Америку.

И как же близко к цели был Бродий! Под давлением Гитлера, который хотел иметь плацдарм на Карпатах, буржуазное правительство Чехословакии создает «Подкарпатскую Русь», наскоро формирует в Праге правительство, а во главе совета министров ставит Андрея Бродия...

— Что случилось? — вскрикнул Бродий, заметив, что машина остановилась, и с испугом поглядел на дорогу, а потом на жандармов. Те тоже переполошились, выскочили из машины.

— Что такое? Что такое? — без толку повторяли они.

— Бензин кончился, — ответил шофер, копаясь в машине. — Говорил бургомистру, что не хватит, а он свое — для Автономного союза, мол, хватит.

Жандармам пришлось стать на дороге, держа автоматы наизготовку, чтобы силой взять горючее у первой попавшейся встречной машины. Андрей Бродий повертелся возле них, но решил, что ему, как отставному премьер-министру на пенсии, не к лицу торчать рядом с жандармами. Еще чего доброго, дойдет это до коммунистов, на смех поднимут, высмеют: «Ехал Бродий на

машине, да бензину не хватило...» Слышал он такие стишки, даже у него на стене дома наклеили.

Бродий отошел от машины, сел на кучу сухих кукурузных стеблей и задумался. Ему снова вспомнился 1938 год, когда он был премьер-министром. Теперь он понимал, что тогда ему, как премьеру, следовало быть осторожнее. Но осторожности-то Бродию и не хватило. Выйдя из апартаментов чехословацкого правительства, где его назначили премьером, он сел в курьерский поезд и помчался в Братиславу, в венгерское консульство. Разговор с консулом, еще один разговор по прямому проводу с премьер-министром Венгрии (оба премьера были откровенны), и Андрей Бродий покинул консульство в Братиславе, получив солидное вознаграждение и, разумеется, инструкции.

«Служить так служить», — думал он тогда, подсчитывая, сколько успел получить от премьер-министра Венгрии, сколько получит от правительства Чехословакии, а кроме того, еще и от гестапо.

Но Бродий забыл в спешке о своем сопернике Волошине и не сообразил того, что премьер-министр Чехословакии Годжа выслуживается прежде всего перед Гитлером. Да и мистер Горовский, выполняя приказ из-за океана, настаивал на том, чтобы Закарпатье досталось Гитлеру, а не Венгрии. И вот, когда Андрей Бродий возвращался из Братиславы, в Праге на вокзале к нему подошли несколько полицейских агентов и предложили следовать за ними.

Через несколько дней, уже в тюрьме, Бродий узнал, что гитлеровские войска перешли границу Чехословакии и что вопрос о Закарпатье вынесен на венский арбитраж. Венский арбитраж поделил Закарпатье надвое: вся долинная часть была отдана Венгрии, а в горах была создана «Карпатская Украина», во главе с Волошиным и со столицей в Хусте. Ой, и скрипел же тогда зубами Андрей Бродий от зависти! «Перехитрил, вокруг пальца меня обвел черный патер!» — ругался он.

Все дальнейшие события развивались именно так, как хотелось Андрею Бродию. С Чехословакией было покончено. «Карпатская Украина» тоже очень быстро перестала существовать. Августин Волошин стремглав помчался в Прагу.

Но и у Андрея Бродия нашлось на чем выехать из Праги. Администрация «Протектората Богемии и Моравии», возникшего на костях буржуазной Чехословакии, немедленно выпустила Бродия из тюрьмы и в ознаменование его заслуг подарила ему автомобиль бывшего премьера Годжи. На этом автомобиле он и отправился прямо в Будапешт.

Там его также ожидали щедрые подарки — компенсация за все время пребывания в тюрьме, выходные, компенсация, как деятелю «Русской центральной рады», пожизненное звание отставного премьер-министра на пенсии. В Будапеште его обязали сохранить свою партию в старых формах, с тем, однако, чтобы она получила новое название «Автономный земледельческий союз» и работала по указке Будапешта.

Так Андрей Бродий во всей славе своей появился весной 1939 года в Закарпатье. Кровью заливали фашисты долины Тиссы. Крики и стоны неслись с Верховины. В концлагерях гибли тысячи людей, тысячи брели по дорогам на запад — на каторгу, в неволю. Что было до них Бродию! Он и члены его партии сами выдавали бунтарей, стремясь полностью уничтожить их, а пока что обдирали край до нитки.

— Деньги, — вздохнул Бродий. — В них сила.

И деятели Автономного земледельческого союза делали эти деньги. Бродий, Рышко и Кричфалуши стояли во главе Подкарпатского банка, святые отцы Ю. Марина и А. Ильницкий возглавляли краевой кредитный кооператив, а, кроме того, о. Ильницкий руководил еще коммерческим банком, а о. Марина был политическим советником при венгерской оккупационной армии. Да и все уполномоченные АЗС, или, как их звали, «функционеры», сидели по-прежнему в администрации, называясь «советниками при военных комиссарах».

Но сейчас, в эту вечернюю пору, Андрею Бродию было страшно. Смеркалось. По долине плыл туман, туман нависал и над дорогой. В сизой мгле исчезли колеса машины, ноги охранников, затем исчезли туловища, плечи; только головы жандармов еще плавали над туманным морем. Бродию казалось, что где-то в тумане рождаются голоса, что вблизи слышатся тяжелые шаги. Он даже взобрался на кучу кукурузных стеблей, уселся на ней, как ворон, поглядывал по сторонам злыми глазами,

а потом быстро соскочил на землю и подошел к жандармам.

— Что? Не слышать? — спросил он дрожащим голосом.

— Кажись, кто-то едет. Слышите, гудит?

— Давайте я им крикну. У меня голос — ого-го!

Было совсем темно, когда Андрей Бродий вернулся к себе, на свою чудесную виллу. Шофер въехал прямо во двор, затормозил перед застекленной верандой. На шум машины вышла жена Бродия.

— Приехал! — грубоватым, глухим голосом проговорила она. — Открыли уже тот памятник? А тут к тебе делегация верховинок приходила. Десять женщин. Целый день толклись. Слезы и слезы.

— А что им понадобилось? — жестко спросил Бродий.

— Кого-то там арестовали, что ли. Хотели, чтобы ты, как депутат, жалобу в парламент принял.

Он стоял сердитый.

— Жалобы? Подумаешь! Пусть хоть вся Верховина сюда придет, пусть...

Глава четвертая

1

Когда Ружена прощалась с отцом у раховского лесника Ярослава Гишки, оба они — и отец и лесник — советовали ей пробраться в Хуст, найти там доктора Арпада Доломаша и просить у него помощи.

Она так и сделала. Доктор Арпад Доломаш и его жена Оронка оказались на редкость простыми и сердечными людьми. Когда Ружена переступила порог их дома и сказала, что пришла от профессора Гланца, Арпад Доломаш озабоченно спросил ее:

— Вы от профессора? Чем я могу быть вам полезен? Может быть, у вас кто-нибудь заболел?

— Нет, — ответила Ружена, — я дочь Гланца и сейчас ищу пристанища.

И Ружена увидела, как всегда ласковое, добродушное лицо доктора стало еще добрее и сердечнее. Он позвал жену.

— Смотри, Оронка! Это дочь профессора Гланца... Оронка, неужели ты не помнишь ее? Ведь вас зовут Ружена?

— Да, Ружена.

— С паном профессором,— пояснил доктор,— мы старые друзья. А вас, Ружена, я помню, потому что когда-то жил в Севлюше. Но тогда вы были еще маленькой девочкой. Годы идут. А с некоторых пор мы по-новому подружались с вашим отцом. Это произошло после того, как он побывал в пражской тюрьме.

Он ничего больше не сказал, но Ружена поняла: есть сила, связующая ее отца — чеха, с хустским врачом — венгром, как поняла и то, что отец не случайно дал ей адрес доктора.

Ни Доломаш, ни его жена не расспрашивали, что именно случилось с Руженой и что привело ее в Хуст. Но она не таилась от этих людей и рассказала несложную свою историю — как когда-то повенчалась с Василем Герберой, как жила с ним несколько лет, но, убедившись, что ее муж — фашистский шпион, бросила его и ушла в долину.

— Так вашим мужем был Василь Гербера? — всплеснул руками доктор.

— Видите ли, это случилось после того, как вы уехали из Севлюша.

— Тогда все понятно, дорогая Ружена. Я хорошо знал отца Василя Герберы — Кузьму. Если угодно, и переехал я из Севлюша в Хуст именно из-за этого Кузьмы. А уж известно, что у собаки и потомство будет собачье...

Он замолчал — ему, видимо, тяжело было перечитывать черную страницу своей жизни. Ружена не могла ничего добавить к тому, что уже сказала. Молчание прервала Оронка, она предложила гостье умыться с дороги и идти к столу.

— Итак, решено,— сказал доктор, когда Ружена вошла в столовую.— Вы остаетесь у нас.

— О, зачем? — возразила она.— Я хотела только попросить у вас помощи, совета.

Доктор Арпад окинул взглядом молодую белокурую, нежную женщину, сидевшую перед ним.

— Давайте условимся,— тихо проговорил он.— Дочь нашего друга тоже должна быть нашим другом. Вашу руку? Так! А теперь я должен вам сказать, что сейчас в

Хусте, как и по всей округе,— он указал за окно,— жить очень трудно. Я отбрасываю то, что вас может разыскивать Василь Гербера. Вряд ли он станет искать вас в Хусте. Разумеется, если бы это случилось, мы подумали бы, как поступить. Но за профессором Гланцем охотится и венгерская охранка, и жандармерия. Вы должны гордиться таким отцом, но жандармам лучше не знать, что вы — его дочь... Я думаю, вам нужно переменить имя... У меня есть все документы на имя сестры Оронки. Почему бы вам в самом деле не стать Розой Саболи?

— А сама Роза Саболи? — спросила Ружена.

— Она умерла,— вздохнул Арпад.

— Дорогой доктор,— сказала Ружена.— Но как же так? Принять имя умершей женщины? Может быть, вы рискуете, оставляя меня, и, может быть, мне лучше уйти дальше?

— Не обижайте нас, Ружена,— очень серьезно проговорил Арпад Доломаш.— Вам не стыдно будет носить имя Розы Саболи. Я вам когда-нибудь расскажу ту правду о Розе, какой никто не знает. А риска никакого нет, напротив того, я хочу избавить вас от любого риска. В наше жестокое время — это неплохо, Ружена. Кроме того, добавлю,— для нас вы все равно останетесь тою же Руженой. Ведь Ружена и Роза — очень похожие имена!

И Ружена Гланц, под именем Розы Саболи, осталась в Хусте у доктора Арпада Доломаша. К ней прекрасно относился Арпад, она быстро подружилась с Оронкой. Вместе они работали в саду и на огороде.

Но по вечерам, когда заканчивались все будничные заботы, Ружена выходила в сад, садилась на скамью под развесистой яблоней, гордостью Арпада, и наедине с собой предавалась своим мыслям...

Вокруг все сгущалась и сгущалась темень, сначала Ружена видела очертания дома, дорожки в саду, стволы деревьев, но затем все это исчезало, как бы расплывалось во тьме, только звезды, мерцавшие в вышине, разливали слабый свет.

Все это напоминало сон. Но это не было, не могло быть сном. До сих пор ей не приходилось сталкиваться с чужой жизнью, а своя жизнь казалась ей серой, бесцветной. И вот она вплотную столкнулась с жизнью. Бегство из Кленов, встреча с отцом, приезд в Хуст, перемена

имени,— как много испытала она за короткое время. А какие страшные события происходят в мире! Ружена поднимала голову, прислушивалась, и даже здесь, в маленьком городке Хусте, слышала их отзвук. Прогремел по рельсам поезд — он везет адский груз и венгерских солдат на Восточный фронт; подул ветер и принес с берегов Тиссы человеческий крик и эхо выстрелов. А вот где-то в вышине, направляясь к перевалам, загудели самолеты. Да, жизнь идет, страшные события разворачиваются вокруг, но она проходила мимо них, не умея найти своего места.

И Ружена вспоминала безвестного лесника из Кленов, который с опасностью для жизни приносил ей письма от отца, вспоминала учителя Короджия, за которым неотступно следил Василь Гербера, лесника Ярослава Гишку, который ждал ее — незнакомую женщину — у мостика в Рахове и потом проводил ее к отцу. А отец... Ведь это он говорил: «Если весь народ несчастен, разве может быть счастлив отдельный человек? Я несчастен сейчас потому, что несчастен мой народ». — «Отец, родной мой отец, — хотелось крикнуть ей, — что же делать мне?»

Думала она и о докторе Доломаше, у которого ей пришлось поселиться. Этот рослый, крепкий человек, светловолосый, с ласковым взглядом серых глаз, был веселый, подвижный. Когда он возвращался, во всех комнатах слышен был жизнерадостный смех; он шутил с Оронкой, подолгу беседовал с Руженой.

— Вам, должно быть, скучно, Ружена?

— Нет, доктор, но я не могу целыми днями бездельничать. Всю свою жизнь я чем-нибудь занималась и не могу быть без дела.

— А вы будете помогать мне. Ассистентка доктора Доломаша — это, ей-ей, будет не плохо.

И Ружена начала помогать Арпаду, когда он принимал пациентов; вместе с доктором она часто посещала больных на дому, не раз дежурила у их постели. Веселый, бодрый, сильный Арпад знал, как заполнить жизнь человека.

Но Ружена видела Арпада и в другие минуты, когда он возвращался домой измученный, бледный, без кровинки в лице. Тогда в доме было тихо, только в комнате Арпада слышались шаги... А часто он и по ночам не спал, поздно уходил из дому, возвращался на рассвете. В та-

кие ночи Оронка не спала, сидела в столовой, где окна были плотно завешены. В глазах ее светилась тревога, она молчала. Но молчание порою бывает красноречиво,— Ружена начинала понимать, почему Арпад бывает весел в иные дни, почему бывает хмур и озабочен в позднюю ночную пору.

Однажды Арпад Доломаш очень поздно возвратился домой. Оронка волновалась: в Хусте еще с вечера было беспокойно, по центральной улице все время проносились машины, несколько выстрелов раздалось у самого дома врача. Еще больше забеспокоилась Оронка, а с нею и Ружена, когда Арпад наконец вернулся.

Усталый от быстрой ходьбы, бледный, с темными кругами под глазами, он старался не выказать своего волнения.

— Вы все еще не спите?

— Мы тебя ждали,— сказала Оронка.

— Ну, зачем, зачем? Могли бы лечь спать... Ты ложись, Оронка! — Потом он обратился к Ружене: — А вы, дорогая Роза, зайдите ко мне.

Он не случайно назвал ее этим именем. Когда Ружена вошла в кабинет врача, Арпад отбирал у себя в шкафу какие-то лекарства.

— Сядьте, Ружена! — сказал он и пристально посмотрел на нее.

Свеча, стоявшая на столе, озаряла его лицо, сжатые губы, глаза. Ружена еще никогда не видела Арпада таким. Перед нею, казалось, был другой человек.

— Ружена,— начал он.— Сегодня трудная ночь. И я не вправе терять ни минуты. Поэтому я хочу рассказать вам коротко о Розе...

— О Розе Саболи? — удивилась Ружена.

— Да, о девушке, чье имя вы носите сейчас... Запомните, Ружена. Она была сестрой Оронки, они жили в Дебрецене, отец их, Янош, был учителем рисования в гимназии, жена его умерла, когда родила Оронку. Кроме того, Роза была похожа на вас... Скажите, этого достаточно для ответа, если бы кто-нибудь спросил вас о Розе, то есть о вас?

— Я представляю себе Розу, но для чего вы говорите обо всем этом мне, доктор?

— Роза погибла,— продолжал Арпад,— выполняя чрезвычайно важное задание венгерских коммунистов в

Будапеште. Задание было выполнено, но наша Роза погибла. Они так и не узнали, кто была эта девушка... Дунай молчалив, он схоронил тайну Розы. Это я говорю только вам, Ружена.

— Какая чудесная была ваша Роза! — вырвалось у Ружены. — Но почему, почему вы говорите об этом сегодня?

Арпад внимательно оглядел ее — таким теплым взглядом!

— Слушайте, дорогая! За то время, что вы пробыли у нас, я обучал вас медицинскому делу, и из вас вышла неплохая ассистентка. Скажите, согласились бы вы пробыть несколько дней у постели тяжелобольного?

— Я дежурила уже возле тяжелобольных и, кажется, знаю, как ходить за ними.

— Я уверен, — вы сможете сделать все, что будет нужно больному. Но сможете ли вы и согласны ли сделать другое?.. Этот больной — очень нужный и дорогой всем нам товарищ, коммунист, друг мой и вашего отца. А за нами всеми, возможно и даже наверно, следят жандармы и охранка. Тот, кто будет находиться у постели больного, рискует наравне с нами. Могут быть всякие неожиданности, сейчас время трудное...

— Меня зовут Роза Саболи, — сказала Ружена и нашла в себе силы улыбнуться.

— Тогда пошли.

Он еще некоторое время укладывал в маленький чемоданчик лекарства, называя их Ружене и объясняя способ употребления. Потом они уже вдвоем вошли в столовую. Там их ждала Оронка.

— Ты, Оронка, не волнуйся, но мы с Руженой должны пойти к больному, я скоро возвращусь, а нашей Розе, должно быть, придется провести ночь там.

Оронка крепко обняла и поцеловала Ружену.

2

Днем Ружена вряд ли смогла бы найти дорогу, какою они шли в ту ночь. Доктор Доломаш шел впереди, часто останавливаясь, прислушиваясь, но уверенно — ему, должно быть, не раз случалось ходить этим путем.

Была поздняя ночь. Небо обложили тучи. Когда Ру-

жена с доктором вышли на улицу, вокруг была сплошная темень и пустота. Но затем глаза привыкли к темноте, и Ружена увидела очертания Замковой горы и холмы Затиснянской долины, обступавшие Хуст, как сторожевые замки. Темно было и на улице и в домах, мимо которых им приходилось пробираться; позади них, в городе, то и дело прорезывали тьму вспышки автомобильных фар, и тогда впереди них выгибались, спешили и исчезали длинные тени.

Улица, еще одна улица, мостик, огороды, кусты, болотистый грунт под ногами... Под вербой, которая высилась, как часовой среди болота, Арпад остановился, положил руку на плечо Ружены и долго прислушивался. Но вокруг было тихо, только шуршали листья вербы, в вышине плыли и плыли облака, и несколько холодных звезд обманчиво выглядывали из-за них.

И снова пошли переулочками, которые тянутся вдоль реки, возле базара. Вдруг поблизости послышались голоса: Арпад остановился, передал Ружене чемоданчик с лекарствами, а сам сунул руку в карман. Но голоса стихли где-то меж домами, по ту сторону реки. Тогда Арпад направился к одному из домишек в узенькой улице, совсем почти рядом.

Здесь Арпада, видимо, ждали. У стены дома кто-то стоял.

— Как он? — спросил Арпад, подойдя вплотную к неизвестному.

— Все так же... Кажется, спит.

— Я привел сестру, как мы условились.

— Это очень хорошо. Нам пора уже расходиться.

В доме было две комнаты, выходившие в сени. Слева была комнатка хозяев, где все спали; прямо из сеней прорублена была дверь в комнату, где лежал больной.

В этой комнате, под потолком, горел крошечный ночничок. Тусклый огонек освещал убогое жилье: голые стены, завешенное дерюгой окно, длинный деревянный топчан.

На топчане лежал больной. Ружена увидела высокий лоб, глубоко запавшие, закрытые глаза, темные, точно на них запеклась кровь, резко очерченные губы. Иногда губы вздрагивали и что-то шептали — больной бредил. Еще бросились в глаза Ружене грудь больного — она часто и высоко поднималась — и его ноги в неуклюжих

гипсовых шинах, от чего они казались непомерно длинными.

В комнате она увидела еще несколько человек — это были, как она поняла из их разговора, хозяин дома, вуйко¹ Гнат, товарищи Степан и Гаврило.

Все молчали. Арпад наклонился над больным, осматривал, выслушивал его.

— Что ж, товарищи! — сказал он. — Все без перемен, и именно так, как должно быть. Подождем день, другой. Он парень сильный и, я думаю, быстро придет в себя.

— Но ноги... — проговорил высокий черноволосый мужчина в гуцульском колушке и войлочной шляпе.

— А что, Степан?

— Эти гипсюки долго еще останутся? — указал Степан на шины.

— Я ведь говорил уже, — ответил Арпад. — Вопрос недель.

— Так, может быть, мы перенесем его в другое место, к нам? — сказал Гаврило.

— Что ты, Гаврило? — вмешался хозяин, низенький, высохший, скуластый человек в одной рубахе и коротких штанах. — Пускай уж тут лежит. Ей-ей, здесь искать не станут...

— Вуйко Гнат говорит правду, — добавил Арпад. — Сюда еще эти псы не заглядывают, а понадобится — к вам перенесем. Пусть уж здесь распоряжаются вуйко Гнат и наша Роза.

Все собрались уходить. Степан и Гаврило молча пожали руку Ружене. Она пристально глядела им в лица, точно хотела запомнить этих людей. Впрочем, ей показалось, что она видела одного из них, а именно Гаврила, в городе...

— Так мы пошли, — пожал руку Ружене и Арпад. — Вы уж побудьте здесь одна, Роза. Я думаю, больной после операции проспит всю ночь. Но на всякий случай будьте готовы. Причина болезни — падение и сильный удар.

— Я понимаю! — сказала Ружена.

— Вы должны еще знать, — сказал на прощанье Арпад. — Документы больного — Вацлава — у дядька Гната. Но сейчас он лесоруб Павло Меленич из Буштына,

¹ В у й к о — дядя (гуцульск.).

родич дядька Гната. Его сосной зашибло... А вы... но мне нечего вам говорить, дорогая Роза Саболи... Я приду завтра вечером. Прощайте.

Один за другим все вышли из комнаты. Дядько Гнат проводил их, тихо возвратился к себе.

Ружена пробыла возле больного всю ночь. Она заботливо оправила постель больного, завесила ночник, чтобы его свет не бил в глаза, убрала комнату, где был послеоперационный беспорядок... и все это делала тихо, спокойно, уверенно. После этого она села на сосновый чурбашик, заменявший табуретку, и, глядя на больного, погрузилась в раздумье.

Не раз уже у нее возникала мысль: кто этот больной? Но разве не все равно — ведь Арпад сказал, что больной — друг его и отца Ружены. Этого достаточно, он будет другом и Ружены.

«Падение, тяжелый удар», — вспомнила слова Арапада Ружена. — О чем он говорил? Лесоруб... падение... удар, — из разрозненных слов она пыталась сложить нечто целое, понятное — и не могла. — Падение... удар... А может быть, он — летчик и упал оттуда, из-за туч? Но зачем же ему падать?

Но не только это волновало Ружену. Она думала о том, сколько ей довелось пережить за ночь, вспоминала людей, которых ей довелось увидеть, перебирала их короткие фразы. И она задумывалась над тем, почему эти, казалось бы, разные люди не щадят своих сердец и жизни даже для того, чтобы забилося сердце больного товарища. А вуйко Гнат... Ведь и у него, наверно, есть жена, дети — и все они погибнут, если у них застанут этого больного. А доктор Арпад — он тоже рискует и своею жизнью, и жизнью Оронки. А Гаврило — у него, наверно, есть отец, мать, сестры. А мужчина в одежде лесоруба — Степан, он, должно быть, не из самого Хуста, а из какого-то села, где у него живут родные, близкие люди. И наконец маленькое сердце ее самой, Ружены... Почему сердца многих людей бьются так напряженно и страстно, чтобы спокойнее, ровнее, тише билось сердце этого человека?

И в ту самую минуту, когда она, опершись на руки, задумалась у постели больного, она почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Вернее, ее настороженный слух

уловил, должно быть, звуки шагов. Но ей показалось, что она ощутила на себе именно взгляд.

Ружена подняла голову и действительно встретила направленный на нее взгляд хозяина дома, дядька Гната. Подумала почему-то: хозяин, наверно, беспокоится, не может заснуть.

Но дядько Гнат смотрел на нее спокойными серыми глазами, и во всей его фигуре, на лице его не было ни беспокойства, ни напряжения. Он стоял на пороге такой обычный, простой: смуглое от солнца, ветров и морозов худощавое лицо, темные усики, давно не бритый подбородок, босые ноги, куцые, узкие холщовые штаны, рубаша расстегнута, сквозь нее видна костлявая грудь.

— Извините,— сказал он.— Обеспокоил я вас, но хотелось знать — спит ли?

— Да... спит.

— И будет спать,— уверенно сказал хозяин.

— Но почему вы не отдыхаете? — спросила Ружена.

Дядько Гнат присел на корточки у порога.

— Спрашиваете,— проговорил он,— почему я не отдыхаю?.. А я, знаете, давно уже отвык спать. Лягу, а мысли, как осенние листья с клена,— сыплются, сыплются. Настоящий листопад. Вот, скажем, думал я сейчас про этого человека,— он указал на больного,— ведь небось не ждал, не гадал,— что придется ему лежать в моей хате.

Беседа оживилась. Ружена спросила:

— А у вас жена есть, дети?

— Да,— сказал хозяин.— Жена Анка, деток трое: Катря, Настя и Павлик. Сынок у меня хороший — глаза большие, ручонками к солнцу тянется... Я, знаете, очень люблю детей,— радостно закончил он.

Помолчал немного и сам спросил Ружену.

— А вы, выходит, лекарева свояченица?

Ей было неприятно говорить человеку, который так откровенно держался с нею, неправду. Но иначе она не могла поступить.

— Да,— ответила Ружена.— Я свояченица доктора.

— А зовут вас, кажется, Роза?

— Да!

— Ну, так будем знакомы,— проговорил хозяин.

Он вытащил откуда-то из-за пазухи сигаретку, закурил, несколько раз затянулся, выпуская дым в сени.

— Ну, ну,— продолжал дядько Гнат размышлять вслух.— Говорю я,— взглянул он на Ружену,— в этой жизни кого только ни встретишь! А вы, должно быть, спать хотите. И ложитесь, там в хате есть место. Возле больного я посижу. Не бойтесь, все сделаю, не впервой!

— Спасибо,— ответила Ружена.— Я совсем не хочу спать. Может, днем посплю. А вы идите спите.

— Ладно! Пойду! Коли что, вы позовите! Я тоже, видать, не засну... Листопад, говорю, листопад...

Он вышел, не прикрыв дверь в сени, чтобы оттуда тянуло свежим воздухом.

Должно быть, уже перед самым рассветом больной проснулся. Он открыл глаза, оглядел комнату, увидел женщину,— она сидела возле него, опустив голову на руки, не то дремала, не то задумалась.

Окно в комнате было завешено, дверь заперта, ночничок разливал слабый свет, убогая обстановка комнаты — топчан, чурбанчик, на котором сидела женщина, крюк в стене с висевшей на нем одеждой — все было едва освещено.

Больной шевельнулся. Женщина поспешно подняла голову, и он увидел тогда ее бледное лицо, усталые глаза.

— Вы очнулись? — спросила женщина.— Может быть, вам что-нибудь нужно?

— Нет,— ответил он,— мне ничего не нужно... Скажите только, где я?

— Вы в Хусте... У своих людей...

— Позвольте, но кто меня принес сюда?

— Ваши товарищи...

По долгой паузе Ружена поняла, что он боится расспрашивать ее о чем-нибудь.

— А вы кто?

— Меня сюда привел врач, который делал вам операцию.

Он с испугом протянул руки и дотронулся до своих ног. Тревога разлилась в его глазах и отразилась на лице. Ружена поняла причину этой тревоги.

— Вам не нужно шевелиться, — сказала Ружена, наклонясь над больным и коснувшись слегка его плеча.— Вам нужно лежать спокойно, вечером придет врач. Слышите?

— Вечером? А сейчас ночь или день?

- Скоро рассветет.
- Мне делали операцию?
- Да! Операция сделана.
- Ноги-то целы?

— Ноги целы, доктор только положил их в гипс. Вам придется некоторое время побыть в постели.

— Слушайте! — уже более решительно сказал он. — Но ведь это невозможно! Скажите... ну, скажите, как вас зовут, девушка?

— Роза... А как зовут вас?

— Разве они вам не сказали? — Он пристально поглядел на нее.

— Доктор Арпад сказал, что вы — Вацлав, нет... лесоруб Павло Меленич из Буштына... Документы ваши у хозяина — вуйка Гната.

Он подумал немного, глядя в потолок, отер пот со лба и сказал:

— Так что ж вы удивляетесь?.. Я — лесоруб Павло Меленич из Буштына... Ну, говорите?

— Я не знала, как мне вас назвать, — несколько смутилась Ружена. — Я не смела называть вас товарищем Павлом...

— Называйте Павлом... Смело! — попробовал улыбнуться он. — Но сперва скажите, что вы еще знаете обо мне?

— А я ничего не знаю, — искренне ответила она. — Вы лежите в Хусте, в доме одного селянина, этого селянина зовут вуйко Гнат. Я свояченица местного врача Арпада Доломаша. Сегодня ночью Арпад спросил меня, смогу ли я побыть возле больного... Я согласилась... Вот мы и пришли с ним сюда. Здесь были Гаврило и Степан.

— Постойте, здесь был Степан? Какой он из себя?

— Высокого роста, волосы темные, одет как лесоруб...

— Хорошо, — вздохнул Вацлав. — Он был здесь. А где же он сейчас?

— Они ушли, а меня оставили возле вас. Доктор Арпад придет вечером... Может быть, вам еще что-нибудь нужно сейчас?

— Нет, Роза, спасибо... Мне ничего не нужно. Мне только кажется, будто все качается... Скажите, ведь это шумит лес? Нет, это не лес, а море? И сколько света

кругом! Куда мы плывем на этом корабле, Степан? Степан!

Он снова начал бредить... Ружена смочила в воде платок и приложила его к пылающему лбу больного.

— Вы, кажется, с ним говорили, — отворил дверь из сеней и остановился на пороге обеспокоенный дядько Гнат. — Может, вам чем-нибудь помочь, дорогая Роза?

3

И в этот поздний час ночи на далекой Верховине, в Кленах был один человек, который не спал, так же как и Ружена. Это был Василь Гербера — муж Ружены.

Смешно было бы и подумать, будто он так легко примирился с тем, что его жена Ружена ушла от него. Ушла! Это было бы даже неплохо для Герберы. Он не чувствовал к ней ни любви, ни даже какого-нибудь отдаленно похожего на любовь чувства. Женясь на Ружене, он думал только о выгодном браке, а если такого не получилось, то зачем ему нужна она? Но Ружена ушла, оскорбив Герберу; прислала с возчиком записку, в которой называла его, Герберу, негодяем, извещала, что никогда не вернется в Клены. Василь Гербера чувствовал себя, как пес, которого ударили по морде.

С этим он не мог примириться. Весной, спустясь с гор, Гербера заехал в Севлюш, откуда были родом и сам он и Ружена. Он надеялся, что, может быть, там найдет Ружену. Спроси его кто-нибудь в то время, для чего ему нужно видеть Ружену, вряд ли он толком ответил бы на такой вопрос.

Но в Севлюше дело обернулось по-другому. Близкие к семье Герберы люди, у которых он остановился, на вопрос о Ружене сперва промолчали, потом покачали головами и наконец под великим секретом сказали Гербере, что Иосиф Гланц, которого мадьяры выселили в Чехию, как оказалось, был коммунист: сидел некоторое время в тюрьме Панкрац, а сейчас, ходят слухи, бежал из Праги и, возможно, уехал в Россию...

Его тесть — Иосиф Гланц — коммунист! Разверзлись над Герберой небо и провалились под ним земля — это его

меньше поразило бы. Единственное желание, какое возникло в нем в эту минуту и какое он тут же осуществил, это бежать как можно дальше, бежать из Севлюша.

И тогда все, что прежде казалось управляющему школой непонятным и странным, сделалось ясным, а вместе с тем и страшным. Почему Ружена поехала, как обычно, в Рахов за покупками, но не возвратилась оттуда, а еще и прислала ему оскорбительную записку? Потому что в Рахове она встретила отца, который бежал из Праги, рассказала ему все про него, Герберу, и уже вместе они условились, что она не вернется в Клены. Значит, не только Ружена знает о нем все, а знает и ее отец, знают все коммунисты, притаившиеся в долинах и на Верховине...

Сказать по правде, когда в тот раз Гербера возвращался через Рахов на Верховину, он сильно трусил, завтракая в раховском ресторане «Тисса», с опаской ходил по улицам городка, раза два сунулся было в дом отца Александра Демьяновича, но так и не зашел к наставнику... И, едучи со случайным попутчиком на Верховину, то и дело со страхом оглядывал заросшие лесом склоны и так вздрагивал, заслышав внезапно шум горного потока, что даже возчик заметил:

— Эге, к вам, пан учитель, видно какая-то хворь прицепилась!

С той поры и начались бессонные ночи Герберы. Страх, как хищный лесной зверь, свернулся клубком, оскалился и лег на пороге его комнаты. Ведь все, все переменялось: то он следил за бунтовщиками — как назначенный государством управляющий школой, чувствовал свое право и преимущество перед ними, — а оказалось, так и не разведал ничего, а они всё знают о нем. И кто же виной этому — его жена Ружена!

Этим и объясняется то, что в течение всей весны и лета Герберу словно подменили. Он и раньше, после Сталинградской битвы, пробовал заигрывать с Короджием, но это было только заигрывание: управляющий хотел выявить настроение Короджия и ему подобных в связи со Сталинградом. Сейчас было уже не до шуток, Гербера боялся Короджия и многих других людей в селе, он растерялся и потому был так любезен со всеми ними.

Затем по селу пошли слухи, что управляющий Гербера заходил то в одну, то в другую хату, толковал с хозяевами, жаловался, что вынужден преподавать в школе по-венгерски, советовал родителям не забывать украинский язык и сам дал тому-другому ученику несколько украинских книг... Меньше стал бывать Гербера и в церкви, несколько раз сходил на посиделки, записал народные песни. Дошло до того, что Герберу даже пригласил к себе о. Федор Стрыпский, и там, в уютном кабинете поповского дома, у них произошел довольно неприятный разговор.

— Правда ли это, пан управитель,— спросил священник,— будто бы вы заговаривали в некоторых хатах на счет русинского языка, давали книжки и записывали языческие песни на посиделках?

— Да, это правда,— сказал холодно и бесстрастно Василь Гербера.

— Правда?! — воскликнул о. Федор.— Но разве это допустимо?

— А почему же, прошу вас, недопустимо? — так же холодно проговорил Гербера.— Ведь все способы, с вашего позволения, хороши, если они ведут к одной цели...

— Я не понимаю, пан управитель,— заерзал в кресле о. Федор.— Это просто какая-то мистификация...

— Нет, духовный отец, позвольте,— сказал Василь Гербера,— обо всем, что я делаю, мы наперед договорились с отцом Александром Демьяновичем.

— Гм, гм...— только и нашелся сказать о. Федор Стрыпский.

И затем уже они заговорили спокойно, не уязвляя друг друга, по-деловому, как люди, у которых была одна цель.

Гербера постепенно начал успокаиваться. Разумеется, трудно бывает говорить человеку приятные вещи, а в то же время держать за спиной нож. Но Гербера успевал: держал нож и лгал людям.

Рану, нанесенную Руженой, он зализал; у него возникла новая мысль, которая впоследствии стала убеждением: возможно, Ружена и не сказала ничего местным бунтовщикам, а поспешила уехать вместе со своим отцом, и притом как можно дальше. Ведь если говорить по правде, какой женщине приятно хвастаться тем, что у

нее такой муж, как Василь Гербера? Нет, нет, ее и поблизости нету, она никому ничего не сказала... Несколько ночей он спал спокойным, крепким сном; дикий, хищный лесной зверь, лсжавший на пороге его комнаты, стал обычным котом, а сам Гербера почувствовал, как у него отрастают прежние крепкие когти...

И вдруг все пошло вверх дном. Гербера не мог ошибиться. В день открытия памятника в Хусте, на котором Гербера обязан был присутствовать как управляющий школой, он издали заметил на улице Ружену. Заметила ли она его, — кто знает, но как он ни гнался за ней, не мог догнать. Была — и исчезла!

Он побывал в окружном управлении, где у него был знакомый человек, кинулся в гостиницы, расспросил кое-кого. Но Гербера не мог обо всем как следует и расспрашивать — ведь она, Ружена, — дочь коммуниста, а он формально ее муж. Так и покинул Хуст, и когда проезжал через Рахов, то снова с опаской завтракал в ресторане «Тисса», ходил и ходил мимо дома о. Александра Демьяновича как побитый, ехал в горы.

И теперь, поздней ночью, управляющий не спал, сидел на жестком стуле у окна, за которым в тусклом свете звезд рисовались горы, хаты верховинцев, сельская улица, и проклинал этот пейзаж, не видя в нем ничего радостного, приятного. Он думал о другом: Ружена в Хусте, где-то поблизости ее отец, там все они — коммунисты. А вот и Короджий не спит, все ходит и ходит за стеной. Так что же ему делать?

4

Учитель Иосиф Короджий действительно не спал, хотя в его комнатке давно уже погас свет. Людям часто кажется только, будто за темными окнами ходит сон, — нет, за самыми темными окнами часто, и очень часто, не спят и измена, и ревность, и великая любовь.

Василь Гербера, которого отделяла от Короджия только одна тоненькая перегородка, прилагал все усилия, чтобы напасть на след коммунистов в селе, свести с ними счеты, совершить свое черное дело, а Короджий делал вид, будто бы толком ничего о них не знает.

Иосиф Короджий, как и Данило Ковач, Сегинь и дру-

гие кленовские коммунисты, знал все про Василя Герберу, про Ружену и ее отца Иосифа Гланца. Знали они и о том, что именно заставило Василя Герберу приносить в сельские хаты украинские книжки (они посоветовали крестьянам немедленно возвратить управляющему школой эти книги), знали, почему Василь Гербера несколько раз побывал на посиделках...

Вот почему в эту летнюю ночь Иосиф Короджий, сидя недалеко от Герберы, был так далек от него. Он изучил его насквозь и знал все, что уже сделал Гербера и что он сделает теперь. Придет время, встретятся они с глазу на глаз с управляющим школой, поговорят...

Над горами плыла тихая, теплая ночь. Зеленоватосерое небо и на нем несколько ярких звезд; очертания гор — темнее в тех местах, где залегли леса и чащи, и посветлее там, где были горные пастбища; разбросанные на залитых серебристым сиянием полянах дома верховинцев; темная, шатровая, похожая на гриб церковка; улица, посреди которой то здесь, то там торчали камни, — все это напоминало нежную, мастерски написанную картину... И Короджий, как художник, ощущал всю красоту ночи.

Но за мягкими и нежными тонами ночи он видел суровую правду жизни Верховины. Лишь недавно, вечером, он был за селом, на взгорье, в хижине Данила Ковача. Туда же пришли чабан Сегинь, механик Потоки.

Они все вместе поужинали, Юлина налила им даже по стаканчику сливовицы, и Данило Ковач рассказал обо всем, что видел в Хусте.

— Борканюку бы памятник поставить, — сказал Юрко Сегинь. — И такой памятник, чтобы видели его все горы и долины...

— Придет время, — ответил Данило, — и поставим Олексе памятник. Такого человека никогда не забудут. Но до той поры еще немало дел предстоит...

— А что именно? — спросил Короджий. Юлина прислушивалась, — с некоторых пор руководители подполья обсуждали свои дела, не отсылая ее погулять или посто-рожить.

— Видел я товарища Миколу, — начал Данило Ковач, — члена краевого комитета... Вы, товарищи, помните Степана Шегуту?

— Как же! Как же! — заговорили за столом. — Помним, ведь это с ним наших людей за перевал провожали...

— Товарищ Микола говорил со мной и, наверно, еще со многими товарищами. Ведь наших там немало собралось.

— Собрали на свою голову, — засмеялся Сегинь, — ну, пусть расплачиваются.

— Товарищ Микола сказал, — продолжал Ковач, — скоро начнут наши люди из-за перевалов прибывать. Кто знает, где именно они окажутся — Карпаты велики, но и мы должны быть готовы. Это уже вас касается, вуйко Юрий...

— Ну, что ж, — ответил Сегинь. — Полонины и леса у нас широкие и привольные, можем много людей принять.

— Это верно, — отозвался Данило. — Но самая большая и широкая из полонин у нас как будто Печенежская... Там самолету свободно и сесть, и подняться.

— О, если так, то только Печенежская, — оживился Сегинь. — Я, видите ли, думал, что им нужно только укрыться, а тут — принять... Печенежская, только Печенежская! И примем, Данило!

— Нет, вуйко Юрий, — повернулся к чабану Ковач, — это вы хорошо сказали, нужно не только принять, но и укрыть. Идет осень, зима, наша весна еще далеко. Я думаю, нужно подготовить землянки в таком месте, где их никто не нашел бы, склады, еще и о воде позаботиться. Это, знаете, не только для тех людей понадобится, а, может статься, понадобится и нам самим...

Сегинь с минуту раздумывал.

— Что ж! — ответил он. — Найду такие места, давно об этом думал. Никакой жандарм не сыщет. Трудно будет раскопать все, построить, ведь у меня чабанов — горстка. Но сделаем, должны сделать...

— Вот и хорошо, — сказал Данило Ковач. — Будем ждать.

В эту минуту на дворе залаяла собака. Данило поднял голову, прислушался. Но собака сразу замолчала. Тихо было на дворе, так тихо стало в доме, что слышно было, как в котелке над огнем закипает и булькает вода.

— Пса завел,— заговорил Данило,— такого, что жандарма за километр унюхает. А это, видать, оленя в лесу почуял. Ведь у них течка.— И он спокойно продолжал, поглядывая на Короджия,— тот сидел за столом, облокотясь,— и на Ласло Потоки.

— Это одно только дело,— спокойно продолжал Данило,— следить, ждать, достойно встретить. Но мы и сами должны действовать. Недаром зимой в Усть-Черную ходили. Еще и посейчас гонведы нас там разыскивают.

— Найдут след от дождя да гром от молнии,— засмеялся Сегинь.

— Верно,— сказал Данило,— пусть ищут. Но теперь снова дело идет к большим дождям и смертельному грому. Как у вас, вуйко Юрий?

— Хлопцы готовы. Может, снова за винтовки возьмемся?

— Подождем. На все будет приказ из Рахова. А от Рахова и до Хуста, до Мукачева и Ужгорода недалеко. Пока еще предстоит другое дело. Годовщина Октябрьской революции близко, нужно ее встретить достойно.— Советская Армия уже к Киеву подходит. Может, еще до праздников успеют. А мы здесь, в горах, должны так откликнуться, чтобы и в Киеве услышали...

Вышли из хаты, молча пожали друг другу руки, разошлись по домам.

«Чтобы и в Киеве услышали»,— вспоминал Короджий слова Ковача, сидя у темного окна в своей комнате, в кленовской школе. Если бы кто-нибудь видел в этот момент Короджия, заметил бы на его лице теплую, ласковую улыбку. Учитель вспомнил, как когда-то, по возвращении из Америки, в эту самую его комнату пришел Данило Ковач и как, сжимая кулаки, рассказывал о заморских порядках, смотрел из этого окна на горы и с отчаянием спрашивал, что ему делать?

Прошло уже больше десяти лет с того дня, но Короджий, точно это сейчас было, вспоминал напоенные отчаянием слова Данила:

«Будь проклята эта Америка, лучше бы и вовек не видеть ее... А тут горе... Пришел — ни отца, ни братьев... и вокруг все, как было, ничто не изменилось...»

Иосиф Короджий сказал тогда Данилу, что на этом, пускай и втрое страшнейшем, свете ничто не стоит на месте, а все меняется, и что Данило, который знает правду про Америку и видит горе верховинского края,— уже не тот, что был раньше...

И какие великие перемены произошли с людьми за это время! Он вспомнил Олексу Борканюка, Степана Шегуту, еще многих коммунистов, которых довелось ему повстречать за эти годы, и подумал о том, какое большое дело сделали они. Данило Ковач — малограмотный, неразговорчивый лесоруб — разве такой он нынче, каким был когда-то? А Ласло Потоки — чудесный сын Венгрии, который доподлинно знает, где и в чем счастье его родины! А чабан Сегинь, согласившийся стать разведчиком гор, строителем, инженером. А Юлина, сестра Ковача,— золотая зорька верховинского края, бесстрашная связная!..

Подумал Иосиф Короджий и о себе. Нет, и он не такой, каким был прежде. Это он когда-то пришел сюда как гость, как художник, в поисках ярких красок для своих картин. С тех пор он понял, что эти яркие краски будут фальшивы и неполноценны, если рядом с ними не лягут и те страшные темные краски, которые глушат свет. И он не побоялся изображать суровые будни Верховины, ходил от хаты к хате, с горы на гору, с полонины на полонину; он теперь не гость, а сын Верховины, ее художник. Пусть не беспокоится Степан Шегута, пусть партия знает — ему будет что показать, когда придет на Карпаты светлый день!

В эту позднюю ночную пору Иосиф Короджий вспомнил еще одного человека, и приятным и радостным было для него это воспоминание. Перед ним возник теплый, ласковый облик женщины, которая когда-то ежедневно проходила под окном, часто с ним встречалась и беседовала, но главного так и не сказала, а после ушла отсюда, с Верховины, потому что хотела жить так, как живут Данило Ковач, Юлина, Короджий...

Короджий думал о Ружене,— ушла она к родным людям и сейчас, может быть, так же, как и он, сидит где-нибудь и вспоминает высокие Карпаты, Клены, тропинку у школы.

Почему же так забилося сердце учителя Короджия?

Летом 1943 года верховинского священника Федора Стрыпского неожиданно вызвали в Ужгород по случаю кончины мукачевского епископа Александра Стойки.

Федор Стрыпский был поражен этим событием. Не самая кончина владыки была тому поводом. Он весьма спокойно и даже равнодушно относился к смерти других, боялся только собственной гибели. Смерть о. Александра не была и новостью для Стрыпского — и он, и все священники епархии давно знали, что здоровье мукачевского владыки сильно ухудшилось.

Получив телеграмму о смерти Александра Стойки, кленовский священник подумал о другом.

— Епископ Стойка, — поделился он вслух своими мыслями с матушкой, — был надежной опорой нашей церкви в Закарпатье. Он, знаешь ли, дружил с папой Пием Двенадцатым еще с той поры, как папа был нунцием Евгением Пачелли и сидел в Мюнхене. Александр Стойка был секретарем мукачевского епископа Петра Гебея, а позднее — епископским викарием. Известно, от Мукачева до Мюнхена рукой подать, оба они тогда были молоды, здоровы... Вот и сошлись! А почему бы и нет? Во всяком случае, что бы там ни было в молодости между ними, а папа Пий Двенадцатый всегда проявлял расположение к епископу Стойке. Но и покойный полностью оправдывал доверие папы и много сделал для борьбы с непокорными русинами, ненавидел коммунизм и вообще был достойным слугою папы... Кто же теперь воссядет на епископском кресле в нашем древнем ужгородском соборе?

Матушка Татьяна, внимательно выслушав речь священника, тихим голосом спросила:

— А как, Федя, нового епископа — будут избирать или назначат? И из каких кругов?

Отец Федор окинул растерянным взглядом столовую, глянул на картину «Иисус Христос перед Пилатом», двумя перстами почесал лоб и ответил:

— Недостоин есмь... Епископ мукачевский должен быть, аки лев рыкающий и безбрачный... Хотя видел я

сон на рассвете, будто стою я — черный — на черном облаке и лечу над горами, лесами, полонинами. Но то сон был печеночный, желчный... все от желудка... нет, недостойн есмь.

Матушка даже слезу уронила из глаз.

— Ты мне уложи вещи, — строго приказал о. Федор. — Завтра я должен быть в Ужгороде.

Похороны Александра Стойки были проведены торжественно, с помпой. Это была настоящая демонстрация католического воинства Закарпатья. На похороны съехались все триста пятьдесят семь греко-католических настоятелей, тридцать три наместника, ксендзы римско-католических костелов, монахи, монахини, воспитанники духовных семинарий, члены всех католических орденов.

Радио из Рима сообщило, что сам папа Пий XII молился о вечном упокоении души епископа Александра, и это прозвучало как приказ: в Ужгород тотчас прилетели будапештский архиепископ Антал Папп, эстергомский — Золтан Месленый, гайдудорожский епископ Миклош Дудаш, епископы — пряшевский Петро Гойдич и коша-кошицкий Янош Мадарос...

На колокольный звон из Ужгорода отозвался и митрополит львовский, граф Андрей Шептицкий. Уж кто-кто, а он хорошо знал, какого побратима утратил на Закарпатье, недаром же и сам митрополит в молодости наезжал в Ужгород, да и Стойка был желанным гостем в монастыре св. Юра. Теперь Андрей Шептицкий уведомил письмом ужгородский капитул, что вследствие тяжелой болезни не может прибыть на похороны, но молится за покойного и посылает в Ужгород делегацию духовенства во главе со своим заместителем, о. Слипым.

Не только католическое воинство манифестировало перед черным гробом Александра Стойки. Единство с католической церковью и глубокую признательность Стойке за все содеянное им в Закарпатье выразило правительство Венгерского королевства, партия фашистов и представители всех тех партий, которые верно служили фашистам. За гробом епископа, когда траурный поезд двинулся по Капитульной улице, шли начальник генерального штаба гонведов, генерал-рыцарь Ференц Сомбатгелли, регентский комиссар Закарпатья Вильмош Пал

Томчани, представлявший своею особою Верхнюю палату, жупан Ужгорода доктор Шименфельд, много поджупанов, отставной премьер-министр Закарпатья Андрей Бродий, несколько подручных епископа из УНО и даже глава сионистских организаций Закарпатья — адвокат Юскович.

Епископа Стойку похоронили рядом с епископом Фирцаком — таким же душителем тружеников Закарпатья...

2

После похорон епископа Стойки все греко-католическое духовенство на некоторое время задержалось в Ужгороде, чтобы узнать, кто же будет назначен епископом, и в надежде, что новый владыка допустит их к своей руке.

Новый епископ — сын крупного землевладельца из долины, о. Федор, — объявил, что священники должны возвратиться в свои приходы, и оставил для беседы лишь узкий круг настоятелей. Среди избранных был и о. Федор Стрыпский.

У кленовского священника сильно билось сердце, когда он переступал порог епископских покоев.

В зале было два высоких окна; сквозь них снаружи широким потоком вливался солнечный свет. Он ослеплял глаза входивших и заставлял останавливаться. Остановился и о. Федор Стрыпский; несколько секунд он моргал глазами и только затем, приложив правую руку к сердцу и низко поклонясь, поднял глаза на нового наместника апостола Петра в Закарпатье.

Епископ Федор сидел в широком мягком кресле. Его толстый, мясистый подбородок подпирал туго накрахмаленный воротничок, темную сутану перехватывал пояс с кистями. На темной одежде ярко сверкала золотая цепь с крестом. Руки епископа цепко держались за подлокотники кресла. На безымянных пальцах обеих рук сверкали золотые перстни: с редкостным черным брильянтом на правой руке и с фиолетовым бразильским аметистом, цвет которого символизировал епископскую власть, на левой.

— Подойдите ближе, сын мой, — обратился епископ к Стрыпскому. — Садитесь, садитесь, — указал он на стул.

Отец Федор сделал еще шаг и остановился.

— Вы из какого прихода, сыне? — спросил епископ.

— Из Кленов, ваше преосвященство... Федор Стрыпский...

— Ага, Стрыпский. Припоминаю. Роман Стрыпа, должно быть, ваш родоначальник?

— Да, ваше преосвященство.

— Достойно, достойно, — заметил епископ.

Он задал священнику несколько, казалось бы, незначительных вопросов.

— Так как же там, в вашем приходе?

— Что именно интересует ваше преосвященство?

— Ну, скажем, вопросы политические, экономические, настроения верховинцев?

— Неспокойно, ваше преосвященство, весьма неспокойно. Духовное наше воинство все силы прилагает, дабы поддержать разумные начинания властей, но эти верховинцы, словно Каины, убивающие Авелей...

— Какой язык употребляется у вас в церкви?

— По указанию епископской канцелярии, — быстро ответил о. Федор, — перед началом службы я пою по-венгерски новый гимн, возносим также на венгерском языке молитвы за наших гонимых и правительство... А прочая служба исполняется по-рутенски...

— И хорошо, сын мой, — спокойно сказал епископ. — Не суть важно, на каком языке говорим мы с верующими, важно то, что говорится нами... Так вот, скажите мне, сын мой, неуклонно ли исполняете вы принятое еще на соборе диоцезии в Ягере в тысяча семьсот двадцать шестом году постановление о том, чтобы наши приходские священники в каждый праздничный день и в воскресенье поучали божьим словом *rudis populus*...¹

— Исполняется, ваше преосвященство, — затаив дыхание ответил о. Федор.

— И во всех приходах?

— Не ведаю, ваше преосвященство, говорю же токмо про собственный приход, но полагаю, что всюду так.

— А церковный совет вашего прихода действует? И определены ли обязанности кураторов? ²

¹ Невежественный народ (лат.).

² К у р а т о р — член церковного совета.

— Церковный совет у нас есть, но он не действует, — съежился Стрыпский. — Все церковные дела решаю я сам, соответственно указаниям епископской канцелярии; школа действует по указаниям властей... Так и в нашем селе, и во всех прочих...

— А эти прочие села вы знаете, сын мой?

— О, знаю, — уверенно ответил Федор Стрыпский.

Разговор оборвался. Правая рука епископа подкинулась несколько раз на подлокотнике кресла, точно он что-то подсчитывал, взвешивал.

— Мы создаем новые наместнические округа, — заговорил снова епископ. — Понеже тридцать три наместничества, коими располагаем днесь, не удовлетворяют нашим потребностям, количество наместнических округов будет увеличено. Особое внимание мы уделяем Верховине. Вы, сын мой, отныне будете наместником, благочинным, то есть будете отвечать за ваш приход, но вместе, — он заглянул в список, лежавший на столике, — еще за шесть приходов, кои войдут в ваш округ. Надеюсь, что у вас будут самые лучшие отношения с раховским наместником, отцом Александром Демьяновичем. Вы будете работать рядом с ним, но вместе с тем и под его теплою рукою. Отец Александр — депутат, почтенная особа.

Теплая, разнеживающая волна пробежала по телу о. Федора Стрыпского с ног до головы; ему стало вдруг так невыразимо радостно... Уже не только Клены, а целый округ будет в его руках. Пусть это и маленький округ, скажем пол-округа, ибо шести приходов для округа в самом деле маловато, — но все же это округ!

— Я весьма признателен за доверие! — вырвалось у о. Федора. — Денно и ночью всею душою буду молить бога за вас.

И он не удержался, сделал шаг вперед, склонился и поцеловал холодную руку епископа.

— Я надеюсь на вас, — сказал на это епископ, — но и вы должны знать, какие высокие обязанности возлагает теперь на вас капитул, церковь, папа...

Он помолчал немного и заговорил вдохновенно, с блеском в глазах:

— Наша церковь призвана действовать в масштабах

вселенских. Я должен служить в своей епархии. А ваш долг — руководить и действовать не только в своем приходе, но и в порученном вам округе...

Епископ наклонился вперед, опираясь на подлокотники кресла, и о. Федор совсем близко перед собой увидел его лицо. Был это не тот благостный лик, каким он казался о. Федору поначалу: в глубине очей епископа вспыхивали такие грозные огоньки, что кленовскому священнику стало даже страшно.

— Я вас спросил про язык, — говорил епископ. — Да, пусть пока что будет рутенский язык, ибо венгерского они не понимают. Но вы, как благочинный, должны интересоваться, что говорят подведомственные вам священники. Требуйте от них писаных проповедей, проверяйте — и присылайте сюда, в капитул... Обратите внимание, благочинный, на те старые книги, завезенные с Востока, которые порою сохраняются в наших церквах. Их — в огонь! *Damnetur!*¹ Также и иконы. Они даже и здесь ухитрились намалевать такого, что не имеет ничего общего с канонами католической церкви. Я не хотел бы вам подсказывать, сын мой, но почему ваши верующие должны ходить на богомолье в Мукачево или даже в Повч...² Они должны работать, а не ходить. Разве не можем мы иметь священные реликвии повсюду, разве не может чудо произойти в горах? А почему нет? Католическая церковь знает немало подобных примеров. И еще я хотел сказать про церковные советы. Один священник не может все делать сам, какими бы способностями он ни обладал. У нас в селах имеется немало достойных людей из партии «скрещенных стрел»³, Автономного союза, УНО!

— Я понимаю! — молитвенно сказал о. Федор.

Когда Федор Стрыпский вышел из епископских покоев, он остановился и долго стоял на лестнице.

«Похоже, — думал он, — что епископ Федор будет достойным преемником отца Александра. Как откровенно говорит он о божественных вещах. И так просто, просто!»

Перед ним круто спускалась в город кремнистая до-

¹ Запрещается! (лат.)

² Повч — монастырь по дороге в Дебрецен.

³ «Скрещенные стрелы» — фашистская партия в Венгрии.

рога, по которой триста лет назад поднимался к замку его прапрадед Роман Стрыпа. Он поднимался сюда, чтобы поставить свое имя под документом об унии с Римом, в надежде, что это принесет ему почести и славу. Но Роман Стрыпа не изведal ни того, ни другого. Триста лет поднимались к замку потомки Романа Стрыпы, но и они не знали ни почестей, ни славы.

И только он, Федор Стрыпский, первый в длинном ряду Стрып, стал благочинным в горах. Это уже много значит! У далекого потомка первого униата бешено билось сердце, душа ликовала!

Но награда пала на род Стрыпских в крайне тяжелые и кровавые годы войны. Если война закончится поражением для его нынешних хозяев, все погибнет и для о. Федора Стрыпского. Погибнет? О нет, он приложит все силы к тому, чтобы этого не случилось.

3

Разумеется, в дни похорон Стойки о. Федор не однажды встречался со своим шефом — священником консистории, о. Павлом. Встретились они и после аудиенции у нового епископа, прошли в комнату о. Павла, уселись на диванчике.

— Какое же впечатление произвел на вас епископ? — поинтересовался о. Павел.

— О! — вырвалось у Стрыпского. — Я очарован приемом у владыки; это открывает мне возможности...

— Мне кажется, возможности вам уже открыты... Поздравляю нового наместника.

— Благодарю, благодарю, — заерзал на диванчике о. Федор. — Но для новой работы сейчас весьма неблагоприятное время. Только подумать, что творится на фронте. То была Волга, а теперь уже вроде бы и Днепр.

— Отец Федор, отец Федор! — засмеялся о. Павел. — Вы таки действительно не видите дальше кленовской колокольни. Волга или Днепр!.. Ну и что же? Лишь бы дрались, лишь бы обескровливали друг друга. Вы думали, для чего существует война? Ведь все идет, как нужно. Они убивают друг друга, а наши друзья не потеряли ни одного солдата...

— Но от Днепра не так уж далеко и до Карпат,— заметил о. Федор Стрыпский.

— Это правда,— согласился о. Павел.— При современной технике даже очень близко. Долететь можно и за час. Но почему вы вздрогнули, отец Федор, что это вы так затряслись? Не бойтесь, дальше Карпат они не пойдут. Американцы уже в Африке, оттуда, надо надеяться, двинутся на Балканы. А от Балкан сюда — рукой подать. Так что не дрожите, отец Федор, как благочинному это вам не идет!..

Он помолчал, собираясь с мыслями, и снова заговорил:

— Это очень хорошо, что вы назначены наместником. Мы,— он подчеркнул это слово,— выдвинули именно вашу кандидатуру... Сами видите, что творится... Мы,— он снова сделал ударение на этом слове,— поддерживали Карпатскую Украину, пока она могла быть использована как плацдарм против Советского Союза, но теперь, когда наступление идет оттуда, игра с русинами здесь, за Карпатами, скажу прямо, опасна. Мы за тех, кто стоит на страже богом освященной собственности, религии, порядка, а все эти бунтовщики, невежественные верховинцы — наши враги. Они таковы, что, едва те приблизятся, кинутся к ним в объятия... Этого, отец Федор, нельзя допустить. Нужно сделать так, чтобы каждому было видно, что им сюда незачем идти. Какие русины, какие братья? Памятник Яношу Другету, еще один памятник жертвам первой мировой войны... Это все недурно, но это только начало. Что будет дальше с русинами, нам неизвестно, на то существуют власти, армия, жандармерия...

— Истинно! — согласился о. Федор.— Политика не наше дело, на то есть иные, более достойные.

Отец Павел поглядел на Стрыпского водянистыми, зеленовато-серыми глазами.

— В связи с этим,— вкрадчиво продолжал он,— у меня есть к вам одна просьба, отец Федор. В свое время мы много писали про русинов, разводили разные дискуссии, издавали книжки, альбомы, печатали картинки... «Пьемонт на Карпатах» — ха-ха! — засмеялся о. Павел.

— Не читал,— признался о. Федор.

— И к лучшему,— сказал о. Павел.— А теперь нужно

писать другое, скажем прямо — противоположное... Здесь, в Ужгороде, есть подкарпатское научное общество, есть журнал «Заря», печатается «Литературная неделя». Мировая пресса ждет таких материалов.

— Не читаю даже ужгородской, а не токмо мировой прессы... — чистосердечно признался опять о. Федор.

— А кто их читает? — засмеялся о. Павел. — Политическая трескотня, выдумки. Но эти выдумки нужны! Подумайте, как сейчас впору пришлась бы статья про русинов. Русинов — это, мол, не русины...

— Охотно почитаю, — сказал о. Федор и правою рукою погладил себе живот.

— Почитаете? — усмехнулся о. Павел. — Я думаю, что именно вы и должны написать такую статейку...

— Я... статейку? Да какой же из меня писака? — удивился Стрыпский.

— Отче! — перебил его о. Павел. — Вам ничего писать не придется. Вот она, статейка. — О. Павел взял со стола тетрадь, на первой страничке которой было написано: «Социальная биология русинов». — Прочитайте, подпишите, а вечером я зайду к вам. Вы где остановились — снова в «Фереди»?

4

— Метаморфоза! — сказал о. Федор Стрыпский и громко захохотал.

Перед ним на столе лежала тетерадь, которую ему вручил в епископской канцелярии о. Павел. Он прочитал всю рукопись от первой до последней строки.

— Метаморфоза! — повторил священник с Верховины.

С юных лет Федор Стрыпский считал, что на свете нельзя прожить без лжи. Вся его жизнь и деятельность были подтверждением этого. Он учил своих верующих, что бедность — это дар божий, а сам жаждал только богатства. В своих проповедях он доказывал, что земное счастье — ничто в сравнении со счастьем на небе, а сам жаждал счастья только на земле. Он учил не красть, а сам бесстыдно обкрадывал свою паству. Он учил также не убивать, но денно и нощно благословлял оружие, и у него самого руки были запятнаны человеческой кровью.

Но и его поразила статья, которую приготовил о. Павел. В ней писалось, что подкарпатские украинцы когда-то, возможно, и были какими-то веточками связаны с восточными славянами, но биологическое развитие украинцев разрушило эти связи и под многовековым влиянием Европы продолжалось обособленно, вследствие чего возник новый тип людей, какого на Востоке нигде не встретишь...

— Ну и накручено,— проговорил о. Федор, прочитав этот раздел статьи.— А вывод простой — русины вроде бы и не русины.

Дальше в статье доказывалось, что подкарпатские украинцы не желали и не желают соединяться с какими-то народами там, за Карпатами, а тяготели и тяготеют только к Западу.

— Вот и снова — уния! — процедил о. Федор, ознакомившись с этим разделом статьи.

Дальше шел еще один, и уж последний, раздел, в котором доказывалось, что и сами по себе украинцы не могут жить...

В статье о. Павла писалось:

— «Население Верховины живет бедно, крыша здешней хаты низко нависает над оконцем, так что солнце лишь украдкой может заглянуть вовнутрь; небеленая и закопченная дымом хата, всю обстановку которой составляют стол, скамья, постель из соломы вперемешку с тряпьем, ручной ткацкий станок и печь, наполнена людьми и молодыми домашними животными».

Федор Стрыпский прочитал это место и подумал: «Отец Павел — настоящий поэт! Смотри, как все правдиво описано. Но стоит ли так писать?»

Однако уже следующая строка показывала, что о. Павел поступает правильно и не случайно пишет про бедность на Верховине.

«Это не бедность,— писалось дальше в статье,— так же как не является бедностью их ежедневная пища: картошка, гнилая капуста, кукурузная похлебка с бобами и картошкой, иногда кукурузный хлеб, иногда овсяные лепешки. Это — отсталость, леность, беспечность. Так они питаются и тогда, когда заработки велики, когда цена на скот стоит высоко, и даже, когда из-за рубежа приходят крупные суммы денег. В горных селах с этой точки зрения нет разницы между богатыми и бедными...»

— Воистину! — громко сказал о. Федор, прочитав последний раздел статьи.— Все освящено богом — и богатство и бедность,— и не наше дело нарушать его святы заветы...

Он встал из-за стола и ровными, медленными шагами подошел к окну. Жил о. Федор на втором этаже гостиницы, и ему видны были внизу витрины магазинов, медные тазики у парикмахерских, колыхавшиеся под ветром с легким звоном, шумная толпа прохожих, которые шли и шли по улице.

Но в одном месте, слева, где улица поворачивала к ужгородскому замку, ему видны были и Карпаты — зеленые, голубоватые, залитые теплым сиянием закатного солнца.

В эту минуту он и подумал про Карпаты, про Верховину, где сам родился, про свою усадьбу в Кленах и островерхие хижины верховинцев на склонах гор... И почему-то снова, второй раз в течение дня, вспомнил он своих предков, которые всегда были связаны с Карпатами.

Самый давний предок его, имя которого сохранили потомки,— Роман Стрыпа,— первый предал народ, оторвал его от братьев за Карпатами, кинул закарпатцев на торжища Европы. А дальше один за другим жили они и действовали, торговали, продавали, перепродавали родной народ из рук в руки.

Федор Стрыпский, первый благочинный в длинном роду Стрып, должен сделать больше, чем его далекий прапрадед. Он должен вовсе отречься от своего народа, подтвердить, что такого народа никогда не существовало и не существует.

Но главное было то, что у Федора Стрыпского в этот решающий час даже и мысли не было: а кто же он сам — украинец или не украинец?

Он только постоял у окна, почесал за ухом, подошел к столу, сел и на тетради про социальную биологию русинов спокойно, твердой рукой вывел: «Наместник Федор Г. Стрыпский».

Когда о. Павел заглянул вечером в номер гостиницы, где жил Стрыпский, кленовский священник лежал на диванчике, закрыв глаза.

— Брат мой! — закричал о. Павел,— Что вы думаете? Люди только выходят на свет после этой ужасной

жары, а вы — спать! И потом — где статья, отец Федор? Нужно же ее прочитать и подписать.

— А что ж,— возразил о. Федор.— Почему бы и не поспать? А статью я давно прочитал и подписал...

— Вот и хорошо,— взял со стола тетрадь о. Павел.— Но неужто вы собираетесь уже спать?

— А что же делать? Я уж пообедал... А тут и на месте имеются легонькие развлечения...

— На месте? Это не к лицу благочинному, брат мой! Я нынче приглашен в один дом. Почтенные люди — кое-кто из властей, из консистории, редактор журнала, для которого написана эта статья, с супругами. Может, пойдём, брат мой?

— Вроде бы неудобно,— пробормотал о. Федор.— Священник с Верховины, и в такое общество...

— Не священник, а наместник. И кроме того — автор весьма интересной и крайне нужной статьи. Ну, живее, свежий воротничок, шляпу.

Священники быстро миновали притихшие, затемненные улицы, пересекли рыночную площадь и начали подниматься по крутой улочке в гору. Обитателям города в это время под страхом смертной казни запрещалось выходить на улицу. Духовные отцы тоже встретили несколько патрулей, но те, разглядев в темноте сутаны, молча пропустили их.

Остановились перед виллой на Высокой улице. Все здесь было в зелени и цветах, от аромата которых кружилась голова. Открывая калитку, невольно взглянули на долину — она лежала холодная, немая, темная, только где-то вдалеке воровски поблескивали время от времени фары автомобилей, а еще выше, у перевалов, лезвия прожекторов рассекали черную ткань неба.

Окна виллы тоже были завешены, но на застекленной веранде слышались голоса, из комнат долетали звуки музыки.

Отец Павел поговорил с охранником, который вынырнул из темноты перед ними, назвал свое имя и имя о. Федора и смело двинулся вперед.

Поднялись по лестнице на второй этаж. И здесь стояла охрана. Лампочки слабо мерцали под потолком.

Вскоре они очутились в залитой светом гостиной. Здесь было довольнолюдно.

— Знакомьтесь! — живо сказал о. Павел. — Новопосвященный наместник с Верховины...

Он по очереди познакомил о. Федора со всеми присутствующими, а также и с самой важной духовной особой — с викарием капитула, апостольским протонотарием о. Александром Ильницким. Викарий был пьян как стелька, моргал тупыми холодными глазами, никого не узнавая, сопел большим, похожим на свеклу носом и беспричинно хохотал.

— И ты, Брут! — закричал он, увидев о. Федора и принимая его, очевидно, за кого-то другого. — O tempo, o mores!¹

Федор Стрыпский и о. Павел подсели к редактору «Литературной недели» пану Баранде. О. Павел отрекомендовал Федора Стрыпского.

— Это, пан Баранда, наместник Стрыпский, он написал для вашего журнала статью «Социальная биология русинов». Я вам приносил первый вариант этой статьи.

Пан Баранда, который был сильно близорук, а к тому же еще и туговат на ухо, приставил свои глаза к самому носу о. Федора и закричал:

— Читал! Очень хорошо! А не могли бы вы написать нам статью про закарпатские диалекты? Возьмите диалект бойков, диалект лемков и докажите, что это отнюдь не украинские, а своеобразные, особые диалекты, которые могли возникнуть только здесь, за горами...

Отец Федор сделал большие глаза, но о. Павел подмигнул ему и крикнул пану Баранде:

— Такая статья уже пишется. Не бойки и лемки, а угро-русы... Ясное дело!

— А потом я бы хотел, — снова закричал редактор, — заказать еще одну статью: «Антропология закарпатских русинов». Было бы очень интересно — сделать обмеры черепов, глазниц, челюстей и доказать, что эти черепа не имеют ничего общего с черепами людей, живущих за Карпатами... Ха-ха-ха! Я читал подобную статью в одном американском журнале. Необычайно смело и оригинально... Антропология!

— А что ж, можно, — сказал о. Федор, чувствуя, что

¹ О времена, о нравы! (лат.)

у него на лбу и на крыльях носа выступают капли пота, — но где найти эти черепа...

— Найдем! — уверенно сказал о. Павел.

— Уважаемые писатели, — ехидно кинул в эту минуту Андрей Бродий. — Я давно говорю о том, что если осел любит зеленую траву, а ее нет, то нужно надеть на осла зеленые очки. Тогда и солома покажется ему зеленой и вкусной травкой. Но вы, уважаемые писатели, что-то слишком медленно надеваете на русинов зеленые очки.

Редактор пан Баранда сжался и поднял острые плечи, точно готовясь к прыжку.

— Я думаю, пан Бродий, что эти очки прежде всего должны надеть на них вы. Вы, как особа, близкая к правительству, отставной премьер-министр на пенсии...

— Премьер-министр на пенсии! — процедил Бродий. — К чему звания, если сейчас нужна самая простая вещь — вооруженная сила.

— Господа! — вмешался в разговор полковник Кричфалуши. — Все эти ваши пререкания ни к чему. Первое и основное сейчас — фронт. Я уверен, что там в самом недалеком будущем произойдет нужный нам перелом. На фронт брошены новые силы, недалеко время, когда пойдет в ход и наше секретное оружие. Днепр — это не Волга.

— А если они, — раздался голос редактора «Благовестника», — если они все-таки перейдут Днепр?

— Тогда, я думаю, нам всем придется взяться за то, о чем сейчас здесь говорили, — ответил полковник Кричфалуши. — К чему зеленые очки, Андрей? К чему социальная биология, антропология?.. Винтовка и плеть — вот и все!

— Алли-луй-я! — завопил вдруг о. Александр Ильницкий.

В зал вошел хозяин дома, пан Гуцало, — ужгородский промышленник, член Автономного земледельческого союза, член многих корпораций и обществ.

— Господа, — объявил он, — хозяйка дома просит всех вас к столу.

Федор Стрыпский с о. Павлом последними прошли в просторную, залитую ярким светом столовую, где уже был накрыт стол. Тут было много пышных великосветских дам и не переставая играл оркестр.

Отец Федор даже попятился, пораженный, ошеломленный всем тем, что он увидел. Но у него чуть не выскочило сердце из груди, когда он увидел среди гостей старого своего знакомого, воспитателя дочери Марии, — о. Никодима, а рядом с ним и свою дочь Марию!

Глава шестая

1

Когда Степан Чижмарь и его товарищи готовились к возвращению в родной край, они думали, что на месте, в Закарпатье, разобьются на две группы. Одна группа будет действовать в районе Ужгорода, вторая — в пределах Хуста. Первую группу должен был возглавить Степан Чижмарь, вторую — Федор Крух. Что же касается Вацлава Цемпера, то он, как бывший офицер, специалист своего дела, должен был организовать деятельность партизан на первых порах и после этого направиться в Прагу, откуда все время шли тревожные вести.

Напряженная военная обстановка заставила изменить эти планы. Степан Чижмарь в первую же ночь после высадки у горы Менчул побывал на полонинах, нашел чабана, который по заданию краевого комитета уже ждал их. На следующую ночь Чижмарь с чабаном побывали в Хусте и через других доверенных людей нашли Степана Шегуту. Степан Шегута был очень обрадован тем, что из-за Карпат прибыл первый отряд родных людей. Чижмарь сообщил, кто именно с ним прибыл, рассказал о несчастном случае с Вацлавом Цемпером.

Первоначально намеченный план на месте оказался непригодным. Переходить одной из групп в Ужгород, лежащий в стороне от железнодорожных магистралей и битком набитый солдатами, жандармерией, полицией, шпиками, было вовсе не целесообразно. Кроме того, в Ужгороде, Мукачеве, Поляне и Воловце действовали уже хорошо законспирированные подпольные группы, они охватывали всю северную часть Закарпатья. Там же, то в Ужгороде, то в Мукачеве, а иногда в маленьком рабо-

чем поселке Чинадиево издавалась подпольная «Карпатская правда».

Меньше сил партийной организации сосредоточено было в южной части Закарпатья — в районе Хуста, Солотвина, на Раховщине. Там, как страшная эпидемия, прошла волна волошинского террора и сделали свое черное дело оккупанты.

Именно эта южная часть Закарпатья могла и должна была стать полем деятельности для партизан. Там проходили две важные железнодорожные магистрали — на Дрогобыч и на Станислав, там был выход в Румынию и Венгрию. Там, наконец, было меньше и вражеских гарнизонов.

Вот почему Чижмарь и Шегута пришли к выводу, что новым партизанам следует разделиться на группы — севлюшскую и хустскую, с тем что обе эти группы будут тесно связаны с мукачевскою и ужгородскою группами, а хустская, кроме того, расширит круг своей деятельности на Иршавщину, Тячевщину, Раховщину. В этих местах можно было создать широко разветвленную сеть подпольных партизанских отрядов, которые постепенно могли стать действующими, боевыми, способными наносить сокрушительные удары по оккупантам.

Кроме того, все они были уверены, что в ближайшие месяцы на Закарпатье прибудет еще несколько групп, которые в свое время вынуждены были покинуть родной край, а теперь рвались в бой. Подпольные группы коммунистов готовы были принять своих братьев и на Воловщине, и в районе Синевирского озера, и на Раховщине.

Так Михайло Дякун, Федор Крух и Иван Лога оказались в Севлюше, а Степан Чижмарь, Степан Лизанец и Василь Чижмарь направились в Копашнево и соседние села.

Долина, которая начинается вблизи Хуста и тянется на восток, — одно из лучших и наиболее живописных мест Закарпатья. По обеим сторонам ее высятся горы, они играют и переливаются всеми красками, какие только существуют в природе. Покрытые густыми пихтовыми и буковыми лесами, — среди которых там и сям видны горные пастбища, — с вершинами, возносящимися над лугами и лесами, горы нежно голубеют и курятся легкой дымкой на заре; зеленые, темно-зеленые, синие, они величаво

встают на фоне ясного неба днем, грозно темнеют и, кажется, еще выше вздымаются к небу в торжественные вечерние часы...

Много ручьев рождается здесь, высоко в горах, где росами опадают туманы и где тучи часто сеют дожди; много ручьев, родников бежит по склонам прямо из-под камней и земли, и все они с мелодическим звоном, а то и шумно, гулко спадают, летят, катятся вниз, в долину.

В долине же, — а она издали кажется свежей, зеленой, — среди заболоченных лугов-мочажин, и между скал, которые сорвались с круч и, точно величественные памятники, стоят то здесь, то там, вьется буйная, голубоводная Рика и верткий, беспокойный в паводок, извилистый, похожий на змею Хустец.

По берегам речек тянутся села Нанковое, Селище, Копашнево и подальше от них — Драгово. Села кажутся привлекательными издали, но не вблизи. Села эти, как близнецы, похожи друг на друга: везде над рекой в один ряд стоят большие островерхие дома, возле каждого дома большой огород, стога, амбары; дальше от реки стоят уже не дома, а хижины; они, точно сбившись с ноги, беспорядочно разбегаются по сторонам; иные хижины, как ласточкины гнезда, взобрались на горы и ютятся высоко на склонах, иногда так высоко, что удивляешься, как они держатся там, не сорвутся в долину. Безрадостна, неприглядна картина старого закарпатского села: богачи жили у самой реки, на хороших участках, а голодная, убогая беднота — на горных склонах.

Вот так раскинулось в долине и село Копашнево: над Хустцем стоят дома зажиточных хозяев, между ними, как насадка, торчит, выставив купол, шатровая церковь, а дальше по прогалинам и выше, в горы, все более убогие лачуги бедняков... А кругом поднялись под самое небо горы, здесь они еще выше, чем возле Хуста; горы покрыты лесами, а среди лесов тянутся веселые полонины. Веселые полонины — и скажут же люди!

В одну из ночей в начале августа в Копашнево пришел Степан Чижмарь. Он подошел к селу не мощеной, хустской дорогой, а с той стороны, откуда начинается узкая тропа на полонину и где редко можно встретить ночью человека,

Был поздний час. Низко над краем неба висел тонкий и бледный, зеленоватый месяц. Позади Степана громадой стояли горы, перед ним лежало родное село. Черные хатки сливались с темнотой ночи; деревья и ограды напоминали кучи камней. Но Степан даже в ночной темноте видел и узнавал улицы села, издали узнал хаты — свою и братнюю.

Какой человек, казалось бы, смог удержаться и после многих лет разлуки не зайти в родной дом, где шуршит листьями клен, где во мраке рисуются очертания хаты, клуни, оборога¹, где пахнет, как и в далеком детстве, коноплей и гвоздикой?

Степан Чижмарь, однако, направился не в отцовскую усадьбу, а совсем в другую сторону, по лужайке, щедро покрытой росой, между кустами, откуда вспархивали и тоскливо кричали ночные птицы; он зашагал прямо к оборогам, которые стояли, точно заговорщики, на широкой мочажине. Там его ждал Василь Попадинец. Предупрежденный заранее о приходе Степана, Василь, как только стемнело, вышел из села, прокрался к оборогам и стоял там, наблюдая и приглядываясь.

Он издали увидел Чижмаря и вышел к нему навстречу. Степан тоже заметил его.

— Ты, Василь?

— Я, Степан, я!

Друзья не видались много лет. Они обнялись и поцеловались.

— Вот и хорошо, что вернулся, Степан. А я уж думал — жив ли, здоров ли? Ведь сколько лет не видались. Не мало — пять лет прошло. Давно ли воротился?

Они уселись под навесом оборога, откуда видно было все кругом.

— Ну, как, Степан, ты один вернулся или еще кто из наших людей?

— Василь мой; может, знаешь еще Михайла Дякуна и Ивана Логу?

— Ну, как не знать? Где же они?

— В разные стороны разошлись. Василь будет здесь близко, в Селище.

¹ О б о р о г — соломенный навес на четырех столбах, под которым хранят хлеб и сено. Навес может подниматься и опускаться по мере надобности.

— А ты сам надолго?

— Надолго, Василь! Здесь мне быть, в Копашневе. Как у вас?

— А что ж, Степан? Знаешь сам, что за люди! Те, кто раньше в аграрии записывался, а после, когда Волошин появился, к нему поперли, теперь к Бродию перекинулись. Ну, заводила у них поп Косей, управитель школы. Мольются, просвещают. Тут у нас о них даже песню сложили:

Чорний патер¹ на козі,
Бродій на собаці,
Автопомію несуть
Для наших руснаків!

Попадинец усмехнулся.

— Их, Степан, сам знаешь — горстка. Ну, наедут жандармы, пригонят еще гонведов, но ведь и жандармы и гонведы вечно сидеть не будут — уйдут. И снова их горстка. А нас — смотри сам! — Он обвел рукой село, долину, горы, полонины.

— Наши люди уцелели?

— Многих не стало...

Попадинец называл имена. Мужчин, женщин, юношей...

— Приезжал недавно капитан ихний, Росс; двести хлопцев и дивчат забрал... Оленку — помнишь ее, дочка Михайлихи? Ивана Петрового — с ним ты в школе на одной скамейке сидел... И слушай, Степан, — продолжал Попадинец, — сожги они у меня хату — ладно, поставлю новую; заberi все добро — тоже ладно. Но если у меня, Степан, забрать отца, брата, дочку, тогда я так рассви-репею, что мне уж ничего не будет страшно.

— Собираетесь? — спросил Степан.

— А как же! Соберемся ночью, ружья на плечи — и айда на шлях, где их вояки идут. Уже полетело немало ихних машин на перевалах, уже три склада сожгли, — и всё далеко от села... Горы, — закончил Василь, — разве выдадут наших людей горы!

— Это хорошо, — сказал Степан Чижмарь. — Но горы должны скоро зашуметь еще громче.

— Скажи, Степан, — спросил Попадинец Чижмаря, — а скоро ли оттуда придут?

¹ Черный патер — Августин Волошин.

— В этом году, пожалуй, уже не успеют,— ответил Чижмарь.— Но будущим летом непременно придут.

— Наши люди ждут, надеются, что к Новому году будут.

— Думаю, не успеют,— повторил Степан.— Далеко до нас, Василь. Ведь там каждый шаг кровью поливается. А союзники — не торопятся.

— Знаем,— перебил Попадинец.— Уж кто-кто, а наши люди знают... Что ж, будем ждать и дождемся-таки. Семь веков ждали — что значит еще одна зима?

— Но зима будет лютая!

— Говори, что нам делать, Степан!

— Сколько в селе коммунистов осталось?

— Человек двадцать.

— Все верные люди?

— По-моему, все, разве что Дмитро Кисточка...

— А что он?

— С волошинцами одно время крутился...

— Не будет дела! — сказал Степан.— Кто свою душу хоть на минуту продал таким иудам, как Волошин или Бродий,— не будет от такого толку. Пускай работает у нас, пускай искупает вину, но присматривать за ним нужно на каждом шагу. А о том, что у нас делается, Дмитро не должен знать...

Чижмарь помолчал немного, а затем сказал:

— Хватит! Олексы не стало, сколько наших людей погибло! Сейчас мы должны беречь каждого человека, но работать нужно на полную силу. Я поговорю с каждым о том, что делается за горами, пусть знают, как здесь предстоит действовать. Скоро уже загремит здесь, в горах, так, что в Ужгороде и Будапеште затрясутся. Мы с тобой, Василь, отвечаем за Копашнево. Но нужна связь с другими селами — есть у тебя такие надежные люди?

— Найдутся...

— Это хорошо. Когда у нас такая связь будет, начнем давать сведения подпольному штабу; где проходят воинские части, куда направляются. И сами будем получать оттуда сведения — что происходит на фронтах, близко ли наши люди. Идет зима, в такую пору трудно что-нибудь сделать. Но мы должны набирать сил на весну, тогда они больше всего понадобятся.

— Хорошо, Степан,— сказал Василь и спросил: — А жене про тебя сказать?

— Скажи,— ответил Степан.— Пускай завтра ночью сюда придет. Через нее уже я и братьев позову. Они, сам знаешь, твердые, надежные люди. А домой не пойду... Видишь, что случилось с Олексой. А в наших ущельях меня сам черт не поймаст...

— Это верно! — сказал Василь.— Я для тебя такое местечко приготовил в лесу, что туда никто и ни за что не доберется. Охотничий шалаш! А знаешь, здесь, в горах, оккупанты трусливы и слабодушны. Еще днем заглядывают в село, а как начнет темнеть — только пыль встает по дороге на Хуст...

— Трусливы — это так! — ответил Степан.— Погоди, Василь, они еще трусливее станут. Должны бояться не только человека,— камня, дерева, куста. Земля должна под ногами у них гореть. И будет гореть!

2

Василь Жупан с большим трудом пробирался из Фогораша в Селище. Где Фогораш, а где Селище! А тут непогода, дождь, на долинянский шлях, где одна за другой идут военные машины, лучше и не суйся. А тропинки залило водой, грязью.

И все же Василь бодро шагал от села к селу, от хутора к хутору, от рощи к роще. Конечно, идти было тяжело: плохонькое пальтишко промокло насквозь, коричневая ветхая войлочная шляпа неприятно липла ко лбу, к тому же она еще и протекала, башмаки свистели и пищали, как гармошка. Порою Василь даже жалел, что не послушался жены и не обмотал шею теплым платком. Но что толку от какого-нибудь там платка в такую непогоду, одна минута — и он тоже промок бы насквозь.

Еще нес он в руках торбочку из домотканого полотна, с яблоками и орехами. Ну, не смешно ли — нести из Фогораша в Селище яблоки и орехи? Но в Селище живет его теща, и жена сочла бы за тяжкую обиду, если бы Василь, отправляясь в Селище, не взял подарка для ее матери. «Что ж, Василь, неси фогорашские яблоки да орехи! Раз-два, раз-два!» А что еще могла передать Настя матери? Ведь ничего у них в хате, кроме яблок и орехов, нет... И то — яблоки купленные. А без подарка идти нельзя...

Горько, когда тебе никто ничего не дарит, а еще горше, когда ты сам подарить не можешь. Василь даже остановился и посмотрел на свою серую полотняную торбу. Яблоки и орехи! Ну так что? Лишь бы от чистого сердца! Ну, вперед, Василь, раз-два, раз-два...

Так шагая, вспомнил Василь один подарок. Хоть было это очень давно, он помнил все так, словно произошло это сегодня; припомнил село Рокосово, своего отца-учителя и сестер, а всех их было семеро...

Хоть и бедно жили они в Рокосове, но отец считал священным долгом сделать подарок каждому из своих детей, когда те оканчивали сельскую школу. Василию он подарил складной ножик с двумя лезвиями и с шилом! О, каким чудесным казался ему тот ножик со стальными лезвиями и шилом! Для Василя это было сокровище небывалое, драгоценное!

И Василь, конечно, сберег бы этот отцовский подарок на всю жизнь... Но он потерял нож в Праге, где учился на шоферских курсах. Окончив курсы, он долго искал работы. Когда последняя надежда была потеряна, Василь из Праги выехал в Закарпатье — учительствовать. Отец был учителем в Рокосове, сын Василь трудится в Фогораше...

На этих хлебах можно было с ума сойти! Чешские аграрии закрывали украинские школы, королевское правительство запретило все языки, кроме венгерского... А кого учить по-венгерски в Фогораше, если в селе одно лишь название венгерское, да и то заведено недавно — ведь испокон веков Фогораш Зубовкой¹ прозывался...

В те годы, когда Олекса Борканюк был секретарем молодежной организации Закарпатья, а затем редактором газеты «Карпатская правда», секретарем краевого комитета коммунистической партии в Мукачеве, — Василь Жупан учительствовал в Поляне и в других селах, куда его загоняло школьное управление, в то же время он нелегально работал как молодежный организатор, коммунист, член комитета.

Когда Олекса Борканюк был арестован и когда его держали в мукачевском Конере, в Раковцах-коштеле², а потом повезли в Будапешт и казнили, — в эти дни Ва-

¹ Фог — зуб (венгерск.).

² Конер, Раковцы-коштель — фашистские тюрьмы.

силь Жупан работал в полянском подпольном комитете, а затем в Мукачеве, в Фогораше.

И теперь Василь Жупан шел из Фогораша в Селище, разумеется, не для того, чтобы отнести теще подарок; туда его вело другое, более важное дело.

Он пришел в Селище, когда уже совсем смерклось. Теща ждала его, приготовила ужин, бутылку береговского вина. Но Василь, вручив теще подарок жены и сообщив, что Настя жива-здорова, чего и матери желает, не стал ужинать, а спросил:

— Тут ко мне никто не приходил?

— Вчера приходили двое,— ответила теща.— Сказали, нынче придут, когда совсем стемнеет.

— Тогда,— сказал Василь,— я поужинаю вместе с ними.

— Ужинайте, дорогие, я не стану мешать... У меня дело нынче, к соседям надо зайти на крестины...

Теща завесила окна, зажгла свет, а сама отправилась к соседям. Едва она вышла, возле хаты слышались шаги.

— Добрый вечер, Василь! — сказал, входя, Степан Чижмарь.

Жупан знал Степана и Василя Чижмарей,—они стояли сейчас в дверях; позже он узнал, что третий товарищ, который пришел с Чижмарями, был Попадинец.

Жупан с восторгом глядел на Чижмарей. Они были, казалось, из той же среды, что и он сам,— лесорубы, рабочие, может быть батраки из панской усадьбы, но... они так недавно возвратились из-за Карпат, где жили, говорили и действовали среди тех людей, которых и сам Василь, и родители его, и дети считали родными,— среди свободных советских людей!.. Василю казалось, что они должны быть другими, гораздо богаче его, счастливее. Это чувство не покидало Василя в течение всей их беседы.

Он долго пожимал им руки, словно касался рук тех людей, которые живут за Карпатами.

— Здравствуй, Василь! — сказал Степан Чижмарь, отвечая на крепкое пожатие руки таким же, если не более крепким рукопожатием.— Так вот ты какой!.. А я думал, изменился, постарел...

— И я так о тебе думал,— засмеялся Василь.— Видно, мы оба представляли себе друг друга подрыхлее.

— Ну, пожалуй, хорошо, что мы не старимся,— заметил Степан.— Вот так бы и дальше.

— А чтобы не стариться, давайте сядем за стол... Теща моя, видите, и закуску и по стаканчику приготовила...

— Что ж, хлопцы,— сказал Степан,— шли мы все издалека, сядем за стол... В селе как будто тихо, на улице сторожат. Ну, дорогой Василь, рассказывай, что делается на Мукачевщине. Для этого мы тебя и вызвали нынче. Связь нам — ой, ой, как нужна, и мы ее наладим. Поднимай чарку! За успех нашего великого дела!

Наутро Василь Жупан вышел из Селища. В руках у него была торбочка — не та, которую он нес накануне, чуть побольше и из более плотного полотна. В ней тоже были яблоки и орехи — из Селища, подарок тещи.

Василь Жупан закинул торбочку за плечи. Ладно! Нынче пусть будут яблоки и орехи. Лишь бы от чистого сердца.

Шел он бодро, живо. За ночь дождь утих, ветер спал, вокруг все было словно начисто умытое, яркое, играло, сверкало разными красками, а воздух такой чистый, что кажется, повесь паутинку, и ту будет видно... Он шел — и слышал свои шаги, глядел на долину, на горы — и не мог наглядеться, налюбоваться...

Короткая, деловая встреча, но сколько новых чувств вызвала она у Василя, как много сказала его сердцу!

Раньше у них было несколько подпольных групп. Сам Василь Жупан работал в Мукачеве, Поляне, Фогораше. Но не стало Хомя Маркуса и Юрка Визиканича, — они перешли уже к активным действиям, погиб Олекса Борканюк; зверские расправы, постоянная слежка, всяческие притеснения заставили группы уйти в глубокое подполье, свернуть работу, ждать...

Теперь для Василя — словно кругозор расширился. У них уже есть связь с Севлюшем, налажена связь и с Хустом, а пути от Севлюша и Хуста тянутся дальше и дальше, по всем Карпатам, и еще дальше — за крутые перевалы.

Василь Жупан остановился и оглядел горы. Вершины их еще терялись в голубой мгле, но некоторые уже поднялись из тумана, высились, как маяки, у края неба — розоватые, теплые, озаренные солнечным сиянием. Всегда, глядя на горные вершины, Василь Жупан думал о далекой родной украинской земле, лежащей за ними.

Сейчас Василию казалось, что вершины Карпат совсем близко и так же близко лежит за ними вот эта обетованная советская земля. Он шел по поработенному краю, но душу его пронизывало сияние нового дня, радость грядущей победы.

3

Ружена провела у постели больного несколько ночей. Хотя молодой организм боролся с болезнью и побеждал ее, Арпад Доломаш каждую ночь приходил к больному, осматривал его внимательно и озабоченно.

После этого врач возвращался домой, а Ружена оставалась с больным, прислушиваясь к его бреду, откликаясь на первый зов...

Долги осенние ночи, когда за окном стонет, плачет, как дитя, ветер с гор, когда в стекла окон стучатся, точно просятся в дом, капли дождя, когда от стен и пола тянет неприятным холодком. Неимоверно долги ночи у постели больного.

Победила молодость. Пришел наконец вечер, когда Ружена услышала:

— Сегодня, Роза, вы можете идти домой. Желаю вам доброй, спокойной ночи! Не забывайте Вацлава.

— Так вы на самом деле Вацлав?

— Вацлав... Не удивляйтесь, был Павлом и еще кое для кого буду Павлом, но для всех вас я сегодня Вацлав.

— Хорошо, что вы это мне сказали,— проговорила Ружена,— а то бы я и не знала, кто вы.

— Коммунист, друг вашего отца, а также и Арпада... Но почему вы торопитесь? Посидите, пока совсем стемнеет. Сядьте вот здесь, Роза!

Она присела на чурбанчик у постели больного. Окно в комнате не было еще завешено. Со двора вливались голубые сумерки, и Ружена видела близко перед собой большие глаза Вацлава, румянец на бледном лице, длинные худые руки.

— Так вот, Роза, скоро и я уйду...

— Я говорила с доктором, и он сказал, что вам придется полежать еще несколько недель,— проговорила Ружена.

— Врачи преувеличивают,— возразил Вацлав.— Больные редко выполняют предписания врачей.

— Вам еще далеко до полного выздоровления, Вацлав!

— Нет, Роза,— возразил он.— Ноги больны, но сердце стучит, мозг работает, мыслит, как нужно. Я до сих пор не знал, но сейчас вижу, какая радость — возвращаться после болезни к жизни и к труду... Вот я и возвращаюсь. Сколько впереди работы, и какой!.. А вам, Роза, спасибо. Вы сделали очень много для меня...

Он взял ее руку и даже вздрогнул, должно быть оттого, что у него была горячая рука, а у нее — такая холодная.

— Меня не за что благодарить,— проговорила Ружена.— Я сделала только то, что должна была сделать... а это так мало.

— Мало? — Он сжал ее руку.— Нет, Роза, доктор Арпад лечил мои ноги, а вы поддерживали сердце. До конца дней моих я вас не забуду... А теперь прощайте, Роза.

Ружена вышла, быстро пробежала по огороду, заторопилась к дому врача. Хуст погружался в беспокойный, тревожный сон. По улицам уже проходили, заглядывая в окна, патрули.

Каждую ночь жандармы и агенты кемельгарито врывались в дома, обыскивали, кого-то уводили, и каждую ночь на берегу Тиссы раздавались выстрелы: обрывалась чья-то жизнь...

Ружена это знала и потому торопилась к укромному домику Арпада Доломаша. Ей казалось, что после стольких бессонных ночей она повалится на постель и заснет крепким, спокойным сном. Арпад, увидев ее, сказал, довольный:

— Ну, теперь спать, спать, Ружена!

Но что такое? Когда погас свет в комнате, она села на диванчике в углу столовой, где всегда ночевала и раньше. Окно в комнате закрыто ставней, заперто на засов. Вокруг стеной стояла непроглядная темень. Жарко натопленная печь дышала теплом. Казалось бы — все тревожное и страшное осталось позади; значит, пусть ненадолго, быть может, но пришли спокойствие, тишина, сон. Но Ружена не могла заснуть.

Она сидела на диванчике, вспоминала Вацлава, его слова, думала о той опасности, которая постоянно, как хищная птица, висит у него над головой. И почему-то в эту

ночь Ружена вспомнила еще одного человека, который был далеко от нее, далеко от Хуста.

Ей вспомнился школьный дом в Кленах, на Верховине, окно комнаты учителя Короджия и сам учитель; у него такой добрый, ясный взгляд, тихий голос. Как страдала она за учителя долгими ночами, когда Гербера прислушивался к шагам в соседней комнате. Как она боялась тогда за учителя Короджия!

Еще больше боялась за него Ружена теперь.

4

Настала пора, когда обычно в долине отмечали «День винобрания». А где же в Закарпатье больше виноградников, как не в Севлюше? Встанешь посреди долины, на дороге из Хуста в Мукачево, а вокруг, куда ни глянь, склоны гор утопают в виноградниках, словно зеленое море мерцает, играет, пенится, — ряд за рядом, куст за кустом, и на каждой лозе — тяжелые, синеватые или желтые, как янтарь, гроздья: ягода в ягоду, покрытые нежной пылью!

С давних пор в тот день, когда выжимали последний сок и когда уже пенилось, играло в бочках молодое вино, вобравшее в себя жаркие лучи летнего солнца и все пьянящие запахи Затиснянской долины, — богачи проводили «День винобрания». Скорые поезда мчались из Праги в Мукачево, летели машины из Ужгорода в Севлюш, рысаки несли по долине лакированные коляски. Вечером на склонах гор зажигались костры, там резали молодых ягнят, там пировало, объедалось, напивалось панство, и в лунном сиянии к небу летели томительные звуки цыганских оркестров, манящие слова песни «Прилети, моя ласточка!». А из убогих хат на это пиршество глядела голодными глазами беднота долины и проклинала «День винобрания», с которого для нее начиналась полуголодная осень, голодная зима, проклинала насилие, неволю, панов!

Фашисты также хотели отпраздновать «День винобрания». Это звучало смешно, потому что гонимые восьмого венгерского корпуса, части которого были расквартированы по округе, еще зеленым сожрали виноград на плантациях, а торговая организация «Ностра футура» нало-

жила свою лапу на остатки винограда, уцелевшие от гонимой саранчи, и непрерывно вывозила их в Берлин, Вену, Будапешт...

В Севлюш в назначенный день наехало много господ; дворец барона Перени ломился от гостей. В этот день на улицах Севлюша видели полковника Кричфалуши, Андрея Бродия, отцов А. Ильницкого и Ю. Марину, кто-то пустил слух, будто в город прибыл сам регентский комиссар Вильмош Томчани.

Вечером во дворце барона Перени начался бал, оркестр заиграл мазурку и чардаш, волной полились коньяк и палёнка.

Во дворе одного из домов, на тихой улочке, невдалеке от дворца Перени, стояли двое мужчин и прислушивались к тому, что делалось в городе. До них долетали приглушенные звуки музыки из баронского дворца, слова песни «Я — солдат Хорти, самый красивый солдат», — это пели возле дворца пьяные охранники-жандармы. Больше ничего — немой, словно мертвый, город лежал окрест, не слышно было ни голоса, ни звука.

— Пожалуй, самая пора, — тихо сказал Михайло Дякун.

— Пожалуй. Теперь они ничего не видят и не слышат.

— Нынче мы сможем все закончить, — добавил Дякун. — Ну, пошли!

Неподалеку у стены дома стояла жена хустского жителя Михайла Гандеры, невысокая, худенькая, с приятным голосом, Олена Гандера. Дякун и Лога подошли к ней.

— Ну, мы пошли, Олена.

— Идите, идите. Я постою здесь, во дворе, а доктор будет сторожить на улице.

Под домом Гандеры был темный подвал. Туда и спустились Дякун и Лога.

Плотно затворив дверь и завесив ее дерюгой, Дякун зажег фонарик. На обложенных красным кирпичом стенах подвала заблестели крупные капли росы, из темноты вынырнули мешки с картошкой, сложенные одна на другую доски, какие-то бочки, старый домашний хлам, поломанная мебель. По стене заплясали тени, словно кто-то все время прятался за этой свалкой старой рухляди.

Михайло Дякун поднял один мешок, сдвинул в сторону другой. Под ними была спрятана небольшая рация,

похожая на ту, которая попала к полковнику Кричфа-луши.

— Ну, Иван, включай! — сказал Дякун.

Иван Лога надел наушники, вторую пару дал Михайлу и включил рацию.

Издалека, издалека донеслись родные звуки. Говорила Москва. Михайло Дякун сел на мешок, положил на колени тетрадку и начал записывать. Совинформбюро передавало сводку с фронта.

— Слушай! — прошептал Михайло, когда закончилась сводка.

Тихо-тихо в наушниках звучала песня:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Пусть ярость благородная
Вскипает как волна.
Идет война народная,
Священная война!..

— Прекрасная песня! — вырвалось у Михайла Дякуна. — Идет война народная, священная война! Что ж, Иван, переходи на передачу. Пусть за Карпатами знают, что народная, священная война идет и у нас.

Глава седьмая

1

Работница Анка, как обычно, заметила бричку о. Федора, чуть только она начала подниматься по дороге к селу; матушка, как всегда, встретила батюшку в воротах усадьбы.

— Похудел, настоятель, — начала она. — Даже глаза ввалились, сутана висит, как на вешалке. Что с тобой случилось, настоятель?

Отец Федор вылез из брички и отряхивал пыль с сутаны.

— И ничего ты не понимаешь,— вдруг обернулся он к матушке.— И не настоятель я...

— Как это не настоятель? — схватилась обеими руками за сердце матушка.

— Не настоятель, говорю, а благочинный, наместник... Воззри на меня — наместник новой Верховинской округи, отец Федор...

— Ах-ах-ах! — воскликнула матушка и только потому не кинулась к новому наместнику и не расцеловала его, что о. Федор повседневно поучал ее, что прилюдно целоваться священникам с женами не подобает.

Но одною этою новостью не ограничилось; войдя в дом, о. Федор выложил целый ворох других событий и происшествий.

— А главное,— сказал он, снимая сапоги и надевая свои мягкие туфли,— наша Мария объявилась...

— Где? Когда? Как? — даже побледнела попадья.

— В Ужгороде ныне наша дочь,— ответил о. Федор.— С фронтом у нее все покончено, и то хвала богу! Не женское дело — фронт. Суть на то иные люди, воинство. Хотя и на фронте Мария сделала свое дело, ибо женщина, матушка, облагораживает все, и даже убийство. Святая католическая церковь, воспитанницею коей является и наша Мария, призвала ее к иной, более почетной миссии. Распространение веры, или, как мы теперь говорим, защиты веры,— о матушка, если бы ты знала, как много значит среди грохота войны и рева танков дело распространения веры! Славное наше воинство сооружает разные линии Арпада, но разве храмы наши не являются цитаделями на линии духовной защиты? И мы распространяем и защищаем веру — я на Верховине, дочь наша Мария — в городе, среди католической молодежи. Вскоре она побывает и у нас, в горах! Я возлагаю на нее великие надежды...

Произнеся такую длинную и сложную тираду, о. Федор сразу увял и с беспокойством сказал матушке:

— А как же я хочу есть! Ты уж мне дай, что у тебя есть лучшего. О сильваш гомбоц¹, — как говаривал покойный капитан Чакши. Но сейчас у тебя сильваш гомбоца нет, и капитана Чакши, мир его праху,— нет. А теперь дай я тебя поцелую, матушка!

¹ Сильваш гомбоц — вареники со сливами (венг.ск.).

Федор Стрыпский еще по дороге из Ужгорода успел составить мысленно «план реформ»; как он сам называл мероприятия, связанные с его наместническим чином.

«Наместническая округа в зоне военной линии Арпада» — это звучало недурно. Но в этом о. Федор видел еще и другой смысл: так же, как армия сумела взорвать скалы на перевалах, вырубала вековые леса, — так и он обязан в доверенных ему приходах выкорчевывать среди верховинцев бунтарский дух, уничтожать малейшее проявление симпатии к украинскому народу за Карпатами.

Он, конечно, собирался в ближайшее время объехать все свои приходы, заглянуть в душу каждого священника, кое-что выпытать, кое о чем догадаться — *ad maiorem dei gloriam*¹.

Но нужно было прежде всего начинать со своей церкви и с самого себя. Он — наместник в своей округе, но в любой день, в любой час, даже поздно ночью в Клёны могут наехать чиновники консистории, — ведь в католической церкви никому не бывает пощады, она безжалостна и свирепа, когда речь касается того, что негодно престолу и новой фашистской державе.

В первый же день по приезде он отправился в церковь и, когда Кузьма широко распахнул двери, постоял с минутой на пороге, как бы мысленно беседуя с богом. А на самом деле он внимательно осмотрел иконостас и все образа, висевшие в притворах церкви. Нет, здесь уже давно не было украинского духа, лики святых и божьей матери с короной св. Стефана на голове были бесцветны, холодны, неподвижны и, главное, — безжалостны.

— Отомкни мне ризницу, — сказал о. Федор сторожу Кузьме.

Что-то тихо запищало и зашуршало, когда о. Федор вошел в ризницу, и он подумал, что это, должно быть, мыши, и даже попугал их: «А-киш! А-киш!»

В ризнице был склад всякого завалящего церковного добра. Тут были старинные, поломанные подсвечники, иконы с выцветшими красками. В сундуке без крышки, у самых дверей, были беспорядочно навалены книги в тяжелых кожаных переплетах: ими пользовались давние предшественники Федора Стрыпского. Раза два Стрыпский брал в руки эти книги, тут были старопечат-

¹ Ради вящей славы бога (лат.).

ные издания Ивана Федорова из Львова и Святополка Чеха из Кракова, тут были записанные руками причетников ноты, так называемые «сойковые»¹ и «безлинейные», еще шестнадцатого столетия. Федор Стрыпский взял как-то эти ноты домой, попробовал проиграть их на фортепиано. И вдруг закричал: «Это не церковные песнопения! Причестники попросту горланили в храме мужицкие песни!» Он снова отнес ноты в церковь и швырнул их в сундук...

Были в сундуке также и рукописи. Священники заносили в них сведения о погоде, урожае, разных болезнях, которые время от времени косили обитателей Верховины; встречались в них и скупые заметки о восстаниях и бунтах. Федор Стрыпский, просматривая книги, нашел в них записи про опришков² Довбуша и Марусяка... «Это вредная писанина!» — крикнул тогда Стрыпский и кинул рукопись в сундук на съедение мышам.

Сейчас он в сумерках, уже заполнивших церковь, с перекошенным от злобы лицом вынимал из сундука книги, ноты, рукописи, швырял их на пол.

— Отнеси все это ко мне в дом, — сказал о. Федор Кузьме.

Еще он остановился перед иконой богоматери, которая давно потемнела и стояла в ризнице, в углу, десятки лет, загаженная мышами, покрытая пылью.

Какая-то мысль промелькнула в голове о. Федора, но он еще не представлял отчетливо, чему может послужить эта икона.

— Матерь божью, — добавил он Кузьме, — возьми и поставь за алтарем, в божнице...

Только тогда о. Федор вышел из ризницы, тихими шагами прошелся по церкви. Эхо в вышине, в темных узких сводах повторяло его шаги.

До поздней ночи клубился дым над трубой в доме наместника, и серый, хрупкий пепел, поднимаясь вместе с жаркими искрами в вышину, летел по ветру, ложился на зеленые поляны, падал в воду быстрого горного потока.

¹ Сойковые ноты — старинные записи церковных песнопений.

² Опришок — закарпатский повстанец. Так называли в XVII—XVIII вв. людей, уходивших в горы, чтобы бороться с угнетателями — венгерскими и польскими панями и австрийскими властями.

Фирма братьев Клумаков делала большие дела. Карпатский бук! — о, как рвали у Клумаков это дерево военное министерство и частные фирмы! Едва успевали поставлять его Клумаки!

Дмитро Клумак, по своей медвежьей натуре, не умел и не хотел фантазировать, но, когда его брат Гаврило, зажмурясь, думал о своих делах, ему казалось, что стоит он перед гигантской трубой, она глотает бревна бука целыми дюжинами, так что даже пищит: еще, еще, еще! А из другого конца этой трубы с огнем и дымом вылетают самолеты, выскакивают танки, курится какой-то ядовитый газ...

Площадь лесосек, арендованных Клумаками, с каждым годом росла и росла, уже не только кленовчане работали на делянках, туда направлялись лесорубы из самых отдаленных местностей.

Но в Закарпатье орудовали тогда не только Клумаки. Рядом с их делянками тянулись лесосеки Клемпушей, дальше — Ключуряков, еще дальше, за перевалами, рубила лес «Латорица». Точно пожар шел по горным склонам, валились леса, истреблялась краса Карпат, все поглощала война.

Падали деревья; каторжный труд на лесосеках валил с ног людей. Но им не было выбора. Либо концлагерь, либо лесосеки. Шли на лесосеки...

Деньги, говорят, меняют человека. Это всецело относилось к Гаврилу Клумаку. Он уже не был маленьким панком с Верховины, который когда-то гнул спину перед большими панами, нет, он сам был паном, носил костюм из тонкого синего сукна, желтые ботинки, калоши; три золотых зуба украшали верхнюю челюсть с левой стороны, а сигарета — уголок губ. А главное — самоуверенность, упорство, спесивость!

С Гаврилом Клумаком считались — еще бы! Его часто можно было видеть в окружном управлении, в кабинете ужгородского жупана Шименфельда, в приемной регентского комиссара Вильмоша Томчани. Да что регентский комиссар! В случае надобности он доходил даже до самого министра внутренних дел, пана Яроша... Денег у Гаврила Клумака миллионы, как не считаться с таким человеком!

Богатство требовало порядка. И самому — чем дальше, тем больше приходилось беречься. Куда ни сунешься — всюду слухи об убийствах, взрывах, пожарах. От землячков русинов Гаврило Клумак добра не ждал.

Когда на лесопилке Клумаков убили жандарма Габора Бакони, четверо его товарищей сразу же сбежали в Рахов и, говорят, еще дальше. Не выдержали, выходит, жуткой и опасной жизни в горах. И как ни просил Гаврило Клумак в жандармском управлении, он так и не добился, чтобы ему дали еще нескольких жандармов. Не помогали уже и деньги.

Тогда Гаврило Клумак, подписывая в Будапеште новый контракт на поставки, обусловил, что фирма Клумаков заготовит и переработает определенное количество бука, но охрану предприятий фирмы военное министерство возьмет на себя. В министерстве согласились — ведь там видели ясно, что без охраны не будет бука.

Не так легко было, как оказалось, найти такую охрану. Всех гнали на фронт туда и только туда шли солдаты. Пришлось Гаврилу Клумаку обратиться к самому министру внутренних дел Ярошу. Фирме Клумаков дали пятерых калек, которых уже нельзя было послать на фронт.

О, что это были за солдаты! У одного из них была какая-то ползучая грыжа, у второго — незаживающие раны, еще двое были полуслепые и наконец последний, Иосиф, которого прозвали Иоськой, был попросту сумасшедший: он, например, по секрету сообщил Гаврилу Клумаку, что приходится внуком Францу-Иосифу, а брат его — испанский принц.

— Сборище калек и полоумных, — сказал Гаврило Клумак брату, когда эти отставные солдаты явились в Клены. — Но не бойся, такие вот недобитые — страшная штука. Вот увидишь, как они будут стеречь!

И они стерегли. Спали только днем, и то по очереди. А ночи напролет, не выпуская из рук автоматов, солдаты караулили на двух башнях, построенных по краям лесопилки. Они боялись в этих горах за свою жизнь. Но разве Клумаку не все равно было? Лишь бы стерегли!

Единственное, чего не мог добиться Гаврило Клумак — это поднять Дмитра на «высшую ступень культуры», как он выражался. Дмитро по-прежнему болел какой-то ко-

ростой, по-прежнему страдал от бессонницы и ходил обрванцем.

Странно и смешно было видеть братьев Клумаков, когда они по воскресеньям шли в церковь. Франтовски одетый Гаврило и рядом с ним мешковатый Дмитро, который к тому же все чесался и чесался.

— Ты бы хоть оделся по-человечески,— не раз говорил ему Гаврило.— Хочешь, я тебе костюм куплю... В Ужгороде, в магазине Ратца видел.

— Это ты про меня? — поднимал свои белесые брови Дмитро Клумак.— Да разве я холостяк?

— Ты не холостяк и вообще не человек, а медведь, носорог, бегемот,— наливался кровью Гаврило.

— Что ж, бегемот — птица неплохая, слышал про такую,— жевал нижнюю губу и почесывался Дмитро...

Ну, разве мог быть мир между этими единокровными братьями?

3

И окончательно обострились отношения между братьями после того, как Гаврило Клумак побывал на открытии памятника в Хусте, где удостоился рукопожатия самого пана Калаи и беседовал с ним. Немеш¹ Гаврош Клумаки — вот что дала эта встреча! Даже в газетах того времени, в одном из списков новоиспеченных дворян, было объявлено, что звание это присвоено предпринимателю Гаврошу Клумаки, положившему столько сил на алтарь отечества.

Услышав эту новость и узнав, что Гаврило возвратился в Клены, Дмитро сразу же пожаловал в гости к брату. Он, конечно, старался сдерживаться, но одышка и хищный блеск в глазах выдавали его волнение.

— Немеш! — презрительно процедил он.— Гаврош, да еще и Клумаки...

— А хоть бы и Чертяки! — в тон ему ответил Гаврило.— Ну так что, немеш Гаврош Клумаки и в то же время член и уполномоченный Автономного земледельческого союза на Верховине. Все оформили. И билетик уже в кармане.

— Погоди,— удивился Дмитро.— Так кому же ты теперь служишь? Был поначалу ты чешским аграрием;

¹ Немеш — дворянин (венгерск.).

при Волошине — депутатом сейма; теперь — венгерский дворянин и русинский автономист. У меня даже мурашки по телу пошли.

— Это не мурашки, а короста, — насмешливо ответил Гаврило. — А если хочешь знать, то думаю я на русинском сырьё зарабатывать мадьярские капиталы, а с мадьярских капиталов брать американские дивиденды...

— Хоть ты меня и бегемотой окрестил, — признался Дмитро, — а все-таки не понимаю я тебя, Гаврило.

— Не понимаешь? — засмеялся Гаврило Клумак. — А что тут понимать? Вон эти русины, — он указал за окно, на убогие верховинские хаты, — мечтают об одном, об Украине за горами. Мы мечтаем о другом и служим многим богам. Да — служили чешским аграриям, да — хлопали в ладоши Закарпатской Украине, а теперь служим фашистам. Сегодня — венгерским и немецким, а там — кому под руку подвернемся. Вот какая у нас автономия! И если ты хочешь так же, как и я, на этом еще и заработать — скажи мне, куда ты деваешь капиталы, которые мы с лесосек и тартака получаем. Я могу и тебя научить дивиденды загребать.

— Куда деваю? — заморгал Дмитро. — Трачу, конечно... Ну, какое-нибудь там пенге берегу про черный день...

— Про черный день? — Голос у Гаврила стал тише, но строже. — Так, может, ты мне какую-нибудь сотенку тысяч одолжишь?

— Тебе? Да на что? И, ей-ей, нет у меня...

— Я деньги не прячу, а вкладываю в акции. Хочешь, бóльший процент дам на твои деньги, чем сам получаю? Мне лишь бы акций побольше собрать...

— Ты снова по-своему, по-американски?

— Да уж не по-украински. Разве можно в наше время прятать деньги в сундук? Акции — вот это великое дело, барыш, сила.

— Не хочу я больших барышей. Малый хосен лучше, чем большой, не кусается. Наше дело такое — купец, что стрелец, пуганого зайца ждет.

— Ты мне насчет пуганых зайцев и малого хосена брось! — Гаврило даже за грудь схватился. — Это сто лет назад так было: пенге на пенге да еще пенге. В наше время нужно по-новому, по-американски — из землевладельцев нам нужно переходить в промышленники, капи-

тал в своих руках собирать, чтобы на одно пенге было десять, двадцать, сто.

— Не умею я на большие деньги считать,— усмехнулся Дмитро Клумак.— Деревянная моя бухгалтерия такого счета не выдержит.

— Врешь,— перебил его Гаврило.— Что касается денег, ты, пожалуй, не беднее меня. Только ты на сундуке с деньгами сидишь, а я хочу, чтобы пенге пенге догоняло. А теперь, в военное время, и подавно. Говорили люди, на дрожжах все хорошо всходит. Это вранье, лучше всего всходит на крови. Ну, так дашь денег?

— Нету у меня,— вздохнул Дмитро.

Дмитро не признавался брату. Деньги у него без дела не лежали. Была война, и он не хотел вкладывать свои деньги в какие-то там акции, класть в банки. Потихоньку, полегоньку захаживал он в ближние села, поил писарей, водился с сельскими старостами и скупал землю. «Земля,— рассуждал он,— дело надежное, верное, лежала она и лежать будет — лишь бы документики на нее были». А что касается документов,— они были в исправности. И зарубку за зарубкой нарезал Дмитро на одной из кленовых досочек. Угр за угром с одной стороны, десяток угров с другой.

Не рассказывал обо всех своих делах и Гаврило. Когда-то он собирался вложить свои капиталы в фабрику, поставить над горным потоком большую лесопилку, химический завод. Одно время думал даже поставить спичечную фабрику. «До каких пор в Закарпатье будут зажигать,— говорил он,— только чинадиевские спички? А что, ежели спички Гаврила Клумака?» Даже снилась ему, и не раз, такая фабрика над горным потоком в Кленах. Но фронт приближался. В горах было беспокойно. Какая уж тут фабрика? Налетят из-за гор — сам сгорешь как спичка.

На открытии памятника в Хусте Гаврило Клумак встретил старого своего знакомого мистера Стога. Выглядел мистер Стог неплохо, на груди — фотоаппарат, в кармане пиджака золотое перо.

— Вот и прекрасно,— сказал Стог, увидав Клумака.— А я как раз собирался к вам в горы. Идемте, пан Клумак, пройдемся по этому Хусту...

И они зашагали все дальше и дальше от площади, мимо памятника Духновичу, на Киришскую, Глубокую.

— Так вы теперь — мистер Стог или как-нибудь иначе? — спросил Гаврило, идя со своим давним американским знакомцем.

— Тише, пан Клумак! — проговорил американец. — Я давно уже Стогаль, подданный нейтральной Швейцарии... Сейчас прибыл как газетный корреспондент...

— Понятно, — сказал Гаврило Клумак. — А знаете, я с некоторого времени начал читать гезеты.

— Вы уже читаете газеты? — удивился Стог. — Это очень хорошо, это — прогресс, пан Клумак.

— Хотя и прогресс, — ответил на это Гаврило Клумак, — но я не все понимаю в этих газетах...

— А что ж тут понимать? — тихо засмеялся Стог. — Все идет, как надо. За Карпатами армии уничтожают одна другую — и ладно...

— Что верно, то верно, — согласился Клумак. — И правда, убивают. Но ведь фронт подвигается все ближе к Карпатам. Что делать?

— Вот потому-то я и намеревался ехать на Верховину. Дальше Карпат они не пойдут. Но до Карпат дойти могут. Пусть кто-нибудь там заботится о военных делах, а вы позаботьтесь о другом. Нам нужно собрать здесь побольше капиталов, приобрести побольше собственности.

— А как же их собрать? Капитал не птица, его голыми руками не поймаешь...

— С голыми руками мы никогда и не ходим, пан Клумак. На ваш счет в Подкарпатском банке мы можем перевести из Швейцарии нужные средства. А вы на месте скупаете акции, входите пайщиком в товарищество «Латорица», в «Лан»... Ей-ей, не промахнетесь, пан Клумак. И дивиденды получите такие, какие вам и не снились. Значит, по рукам? Какая сумма нужна вам? Ну, разумеется, наше старое условие тоже остается в силе — вы были и будете нашим агентом — «невидимым гармонизатором» на Верховине. Все может быть! Возможно, к вам приедет ненадолго кто-нибудь из наших людей, возможно, мы вас пригласим как-нибудь в Швейцарию... Но главное — не прозевать, забрать в свои руки как капиталы, так и предприятия... Скупайте, собирайте!..

Об этом Гаврило, понятное дело, не мог рассказать Данилу.

На открытии памятника в Хусте побывал не Золтан Репаша, а сын его Янош, хотя, казалось бы, там надлежало быть самому Золтану Репаша. Ведь в первую мировую войну он получил бронзовую медаль за свою службу в хозяйственной команде. Однако он не поехал в Хуст по весьма важным причинам.

В своем приказе регентский комиссар подчеркивал, что в день открытия памятника в Хусте все власти в городах и селах Закарпатья должны оставаться на своих местах и принимать нужные меры для поддержания порядка. Правительство изрядно побаивалось хустского памятника. Золтан Репаша был биромом — сельским старостой, — поэтому он хотя и начистил кирпичом и нацепил на грудь ради такого знаменательного дня свою бронзовую медаль, но вынужден был оставаться на месте, в Кленах.

В том же приказе говорилось, что на открытие памятника в Хуст должны прибыть ветераны новой, второй войны, чтобы дефилировать перед памятником и трибуной. И они дефилировали с криком: «Хайль, хайль, ура!» В числе этих ветеранов был Янош Репаша.

Разумеется, все это сказывалось на отношениях между отцом и сыном. Однако у Золтана Репаша, сельского старосты, а следовательно — представителя власти в селе Клены, уже давно не было никакой власти в собственном доме.

Началось с той поры, как Янош Репаша — без одного глаза и одной руки — пришел с фронта. Это был уже не тот Янош, которого Золтан Репаша когда-то, по родительскому праву, обзывал дурнем, болваном, чучелом. Теперь Янош сам называл отца соломенным чучелом, бочкой с квасом, а раз обозвал даже вонючим хорьком. А когда отец попробовал возвысить голос на сына, тот устроил такой скандал, что Золтан Репаша раз навсегда закаялся перечить Яношу. И, черт его побери, у Яноша оставался еще один глаз и одна рука: он видел, где стоит водка и закуска, и только и знал — пить, жрать и спать. Поэтому в скором времени превратился он в откормленного быка.

Вот так у Золтана Репаша, который имел лучший дом в селе, похвалялся славными предками и собственными подвигами и, наконец, был начальником — старос-

той, в его собственном доме, в семье бразды правления выпали из рук. И проклятая Юдит, его жена,— она и раньше не проявляла особенной симпатии к мужу,— теперь решительно стала на сторону Яноша, сына. Чего доброго мог ожидать от таких родичей Золтан Репаша!

Золтан Репаша, хотя у него, конечно, и скребло на сердце, все же, стоя у ворот с бронзовой медалью на груди, ждал, когда загрохочет по Раховскому шоссе машина Гаврила Клумака,— Янош вместе с ним ездил в долину.

Янош явился с громом и треском. Прежде всего он прибыл не на машине Клумака, а на мотоцикле с коляской. Мотоцикл вел капрал с двумя белыми звездочками на воротнике. Янош, в новой военной форме старшины, с тремя серебряными звездочками на обшитом серебряным позументом воротнике, сидел в коляске.

— Ну! — сказал Янош, вылезая из коляски. — Я вижу, медаль нацепил. Герой! А я приехал с Марадиком...¹

— Марадик! — удивленно протянул отец.

— Марадик Шимон! — откозырял капрал.

Старшина и капрал были под хорошим хмельком и, еле держась на ногах, вкатили мотоцикл во двор.

— Палёнки... сала... капуста!.. — коротко приказал Янош, войдя в дом.

— Сейчас, сейчас, — засуетилась Юдит.

Когда все сели за стол, Янош сказал:

— Как наш дед, отец, был на приеме у Франца-Иосифа?

— Да, Янош.

— А вы были на войне в четырнадцатом?

— А как же! Видишь, медаль.

— Так вот мы поставили вам памятник в Хусте. Герои первой мировой войны зачислены в покойники и должны молчать. Нам нужны герои второй мировой войны. Так сказал нам всем премьер-министр Венгерского королевства, пан Калаи. Наш дед только говорил с Францем-Иосифом, вам дали бронзовую медаль, а мне дают оружие, мотоцикл и деньги. Вот они, видите, — Янош вытащил из кармана пачку бумажек по сто пенге и швырнул их на стол. — И чтоб вы знали, отныне я военный комендант в Кленах.

¹ М а р а д и к — охвостье (венгерск.).

— Военный комендант? — переспросил Золтан Репаша. — В Кленах?..

— «В Кленах»! — насмешливо передразнил отца Янош Репаша. — Это не какие-нибудь там Клены, а село у линии Арпада. Это — стратегический пункт в зоне смерти перед линией нашей обороны...

— А что ж ты будешь делать? — слабым голосом спросил Золтан Репаша.

Янош глядел единственным своим глазом в окно — на село, горы, перевалы.

— Что я буду делать? — процедил он зловеще. — Вы еще не знаете, на что способен Янош Репаша. Вы увидите, что такое военный комендант армии Хорти! Ждите гостей, отец, а скоро услышим и о других новостях.

5

Новости не заставили себя ждать.

Янош Репаша прежде всего поинтересовался, кто живет в Кленах, и стал частенько захаживать к отцу в сельскую управу, расспрашивал, дома ли тот или иной хозяин, где его дети, — особенно сыновья. Золтану Репаша о многом пришлось рассказать, ведь Янош действительно не знал села, смолоду у него в Кленах не было ни одного друга, позже он учился в долине — в Будапеште, а после того находился на фронте. Всем чужой был здесь Янош Репаша, и все были чужие ему.

Военный комендант завел в селе военные порядки. Каждое утро солдаты, работавшие на лесопилке Клумака, обязаны были теперь являться в сельскую управу. Тут Янош их выстраивал, подавал команду, проводил боевым порядком по улицам села. Недобитые волки!

Кроме этого, Янош с Марадиком только и делали, что носились на мотоцикле по селу, вламывались в дома и требовали то палёнки, то закуски, пили, жрали, не обращая внимания на голодных селян, их жен и детей.

Однажды в селе случилось кровавое происшествие, никто не сомневался, что это — дело рук Яноша Репаша.

Он давно хвалился отцу, что к ним в Клены придут гости, писал рапорты в Рахов, сам часто ездил туда. Однажды ночью, когда он возвратился в село на мотоцик-

ле, на улице слышался гул машины, топот многих ног, звон оружия, крики, ругань.

Утром гонимые сто пятьдесят седьмого полка вломались в несколько хат на селе, куда их водил Янош Репаша. В то утро погиб от их пуль под двумя ясенями у своей хаты Кирило Верещкий; из двух хат — Романа Хижняка и Ивана Човбана — гонимые выгнали их семьи и погнали в долину.

Бохтарь Шепа, по приказу старосты, объявил во всех концах села, что семьи Романа Хижняка и Ивана Човбана сосланы в лагерь на каторжные работы, потому что их сыновья находятся за Карпатами. Глухо бил в этот день барабан сельского глашатая, и печально звучал старческий его голос.

— Это еще только начало! — говорил Янош отцу. И он говорил правду.

В Клены въехали два фургона с полотняным верхом, на высоких кованых колесах. Усталые лошади лениво тащили фургоны. Хлопали длинные бичи; в фургонах, рядом с окованными медью сундуками, швейными машинками и прочей домашней утварью, сидели закутанные в цветные платки и шали женщины и дети. Рядом с фургонами, покуривая трубки, шли, озираясь по сторонам, взрослые мужчины в фетровых шляпах, пиджаках, жилетах и брюках, заправленных в узкие сапоги. Лошадей погоняли заспанные грязные мальчишки, они неистово кричали на подъемах: «Гейсть... ча, гейсть... ча, гей... гей!..» За фургонами долго висело, опадая на шлях, рыжее облако пыли.

Лошади остановились перед сельской управой. Туда же немедленно пришли Золтан и Янош Репаша. Снова загрохотали фургоны, проехали мимо лесопилки, и Ласло Потоки, стоя за воротами, слышал, как Янош Репаша бодро говорил своим спутникам: «Для вас, многоуважаемые гости, все это найдется».

Фургоны остановились в конце села, возле усадеб, где жили раньше Иван Човбан и Роман Хижняк.

Вечером Ласло Потоки пришел в этот конец села. Механику хотелось знать — кто это приехал в Клены. Он узнал возы из пушты — венгерской степи, услышал голоса приезжих: это были мадьяры.

Он остановился возле усадьбы Романа Хижняка, где теперь посреди двора вынимал из фургона какие-то вещи бородатый мужчина.

— Добрый вечер, — поздоровался Потоки, остановясь у перелаза.

Бородач выпрямился, и Ласло Потоки увидел его лицо. Оно было неприятно: глаза у бородача были черные, злые, вороватые, из рта торчали большие желтые зубы.

— Добрый вечер, — ответил бородач. — Что я слышу? Земляк?

— Да, я венгерец, работаю механиком на тартаке.

— О! — Бородатый сделал шаг вперед. — Так вы, должно быть, Ласло Потоки? Будем знакомы. Мне о вас говорил пан биров, — бородач протянул Потоки руку. — Будем знакомы. Я — Лайош Цайлик... Да вы зайдите к нам во двор, многоуважаемый.

«К нам во двор»! Как страшно это звучало! В доме Романа Хижняка, где всего неделю назад ходил настоящий его хозяин, где так недавно Ласло и Роман сидели на завалинке, глядели на горы, совещались о партизанских делах, — здесь были теперь новые хозяева...

— Как тут живется? — торопливо расспрашивал теперь Лайош Цайлик. — Вы давно уже в горах?

— О да, пан Цайлик, давно... Я приехал сюда почти двадцать пять лет назад.

— Да вы коренной верховинец! — крикнул Цайлик, но сразу поправился: — Вы достойный венгерец, защищаете интересы нашей страны на Востоке. Теперь нас будет здесь все больше и больше. Вот приехал я с моим соседом — Золтаном Неметом, я вас с ним познакомлю... Но мы — только первые ласточки. За нами начнут прибывать новые и новые хозяева. Хорти сказал, что пора наконец полностью мадьяризировать горы.

— Как видно, у вас в степях было маловато земли? — спросил Потоки.

— Как вам сказать?.. — задумался Цайлик. — Да пойдемте-ка в дом, там удобнее будет говорить.

В доме хозяйничали, срывали все со стен, ставили свои вещи жена и дочь Цайлика. Кое-что они, правда, оставляли — над окнами висели рушники, вышитые женой и дочерью Романа Хижняка, вдоль всей стены поблескивали яркими красками тарелки и миски. Потоки

вспомнил, как они вместе с Романом покупали эти миски в Рахове. А на полу, у печки, лежали те вещи Хижняков, которые не нужны были Цайликам,— фотографии хозяина, хозяйки, их сыновей и дочерей, школьные тетради, книги...

— Вы спрашиваете, сколько у меня было земли в степях? — повторил, усаживаясь за стол, Цайлик.— Мы жили там неплохо. Но рыба ищет — где глубже, а человек — где лучше. У меня в степях было двадцать гольдов...

— Двадцать гольдов в степях — не худо,— сказал Потоки.— И земля там лучше, чем здесь, на Верховине...

— Я понимаю,— подхватил Цайлик,— но двадцать гольдов в степях и сто угров здесь — это уже большая разница. И потом, пан Потоки, не забывайте, что земля всегда такая, какие руки о ней заботятся. У меня и камень родит, я сумею выжать из него деньги.

Ласло Потоки молчал. Перед его глазами прошли клочки земли,— вот эти угры, половины угра, четверти угра, какими здесь в горах владело большинство верховинцев, и большой массив в двадцать гольдов в плодородной венгерской степи.

— Это делает Хорти,— продолжал Цайлик.— Меня вызвали в комитет и спросили, соглашусь ли я поехать на Карпаты. Пятьдесят угров леса, еще пятьдесят — доброй земли...

— Но здесь, пан Цайлик,— вырвалось у Потоки,— нет ни одного свободного клочка земли...

— Не беспокойтесь,— ответил Цайлик.— Если Хорти посылает нас сюда, он знает, что делает. Не распить ли нам бутылочку доброго токайского? Я привез с собой целую бочку.

Долго думал о приезжих Ласло Потоки, возвращаясь в сумерках домой. И думал о них потому, что и Цайлик и Немец называли его за ужином своим земляком, хлопали по плечу...

Земляк! Это очень хорошее слово, и земляков в самом деле много на белом свете. Но какие же земляки для Ласло Потоки — вот эти кулаки из степей? У Ласло Потоки земляки — трудящиеся Венгрии, его родные люди — венгерские коммунисты, они борются за счастье народа. Его земляки — и труженики Верховины, куда

закинула Потоки злая судьба. Слушайте, Цайлик и Немет,— это вы убили отца Ласло Потоки в дни венгерской революции, вы загнали его самого сюда, в горы. Так знайте же, что коммунисты Венгрии и Закарпатья в эти тяжелые дни вместе борются за будущее и венгерского народа, и тружеников Закарпатья.

У перелаза в убогом дворе Ласло Потоки его ждала жена Коти.

— Ну что ж,— высказала она свои чувства,— наехали шакалы...

— Наехали,— ответил Ласло,— страшные люди, Коти. Говорят о родине. Но какая родина у них? Когда-то наш великий поэт писал: «Нет, богач не за отчизну бьется, за свое богатство всех он губит, лишь бедняк отчизну верно любит»¹. Это правда, и это слова настоящего человека, Коти. Эти Цайлики и Неметы никогда не любили своей отчизны, они — враги ее.

Глава восьмая

1

В долине цвела осень, а на полонинах было уже холодно. Вершины гор уже присыпало снежком; из-за перевалов вырывались бешеные холодные ветры; блуждали серые, осенние тучи; они проползали над лесами, цепляясь за вершины деревьев, над горными пастбищами, овивая все туманами, по временам кропили землю едкими колючими дождями.

Несчастливо было это лето для чабанов—многих коров и овец недосчитывались они. То и дело на полонины налетали жандармы, забирали молоко, сыр, тащили овец. Янош Репаша привел гонведов, и снова — сколько скота угнали!

А сверх всего беда пришла — начался падеж скота. Идет скотина по высохшему пастбищу и вдруг упадет, забьется, изо рта пена — и конец. Одни говорили, что это от воды, другие твердили, что меж хороших трав заве-

¹ Слова Шандора Петефи.

лась какая-то ядовитая, еще толковали, будто кто-то эту хворь насыляет, травит скот. Как бы там ни было, а людям — одно мученье.

Об этом и думал чабан Сегинь, сидя ночью у костра. Костер! Когда-то, бывало, наложишь дров, подкинешь хворосту, и зашумел огонь на высокой полонине: как золотые пчелы, летят и лстят искры к черному небу...

Теперь разжигать огонь в горах запрещено — смерть! Чабан Сегинь сидел перед костром не на широкой поляне, а в душном низком шалаше, вход в который также был завешен дерюгой, чтобы, боже упаси, не пробился свет. Костер чадил, дым не успевал выходить сквозь дыру вверху шалаша и облаком висел, опускаясь все ниже и ниже на головы Сегиня и младших чабанов, вповалку спавших на земле.

В ногах у чабанов лежала овечка, — она сломала в этот день ногу. У нее были грустные, испуганные глаза; она непрестанно поводила, как бы принюхиваясь, мордочкой, губы ее были в желтой пыли от травы, на которой она в тот день паслась.

— А биря... биря! — тихо говорил овечке Сегинь. — Вот, не прыгай. А биря!.. Теперь спи!

И овечка точно поняла слова чабана, — вытянула вперед сломанную ножку, успокоилась, заснула.

Все спало. Снаружи долетало глухое позвякивание колокольцев на шеях у коров, иногда волной прокатывался над пастбищем ветер и приносил шум сосен, иногда кто-нибудь из чабанов невнятно бормотал во сне.

Только Сегинь не спит в этот поздний час — и не заснет. Разве невзначай, днем, когда все тихо, приляжет на часок в шалаше, подремлет. А ночью плывут и плывут мысли.

В окрестных горах — солдаты, на востоке идет страшная война, всюду, куда ни глянешь, — льется и льется кровь.

А разве только там идет война? Вот лежат на земле и тяжело дышат во сне его подручные: красивый, похожий на девушку, чернобровый, с румянцем во всю щеку, Микола Гулык; старый овчар, поседевший здесь, в горах — Кирило Струг; молодые хлопцы — Степан Верета, Лесь Химич... Что, казалось бы, делать чабану? Броди по горным лугам, гони скот, береги от зверя в лесу, от вора из долины.

Но это когда-то так было: «А-гей... а-гей!» А теперь много прибавилось забот у чабанов, и таких забот, о которых прежде не думали и не гадали.

Еще летом передал Степан Шегута через Короджия, чтобы обошел Сегинь все горы и полонины, нашел места, где могли бы, в случае нужды, укрыться люди, и чтобы чабаны там устроили добрые землянки, добыли воду, вырыли щели для укрытия.

Чабаны все сделали. Недаром Сегинь родился и всю жизнь прожил в горах. Он нашел такие места, куда никакая сила не могла бы достигнуть. Пришлет Шегута сто, двести, триста человек,— для всех хватит места. И какие места! Скрытно, горы вокруг, а долина, словно чаша,— вся как на ладони. И вода есть — несколько родников бьют из-под самых камней.

Немало пришлось потрудиться чабанам, чтобы вырыть щели, подготовить землянки. Но все сделали. При стаде находились один-два, а прочие работали в горах.

Лето кончалось, но Шегута никого не присылал. Вот и осень идет горами, а о нем ни слуху ни духу. Может, отпала нужда, а может, решил Шегута, что тем людям, каких он думал сберечь, лучше не подниматься в горы? Но не таковский человек Шегута, чтобы, однажды приняв решение, передумывать или отступать. Шалаши и землянки в горах устроены недаром, пусть приходит осень, зима.

2

Был тревожный багряный вечер. Резкий ветер пронзительно свистел в вершинах буков и пихт на склонах. Сухая листва золотыми дукатами осыпалась в мутные волны Белой Тиссы. Где-то ревел скот, тоскливо позвякивали колокольца, по временам сухо щелкал бич.

Ярослав Гишка, приехавший верхом, долго смотрел на небо, все в багряных облаках, на долину, лежавшую внизу, на хатки села Бочары, видневшиеся среди деревьев. Потом тронул лошадь, спустился узкой горной тропой, переговорил с тем и с другим и остановился на главной улице у сельской управы.

— Дай боже здоровья!

— И вам, лесничий.

Возле управы толпился бедный люд Верховины. У самого крыльца стоял человек: потрескавшиеся губы его были в язвах от болячек и волчьего мяса, которое обычно появляется от гнилой кукурузы; а на горле у него болтался, как мешок, огромный зоб. Рядом с ним молча стояла уже немолодая женщина: сквозь дыры сорочки видны были костлявые, синеватые плечи; кожа на лице у женщины была сухая и серая, как пепел. Здесь стояло еще много людей — мужчин и женщин, старых и молодых, и у каждого из них горе было такое тяжкое, как камни в этой горной стороне...

Не найдут здесь верховинцы ни совета, ни теплого слова; начислили подать — возьмут; нечем заплатить — опишут имущество; нет имущества — последнюю коровку выведут со двора, рубаху с плеч сорвут...

У Ярослава Гишки, когда он привязывал к забору лошадь, дрожали руки. Наверно, от холода, — ведь наступает мокрая холодная осень... Но не только руки вздрагивали — безудержно билось, разрывало грудь сердце.

Сельским старостой в Бочарах был Петельчук — местный богач, деляга, а попросту вор. Он и сейчас сидел у себя в комнате, тупо уставясь в списки, лежавшие перед ним.

— Кого я вижу! — воскликнул он, увидав Гишку. — Лесничий! По какому делу? Может, бурелом у вас прошел, нужны люди?

Гишка, скрывая отвращение, пожал большую потную руку.

— Нет, бурелома не слышать, а это я объезжал делянку, — дай, думаю, загляну в Бочары... Отдохну и дальше поеду. Ведь не то уж здоровье.

— Это так, — согласился Петельчук, почесывая лохматую голову, трещавшую с похмелья. — Нет здоровья, лесничий.

— А если не буду лесничим, и вовсе пропаду! Ведь я живу в лесу на хозяйском участке.

— Так вы стройтесь, человеке... в Бочарах. Ей-ей, другого такого села на Карпатах нет. Речка, лес, воздух какой...

— А что вы думаете, пан биров, я не прочь поставить тут хату. Пока сам при деле, деревья могу навезти...

Перспектива заполучить такого хозяина в Бочары понравилась старосте. И уже совсем по сердцу ему пришлось то, что дальше сказал Гишка.

— Я, пан биров, рассуждаю так: кабы вы мне дали хороший участок в селе, так я бы будущим летом, возя дерево себе на хату, завез бы и вам... А дом у пана бирова, скажу прямо, не соответствует чину. Поставить нужно повыше, да чтобы каждая стена окон на пять.

— Да о чем говорить? — закричал Петельчук. — Такие участки имею... Выселено уже немало бандитов. Отчего же не дать хорошему человеку?

Еще через пять минут Ярослав Гишка и староста шли длиною улицей села — Гишка, держа за поводок лошадь, староста, опираясь на палку с серебряным набалдашником.

— Как вам понравится эта усадьба? — указал староста. — Жил здесь кузнец Кирило Полонинец, хата, видите ли, у него никудышная. Но участок, сказать по правде, добрый; ежели поставить дом, все заиграет. Река, лес, а воздух, воздух какой...

— А этот Полонинец где?

— В лагере, а может, и нет его уже. Коммунист...

Беседа закончилась в корчме, ибо староста считал, что только те его решения имеют силу, какие спрыснуты палёнкой. Чтобы это решение приобрело законную силу, староста взял с собой писаря и двух свидетелей. Это были пропадающие люди, пьяницы, они ни на шаг не отходили от управы и либо что-нибудь свидетельствовали, либо запивали свидетельство. Что они должны были засвидетельствовать на этот раз — один бог ведает.

— Слышите, писарь, — крикнул староста, выпив первый стаканчик, — мы вот думали хату Полонинца с участком пустить с торгов. Но теперь никаких торгов не будет. Сколько даете, лесничий? Ну, говорите, сколько не жалко... Даете триста пенге? Считаю — раз, два, три. Усадьба ваша, лесничий! Теперь кого хотите поселите в усадьбе, а будущим летом стройтесь! Писарь напишет документ, а вы, свидетели, подпишетесь! Налейте мне еще стаканчик.

Лошадь шла тихо, стволы буков сливались с темной чащей, голову лесника то и дело задевали увядшие листья, — покачиваясь в сыром воздухе, они тихо опускались на землю. И, как эти листья, в памяти лесника возникали встречи с Кирилом Полонинцем, долгие беседы с ним...

«Да, Ярослав, один я как перст на белом свете. Не удивляйтесь: родители умерли, еще когда я был мальчиком, жена утонула в половодье, детей бог не дал...»

Полонинец курил окованную медными кольцами трубку и как раз в эту минуту сделал несколько глубоких затяжек; облачко дыма окружило его седую голову, высокие плечи, темные жилистые руки. Может, с умыслом сделал это Полонинец, чтобы не разглядел Ярослав его лица, печальных глаз?

В следующую минуту темное от повседневной работы у горна, с улыбкой в уголках губ, лицо уже вынырнуло из дымного облачка, и кузнец продолжал:

«А только, Ярослав, знайте: в наше время человек не может быть одиноким. Вы спросите почему? То же могу спросить у вас...»

И уж кто-кто, а Ярослав Гишка доподлинно знал, что одиноким Полонинец никогда не был. Еще в молодые годы вступил Кирило Полонинец в чехословацкую коммунистическую партию. Он немало времени проработал на заводе Бантлины в Турянской долине и много успел сделать, но там организацию раскрыли, и он переехал в Рахов, связался с окружным комитетом, который и решил, что Полонинцу лучше всего стать кузнецом в селе Бочарах...

Кузнец в селе! Ну что, казалось, может делать кузнец? Подковы да гвозди? Но о чем только не переговоришь с бедняком, который притащит в кузницу лемех, за то время, пока в горне забелеет кусок железа? Как уверенно звучал голос Полонинца, когда тяжкий молот, вскинутый крепкой рукой, на миг замирал в воздухе, а затем стремительно падал на наковальню!

Кузнец Полонинец делал свое дело день за днем, год за годом. Даже ночью не отдыхал кузнец: за завешенными окнами в его хате собирались коммунисты села, и он читал им книги. А потом и всем работа на-

шла — ведь Бочары были одним из тех сел, где избили и выгнали волошинских провокаторов, ведь это под самыми Бочарами рвались бомбы, когда шли венгерские оккупанты. Бочаровские коммунисты действовали и позже, в годы войны, — они распространяли листовки, выставляли флаги в день Первого мая и на Октябрьские праздники.

Кирила Полонинца забрали на работе, в кузнице, а перед этим сделали обыск в его хате. Нашли запрещенные книжки; в кузнице, под железным ломом, лежал пакет листовок. Нашлись и свидетели, из тех, которые как тень ходят за Петельчуком: они и подтвердили, что у Полонинца собирались коммунисты, что-то читали, о чем-то совещались.

Полонинец не стал и защищаться. Увидев жандармов в дверях кузницы, он не прекратил работы, а еще раз два ударил молотом по наковальне. И только когда жандармы, перевернув все в кузнице, вытащили из-под обломков железа листовки, он сказал: «Что ж, листовки мои. Один работал, один и отвечать буду. И вот чего мне жаль, панове: год всего осталось вам жить, а тогда уж зажили бы мы... Но ничего не поделаешь, ведите!»

Повезли Полонинца в Рахов, затем в Ужгород, а там уже как ни старался подпольный комитет, но не смог найти следов Кирила. Да и жив ли он?

Для Ярослава Гишки он был жив. Чего не сделал Полонинец, сделает Ярослав, чего не успеет Ярослав, доделают другие! Вот и сегодня он сделал еще одно дело. Степан Шегута будет доволен.

4

Зима была совсем близко. Над долиной к Дунаю пролетели гуси, журавли; вода в Тиссе была такая студеная, что, когда Тиснянчиха стирала чужое белье и входила в воду, ноги сводило судорогой; вдали на вершинах забелели снега.

Ранним утром просыпалась Тиснянчиха, выходила из сарайчика на чужом дворе, стояла под деревом среди опалой листвы, тревожно озиралась кругом и думала: «Что ж дальше делать? Ведь смерть идет!»

И правда — что делать дальше вдове? Мужа Михайла

расстреляли, сын Антон вот уже целых пять лет как ушел за горы на Украину, меньшой Павло и тот бежал с линии Арпада, бродит в горах. Спасибо людям, что с двумя девочками пустили к себе, хоть и делают это тайком: известно ведь, если кто-нибудь даст приют детям расстрелянных или тех, что ушли за горы, — его самого угонят в концлагерь, на каторгу, в огненные печи.

Правда, сын Павло, время от времени навещаясь к матери и сестричкам, говорил:

— Вы, мама, не тужите! Пока так перебьемся, а там я заработаю, накоплю денег, купим хату, коровку!.. И Антон вернется, соберемся все вместе...

Молодой хозяин! Понимал ли он, что говорил? Купить хату? На какие деньги? А Антон — ой, сынок, сынок, пять лет — это не один короткий осенний день...

Однажды вечером Павло снова постучался в дверь сарайчика, где они жили.

— Это я пришел. А со мною еще один человек.

Гости прошли в сарай, где было полутемно, сели на деревянных чурбанах, и мать, взглянув на незнакомого, сразу догадалась, что это и есть тот самый дядько Ярослав, о котором так сердечно говорила ей Юлина и о котором так часто рассказывал Павло.

— Значит, вот так вы живете, Гафия? — сказал Гишка и оглядел закопченные стены, покрытые тряпьем доски в углу, где спала Тиснянчиха с детьми. С жалостью посмотрел на девочек — они за последние годы вытянулись, как былинки.

— Вот так, как видите, человек добрый! Что ж, извините, ни земли, ни скотинки, а горше всего — хозяина нет, сыны сами знаете где, а тут война, свет рушится. Сама старая, больная, работать не могу, а есть нужно ведь...

И с грустью поглядела на свои натруженные руки, точно от них только все горе и печаль.

— Вижу и знаю, — сказал пришелец. — А что бы вы сказали, если бы мы вам на зиму нашли хату?

Она прижала руки к сердцу.

— Хату мне? Да ведь денег нет. Извините, одна хата может быть для бедного человека — на кладбище...

— Э, что вы говорите! — махнул рукой Гишка. — Вам еще долго нужно жить, сыны растут, дивчата как вешний цвет...

— Это правда! Ради них стоило бы еще пожить. Только как, человек добрый? Что вдове, что вдовиным детям — одна петля...

— Вы уже и про петлю?

— А что ж, человек добрый! — Она подняла на него печальные глаза.

— Нет, — сказал Гишка. — Мы еще поборемся, Гафия! Да, да, и мы все, и вы. Сдаваться нам рано, и никогда мы не сдадимся. А разве ваш муж, Гафия, когда-нибудь сдавался? Смерть перед ним стояла вот как близко, а он говорил врагам правду: «Не свитку к пуговице пришить, а нас к той Украине!» И сейчас, хотя его и нет, но слова Михайла повторяют люди по всей Верховине.

Гафии Тиснянчихе стало стыдно, что у нее вырвалось столько горьких слов, — казалось, с нею говорит не Ярослав, а стоит рядом ее Михайло и говорит так, как он умел, — спокойно, тихо, уверенно.

— Вижу, — сказала Гафия, — и слышу! Так что же мне делать? Говорите.

5

В передке воза сидел Павло. Он усиленно погонял лошадь, покрикивал: «Вишта... гайта!» Ему некогда было оглянуться назад.

Там сидели мать с девочками и Ярослав Гишка. Мать прижимала к себе детей и тревожно глядела вперед, на поросший пихтами, усеянный крупными камнями склон горы, — он тянулся и тянулся слева; на мутные волны Белой Тиссы, катившиеся у самой дороги; на покрытую ольшаником и вялой травой низину за речкой. Во взгляде матери светился немой вопрос: «Куда же мы едем, куда?» Тревожны, как у раненых птиц, были и глаза детей.

Только Ярослав Гишка был спокоен. Он сидел, свесив ноги с воза, подскакивал на выбоинах, говорил:

— Так-то вот, Гафия! Большой радости в Бочарах не приходится ждать, а все же будет лучше, чем сейчас. Зима идет, холода, а там все же теплый угол... Мы с Павлом уж как-нибудь дровец подкинем. Верно?

— Верно, верно! — откликнулся с передка Павло.

— Но помните, Гафия,— продолжал Ярослав,— беречься нужно. Михайло, знаете, такой был человек, что о нем знают и здесь. И знают также, что Павло скрывается в горах, а Антон ушел за Карпаты. Страшны им ваши сыны. Ведь они Тиснянцы! — закончил он.

В Бочарах Ярослав сам сходил в сельскую управу, взял свидетелей, выставил им палёнки, чтобы подтвердили, что новый хозяин хаты Полонинца приезжал и посадил на своем участке старуху с двумя детьми. Все по закону!

Но все же страшно было Тиснянчихе переступить порог черной, древней, мохом затянутой хаты Полонинца. Что ни говорите, а все же кузнец Кирило входил и выходил в эту перекошенную дверь; это он, должно быть, долотом вырубил на потолочной балке надпись, перед которой остановилась, но не могла прочитывать Гафия; это Полонинец жег в печи огонь, от которого остался пепел и угли; и это он сидел, наверно, на вытертой до блеска дубовой скамье. Ой, как страшно входить в дом, откуда недавно вынесли мертвеца, а еще страшнее, если этот человек ни жив, ни мертв, а может, мучается где-то, умирает...

Но вечер быстро пробежал за работой. Прибрала Тиснянчиха в хате, подмела сени, сложила сор в уголке, в сенях, чтобы не выносить к ночи на двор, обошла всю усадьбу, огляделась.

Полезла она и на чердак. Там было пусто. Только между стропилами висела, колыхалась войлочная шляпа Полонинца. Она спустилась вниз со шляпой, осмотрела ее, увидела потертое, темное от кузнецовского пота донышко шляпы, прожженный в двух местах искрами от огня войлок. Гафия постояла, держа шляпу, в сенях, потом выколотила ее, встрясла, внесла в дом и повесила на деревянном колке у дверей, там, где обычно хозяин вешает, войдя в дом, свою войлочную шляпу... Была она верховинка, верила в то, что вещи могут вызывать хозяев, а кроме того, хотела, чтобы Кирило Полонинец возвратился в свою хату.

Ночью Тиснянчиха не могла заснуть. Начало темнеть, когда из Бочаров выехали Ярослав Гишка и Павло; пока она уложила детей спать, то и вовсе стемнело; а как села на скамью у стола, опустив голову на руки, так и просидела, не заснула, не хотела спать.

Уже перед самой зарей привиделся ей сон. Скрипнула будто бы входная дверь, и в хату вошел кузнец Кирило. Она никогда его не видала, но поверила, что он должен быть именно таким, как приснился: сильный мужчина, жилистый, с крепкими узловатыми руками, в усах седина, а в глазах, как в горне, огоньки поблескивают.

Войдя в хату, Кирило сел на скамью, положил руки на стол. Хотела Гафия поднять голову, но не смогла.

И сказал Кирило:

— Так это вы, Гафия, в мою хату перебрались? И вижу, что не одни, а с детьми, всею, выходит, семьей. Слышал, слышал, что девочки у вас — София и Настя...

Тиснянчиха испугалась, и сердце у нее забилося перепелкой: мир праху Кирила, но ведь это его хата, и если он возвратился, то им нужно отсюда выбираться. Скажет: «Идите», — вот и все!

Но Кирило Полонинец этого не сказал, а медленно встал со скамьи, еще медленнее прошел к дощатому помосту, где спали София и Настя, а потом наклонился над ними, и Тиснянчиха готова была поклясться чем угодно, что она сама видела, как Кирило прикоснулся губами ко лбу одной, второй. А дальше он, не сказав ни слова, выпрямился, повернулся и как-то тихо и странно, так что у него ничто не шевельнулось, выплыл из хаты. Даже дверь не скрипнула...

«Куда вы, Кирило, куда?» — хотела крикнуть Гафия — и не крикнула, а только застонала и проснулась...

«Да ведь это сон, — поняла она. — Смотри, о чем человек думает, то ему и снится. Но до чего же тихий был и спокойный сон. Да прощен будет Кирило, коли он умер, и да будет ему счастье, если жив».

Успокоившись, она босиком прошла по теплему полу, постояла над девочками — они тихо спали, — у двери потрогала рукой войлочную шляпу кузнеца, вышла во двор, села на завалинке и долго-долго сидела, глядя на прикрытое туманом село, на темные очертания гор, на редкие звезды, разбросанные в небе, — казалось, там ходили с огнем чабаны, собирая стадо.

Совсем рядом проносились летучие мыши, невдалеке за плетнем что-то зашелестело, потом пискнуло — это, видно, сова поймала мышь; на лицо Гафии упало и смешалось со слезами несколько холодных росинок.

«Свет ты мой, свет верховинский, кукурузный край! — думала мать.— Как же тебя обобрали, обокрали, распяли! Великое горе постигло меня с детьми, не меньше горя, пожалуй, испытал и Кирило Полонинец! Так что же, покориться судьбе, погибать? Ой, нет, не покоримся и не уступим, Кирило! Это я — слабая вдова — тебе говорю, а ведь ты сильный, крепкий, возьмешь молот, так из-под него искры запляшут. Вот и бей, расплачивайся, тебе помогут вуйко Ярослав, сын мой Павло, и еще один сын придет, непременно придет из-за перевалов. Будем мы с родными людьми, что за Карпатами! Так поднимайте молоты и куйте, куйте!»

6

Юноша шел в горы...

Была темная, осенняя ночь в Карпатах, когда небо сливается с горами, когда всюду слышатся шумы и голоса, когда повсюду, кажется, заступают дорогу скалы, деревья, кусты.

Но Павло Тиснянец уверенно шел среди мрака и шумов. Он знал здесь каждый камень, дерево, куст, знал, где и когда сворачивает тропинка, он умел распознавать шум горного потока и шаги зверя, взмах крыльев ночной птицы и шум листвы на вершинах деревьев. Он шел беззвучно, как ходят опытные охотники горного края.

Ярослав Гишка оставлял Павла заночевать у него. Но Павло только пожал плечами: «С чего бы мне задерживаться? И как будет дед Микитей?»

Лесник посмотрел на юношу. В комнате горел крошечный ночничок. Но и при его слабом свете можно было разглядеть стройную фигуру Павла, ровные плечи, гордую голову, сильные руки.

— Правду говоришь. Дед Микитей, наверно, ждет. Ну, ступай. Но поглядывай. Счастливый путь, легинь!¹

Легинь! Ярослав Гишка прежде так не называл его. В краю высоких гор не легко заработать это прозвание,— значит, он уже не какой-нибудь там мальчуган, а легинь Тиснянец. Что ж, он пожал руку Ярославу так, что тот даже поморщился,— потом взял свой кованый топорик и вышел в ночную темень.

¹ Легинь — молодой парень, юноша (гуцульск.).

Не только слово Гишки окрыляло Павла, на устах его все еще теплился поцелуй матери. Теперь он спокоен — мать и сестрички его будут спать в хате, накроются рядом, которое им оставил Ярослав Гишка.

Мать не хотела брать рядом. «И зачем, зачем вы, родной? Мы уж и так, после обзаведемся». Но лесник Ярослав положил рядом и вышел из хаты.

И теперь легинь Павло шел во мраке ночи, но видел, как мать стелет постель, видел, как ложатся, накрываются рядом сестрички, а мать сидит и ласково смотрит на них.

Легинь! Когда бы жив был отец, что бы он сказал? Павло даже остановился у края тропы, куда долетал теплый ветер из долины, и вспомнил своего отца.

Это было так давно, а он как сейчас видел его, чувствовал теплую руку на своей голове, слышал его голос:

«Сказывают, сынок, будто мы от века нищие люди, а наши Карпаты — несчастливые... Но это не правда, сынок! Карпаты — это такая земля, где богатств не счесть и сокровищ не исчерпать. Но сидели и сидят на нашей шее то чешские, то венгерские магнаты, кровь нашу пьют, добро расхищают. И все же, сынок, — продолжал он, — когда-нибудь придет такой час, когда встанут наши люди, сбросят гнет, и тогда мы скажем, кто мы и чьи вокруг нас богатства. Мы — русские люди, мы капля великого русского моря, достигающего даже сюда, за Карпаты. Но мы сольемся, сольемся с этим морем. Это, сын, будет, непременно будет!»

Мал был Павло, не понимал, пожалуй, всех этих слов отца, но сердце их вбирало — за словом слово, так что не выжечь, не вытравить, не забыть. И теперь Павло понимал все, что завещал ему отец, понимал каждое его слово.

А разве сама жизнь не подтверждала ему правду отцовских слов? Отца убили, значит отцовская неумирающая правда, правда всех русских людей за Карпатами страшна для угнетателей Верховинского края.

И Антон ушел за Карпаты — борется за правду. Ярослав Гишка, Данило Ковач, Юлина, — сколько людей на Карпатах ищут свое право, свою правду, борются за них.

Павло только о себе не подумал. Ему казалось слишком обыкновенным то, что побывал он на линии Арпада,

что бежал оттуда, что живет в лесу, присматривая за старым, больным лесником, дедом Микитеем, которого давит проклятый зоб.

Еще следил Павло Тиснянец за лесом, замечал, где фашисты прокладывают подъездные пути к линии Арпада, где сооружают подземные склады, где проходят их части.

Сейчас Павло Тиснянец стоял у края тропы над долиной, откуда веял теплый ветер, и глядел в глубину ночи. Там, над горами, он видел тоненькую, ясную розовую полосу — там зарождался новый день.

Глава девятая

1

Когда Ружена вышла, Вацлав Цемпер прильнул к окну и долго глядел ей вслед. Он слышал ее шаги и видел, как она прошла вдоль дома, как тонкая фигурка промелькнула меж кустами на огороде и расплылась, исчезла в серой мгле.

Опустив голову и закрыв глаза, он долго сидел в комнате, где сгущался вечерний сумрак, но перед ним в зеленом, красном, желтом сиянии, возникавшем перед глазами, все плыла и плыла тонкая, стройная ее фигурка.

Много времени прошло с тех пор, как он, сквозь туман болезни, при слабом свете коптилки, увидел ее здесь, в хате вуйка Гната. Сколько ночей провела она у его постели, сколько раз после того навевалась сюда? Она отдавала ему все свои силы, ради него рисковала своею жизнью. Так почему же они не могут объясниться откровенно, прямо, — ведь Ружена-Роза, как это заметил Вацлав, сдерживалась, чтобы не сказать лишнего неосторожного слова, да и Вацлав не сказал всего, что хотел бы сказать этой женщине, помощнице, другу?

Значит, Ружена так и не знает, кто он, Вацлав? Нет, у него есть другое, настоящее имя — он не Вацлав Цемпер, а Франтишек Поспишил. Но настоящее имя его

знают только Шегута, Чижмарь, маленький круг товарищей. Для них он был и есть Франтишек Поспишил, а для прочих — Вацлав Цемпер. И для Ружены он, к сожалению, будет Вацлавом, хотя главное, правду о нем, о том, кто он, — Ружена знает.

Так нужно! Имя Франтишка Поспишила, чешского офицера, члена Коммунистической партии Чехословакии значится во всех списках кемельгарито, полиции, жандармерии. Уже много лет его ищут в Праге, по всей Чехословакии, и здесь, на Закарпатье. И не удивительно — ведь коммунисты Закарпатья входят ныне в Коммунистическую партию Чехословакии. Потому-то фашистские палачи и разыскивают их повсюду — и здесь, на Закарпатье.

Но найти этих людей не легко. Центральный Комитет Коммунистической партии Чехословакии вынес в свое время решение о том, кто из руководящих работников Чехословакии и Закарпатья должен остаться на месте, а кто должен уехать. Партия берегла кадры, какие нужны были для борьбы в грозные годы войны и какие нужны будут для работы в будущем.

Франтишек Поспишил выехал вместе с другими товарищами в Советский Союз. Там живет и действует руководящий штаб чехословацких коммунистов, там сформировался и идет вместе с частями Советской Армии корпус патриотов-чехословаков. А сколько закарпатских украинцев стали в ряды этого корпуса! Все они идут освободить свои народы, бороться вместе за светлое будущее.

Центральный комитет приказал Франтишку Поспишилу лететь вместе с группой закарпатских украинцев на Карпаты. Здесь, в Закарпатье, и дальше, где высятся Татры, так нужны были сердце, мозг Франтишка Поспишила! Несчастный случай вывел его из строя, приковал к постели.

И вот сегодня вечером раненый коммунист почувствовал, как силы его восстанавливаются. Вацлав Цемпер почувствовал себя Франтишком Поспишилом...

Из нищей темной хаты дядька Гната Франтишек Поспишил видел озаренные солнечным светом Карпаты, Татры, свободных людей Чехословакии, Закарпатья... Еще немного времени пройдет, и они назовут друг друга свои имена, встретятся как друзья.

Было далеко за полночь, когда Франтишек Поспишил прилег на дощатом своем топчане. Сон бежал от него. Сколько картин вставало перед ним! Чтобы забыться, он вспоминал Татры, шум лесов, тучи, которые, как корабли, расправив паруса, плывут и плывут в небе.

Когда Франтишек начал уже погружаться в желанный сон, ему показалось, что кто-то быстро пробежал по улице, а потом шаги раздались под самым окном.

Он быстро поднялся и сел на постели. Часто и тревожно забилось сердце. Мелькнула мысль — может быть, он ошибся, может быть, это почудилось ему во сне?

Но не только он услышал эти шаги: в сенях, переступая с ноги на ногу, стоял дядько Гнат. Несколько коротких ударов в дверь. У Франтишка отлегло от сердца. Свои! Хозяин отворил дверь.

Что же случилось в этот поздний час ночи?

У топчана стояли Гаврило Логойда и Михайло Сирко, с которыми Поспишил познакомился здесь, в доме у дядька Гната.

— Слушайте, Вацлав... Наши друзья сообщили, что здесь может быть облава. Сейчас патрули замкнули улицу с обеих сторон. Но у нас есть выход через огород. Мы решили вывести вас.

— К сожалению, друзья, мои ноги не позволяют мне передвигаться...

— Ничего, Вацлав, мы перенесем вас.

Логойда и Сирко, сложив руки накрест, подняли на них Франтишка и вышли из дома.

Была темная ночь. Но это к лучшему. Логойда и Сирко знали каждую кочку на мочажине позади дома дядька Гната. Недавно выпал дождь, и ни один жандарм по этой топи не прошел бы, его бы затянуло, засосало. Они обогнули угол дома, миновали несколько кустиков и, прислушиваясь, остановились. От Замковой горы, где помещались жупанат и жандармерия, доносился шум автомобиля, гудели машины и по извилистой дороге к Великой Копани.

На мочажине и дальше было совсем тихо, не слышно было людского голоса, молчали и собаки, а они могли бы выдать присутствие постороннего человека. Беглецы ступили на мочажину, где под ногами шипела вода; они шли осторожно, шагали как можно тише, вслушивались в ночь, всматривались, не видно ли кого впереди.

Они миновали топь, мост через Хустец, издали обошли окраины города, пересекли дорогу на Великую копань и снова подошли к городу, но с другой стороны, огородами, которые тянутся вплоть до самой Замковой горы.

Это был опасный путь, ведь они шли в сторону жупаната и жандармерии. Однако Логойда и Сирко чувствовали себя здесь более уверенно. Уже недалеко были их дома, здесь они знали каждый камешек, каждый куст. Когда остановились отдохнуть, Гаврило Логойда не удержался и сказал Сирку:

— А все же, Михайло, этот Гуржий — хороший хлопец. Зря мы так таимся от него.

— Посмотрим, что будет в эту ночь, — ответил Сирко.

2

Прощаясь, Гаврило Логойда и Сирко предупредили дядька Гната, чтобы он поберегся этой ночью и знал, что говорить, если наскочит облава.

Но разве Гнат сам не знал, как ему быть? Он действовал уверенно, без страха. Когда хлопцы подняли на руки Вацлава Цемпера, он отдал ему документы лесоруба Павла Меленича, попрощался с ним, проводил их всех до мочажины, долго стоял там, пока они не перешли через топь, и только тогда тихими шагами возвратился домой и запер входную дверь.

В каморке, где лежал Цемпер, Гнат внимательно оглядел окно, топчан, пол, — не осталось ли какого следа, а после погасил коптилку и лег на топчан, где только что лежал больной. На свою половину он не пошел — там уже спали жена, дети. И пускай спят, молодые любят поспать, а у жены столько работы! Все одна, одна! Ведь Гнату за множеством дел и помочь ей некогда, хата с больным командиром была на нем — ни отойти, ни выйти.

В каморке он остался еще и потому, что ему не хотелось спать. Мысли текли и текли. Думал он об Олексе Борканюке и о многих людях, прошедших через этот дом, о Вацлаве...

Гнат был уверен почему-то, что Вацлав — не Вацлав, другое имя у этого человека. Но для Гната имя само по себе ничего не значило. Вацлав, Зденек, Войтех,

Франтишек — разве мало имен у людей? Главное — душа человека. А у Вацлава была добрая душа...

Гнат вспомнил почные беседы с больным.

— Все минует, все пройдет, и эти муки и горе, вуйко Гнат,— говорил Вацлав,— если нужно будет, мы еще поборемся, вуйко Гнат! Ведь вы не отступите, я в этом уверен. И мы победим, мы не можем не победить. Победа придет, она уже близка, вуйко Гнат. А тогда, я очень прошу вас, приезжайте к нам в Прагу... Рука об руку с вами я проведу вас по лучшим улицам города, покажу вам Влтаву, древний Град, и каждому встречному я буду говорить: «Это наш друг из Закарпатья».

— Отчего же? Я приеду! — обещал Гнат.— Но после этого мы, может быть, Вацлав, поедem сюда, на Закарпатья? Это я сейчас, знаете, живу так, в бедности, в нищете,— а тогда уж у меня будет большая, просторная хата, заживу я как человек, будет где положить вас и угостить найдется чем. Не отказывайтесь, Вацлав, обещайте, что приедете ко мне в гости!

— Приеду, вуйко Гнат, вот моя рука! — обещал Вацлав.

Так и заснул Гнат, представляя себе, как идет он с Вацлавом по улицам Праги, где никогда не был. Увидел во сне голубую реку Влтаву, много цветов, услышал тихие, дружеские голоса.

Внезапно он проснулся. На дворе слышен был шум, крики, топот множества ног. Кто-то ударил в дверь, еще кто-то выбил окно в той половине, где спали жена и дети.

— Отворяй! Отворяй!

— Я сейчас! — кинулся Гнат в сени.

Свет нескольких фонариков упал на рубаху Гната, на его высохшую грудь, короткие штаны; впился в лицо; ослепленный лучами фонариков, он отворил дверь в комнату.

Жандармы перерыли все в доме, в каморке, на чердаке, в чулане. Они не только швыряли, а рвали, истребляли; били все, что попадалось под руку. Ничего не найдя, они пошли прочь. Еще некоторое время на улице слышны были крики, брань, лязг оружия.

Гнат стоял на пороге. Позади него горько причитала жена, плакали перепуганные дети. Он слушал и сжимал кулаки: как не заплакать, если такой ужас, как не при-

читать, если такое горе! Снова придется собирать грош к грошу, зарабатывать на сапоги, на посуду, вставлять стекла... Сколько уже стекол выбито за его жизнь, сколько раз приходилось покупать новую посуду, сшивать разорванные дерюжки... Плачет жена, плачут дети! Да и как не плакать? Столько страху!..

Но на душе у него было спокойно. Жандармы не нашли того, кого искали. Ушел Вацлав, иди, друг, дальше и дальше.

Он подумал также, что кто-то подослал жандармов. На улице было тихо, жандармы протопали к реке и исчезли, — значит, обыск был только в его доме, значит, среди псов Хуста, у которых есть хвосты и которые лают, есть еще пес без хвоста, молчаливый, но опасный, тайный, хищный пес в виде человека — провокатор, предатель.

Но простой хустовский селянин, вуйко Гнат, как его все называли, все же праздновал победу. Друзья предупредили Вацлава насчет жандармов — значит, коммунисты на страже, они укрыли своего друга в ином, надежном месте, спасли ему жизнь.

— Вы, собаки, еще не знаете нашей силы, — шептал Гнат. — Не поймать, не сломить вам наших людей! Во веки!

Над Хустом занималась заря, золотом светились руины замка.

3

На окраине Хуста, на Глубокой улице, сразу же за «холерной криницей», как тамошние люди прозвали колодец в те давно минувшие годы, когда в Хусте свирепствовали холера и колодец запечатали, думая, что туда подсыпает яду богач Бурдай, — за что, к слову, самого Бурдая тогда тяжело били, но не добились, — на пригорке за этим знаменитым колодцем стоит дом Логойд.

Со стороны улицы на участке растет несколько ясеней, за ними стоят один напротив другого два дома: справа — большой, с двумя окнами на улицу и одним во двор; а слева — крошечный каменный домик, крытый черепицей, — одно маленькое окно его выходит на улицу, а другое — большое — в огород.

В большом доме жила семья Логойд — вдова покойного Василя Логойды Ганна, дети ее — Гаврило, Юрко,

Анка и Оленка. В малом домике жила мать Ганны — старая Ганна Лонкай. Для нее, собственно, и построили этот домик. Пока жила Ганна Лонкай вдвоем с мужем, нянчила дочку Ганку — хватало места в доме. А когда Ганка выросла, обвенчалась с Василем Логойдой и пошли дети, попросила бабка Ганна построить ей кухню — старым костям, мол, хочется отдохнуть, старой голове — наедине побыть. Василь Логойда исполнил желание Ганны Лонкай, поставил ей домик. Так и жили они — два дома, а в них одна семья, и притом дружная.

В этот день бабка Ганна поднялась рано, задолго до света, как поднималась всю жизнь. Она посидела на лавке, где спала, подумала, а потом оделась, обулась, вышла во двор.

В большом доме все спали. Спали во всем Хусте. Тихо было в соседских дворах — у Штефуцев, Курчи, Романия, Бурдия. Она зашла под навес и подкинула сенца корове Белянке, проведала гусей, — они, услышав ее, заготали.

Бабка еще постояла во дворе, поглядела на крыльцо, на окна большого дома. Спят! И пусть себе спят! Пока молоды — только и поспать. Пускай уж бабка не спит, посторожит, присмотрит... Но нет! Заметила старая, что и в доме кто-то не спит. В окнах, когда смотрела она, видела только отблеск дальних звезд. А сейчас там вспыхнула и погасла спичка. Не иначе как Гаврило закурил. Беспокойный он, по целым дням все хлопочет, а ночью думает. Вот сел у окна, поблескивает искоркой папиросы. Беспокойный, ох, беспокойный Гаврило!

А впрочем, таков весь их род — беспокойный, непокорный. Старый Лонкай все Закарпатье исходил, где только не жил, пока до Хуста добрался! И, умирая, сказал: «Этот Франц-Иосиф мне всю жизнь отравил». А Василь Логойда с Ганкой? В восемнадцатом году, когда царя за Карпатами скинули, запряг лошадей, посадил на телегу всех детей и старуху, сказал: «Айда за перевал, на Советскую Украину, а то здесь нам до самой смерти житья не будет!» Но только на границе их задержали, не пустили, а то бы давно были за Карпатами.

Ну, известно, и дети такие же! Все в деда, отца... Логойды! И отчего это так — идут к ним люди из Хуста,

идут из Копашнева, Изы, Драгова? Неспокойно, тревожно на Карпатах,— это так!

Искорка папиросы за окном еще раз блеснула и погасла. Теперь Гаврило, может, и заснет, и пускай спит, на заре молодой сон так крепок! Спят все — Гаврило, Юрко, Оленка, Ганнуса.

Бабка не будет спать. Она пошла к цементному колодцу, набрала воды. Сгибаясь под тяжестью, отнесла ведро на кухню, проверила, плотно ли завешены окна, зажгла коптилку... Желтовато-призрачным светом озарились стены кухни, печь, скамьи, постель за ширмой. Бабка Ганна села, отдышалась, начала чистить картошку. На полке ровным, светлым язычком мерцал ночник. Тоненькие белые стружки кожуры тихо сыпались на пол. Потом старуха принялась топить печь. Все на цыпочках, тихо. Поставила чугунок с картошкой, подложила хвороста, взяла в руки спички...

Вдруг она отложила спички, поискала что-то на окне за занавеской, вынула оттуда газету...

Бабка, понятное дело, не умела читать. Газета нужна была ей для другого. Еще с вечера заметила она в большом доме — у детей — эту газету; на одной из страниц был напечатан портрет: перекошенное лицо, чуб свисает на лоб, безумные глаза, черный паучок на груди.

— Он! — прошептала тогда старуха, и у нее почему-то часто задергалась нижняя поджатая губа. — Дайте-ка, дети, мне эту газету!

Теперь бабка взяла иголку и несколько раз проколола ею фото в том самом месте, где у человека должно быть сердце, а потом положила газету в печь:

— А чтоб ты сгорел, бешеный пес! Чтоб тебя железные петухи клювами клевали, чтоб коты царапали когтями, псы грызли зубами! Гори, пылай, чтобы и пепла не осталось, чтобы и следа не стало, чтобы тень твоя разошлась! Исчезни, пропади, откуда пришел, дьявол, туда и ворочайся! Чур тебе!

Старуха была глубоко убеждена, что ее заклятье подействует. Такое заклятье, да еще с иголкой, должно действовать! Вот Франца-Иосифа колола — и подействовало, чешских аграриев попротыкала — не стало, униату Волошину глаза, уши и все тело исколола — сбежал, проклятый; должно подействовать и теперь. Муж, мир его

праху, смеялся когда-то, смеялся и Василь Логойда, а бабка свое дело делает! Кто чем, а она — иголкой.

Загудел огонь, пламя побежало по всей газете, портрет фюрера скорчился, согнулся, а там и исчез, словно петухи красными клювами его растерзали.

Но в эту минуту бабка заметила, что из-за ширмы на нее смотрит человек. Этого молодого еще человека Гаврило и Михайло Сирко принесли поздно ночью, сказали, что его несколько времени нужно прятать. Бабка поговорила уже ночью с человеком, — добрый он, из бедняков, видать. За такого старая кому угодно выцарапала бы глаза.

— Что это вы, бабуся, делаете? — спросил Андрей, как назвался он новым хозяевам. — Глядел я, глядел и никак не разберу, — то ли вы богу молитесь, то ли газету читаете?

— Это я... молилась, Андрей! — ответила бабка. — Я часто так молюсь. Ты уж не приглядывайся, по-старушечьи я, по-своему, все шамкаю да шамкаю! А ты бы поспал еще! Время раннее, только-только петухи пропели.

Ее лицо — такое маленькое, засушенное, сморщенное — было озарено красноватым отблеском огня и все как-то светилось, сияло.

— Нет, я выпался уже, — сказал Франтишек Поспишил. — Встать мне хочется, бабуся! Так надоело лежать.

4

Совсем недалеко от крепости, на Замковой улице стоит дом Ильи Сирка. От улицы дом отгорожен забором, во дворе, как часовые, стоят несколько кленов. За забором, поперек двора тянется большой дом с продолговатым крыльцом, углом к нему с правой стороны пристроена клуня.

В один из предосенних дней в этом доме, в комнате, выходящей на улицу, где жил сын Ильи Сирка — Михайло, собралось несколько молодых людей. Сюда пришли еще засветло Гаврило и Юрко Логойды; пришел юноша из Изы, студент Дмитро Вакаров, — его усталое, нездоровое лицо, впалая грудь и кашель говорили о неумолимой верховинской болезни. Пришел к Сиркам также и Яков Гуржий. Все это была молодежь, студенты,

они сходились часто у Сирков или Логойд и собрались теперь, перед отъездом в Будапешт.

Но не только студенты пришли в этот вечер к Сиркам. Когда стемнело, в доме появился низенький, русый, похожий на девочку Микола Сокач,— он когда-то готовился поступать в высшую школу, но теперь был мобилизован в армию и служил в Хусте как унтер-офицер восьмого пехотного полка. Еще пришел Степан Лизанец — молодой, подтянутый, задумчивый юноша с чудесными карими глазами. Он и Сокач, оба они были друзьями Логойд и Сирков.

Мать Михайла Сирка — Елизавета — и сестры по этому случаю накрыли в комнате стол, приготовили закуску, вино, а потом, чтобы не мешать молодежи, ушли на другую, свою половину дома. Но студенты почему-то не пили и не ели. Бутылки и закуска на столе в комнате Михайла стояли для чужого глаза, на случай если бы заглянули жандармы. Они собрались поговорить о задачах подпольной коммунистической организации молодежи, наметить план действий на осень и зиму...

— Наш краевой комитет,— начал Степан Лизанец,— ставит сейчас первоочередной задачей повышение политического уровня каждого члена организации и воспитательную работу среди населения. В этой темной ночи, какая нависла над Закарпатьем, над Чехословакией и повсюду здесь, за Карпатами, должен звучать, как никогда сильно, должен светить, как маяк среди тьмы, голос коммунистической партии, слова учения Маркса, вещие слова великого Ленина.

Затаив дыхание слушали молодые люди Степана Лизанца.

— Вооруженные этим учением,— продолжал он,— мы должны переходить к активным действиям, должны непримиримо, не щадя ни сил, ни жизни, бороться с врагами. Что нам делать — подскажет краевой комитет. Здесь, в Хусте, и во всех окрестных селах мы должны и дальше распространять листовки, сводки Совинформбюро; наши товарищи должны идти в дома всех трудящихся, мы должны действовать всюду — и даже в армии оккупантов. Ведь и там есть обманутые, запуганные люди. Пришло такое время, когда каждый человек на Закарпатье,— будь то украинец, венгерец или чех,— должен поставить себе вопрос и ответить на него: с кем он в этот

час — с коммунистами, с народом или с врагами? И вы, товарищи, сдущие в Будапешт, также должны об этом помнить. Нам нужно наладить самую тесную связь с подпольщиками в Будапеште. Нам эта связь нужна...

— Едем, да не все, — неожиданно перебил его широкоплечий, несколько неуклюжий Гаврило Логойда.

— А что случилось?

— Я не еду в Будапешт, — сказал Гаврило. — Хватит разным теологиям обучаться. Довольно. Тут работы много... Не могу ехать!..

Поднялся из-за стола Яков Гуржий. Он стоял необычайно бледный, с воспаленными глазами, откинув волосы назад.

— И я не поеду в Будапешт, — сказал Яков.

— Но почему? — спросили Гаврило и Юрко Логойды разом. — Ты же сам хлопотал, в Будапеште все сделано...

— Я скажу почему, — тихо ответил Яков Гуржий. — Я очень хотел учиться... Спасибо вам, товарищи, за помощь, но сейчас, когда такое с отцом, я ехать не могу...

— Подожди, — проговорил Степан Лизанец. — Мы знаем твоего отца и знаем, что он делал и делает. Но пути отцов и их сыновей — различны. Мы знаем и твой путь, Яков! Ты уже кое-что сделал для наших товарищей и можешь сделать еще больше. Так почему же тебе не учиться?

— Если я кое-что сделал, — горячо продолжал Яков. — то хочу больше, лучше работать. Если отец поступает так, то я, как ни тяжело, должен остаться здесь. Кроме того, я не хочу и не могу учиться на его деньги.

Степан Лизанец задумался.

— А знаешь, — поднял он голову и окинул Якова своим чудесным взглядом. — Я согласен с тобою, Яков. Тебе в самом деле нужно быть здесь... У нас также много будет дела.

Яков Гуржий сел. В комнате было тихо. За стенами дома ходил ветер. На столе в бутылках искрилось вино.

— У нас будет много дела, — продолжал Степан Лизанец. — Что-то все прибывают и прибывают гошведы... У вас ничего нового не слышно, Микола?

Микола Сокач недовольно пожал плечами, точно хотел сбросить с себя унтер-офицерский мундир.

— Нет, Степан, гошведов не прибывает, — с раздражением ответил он. — Напротив, ходят слухи, что весь

восьмой венгерский корпус, который сейчас стоит в Закарпатье, перебрасывают в Венгрию, в Гальмин. И это похоже на правду, ведь это один из последних резервов королевства.

— Имеются наши люди в частях корпуса?

— Да, наши люди имеются в воинских частях, стоящих здесь; есть и в Кошице, и в Дебрецене, и в самом Будапеште...

— Королевская армия! — засмеялся Лизанец. — Что будет с нею, когда все начнет валиться? А валиться начнет скоро, уже совсем скоро.

— Есть какие-нибудь новости? — спросил Михайло Сирко.

— Новости хорошие! — ответил Лизанец. — Советская Армия вышла к Днепру и уже стоит под Киевом. Со дня на день ждем известия, и потому всем нам нужно подготовиться. Вы — студенты, позаботьтесь, чтобы и в Будапеште этот день не был забыт. А мы здесь, в тот день, как получим весть об освобождении Киева, зажжем столько огней, что небу станет жарко, а фашистам — страшно.

— Ну, разве можно в такое время ехать в Будапешт? — пробасил Гаврило Логойда и потер руки.

— Ты еще подумай, Гаврило, — сказал ему на это Лизанец. — Не забудь, что и здесь есть кому работать. Сколько людей к работе рвется!

Тогда Яков Гуржий обратился к Логойда:

— А того человека спасли?

— Спасли, — ответил Гаврило. — Ты помог нам, Яков.

— И сейчас он в безопасном месте? — вырвалось у Гуржия.

— Да, Яков, сейчас он в совершенно безопасном месте и далеко отсюда, — сказал Гаврило.

— Вот и хорошо! — вздохнул Яков Гуржий.

Степан Лизанец в эту минуту пристально, пытливо посмотрел на Гаврила Логойду и Якова Гуржия, потом перевел взгляд на завешенное окно и задумался.

Из-за стола поднялся Дмитро Вакаров. Все за столом знали, что он, бедняцкий сын из села Иза, долгими годами ежедневно вставал до рассвета и пешком шел из Изы в Хуст, а после уроков также пешком возвращался назад. У него не было теплой одежды и цельной обуви, зимой в долине порою засыпало снегом все дороги, а он все же ходил — сквозь морозы, выюги, ветер. Так он

закончил гимназию, поступил в Будапештский университет.

Напряженная, небывало трудная жизнь наложила свою печать на Дмитра Вакарова. Был он молчалив, сдержан, взгляд у него всегда пронизывающий, пытливый, губы — крепко сжаты. Делала свое и болезнь — Дмитро Вакаров был тяжело болен.

Дмитро Вакаров писал прекрасные стихи — про обездоленный край, про свою родину.

— Прочитай, Дмитро! — попросил Степан Лизанец. Вакаров читал:

Как чайка, которую ранил стрелок,
О солнце вздыхает, вся кровью залитая,
— Так ты, моя родина, горем убитая,
С надеждой глядишь на багряный восток...

Как отвечали эти строки тем широким замыслам, неукротимым стремлениям, владевшим сердцами этих молодых людей! Жестокая правда — за затемненными окнами домика лежит нищий, задавленный сапогами оккупантов городок Хуст, и в каждом из его домов не только окна затемнены, затемнена и душа человека. Кругом неправда, неволя, муки, насилие, убийство и кровь. И так не сегодня только, а столетие за столетием, отрезанные высокими Карпатскими горами от родного народа, от Украины, погибают в неволе, тяжко страдают труженики Закарпатья. Но никогда, — как ни стремились покорить и начисто уничтожить их враги, — они не покорялись: в самые трудные минуты, израненные, измученные, ограбленные и распятые, они боролись и обращали взоры на пламенеющий восток, где вставало солнце; глядели туда с надеждой в глазах...

Народ родной, лишь для тебя живу я,
Всю жизнь свою я посвятил тебе!
За твой счастливый день с врагом воюя,
Я позабыл и о самом себе,—

читал Вакаров.

Они разошлись поздно, около полуночи. Первым покинул собрание Микола Сокач, у него была увольнительная записка на всю ночь. Михайло Сирко — он заранее вышел во двор, проверить, нет ли кого поблизости, — видел, как Микола вышел из затемненного дома,

промелькнул по Замковой улице и исчез в сумраке ночи... Но Микола далеко не отошел, долг товарища подсказал ему остановиться и ждать, пока не разойдутся все его друзья.

Затем показались Гаврило и Юрко Логойды. Они попрощались с Михайлом Сирком и направились огородами домой. До Глубокой улицы было близко, а на огороды вряд ли заглянут жандармы.

Вышел и Яков Гуржий. До Киришской было рукой подать, а он еще пошел напрямик, через соседские дворы. Через несколько минут он был уже дома, отпер дверь.

В доме Гуржиев было темно, но мать не спала, а сидела в столовой у неосвещенного окна.

— А что, отца до сих пор нет? — раздраженно спросил Яков.

— Нет! А вы не вместе ходили? Ведь он ушел вслед за тобой...

У Якова сердце екнуло в груди. Вслед? Какая-то неясная мысль промелькнула в его голове. Эта мысль стала отчетливее, когда через несколько минут воротился и отец.

Яков не стал говорить с отцом. Он прошел к себе в комнату, плотно затворил дверь, не раздеваясь лег в постель.

В Хусте было тихо. Михайло Сирко в это время хлопотал во дворе. Нужно было где-то устроить Степана Лизанца, которому предстояло утром идти в Копашнево, чтобы встретиться со Степаном Чижмарем. Лизанец не хотел ночевать в доме, и Михайло уложил его на сене. В комнате остался один Дмитро Вакаров.

Уложив Лизанца, Сирко собрался было идти спать, но только поднялся на крыльцо, как заметил, что кто-то идет к дому со стороны огородов — от оборога. Это был отец Михайла — Илья Сирко.

— А вы что не спите? — спросил Михайло.

— Да так, — ответил Илья Сирко, опираясь на крепкую палку. — Я тут, на обороге, сидел. Весь вечер сдавалось, будто кто-то ходит вокруг. Ну я с посошком и сторожил... Показалась какая-то тень под забором — кинул палкой; попал бы — разбил бы голову. Но убежал, чертов сын...

— Это, может, собака была, — усмехнулся Михайло.

— Может, и собака! Кто знает! А я сидел.

— А сейчас ляжем спать, отец!

— И то дело.

Илья Сирко поставил палку у крыльца, вошел в дом, Михайло еще поужинал, слушал, как на Солотвинском шоссе, точно рассерженные шмели, гудели машины. Над Тиссой несколько раз что-то блеснуло, а потом донеслась длинная очередь пулемета.

Глава десятая

1

В приказе окружного управления и в секретном циркуляре управления жандармерии под личную ответственность сельских старост и всех чинов военной комендатуры предлагалось к началу ноября проверить еще раз лояльность всего населения, а с первых дней ноября установить дневные и ночные дежурства чинов жандармерии на улицах села и на окраинах.

Приказ и циркуляр отец и сын Репаша получили одновременно.

— Вы понимаете, к чему это? — спросил Янош.

— К чему? Может, что-нибудь на фронте? — задумался Золтан Репаша.

— Нет, это к фронту не имеет отношения, — авторитетно заявил Янош. — Окружное управление и управление жандармерии беспокоятся, как бы у нас чего не произошло, когда там, — Янош кивнул головой за Карпаты, — будут отмечать годовщину революции.

— А что у нас может произойти? — с беспокойством спросил отец.

— Мало ли что может быть, — сказал военный комендант. — От них всего можно ожидать. Я уж думаю проверить все дома не только в селе, но и в горах.

И он с опаской поглядел на горы за селом и на тучи, катившиеся над лесами и полонинами. Коменданту было не по себе.

На следующий день они с Марадиком отправились на взгорье за селом, где среди лесной чащи стояли одинокие хатки. Добраться туда на мотоцикле нельзя было,

и они двинулись пешком. Места были безлюдные, от хаты к хате приходилось пробираться сквозь лесные заросли, и Янош Репаша все время держал наготове револьвер, а Марадик шел позади с автоматом.

— Послушай, комендант! — пробовал один раз остановить его Марадик. — К чему нам ходить в горы?

Янош остановился, тяжело отдуваясь.

— Ты думаешь, меня привлекают горы? — сказал он. — Да будь они прокляты! Но окружная комендатура требует, чтобы мы проверили все хаты, все население, а оно — видишь — расползлось по всем горам. И наконец, мы с тобой, Марадик, должны узнать, кто нас окружает. Я живу в селе с малых лет, но, ей-ей, не знаю, что за люди сидят в горах.

Они стояли на безлесной вершине одного из пригорков, откуда видны были склоны других холмов и леса за ними. По склонам там и сям ютились огороженные жердями крошечные хатки.

— Черт их знает, — проговорил Янош, глядя на эти хатки. — Я бы сюда ни за что не пошел ночью.

— Тут и днем неприятно, — сказал Марадик. — Бр... холодно даже... Может, в самом деле возвратимся в село?

— Нет, — сказал с решительным видом комендант, — мы осмотрим еще вон то взгорье.

Так они дошли до хаты, стоявшей на лесной прогалине. Сама хата была покосившаяся, ветхая, вся поросла мохом, два оконца ее почти ушли в землю. Но вокруг хаты цвели увядшие от первых холодов, но все же чудесные цветы, над нею склонялись, как бы стараясь скрыть ее убожество, сосны.

Янош и Марадик двинулись вперед, но не смогли подступить к хате. Дорогу им преградил огромный чабанский пес с обрубленными ушами. Он яростно рычал, кидаясь на жандармов.

Отворилась дверь, и на пороге появилась девушка. Она отогнала собаку и остановилась в нескольких шагах от Яноша.

Был какой-то праздник, и девушка надела, видно, все, что у нее было самого лучшего: красивую белоснежную вышитую рубаху, вышитую бисером ленту на шею, яркую, как цветы возле хаты, запаску, пояс. И сама она была прекрасна: стройная и высокая, с туго заплетенными косами, с румянцем на щеках...

Янош и Марадик оторопели.

— Это вроде бы не то, чего мы искали,— кинул Янош Репашу Марадику.

— Но это лучше того, что мы могли найти,— ответил адъютант.

Янош сердито блеснул глазом и отвернулся. Он закинул за спину руку с револьвером, выпятил грудь, ухмыльнулся, прищурил глаз.

— Так это ты тут живешь? — спросил он девушку.

Она была встревожена появлением двух вооруженных людей на ее лужайке, но ответила спокойно:

— Да... Я живу здесь...

— А зовут тебя как? — полюбопытствовал Янош.

— Юлина.

— А фамилия твоя?

— Ковач.

— О! — довольно крикнул Репаша. — Это твой брат работает в лесу?

— Да, Данило работает в лесу.

— А сейчас он дома?

— Нет, нету его... Вот-вот придет.

— Ну что ж,— сказал Янош,— обойдемся и без него... У тебя никого там нет в хате?

— Никого.

— Ну, покажи!

В глазах Юлины появилась тревога. Она оглянулась на деревья, обступавшие лужайку, на тропинку, ведущую к лесу.

— Ну-ну-ну! — сказал Янош и вынул из-за спины руку с револьвером. — Пошли!

И Юлина вошла в темные сени, потом в хату. Двое вооруженных людей шли следом за нею, оглядели, перешагнув порог, сени, заглянули в хату — и вошли туда.

Юлина стала в углу между столом и скамьей, под иконами. Став там, она быстро оглядела хату, посмотрела на стол, на пучки пахучих трав на стенах, на скамью, где лежал чабанский нож. Она сделала шаг в сторону, чтобы закрыть скамью.

— Ну, чего же ты отступаешь в угол? — засмеялся Янош. — Не бойся. Значит, вот так ты и живешь? Плоховато, девушка, плоховато...

— Нам ничего, пап, мы привыкли.

— А партизан, девушка, тут не слышать? — Янош сделал шаг вперед.

— Что вы, милостивый пан? Какие партизаны? Никто и никогда у нас не бывает. От села далеко, кругом лес, горы, волки, медведи...

— Ты, я вижу, разговорчивая, девушка!

Она ответила на это, как могла спокойнсе:

— Я ведь ничего такого и не сказала, только ответила пану.

— Я слышу, слышу.

Тогда Янош обернулся к своему адъютанту:

— Марадик! Мы должны все сделать... По инструкции нужно проверить. Девушка может и не знать. Загляни под постель, за печь...

— Хорошо,— угрюмо сказал Марадик и, выступив вперед, сорвал с постели одеяло, швырнул его на пол, заглянул под кровать, на печь, подошел к столу, кинул взгляд на скамью, где лежал нож.

— Ничего особенного нет,— подвел итог Марадик.

— Тогда погляди еще там, в сенях,— начальническим тоном приказал Янош.—И покарауль у двери... Я должен еще кое о чем расспросить девушку...

— У-у... старшина! — вырвалось у Марадика.

Они стояли нахмурясь, сердитые, возбужденные.

— Капрал! Я сказал! Ступай! — в сердцах выкрикнул Янош.

Марадик вышел, хлопнув дверью в сени, а потом и входной.

— Этот... мой денщик,— заговорил Янош,— очень злой и вообще неприятный человек. Он может ни за что ни про что убить человека. Да, да, я тебе говорю правду, девушка! Но что же ты молчишь?

— Пан попрекал меня, что я разговорчивая, а теперь говорит, что я молчалива. А что мне говорить?

Яношу понравились покорность и тихий голос девушки.

— Ты мне нравишься,— хрипло сказал он.— Слышишь? Ты красивая, черт тебя побери. Ты слышишь, что я говорю?

И снова Юлина проговорила тихо, мирно:

— Пан шутит... Он просто не хочет глядеть на здешних дивчат. В горах много красивых дивчат...

— В этих горах ничего красивого не может быть.

— Почему же? — Юлина собрала все свои силы и засмеялась.

— Ты... — даже растерялся Янош. — Чего ты смеешься?

— А как же мне не смеяться, пан? Неужто у нас в горах ничего хорошего нет?

— Нет! — решительно сказал он. — Вот только ты...

Янош сделал шаг вперед, размахивая револьвером.

— Юлина! — сказал он. — У меня к тебе дело. Я хотел бы, чтобы ты пришла нынче вечером в сельскую управу.

— Я туда не пойду, — ответила она.

— То есть как ты не пойдешь? — вскипел Янош. — Я приказываю, и ты должна повиноваться. Я, чтоб ты знала, военный комендант.

— Если пан комендант приказывает, я могу прийти днем, — голос Юлины стал решительным. — Но ночью я никуда не пойду.

— Это почему же?

— Потому... — Она на миг остановилась, но сразу продолжала: — Потому что, если буду возвращаться сюда ночью, меня могут и волки разорвать.

— Чудачка! Ты не вернешься ночью. Ты заночуешь там.

— Нет! Если бы я пошла туда ночью, то была бы не в управе, а в горном потоке.

— Смотри-ка! — удивленно процедил Янош. — Ты, я вижу, гордая!

— Такою меня мать родила...

— Я не знаю, какая была у тебя мать, но тебе гордость ни к чему. Пойми, другая девка рада была бы, если бы я ее на вечер в управу позвал.

— Что-то я не слыхала о таких в нашем селе! Разве что поповна, так та не только в управу побежит, а еще и дальше...

— Хватит, девушка, хватит! — прикрикнул он. — Я тебе откровенно говорю — приходи! Я отблагодарю тебя. А не придешь — силой приведут. Мой Марадик никому не дает пощады. Но я хочу уберечь тебя от него. Я у тебя буду один. Ну? Придешь?

Юлина стояла молча, только руки ее вздрагивали часто-часто.

— Вот и ладно! — сказал Янош. — Молчание — знак

согласия. Так было всегда. Я тебя буду ждать. А сейчас один поцелуй герою Восточного фронта, и я уйду.

Он сделал шаг вперед, заткнул за пояс револьвер, протянул руку, чтобы коснуться ее.

Янош не заметил, как это случилось, но вдруг увидел в руках Юлины нож, на лезвии которого заиграл свет со двора.

— Ого! — крикнул он, отступив назад, и выхватил из-за пояса револьвер. — Так ты так? Брось нож!

Она стояла — стройная, прямая, очень бледная, высоко подняв руку с ножом, и молчала.

— Девушка, — прохрипел он, — брось нож, не то я тебя на месте застрелю.

— Неужели пан воюет с женщинами? — долетело до него.

— Проклятье! Да! Я воюю со всеми... и с женщинами. Ну, бросай нож! Я стреляю.

— Стреляйте!

В это время на лужайке завизжала собака, под окном слышался голос Марадика и еще чей-то голос. Дверь в сени распахнулась, и на пороге появился Данило Ковач, держа длинную палку с отточенным крюком, который сверкал, как пика.

Данило оглядел хату и, должно быть, все понял.

— Пан комендант хотел меня видеть? — спросил он.

— Я уже все узнал от этой женщины, — буркнул Янош и быстро прошмыгнул к двери, мимо Данила, и вышел. Следом за ним вышел и Данило.

— Вот и ушли! — сказал Данило, проводив Яноша и Марадика и убедившись, что они исчезли в конце тропинки. — А теперь расскажи, сестра, зачем они приходили?

Юлина все еще стояла у стола. На щеках у нее только теперь зажегся нестерпимо жаркий румянец. Она указала глазами на нож и тихо проговорила:

— Приказывал вечером прийти в управу!

— Что ж, — сказал и засмеялся Данило. — Пусть подождет! Увидел теперь, чем их угощают наши верховинские дивчата.

Он шагнул вперед, взял холодную руку Юлины.

— Эх, сестра, сестра! — вздохнул он. — Какая же ты у меня, Юлина, хорошая, слышишь? Да ты чего? Ну, сестра, чего ты? Не бойся! Теперь они не придут. Этот Янош

со своим прихвостнем храбры только тогда, когда перед ними беззащитные, слабые. А покажешь им нож, сразу задрожат. Видела бы ты, как они побежали вниз. Ну, чего ж ты, чего, сестричка?

Юлина припала лицом к его плечу и беззвучно плакала. Огромное, чрезмерное напряжение, только что пережитое девушкой, давало себя знать, и она, как раненая птица, трепетала, все тело ее содрогалось.

— А вот я подарок тебе принес,— ласково, даже торжественно проговорил Данило.— Да ты погляди, погляди, Юлина!

Она подняла голову, вытерла слезы и увидела, как Данило расстегнул свой киптарь, снял пояс и стоит перед нею, обвитый куском ярко-алого шелка.

— Да как же ты пронес его?

— Вот так, под поясом, Юлина.

— Они же могли найти! Что бы тогда было, Данило? Ведь на месте замучили бы...

— Кто бы говорил? — улыбнулся он.— А у меня, что ж, думаешь, ножа нету? Нет, этот шелк не для них. Он нам очень нужен, сестра. Скоро уже день Октябрьской революции — там, за Карпатами, и здесь, на Карпатах. Вот и о шелке позаботились... Скоро, скоро у нас праздник, Юлина! Ну, уже не плачешь, не дрожишь? И не нужно, пусть они дрожат, проклятые!

2

Из какого-то самого темного уголка в небе вырывались, падали и гасли, мерцая, золотисто-багряные звезды. А в глубине души Юлины возникали, плыли потоком и все не гасли горестные, жаркие, тяжкие мысли.

Она содрогалась всем телом, вспоминая Яноша Репаша, его обидные слова, требования, похвальбу.

Нет, она больше не будет спать в хате, разве только когда Данило будет дома; одной там, в четырех стенах, было страшно, все казалось, что кто-то ходит под окнами, что скрипит дверь в сени, что кто-то входит в хату. Нет, в хате спать нет сил.

Она легла на обороте, до половины заложенном душистым лесным сеном. В хозяйстве у них давно не было молочной коровы, а все же Данило ежегодно, с оглядкой

на лесника, косил траву на лесных прогалинах, набивал оборот. Иногда, в хорошую погоду, он сам спал там. Клочок сена всегда пригодится в хозяйстве. В эту ночь на оборот взобралась Юлина. Зверь не придет, злой человек не найдет. А если кто и подступит — рядом лес, а в лесу ищи Юлину!

А кроме того, ей нравилось лежать на обороте, глядеть в небо над горами, где плывут в вечном круговороте звезды, смотреть на темные леса, на туманы — они рождаются ночью в долинах и поднимаются в горы...

Так она лежала и этой ночью, закинув руки за голову, вдыхала терпковатые сладкие запахи свежего сена, сухих цветов шалфея, ромашки, мяты и смотрела на горы, леса, долины, повитые ночной мглой. А звезды падали и падали, и, как звезды, плыли ее мысли.

Она думала и не могла не думать о том, что случилось сегодня. Побитый пес, он смеет ей говорить о любви, он приказывает ей прийти в сельскую управу! Хорошо, что удержалась, ведь она готова была вонзить нож в поганое, волчье сердце. Спасибо Данилу, это он спас ее от бесчестия и от смерти.

Данило! О, как она любила брата! И как его не любить? Ведь никого, кроме него, у нее на свете нет. Да и где он только не был! За морями, за океанами, хлебнул горя в чужой стороне, а вырвался, прилетел в родной край, в хату на горах, к родной сестре.

И вот год за годом проходят, а они живут вдвоем в этих горах. Молчалив, задумчив, с виду суров Данило, — но разве не знают люди, какое у него мягкое, доброе сердце?

А разве только брата Данила любит Юлина? У нее сильно забилося сердце. Из далекого прошлого возникла ночь, когда они с Сегинем и Степаном Шегутой провожали за перевал своих людей. Это было так давно, почти пять лет назад. Но она помнила, как в ту ночь шли они горными тропами и остановились на самом перевале... И хотя было темно, а все же она узнала, кто, подойдя к ней, стал рядом в туманной мгле. Антон Тиснянец — это был он.

— Мы уходим, Юлина! Передай матери, скажи сестричкам, когда подрастут, Павлу скажи, — я никогда, никогда их не забуду. И о тебе все время буду думать, Юлина!

— Будь счастлив, Антон! Возвращайся! — Она в темноте положила ему на плечи руки, жарко поцеловала.

Да отчего ж это? И что это такое? Ей показалось, что сейчас, в эту самую минуту, она ощутила на своих губах тепло его губ, ей показалось, — это Антон подошел во тьме к оборогу, стоит и протягивает к ней руки.

Юлина подползла к краю оборога, заглянула вниз. Но там никого не было, только ветер, как струны, перебирал траву. Опустилась на колени, приложила руки к тугой, молодой груди, кинула взгляд на черные горы, на укрытые туманом перевалы, куда он ушел...

И долго ждала она, прислушиваясь, не вернулся ли Антон, ощущая прилив неизведанной любви. А как легла, так и заснула на обороге — пьяная от крепких запахов лесных трав, убаюканная тихим шумом сосен, усталая от мыслей, струившихся, как горный поток.

В вышине плыли и, казалось, охраняли ее сон звезды.

3

Золтан Репаша и Янош были уверены, что в Кленах ничего особенного не случится. И верно — что могло здесь произойти? Все враждебные элементы в селе, казалось бы, уничтожены: кто просто убит, кто — гниет в концлагерях... Листовки и сводки Совинформбюро время от времени появляются в Кленах, но Золтан и Янош понимали: их привозят из Ужгорода, Мукачева, Рахова. Есть в селе, — думали они, — кто-то, он добывает их и клеит, клеит, клеит... Но это мог быть только одиночка. Янош давно дал слово, что поймает его. А свое слово Янош всегда держал. Нет, в Кленах ничего особенного не могло произойти!

Надеялись Репаша и на свою вооруженную силу. Янош подсчитал: в селе — два Репаша, пятеро солдат на лесопилке, Марадик, имеют оружие писарь Сучай, Гаврило Клумак, Клочуряк, два приехавших из степи венгерца. Ну-ка, подступись к ним, попробуй пошевеливаться!

Янош даже собрал все свои силы накануне годовщины революции на Востоке и посоветовал всем, не исключая Клумаков и приезжих венгерских панов, быть в эти

дни особенно внимательными, держать оружие наготове.

После собрания Янош выстроил перед сельской управой солдат, а Марадика поставил правофланговым. Он провел их по селу и приказал петь песню:

Я солдат Хорти Миклоша,
Самый красивый солдат!..

Громче всех пел сумасшедший гонвед, который считал себя внуком Франца-Иосифа и братом испанского принца. Янош Репаша остался доволен: пусть знают бунтовщики — в селе есть воинская сила, а у нее в руках есть оружие!

После этого, до самых сумерек, Янош с Марадиком носились на мотоцикле по селу, трубили что есть мочи, поднялись на один из пригорков за селом, откуда Янош трижды выстрелил из револьвера. Эхо выстрелов покапало долиной и долго повторялось, стихая в горах.

— Слышишь — восемь раз! — сказал Янош. — Что значит — горы! А теперь поехали домой! Они видели наш парад, слышали пальбу. А может, никто и не слышал ничего, ведь они рано ложатся спать, эти проклятые лежебоки. Ну, поехали, сейчас самое время выпить!

И они, разумеется, в этот вечер напились. Только Золтан Репаша не пил и не ел, а тепло одевшись, то выходил во двор и прислушивался, то возвращался в дом и садился у окна — настороженный и беспокойный.

— Вы бы лучше выпили, — издевался над ним Янош.

— Возле пьяной головы пусть хоть уши будут трезвые, — огрызался отец.

— Ну и слушайте, а мы выпьем, Марадик, — говорил Янош.

Было уже около полуночи, когда Золтан Репаша как бешеный вбежал в комнату.

— Что случилось? — вскочили сразу Янош и Марадик.

— Горит! — закричал старый Репаша.

— Где?

— Как будто у Рахова!

— Ну и пускай себе горит, — засмеялся Янош. — Это, должно быть, наши и зажгли. Ха-ха!

Все вышли во двор поглядеть на пожар, напугавший Золтана Репаша. Была морозная безветренная ночь. Над Кленами, над долиной и горами высоким шатром раски-

нулось небо, в глубине его, как самоцветы, сверкали звезды. Вокруг села стеной стояла ночь; в одном месте в ней словно окно прорезывалось — где-то далеко, в Рахове, а может, еще дальше желтым огнем отблескивало зарево.

— Ну что же? — равнодушно сказал Янош. — Не такой уж большой пожар. Сразу видно, что горит бедняк. Верно, Мара...

Он не закончил. Гораздо ближе, и уже по эту сторону Рахова, вспыхнул новый пожар, — горел, видно, стог соломы или сухое дерево, потому что огонь вырвался столбом и взметнулся высоко в небо.

— А это что? — крикнул Золтан.

По склону хребта, в сторону Рахова, а еще ближе — к Кленам, вспыхнул третий огонь.

— Смотрите! — слышался испуганный голос Юдит.

Зажегся четвертый огонек, пятый, несколько огоньков вспыхнуло на другом хребте, по ту сторону Черной Тиссы.

По всей долине, от самого низу и выше, выше, к перевалу, извилистой, переливной полосой пылали огни. Далекие огоньки едва угадывались, ближние пылали красноватым пламенем, самый ближний огонь, где-то на склоне у Квасов, пылал ясным, голубоватым пламенем.

— Что это значит? — щелкая зубами от холода и страха, спросил Золтан Репаша.

— Молчать! Молчать, старый дурак! — крикнул Янош.

И вдруг загорелось у самых Кленов, на высоком безлесном холме, стоявшем над селом.

— Ты видишь, Янош?

— Дайте покой! У меня один глаз, но я вижу им больше, чем вы слышите своими трезвыми ушами! — кричал Янош. — Лучше скажите, кто живет на том холме?

— Там никого нет, — ответил Золтан Репаша. — На ту скалу не взобраться...

— Они скоро нам на головы взберутся! Проклятые русины! Бунтовщики! Коммунисты! Погодите! Погодите, я вам покажу...

На безлесной вершине за селом что-то горело, как факел. Сильный ветер раздувал пламя, и огненный язык то расстилался по земле, то взлетал в небо... И даже

когда огонь погас, по склону холма еще долгое время сыпались золотые искры от костра.

— Неужели они сделали то, о чем предостерегал циркуляр? — проговорил Золтан Репаша.

— Вот вы трезвый, но уши у вас ослиные, — рассердился Янош. — Ну, чего в конце концов они добились? Осветили — и ладно! А дальше, что вы сделаете дальше, проклятые бунтовщики? Руки короткие, слышите, кулаки малы! — кричал комендант села Клены.

Но Янош Репаша ошибался. Чуть только рассвело, отец разбудил его. Перепуганный староста так и не ложился спать; взяв автомат, он до самого утра ходил по двору.

— Что случилось? — закричал Янош, когда Золтан принялся отчаянно трясти его за плечо. — Может, теперь скажете, что солнце погасло?

— Не мели чепуху, — ответил на это старый Репаша. — Солнце светит, но возле управы выставили флаг.

— Что? — взревел Янош.

Втроем они побежали к сельской управе; по дороге Янош стукнул несколько раз в калитку к Гаврилу Клумаку и крикнул ему, чтобы солдаты с тартака сейчас же бежали к управе. Но Гаврило и сам понял, в чем дело, и через несколько минут мчался со своими гонведами вслед за старостой. Позже пришли писарь и Федор Стрыпский.

— Ну, — сказал Янош Репаша, — как же их не вешать?

На высоком-высоком ясене напротив сельской управы, да к тому же еще на самой его верхушке, был привязан к ветке красный флаг. Ветер рвался из-за гор, катился по долине и с силой развевал полотнище флага.

У входа в управу стоял, согнувшись под ветром в своих лохмотьях, бохтарь Савва Шепа. Золтан Репаша накинулся на него.

— Чего спал? Куда глядел? Ты видишь?

— Вижу! — ответил Шепа. — Красный флаг. Ей-ей, флаг!

— Что вы с ним связались? — завизжал Янош. — Чем вам поможет этот калека? Лучше пусть возьмет свой барабан да барабанит, чтобы сюда пришли верховинцы, — пусть лезут снимают!

— Пан комсндант,— отозвался о. Федор.— Зачем вам звать верховинцев? Время раннее — может, они и не видели флага? Лучше уж управимся как-нибудь сами.

— Правду говорит батюшка,— поддержал его и Гаврило Клумак. — Может, эти верховинцы и в самом деле спят. У нас есть гонведы. Панове,— заискивающе обратился он к солдатам,— я уж со своей стороны отблагодарю... сто пенге тому, кто снимет этот флаг.

Гонведы поглядели на высоченный ясень с гладкой, ровной корой. Каждый из них оглядел также свои руки, ноги.

— Со своей стороны и я презентую сотню,— сквозь зубы процедил священник.

Солдаты облизали губы. Двести пенге — это уже деньги. Но лезть на ясень все-таки было опасно.

— Бутылку спирта! — крикнул Янош Репаша, сверкая единственным своим глазом.— Ну?!

Тогда вперед выступил сумасшедший гонвед.

— Я полезу!— задорно сказал он.

Другие солдаты подставили руки и плечи, чтобы помочь ему ухватиться за первые ветви. Кто-то спросил, есть ли у внука Франца-Иосифа нож. Он ответил, что у него очень острый нож. Все наблюдали, как сумасшедший ступил на первую ветку, подтянулся ко второй, стал на третью...

Лезть на верхушку дерева было трудно. Задрав головы, все следили, как гонвед, точно обезьяна, цепляется за ветви руками, подтягивается вверх, изгибается. Иногда казалось — вот-вот сорвется. Все даже отошли от дерева.

— Странно, как они умудрились прицепить его ночью! — проговорил Гаврило Клумак.— Тут и днем, глянь, что делается.

— Чудо!— произнес священник Стрыпский и сразу же сообразил, что слово это некстати. Какое же чудо может быть у коммунистов? — Дьявольское ухищрение, не иначе,— поправился он.— А наш гонвед в самом деле герой! Вы только посмотрите!

Гонвед добрался все же до того места, где был привязан флаг. Теперь он все делал торжественно, медленно. Обхватив обеими ногами ветку, он вынул из кармана свой острый нож, раскрыл его, поднял руку и торжественно отрезал веревки — одну и вторую...

— Ну! — сказал Гаврило Клумак. — Ему просто повезло! А денежки наши пропали!

— Матерь божья! — испуганно перебил его о. Федор Стрыпский. — Что деньги? Бог дал, бог взял. Но вы поглядите, поглядите, что делается!

Сильный ветер, дувший из-за перевалов, подхватил флаг и начал подворачивать его с одного края. Затем флаг снова выровнялся, напрягся, как парус, и поплыл над зданием управы, над потоком. Там ветер поднял его еще выше, еще сильнее напряг. Гордый, победоносный флаг поднимался теперь выше и выше...

— А верховинцев сколько! — прошептал о. Федор, глянул на сельские хаты, где повсюду стояли мужчины, женщины и дети.

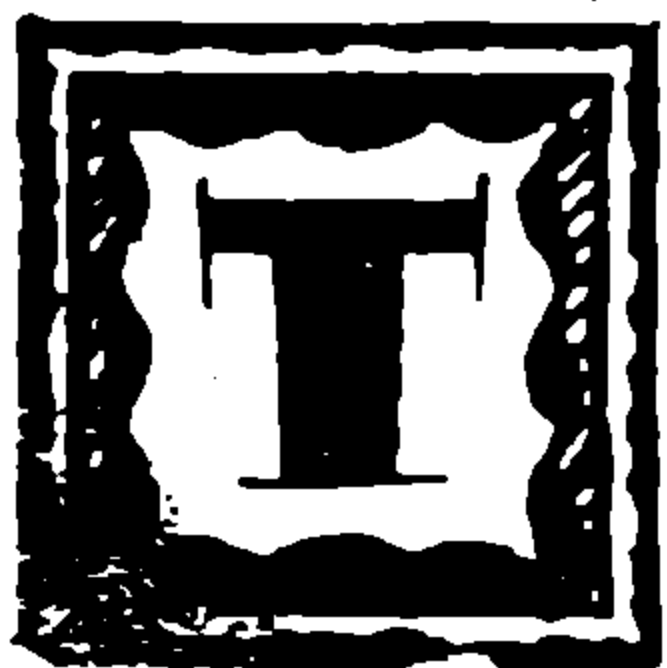
И долго там стояли верховинцы, а флаг все плыл и плыл меж хребтами Карпат, над зеленой долиной, пока не исчез где-то в голубой, пронизанной солнцем дали...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1



Тяжела была зима 1943 года в Закарпатье. В тот год рано выпал на Верховине снег, рано ударили морозы. А начавшись рано, морозы не уменьшались, а все крепчали и крепчали так, что камни трескались, горы, леса и полонины постоянно были затянуты морозной мглой.

И в долине свирепствовала зима. Толстый слой льда сковал реки, между селами намело высоченные сугробы. С гор в долины неслись такие резкие, пронзительные ветры, что людей валило с ног.

Но хуже всякой зимы замучила людей фашистская неволя. Через Закарпатье на Восточный фронт проходили жалкие, наспех собранные из стариков, подростков и калек воинские части. Это уже не были хвастливые «завоеватели», которые когда-то рвались на Восток. Они понимали, куда их гонят, и, не зная ни страха, ни совести, как саранча, накидывались, грабили, объедали людей обездоленного края. Им навстречу из-за перевалов, все через то же Закарпатье, двигались эшелоны с калеками, сумасшедшими, — этим уже вовсе удержу не было, они напоминали стаи бешеных волков.

А были еще отряды кемельгарито, они рыскали по городам и селам в поисках коммунистов; появлялись

части «Рондьош гарды»¹, охотившиеся на партизан, «Немзетергеш»², «Левент»³...

Этим людоедам из всех сил помогали местные богачи — и те, кто кичился своею мадьярской кровью, и те, кто клялся русинскими богами; фашистская власть предоставляла им все новые и новые права и привилегии, чтобы они жили и благоденствовали, а труженики долин и Верховины погибали под пулями или голодной смертью.

За одну эту зиму в Закарпатье было уничтожено более пятидесяти тысяч человек; насильственной смертью погиб каждый десятый, а еще десятки тысяч людей сидели в тюрьмах Ужгорода, Мукачева, Хуста, в концлагерях, густою сетью покрывших долину.

Население Верховины и долин за годы войны было доведено до голода; этою зимой фашистские орды забирали у людей последнюю корову, последнюю овцу, находили и забирали последний метр⁴ зерна.

На Верховину и на долины надвигалась страшная, неумолимая смерть; видно было, что Карпаты в самом деле станут скоро безлюдными, мертвыми, в самом скором времени фашисты создадут здесь «зону смерти», о которой они и мечтали...

Всю зиму шла напряженная, тяжелая работа по хребту Карпат, на перевалах, на западных и восточных склонах; там строилась и укреплялась линия Арпада. Днем и ночью, сквозь вьюгу и снег, двигались туда вереницы машин, груженных железом, цементом, толом; жандармы гнали по горным дорогам тысячи жителей Закарпатья — на каторжную работу, на муки и гибель. Они хотели за «зоной смерти» создать неприступную линию обороны, поставить железобетонную стену, чтобы укрыться за нею от огненного вала, который надвигался с Востока.

Фашисты хотели, чтобы ни одна живая душа в Закарпатье не знала о катастрофе, постигшей их армии на Востоке. По всем городам в долине и даже в самых отдаленных углах Верховины власти вывешивали «предо-

¹ «Рондьош гарда» — фашистские охранные отряды для борьбы с партизанами.

² «Немзетергеш» — католические фашистские отряды.

³ «Левент» — организация фашистской молодежи.

⁴ Метр — центнер (местн.).

стережения», в которых ломаным языком до ведома населения доводилось о том, что «в разумении точного выполнения закона, если кто шпионажить будет или будет добывать и распространять сведения, супротивные Венгерскому королевству, союзным силам и гонведам, того немедля судить военно-полевым судом и карать смертью».

В то же время премьер-министр Венгерского королевства доктор Миклош Калаи подписал еще один указ, который можно было бы назвать указом об узаконении любого убийства.

«Каждый жандарм при исполнении служебных обязанностей должен применять свое оружие против каждого подозрительного лица, которое попытается бежать, не отвечая на оклик...»

Однако подпольная организация действовала, и вести о победах Советской Армии «добывались» и «распространялись», весть об освобождении Киева дошла до Закарпатья в ту самую минуту, когда Москва салютовала героям Днепра. Во всех долинах и на Верховине в ту ночь вспыхнули «таинственные огни»; этим делом долгое время, и без всякого к тому же успеха, занимались в дальнейшем и охранка, и жандармы, и духовные особы. А затем пришли вести об освобождении Крыма, о Корсунь-Шевченковском котле, о стремительном наступлении Советской Армии по всей Украине и Белорусии... Каждая такая весть поддерживала поработанных людей, поднимала их дух, придавала сил.

Была еще одна сила, которая сдерживала кровавый меч фашистов, спасала и спасла население Закарпатья от уничтожения, ломала, как весенний паводок, дьявольские планы оккупантов. Этою силою был сам народ Закарпатья, который боролся за освобождение, за свое будущее. Этою силою была коммунистическая организация, и она вела народ на борьбу с оккупантами, за волю.

2

Еще горы и долины были покрыты снегами и льдом, а в Кленах все начали думать о том, как провести пахоту, лесосплав, как выгнать скот на полонины. Тяжко пришлось верховинской бедноте зимой; как и пережили ту зиму — один бог ведает. Но чем ближе была весна, тем сильнее разгоралась надежда; ведь что-нибудь да

уродится на постной верховинской земле, перепадет же хоть какой-нибудь грош на сплаве леса; хоть кувшинчик молока даст отощавший за зиму скот...

В убогих верховинских дворах корова и овца были самым большим, а подчас единственным сокровищем. Что даст угр земли? Овса или кукурузы до рождества или до Федоровицы? ¹ Что даст огород, который шапкой можно накрыть? Горсть бобов да мешок картофеля? А если у кого ни поля, ни огорода нет? Недаром горько смеялись верховинцы: «О, земли у нас вдоволь, да только под ногтями».

Дойная корова была мечтой многих селян в Кленах. Была во дворе корова — ей давали самые нежные прозвища: Белянка, Рыжка, Зорька; за нею ходила, ее лелеяла и присматривала за ней вся семья. Дай боже здоровья корове — так говорили люди, забывая о собственном здоровье.

И оттого что корова, да и овца тоже были сокровищем для убогой верховинской хаты — почетным считался здесь и труд человека, которому доверялось это богатство, который присматривал за скотом от весеннего Юрия до осеннего Миколы. На такую работу нельзя было взять первого попавшегося. В Кленах, да и во всех селах Верховины, повелось, что в конце зимы или же ранней весной люди собирались, совещались насчет пастбищ, насчет выгона скотины и выбирали чабанов.

И вот еще раз собрались кленовчане в конце зимы, чтобы посоветоваться и выбрать чабанов. Собрались они в корчме, — ведь где же еще в Кленах, кроме корчмы, можно было посидеть и потолковать?

Корчмарь Репижка, разумеется, не позволил бы людям даром, ничего не покупая, сидеть у него в лавке. Без денег можно и на улице постоять. Но он знал: после выбора чабанов люди должны выпить, чтобы было погожее лето и столько богатства, как на святую неделю травы и листьев. Вот он и стоял за прилавком, между бочкой пива и бутылками палёнки. А в самой корчме, за столами и просто вдоль окон, толпились по-разному одетые люди.

Сходкой этой никто не руководил. Да и что это за сходка! Люди просто перебрасывались словами, одна

¹ Ф е д о р о в и ц а — первая неделя великого поста (местн.).

начинал, другой заканчивал, один что-то доказывал, другой возражал.

— Но послушайте, Сегинь,— говорили те, кто позажиточнее,— что это прошлым летом случилось? Ведь три коровы, да и овец немало погибло?

— Псявка¹,— отвечал Сегинь,— была такая, словно кто ее отравой покропил. И муха еще появилась, как овод, укусит — и нет коровы.

— Значит, нужно перегонять на лучшие пастбища. Слушайте, Сегинь, неужто мало вам места в горах?

— Этим летом так и думаем сделать. Пойдем на Печенежскую полонину, а потом на Драгобрат и Шумнеску.

— Айно, айно! Вы уж, Сегинь, не пожалейте ног, но скотина должна быть в добром здоровье.

— Пусть честная громада подумает насчет помощников добрых, а уж сам я ног не пожалею,— говорил Сегинь.

— А кого бы вы сами назвали? — слышалось разом несколько голосов.

— Я согласен с прежними пасти, если громада выберет. Только вот Микиты Гулыка не стало — в лесу задавило зимой. Прошу громаду нового пастуха выбрать...

Кое-кто, казалось, только и ждал этого; со скамей, где сидели зажиточные, раздались возгласы:

— Кирила Тупчика! Кирила Тупчика!

Но слышались и другие голоса:

— Юлину... Ковачову Юлину!

Зажиточные, уже под хорошим хмельком, вскочили на ноги и старались всех перекричать:

— Кирило хлопец хватский! У него скотина будет цела! А Юлина — дивчина...

Но беднота, а их было большинство, как сговорилась:

— Юлину! Только Юлину!

Пересилила беднота. Пришлось Юлине выйти вперед, поклониться:

— Спасибо, люди!

В эту самую минуту распахнулась дверь корчмы. Со двора дохнуло холодом, дверь затянуло облачко пара. Когда пар развеялся, все увидели старосту Репашу,— опершись на палку, он стоял и злыми глазами глядел на

¹ П с я в к а — осот, несъедобная трава (местн.).

людей, за ним с портфелем в руках топтался новый писарь Сучай.

— Привет пану бирову! — крикнул Тупчик.

— День добрый, пан биров! — как сонная волна, прокатилось по корчме.

Репаша ответил на эти приветствия небрежным взмахом руки, прошел через всю корчму, сел за стол и обратился к Репижке:

— Нам с паном писарем по чарке вина... и геринг¹.

Корчмарь опрометью кинулся к своему шкафу, налил из бутылки большой стакан «печатной», чистой, как слеза, палёнки, нарезал селедки, накромсал белого хлеба. Голодные люди жадными глазами глядели, как староста взял стакан, чокнулся с писарем, отломил кусок хлеба.

— Ставь и людям, — обратился Сегинь к Репижке, — палёнки по чарке, хлеба побольше.

— А кто платить будет? — спросил корчмарь.

— Чабаны ставят, — ответил Сегинь. — Ведь выборы закончены.

Золтан Репаша чокнулся с писарем, однако не выпил, а сидел, прислушиваясь к разговору Сегиня с корчмарем.

— Так, значит, — процедил он, — и чабанов уже брали?

— Да, пан биров, — ответил Сегинь. — Люди сказали слово.

— Ага! А кого на место этого... как его... Микиты Гулыка?

— Юлину Ковачову, — ответил Сегинь.

— Ха-ха-ха, — засмеялся Золтан Репаша, хищными глазами поглядывая на людей. — Что ж, дело ваше! Ну, дай бог дожждаться счастливого лета! — Он засмеялся и выпил одним глотком весь стакан.

Люди тоже взяли по стаканчику более дешевой местной палёнки.

— Но хотелось бы знать, — с виду совсем равнодушно спросил Репаша, прожевывая кусок селедки, — куда думаете выгонять скот?

— Да куда же, — также равнодушно ответил Сегинь. — На Печенежскую, как всегда. А там пойдём и выше... Обо всем договорились, пан биров.

¹ Геринг — селедка (немецк.).

— Но ведь Печенежская,— застучал пальцем по столу Репаша,— теперь вроде бы не нашему обществу принадлежит?

— Как это, не нашему? — поднялся из-за стола Сегинь.— Сроду нам эта полонина принадлежала, и никому мы ее не отдавали.

— Сроду! Сроду! — насмешливо кинул Репаша.— Кабы все было, как сроду, то и нас с вами не было бы. Слышите?

— Пан биров! — стараясь сдержаться, говорил Сегинь.— Мы испокон веку по закону владели этой полониной!

— Такого закона не было,— перебил его Репаша и повернулся к писарю:— Прочитайте им, пан Сучай.

Писарь встал, раскрыл свой портфель, вынул из него какую-то бумажку, начал:

— «По указу правительства... от тысяча шестьсот сорокового года земля по правому берегу Черной Тиссы, где построено село Клены, отдана была шолтысу¹ Адаму Турянскому, который умер в тысяча шестьсот пятьдесят втором году, не оставив наследников, после чего земли эти зачислены были в государственный фонд... в числе этих земель находится и Печенежская полонина».

Сегиня словно что-то в грудь ударило. Это правда — старые люди сказывали,— когда-то в Кленах жил такой человек, Адам Турянский, он ездил по долине, бывал в Галичине за горами, заманивая отовсюду в горы бедноту, обещая ей землю, леса и всяческие блага. За ним власти закрепили все земли в Кленах, а люди, которых он привел в горы, стали его крепостными. Это правда.

— Но вы, должно быть, шутите, пан биров,— сдерживаясь, сказал Сегинь.— Что это за указ, ежели Турянского и следа не осталось, а наши люди сто лет владели этою землею...

— Вот потому и говорю,— кинул Репаша,— сто лет прошло, это так, но закона о праве наследования и о том, что если у какого-нибудь хозяина нет наследников, то вся собственность переходит государству,— этого закона

¹ Шолтысы — богатые крестьяне, которые выполняли в старину роль вербовщиков людской силы из Галичины и Буковины для заселения закарпатских земель. Шолтысы обычно получали должность старосты в новых селах.

никто никогда не отменял. Скажите спасибо, что правительство не взыскивает с вас аренду за сто лет...

— Что ж, можно взыскать и с мертвых! — засмеялся Сегинь. — Слыщите, люди, — обернулся он ко всем, кто был в корчме, — придется нашим мертвецам из гробов вставать да платить долги своими костями!

— Вы не шутите, Сегинь, — с угрозой сказал Репаша, — такие шутки плохо кончаются.

— Я не шучу, — ответил ему Сегинь, — но думаю, что ежели мы владели этой полониной столько лет, то правительство обязано дозволить нам и дальше пасти там скот.

— Нет, — голос у Репаша стал хриплым, прерывистым, — правительство не может дозволить вам дальше пасти там скот. Эта земля уже отдана другим, о чем есть новый указ правительства. Читайте же, да читайте, пан Сучай!

Писарь, продолжавший стоять, достал другую бумажку и не прочитал, а прошелестел пересохшими губами:

— «По указу правительства, подписанному пятнадцатого сентября тысяча девятьсот сорок второго года, пану Цайлику и пану Немету предоставлены земельные угодья в Мараморош-Сиготской жупе по сто угров каждому, согласно планов земельного управления. Кроме того, панам Цайлику и Немету отводится также и Печенежская полонина».

— А разве вы, панове, не сможете договориться с панами Цайликом и Неметом? — сказал староста. — Заплатите им с каждой коровы и пасите на здоровье. Ведь каждый должен получать свой хосен.

Сегинь вздрогнул даже. Поднять бы кованый топорик, опустить его на голову Репаша так, чтобы гул в корчме пошел. Но он только заскрипел зубами и промолчал. Так вот зачем, выходит, наехали паны из венгерской степи! Мало своих богатеев, давай еще и других, все вали на спину верховинцам, может, и вывезут! И не к чему дальше говорить со старостой, разве словами чего-нибудь добьешься? Скажешь правду — еще большую беду накличешь; топор окровавишь — людей погубишь...

«Молчать, молчать!» — сжимал кулаки Сегинь.

Однако чабан мог сдержаться, но не мог уже утихомирить разбуженных его словами людей. В корчме

стоял тревожный гул голосов. Изо всей силы грохнулся об пол и разлетелся вдребезги чей-то стакан. Сквозь табачный дым где-то в углу тускло блеснул нож.

— Да что ж это творится? — раздавались кругом голоса.

— Вторая панщина!

— От панщины к фашизму!

Люди отталкивали зажиточных хозяев, которые пытались заступить им путь, лезли с кулаками вперед.

Сегинь прекрасно понимал чувства, охватившие людей.

Но разум подсказывал, что волну нужно остановить, иначе она тут же бесплодно разобьется о каменную стену бесчеловечных законов королевства и не только разобьется, а и потечет кровавыми потоками по всему селу в убогие хижины.

Он стал, крепко упершись ногами в пол и широко расставив руки, перед столом, за которым сидел Репаша, и крикнул, стараясь перекрыть шум в корчме:

— Пойдите, люди! Походите!

— Ты что? — вырвался откуда-то сзади голос. — Ты с ними заодно? Так и тебе будет то же, Сегинь...

— Это самая большая неправда, какую свет видел! — крикнул Сегинь. — Но остановитесь, остановитесь, люди!

Но люди не слушали и не могли слушать Сегиня. Они теснились вперед, вперед... Репаша вскочил из-за стола. Лицо его было бледно как мел, руки судорожно дергались. Еще миг — и всему был бы конец.

Как раз в этот миг растворилась дверь корчмы, на пороге появились Янош, Марадик, а за ними еще несколько гонимых. В корчме стало совсем тихо. Только Репаша, подбирая осколки разбитого стакана, звякал стеклом.

— Что тут был за шум? — спросил Янош отца. — Что тут был за шум? — повернулся он к собравшимся. — Вы чего хотите? Автомата?

Толпа шатнулась. Люди спешили оставить корчму. Богачи подсаживались к столу староссы.

— Ты что-то задержался, — проговорил Яношу Золтан Репаша, у него зуб не попадал на зуб. — Тут могло такое случиться...

— Я пришел, как мы условились. Ну, поставьте мне палёнки! Рассказывай, батко, что тут было?

Под вечер Ласло Потоки получил через бохтаря Шепу записку от панов Цайлика и Немета. Степные аристократы приглашали Потоки прибыть к ним на пирушку.

По какому случаю устроили пирушку новые паны — было хорошо известно. Ласло Потоки не хотел идти на вечеринку и дорого дал бы, чтобы не быть на этом сборище, но хорошо понимал, что не следует вызывать против себя подозрения, а нужно скрепя сердце идти в дом, где когда-то жил Роман Хижняк.

Ничто в этом доме уже не напоминало старых хозяев. В углу за ширмой стояли две никелированные кровати вместо простых, самодельных стола и скамьи — мебель из Мукачева, даже греко-католические иконы повывбрасывал Цайлик, а повесил свои, римские. На стенах Цайлики развесили множество открыток, цветов, фотографий далеких и близких своих родичей.

Тесновато было приглашенным. В красном углу сидел, как самый почетный гость, о. Федор Стрыпский, с ним рядом попадья, по бокам Золтан Репаша и Гаврило Клумак. Рядом с Золтаном должен был сидеть и Янош Репаша, но он напился как стелька еще до начала пиршества и спал на одной из никелированных кроватей, а потому на его место посадили писаря Сучая. Сами новые хозяева с женами не садились за стол, а угощали гостей.

В числе гостей не видно было Дмитра Клумака, учителя Герберы, Яношева адъютанта Марадика. Это никого не удивляло: Дмитро Клумак болел желудком, к Гербере батюшка с некоторых пор относился недоброжелательно и в беседе с Цайликом высказал мысль, что, может, управителя и не следует приглашать, а Марадик, изрядно выпив и поев, караулил с клумаковскими гонведами во дворе и на улице, — Янош, пока еще был в памяти, приказал Марадику тщательно охранять пир. Приказ приказом, а Марадик, сверх того, и за себя боялся.

— Панове, — провозгласил, поднимая первую чарку, о. Федор. — *A potu incipere coenam*¹, как говорят монахи.

За столом все прислушались.

— Я хотел бы выпить, — продолжал о. Федор, — за

¹ Начнем трапезу вином (лат.).

священное, неприкосновенное, данное от бога право собственности, за панов Цайлика и Немета, которые сегодня по закону вводятся в права владения.

— Виват! Ура! — закричали гости за столом.

Все выпили, закусили, еще раз выпили и еще раз закусили — за новых хозяев, за присутствующих в доме.

— Нужно было бы выпить и за высокочтимого нашего коменданта, — сказал писарь Сучай.

— Но ведь он спит, — возразил Гаврило Клумак.

— Святая католическая церковь, — вмешался о. Федор Стрыпский, — дозволяет, даже понуждает пить и за тех, кто спит... Ведь они не виноваты, что спят!

— Правда, правда! — поддержали о. Федора все за столом и подняли стаканы за коменданта Яноша Репаша.

Гаврило Клумак, — он, выпивши, любил задираться, — сказал:

— Ну и закон вы нашли, пан Сучай! Сто лет? Наш писарь Магарычка, да прощен будет, на что был крепок во всякой там юриспруденции, и то бы не удумал такого.

— Не знаю, как ваш Магарычка, — нахально ответил Сучай, — а я вам могу подать любой закон, хоть и за тысячу лет. Хотите, дам выписку из «Золотой буллы»¹, да еще на ваше имя?

— Так этот самый закон тысяча шестьсот сорокового года, какой вы читали селянам. — начал Клумак.

— Написан вчера утром! — без запинки ответил писарь Сучай.

— Что бы мне раньше с вами поговорить, — вырвалось у Клумака. — Ведь я коренной русин и имею право...

— Уважаемые господа, — закричал о. Федор, стараясь прекратить нежелательный для венгерских панов разговор. — Выпьем за священную, данную от бога собственность, за правительство, за наш государственный строй, за дружбу между лучшими, высокочтимыми людьми греко-католического вероисповедания и между исконными венгерцами. Поцелуйтесь, пан Клумак, и вы, панове Цайлик и Немет! Властью, данною мне от бога, освящаю и благословляю вашу дружбу.

¹ «Золотую буллу» венгерский король Андрей Второй роздал в 1222 году все земли духовенству и магнатам.

В наступившей тишине Гаврило Клумак обнялся и расцеловался с панами Цайликом и Неметом. Все захлопали в ладоши и выпили.

Только Ласло Потоки сидел за столом и глядел на потолочную балку, где давними предками Романа Хижняка были вырезаны вязью слова, которых не могли прочитать венгерские паны, но которые хорошо знал Ласло Потоки: «Року 1840 я, Данило Хижняк, побудував сей дом...»

4

За стеной шумели сосны. От завешенных дерюгой окон несло холодком. В углу, на полке, горела коптилка. Слабый свет ее чуть озарял внутренность хаты. Иногда вспыхивал огонь и в печи — тогда красноватый отсвет пробежал по стенам, по сгорбленным фигурам, по лицам людей.

На главном месте, в красном углу, сидел Данило Ковач. Он, положив на стол тяжелые жилистые руки, глядел на собравшихся. Рядом с ним сидел Иосиф Короджий, с другой стороны — чабан Сегинь.

Несколько человек поместились на скамье у окна. Там были Лесь Химич — чабан, с виду неприметный, худощавый, но обладавший необычайной силой, чабаны Кирило Струг, Степан Верета. Из чабанов не было только Микиты Гулыка: пошел человек зимой подработать на лесосеки Клумака и сложил там голову.

Пришли сюда и плотогоны Степан Марусяк с сыном Павлом — смелые люди, они знали каждый камешек по Черной Тиссе от Апшанецкой гати и до самого Рахова и привыкли на своих плотках глядеть смерти в глаза.

Не смог прийти на собрание Ласло Потоки, но от рабочих лесопилки пришел шофер Хома.

— Вы хорошо поступили, вуйко Юрий, — сказал Данило Ковач, — что удержали людей. Сгоряча ничего хорошего не сделаешь.

— Верно, Данило, — ответил Сегинь. — Ей-богу, не знаю даже, как и удержался. А тут поглядел на людей, вижу — страх! Разошлись, ножи вынимают. И как не вынуть, если им читают закон, написанный сто лет назад...

— Что такое их закон, вуйко Юрий? — горько засмеялся Ковач. — Разве до сих пор так не бывало, что

сметана — старосте и попадье, а нам — кислое молоко? А теперь и подавно, захотят — всё напишут. Есть другой, справедливый закон на свете, да не дошел он еще до нас. Вот они и пьют нашу кровь, напились бы горькой смолы. А этот их закон — что? Захотят взять за каждую корову и овцу — и возьмут. Сказали «ча», скажут и «гис»...¹

— Да неужто мы допустим, — возразил Сегинь, — чтобы нас на нашу же землю не пускали и за нашу скотину деньги брали? Ведь в конце собрания писарь объявил, что Цайлик и Немет будут брать по частям и что первый взнос нужно уплатить немедленно?

— Слушайте, вуйко! Так что ж, не выгонять скотину в горы?

— Может, и так! — ответил чабан, и в голосе его была невыразимая боль.

— Нет, — решительно сказал Данило. — Скотину гнать в горы нужно. Оставим ее в селе — заберут. А без коровы да овцы — смерть!

— Но чем платить? — тяжело вздохнул старый Марусяк. — Достатки-то известны!

Это была горькая правда Верховины. У голодного ворховинца не было уже и рубахи на плечах. Чем же на самом деле платить?

Тогда встал Иосиф Короджий.

— Кто-то здесь сказал, что будут брать частями. Соберем всё, что можем, внесем им хоть первый взнос. Предложил мне Гаврило Клумак портрет его написать. И деньги дает, поскольку я сказал, что красок у меня нет. Пойду в долину, продам кой-какие картины и добуду денег. Внесем первый взнос. А второго им не дожидаться. До осени дел много будет, загудят еще горы. И уж мы даром время не потеряем.

Данило тоже поднялся. Тяжелый кулак лег на стол.

— Боюсь, Иосиф, что картин никто не купит. Но мы время даром терять не станем. Для панов у них и возьмем...

— Ая... ая!² — прокатилось по хате.

— В горы пойдем, — сказал Ковач Сегиню. — Нужно идти! Именно в горах сейчас и начнется работа. Пусть

¹ «Ч а», «г и с» — так погоняют волов: направо, налево.

² Да... да! (местн.)

поберегутся паны! Отплатим за все, и не частями, а сразу. Ведь и здесь, на делянках, сколько нарубили леса за зиму! Что ж теперь будем делать с этим нашим добром? — сказал Данило, подчеркнув слово «нашим». — Скоро весна, оживет Тисса, и Клумак начнет кричать, чтобы скорее спускали лес в долину.

— Поджечь? — сказал Лесь Химич.

— Не выйдет, — возразил Ковач. — Клумак ученый, велит класть бревна кучами далеко одну от другой.

— А если лес сплавить не на тартак, а к черту в пасть? — тихо проговорил Марусяк.

— Не сплавщик я, — признался Данило. — Сумеете ли?

— Коли нужно, — сказал плотогон, — сплавим, куда потребуется. Опасное дело, за людей страшно, но должны это сделать.

Все замолчали. Только ветер шумел за стеной, холодком тянуло от окон, огонь коптилки колыхался на полке, а по стенам бродили тени.

Так собирались они в хате у Данила Ковача или в другом потайном месте не раз. Всего одна только зима, а сколько событий произошло за это время в таком вот маленьком карпатском селе, как Клёны! Два эшелона полетели под откос у перевала, в лесу над Белой Тиссой сгорел склад горючего, по дороге в Квасы отбит у жандармов отряд молодежи, которую гнали в лагеря. И враги не знают, кто все это сделал. Пусть не знают! Маленькое, кажется, карпатское село Клёны, но сколько событий может произойти в каждом, пусть самом малом, заброшенном селе, где действуют коммунисты!

Об этом и думал Данило Ковач — командир партизанского отряда имени Борканюка, глядя на своих боевых друзей.

— Там, видно, пьют и поют, — сказал Данило Ковач. — Свои песни поют.

Он подпер подбородок руками, огляделся кругом таким взглядом, который, казалось, пронизывал стены, тяжело вздохнул, зажмурился и, слегка откинув назад голову, тихо запел:

На високій полонині
вродилися ріжки,
а чи підем, пане-браття,
навесні в опришки!..

Это была старая бунтарская песня, ее пели здесь, в горах, когда людям было очень тяжело: они вкладывали в ее слова всю свою печаль, весь свой гнев. И люди, услышав теперь Данила Ковача, сразу подхватили песню, присоединили свои голоса:

А зробимо топірчики
із самої сталі,
та не кличмо ми нікого,
підемо-но самі.

В низкой маленькой хатке Ковачей песня звучала приглушенно. Ей бы вырваться на волю, на высокие полонины! Но и здесь в ней звучал призыв, угроза неминуемой мести:

— А що у тій Чорногорі
за вороні коні —
ходім, брате, у одришки,
чуєм за червоні...

На миг оборвалась песня, словно раздумывали верховинцы, как им расквитаться с панами. В песне был ответ, и люди, собравшиеся здесь, знали, что делать:

— Ой, я знаю, пане-брате,
як би нам ужити, —
мордякою того пана
до стіни прибити:
Ой, прибити руки-ноги,
ще межи плечима,
щоб він на нас не дивився
чорними очима.

Данило Ковач встал, взял в руки свой топорик, стоявший у скамьи, поднял его и сказал торжественно, вдохновенно:

— Не будь я украинец, если так не будет!

В самые тяжкие дни, когда речь шла о жизни и смерти, деды и прадеды Данила Ковача поднимали свои топоры, говорили: «Я — украинец!» — в знак того, что они никогда не нарушат свою клятву. И сейчас Данило повторил эти слова.

Глава вторая

1

Василь Гербера чувствовал себя вконец обиженным. Он бы и сам, может, не пошел к этим венгерским панам из степи, но они-то обязаны были его пригласить. Управляющий школой, единственный, пожалуй, на все эти Клены аристократ, сын севлюшского помещика Кузьмы Герберы,— и какие-то там новоявленные корявые паны не приглашают его к себе на вечеринку по случаю «ввода в права владения».

Он сидел в сумерках у окна и видел, как промчались на мотоцикле Янош Репаша со своим адъютантом, важно прошли Гаврило Клумак, старый Репаша с женой и писарь Сучай, а вместе с ними о. Федор с попадьей. Все празднично одеты, палки в руках, и все в один конец села — к панам из венгерской степи. Пошел туда и Ласло Потоки.

Для управляющего школой это было большим оскорблением. Да, он расценивал этот случай как оскорбление его достоинству, неуважение к нему, как к человеку и, черт бы их всех побрал, к человеку государственному, официальному, деятелю культуры. В каком селе могло случиться, чтобы панство не пригласило на пирушку управляющего школой?

Пока он сидел так в сумерках у окна и дрожал как в лихорадке, злился и ругался, ему пришло на мысль еще одно обстоятельство, возникавшее из того, что произошло нынче.

Дело не только в том, что его не пригласили на вечеринку; хуже то, что кто-нибудь может поинтересоваться, что за особа управляющий школой и почему к нему такое неуважение со стороны местного панства. А в королевстве порядки известные...

Василь Гербера даже весь похолодел. Он представил себе, как о. Федор заезжает, примером, к о. Александру Демьяновичу и рассказывает, что у них была пирушка, но они не пригласили управляющего школой Герберу.

«А почему ж это так?» — любопытствует о. Александр Демьянович.

«Потому, отец Александр, что управляющий этот украинские книжки по хатам верховинцев носит, потому что он на посиделках языческие песни записывает, потому что его жена Ружена — дочь коммуниста Иосифа Гланца!»

Василь Гербера даже зубами заскрипел и зашипел:

— Нет, нет, нет!

Страх, родившийся в его утлой душонке, колол и колол его.

«А что ж ты сделал за последнее время? Сказал ли ты кому следует про свою жену Ружену или уведомил кого-нибудь о том, что видел в хатах верховинцев и что слышал на посиделках? С кем же ты, Василь Гербера?»

Тело управителя дрожало, мутными глазами он оглядел комнату, понял, что отныне уже спокойно не уснет; кот Мавка, лежавший у порога, казалось снова стал диким, хищным, лесным зверем и выпустил свои когти. За свою жизнь управляющий школой Гербера причинил немало горя жителям Верховины, однако он не думал об этих простых людях, он их не боялся, он знал, что эти люди не способны на какую-нибудь мелкую месть. Он боялся таких, как и он сам, негодяев, продажных людей.

На следующий день Василь Гербера поехал в Рахов и направился к знакомому ему дому о. Александра Демьяновича.

— Давненько вы не были, пан Гербера,— начал о. Александр, вводя управляющего школой в свой кабинет.— Что там у вас слышно? Что нового на Верховине? Ведь у вас теперь новый наместник, старых своих друзей забываете...

В глазах о. Александра, как показалось Василию Гербере, светились подозрительность, неуважение и прямая злоба.

— О нет, отец Александр,— сказал Василь Гербера, приложившись к его руке. Он тут же заметил, что грудь благочинного украшает еще один орден,— прошу прощения, я не забываю, духовный отец, но с новым наместником нашим, простите, согласия достичь не могу.

— В чем же причина сего, пан управитель? — спросил о. Александр и добавил: — Да садитесь же, садитесь!

— Я и постою, с вашего разрешения,— сказал Василь Гербера,— а с благочинным нашим, отцом Федором, у меня определенные принципиальные расхождения.

— В чем же они состоят? — поинтересовался Демьянович.

— Они состоят, с вашего позволения, в том,— твердо проговорил Гербера,— что отец Федор проводит в своей работе украинские тенденции...

— Но какие факты имеются у пана управителя? — складывая крестом руки на груди, спросил о. Александр.

— Я, как регент церковного хора, доподлинно знаю, что в нашей церкви было много недостойных славянских книг, разных нот и, с вашего позволения, даже богомерзкие записки... И отец Федор вместе с церковным сторожем тайком перенес эти книги к себе домой...

— Так, так! — произнес о. Александр. — А дальше?

— По вашему заданию, отче,— продолжал Гербера,— я давал некоторым из наших селян украинские книги с целью, прошу прощения, выявить их тенденции. А отец Федор немедленно вмешался в это дело, вызвал меня к себе и, прошу прощения, даже угрожал, а оные селяне тотчас же возвратили мне книги... В этом снова усматриваю тенденции отца Федора.

— Отец Федор поступает в самом деле странно,— заметил в этом месте беседы раховский настоятель. — Как же можно без согласия с управителем? Странно! Странно! И очень хорошо, пан Гербера, что вы мне об этом сказали...

— Если позволите, я мог бы привести вам еще много фактов недостойного поведения отца Федора,— тихим голосом продолжал Гербера,— но есть еще одна причина, которая может быть использована некими особами, а также и отцом Федором, в смысле мистификации моей особы...

— А что именно?

— Прошлой весной я разошелся с моей женой, Руженой.

— Ну так что же, пац Гербера? Нужно завести новую.

— Это так, духовный отец. Ваш совет я принимаю, и сам уже, если позволите, думал об этом. Разве я мог жить с дочерью чешского коммуниста?

— Знаю, знаю,— усмехнулся к великому удивлению

Герберы о. Александр.— Разумеется, жить вам с дочерью Глацка не годилось. Одобряю ваш шаг. Но где сейчас эта бывшая ваша супруга? Насколько мне известно, ее разыскивают в Праге.

— В том-то и дело, духовный отец, что я сам думал, будто она, после того как я выгнал ее из дому, уедет в Прагу... Но, прошу прощения, она никуда не уехала, а живет в Хусте.

— Необычайно интересно! — воскликнул о. Александр.— Она в Хусте? Смотрите, куда ведут все нити! Так где же она там живет? Когда вы ее видели?

— Я видел ее на празднестве открытия памятника и искал тогда по всему городу. С тех пор я продолжаю разыскивать ее, но, с вашего позволения, не нашел.

— Вы опишите мне ее приметы — деловито сказал о. Александр.

— У меня есть с собой ее фотокарточка.— Гербера сунул руку в карман и вынул оттуда фотографию Ружены.— С вашего позволения, здесь и ее глупая надпись, которую я думал стереть. Но, может быть, вам, духовный отец, интересно знать и ее почерк.

— Вы очень хорошо сделали, что не стерли надпись,— заметил о. Александр и прочитал: «Дорогому Васильку на вечную память. *Ружена*». Ох, любовь, любовь, что только она делает! Пикантная особа. Вы посмотрите, какой упрямый высокий лоб! И этот завиток на лбу, это бывает у женщин самостоятельных, упрямых. Губы твердые, резко очерченные, мускулы на шее — это все характер и темперамент.

— Вы очень хорошо все заметили, прошу вас,— захихикал Василь Гербера.— Характер у нее такой — замкнутый, сдержанный, холодный, гордый...

— Вам, конечно, лучше знать,— вздохнул о. Александр.— Надеюсь, эту фотокарточку вы оставите у меня?

— С великою радостью, отец Александр. Для того и принес.

— А про отца Федора вы мне напишите. Старею, забывчив стал. Так вы напомните: факты, факты и еще факты! Подпишите «на память», — усмеялся о. Александр,— своими инициалами, как всегда! А как новые хозяева? — выявил полное знакомство с кленовскими делами раховский наместник.

— Вы знаете, отче, пиршество устроили по случаю ввода в права владения. Но я на том пиршестве не присутствовал. Не пригласили. Полагаю, что и это работа отца Федора.

— Смотрите! — искренне удивился о. Александр.— Ну, отец Федор просто ничего не соображает. А вы сами сходите к этим новым хозяевам. Не забудьте, что и венгерцы бывают разные.

— Непременно схожу, — сказал Гербера, — и напишу, обо всем напишу, отец Александр.

— Надеюсь, — попрощался раховский наместник и протянул Гербере пухлую, розовую руку. — Ну... «на память!».

Когда управляющий кленовской школой вышел от о. Демьяновича, с него словно тяжкое бремя свалилось. Он знал, как боятся все на Верховине этого священника с улыбкою на лице, с тихим, вкрадчивым голоском, — ведь это он создавал первые отряды кемельгарито в Закарпатье, ведь это он депутат Верхней палаты и правая рука епископа мукачевского.

Теперь Василь Гербера его не боялся.

2

Иосиф Короджий несколько лет не был в Ужгороде и не узнал родного своего города.

Тому, кто попадал туда, казалось, что он очутился в военном лагере. Все здесь принадлежало военным, все делалось для них: им разрешалось делать все, что только вздумается.

Военные сплошь заполняли гостиницы; они занимали все лучшие дома города; вход в рестораны разрешался только военным; только для них работали театр и кино; для них же были организованы дома терпимости.

И вся эта банда озверелых, одичалых немецких, венгерских, итальянских фашистов, среди которых мелькали и сынки помещиков из долин и с Верховины, пила, жрала, кричала, пела, развратничала, грабила, убивала.

С большим трудом Иосиф Короджий разыскал в городе нескольких художников: одного, который когда-то обучал его живописи, и еще двоих товарищей по учению. Это были грустные встречи. Короджий узнал, что многих,

кто в свое время поддерживал его и помогал ему, не стало, а те, кто уцелел, еле перебиваются. В Ужгороде, рассказывали ему, забыли, что такое искусство, а те, кто когда-то служил искусству, заботятся только о хлебе насущном, и никто из них не знает, понадобится ли им завтра этот заработанный потом и кровью хлеб.

И все же эти люди, узнав, что Короджий приехал добыть денег для верховинцев, устроили между собой складчину, кто-то из них нашел двух-трех покупателей, готовых приобрести картины Иосифа Короджия. Это были, правда, картины празднично одетой, подкрашенной Верховины, типы веселых бокорашей, поющих чабанов, — все те картины, которые Короджий так давно спрятал в сундук. Но только такие картины могли иметь сбыт. Вручая их своим друзьям для продажи, а после принимая вырученные за них деньги, Короджий рассказывал друзьям-художникам о том, что в действительности творится на Верховине.

Побывал Иосиф Короджий и возле того дома, где родился. Там теперь жил какой-то жандарм; заметив Короджия, проходившего мимо, он притаился за оградой и выглядывал из-за нее, пока художник не исчез в конце улицы. Страшно — подойдя к дому, где ты родился, увидеть врага, поселившегося в нем, и пройти мимо этого священнейшего клочка земли, где тебя родила мать и где впервые прозвучал твой голос.

С таким именно чувством ходил Иосиф Короджий по городу — родному, своему, но в чужих, вражеских руках. Покидая Ужгород и проходя по мосту через реку Уж, художник подумал, что и мост, наверное, заминирован: оккупанты грабили и разоряли край, а под конец намеревались все здесь уничтожить, не оставить камня на камне. Душу Иосифа Короджия наполняла жажда мести; он хотел одного только — скорее возвратиться на Верховину, рассказать людям обо всем, что он видел, звать их к борьбе и бороться самому.

Трудно было ему пробираться с Верховины в Ужгород, а еще труднее — возвращаться назад в горы. Были школьные каникулы, у него была справка, что он ездил по делам в школьное управление, но кому нужен был учитель с Верховины и кто мог ему помочь? Из Ужгорода в Мукачево его подвезли рабочие табачной фабрики; расстояние от Мукачева до Берегового ему пришлось

в лютый мороз измерить пешком. Из Берегового до Севлюша он ехал в такой же мороз в открытой машине и уже совсем больной добрался пешком до Хуста.

Короджий никогда не был в этом маленьком городке, а только проезжал через него. Теперь приходилось остановиться здесь — дальше идти у него не было силы. Но он не знал, куда ему пойти, к кому обратиться. В местных гостиницах для учителя с Верховины места, разумеется, не нашлось. Знакомых у него здесь не было. Он зашел в табачную лавочку какого-то Логойды, погрелся там, еще прошелся по городу. На двери одного из домов Короджий увидел дощечку «Доктор Арпад Доломаш» и робко постучался в дверь.

Ему открыла Оронка.

— Вы к кому? — спросила она.

— Я — учитель с Верховины, — ответил Короджий. — Ездил в Ужгород и заболел. Могу ли я видеть доктора?

— Доктора сейчас нет, — ответила женщина. — Но он скоро будет, вы зайдите, пан учитель. — Она видела, что перед нею действительно больной человек.

Иосиф Короджий вошел в дом. Женщина пригласила его в приемную. Там было уютно и тепло.

— Вы присядьте, — предложила Оронка.

— Я вам сердечно благодарен, — сказал Короджий и сел на стул. — Что-то я в самом деле очень устал. А тут еще простуда...

— Вы издалека?

— Я иду пешком почти из Ужгорода. Тяжело то, что и в Мукачеве, и в Береговом, и в Севлюше, а вот теперь и в Хусте у меня нет близких людей. Очень плохо, когда нет друзей...

— В наше время это особенно тяжело, — сказала Оронка.

За дверью слышались шаги.

— Вот наш доктор идет. Простите, я вас оставляю, мне нужно отпереть дверь.

Через минуту Оронка возвратилась. Вместе с нею вошли доктор и какая-то молодая женщина. Иосиф Короджий встал, сделал шаг и протер глаза — перед ним стояла жена Василя Герберы.

— Ружена! — сказал он взволнованно, протягивая руки. — Вы здесь?

Ружена посмотрела на Короджия, взглянула на доктора.

— Должно быть, земляки? — спросил Арпад.

— Да, пан Короджий — учитель из той школы, где работает Василь Гербера, — ответила Ружена. — Добрый вечер, пан Короджий, как это вы очутились в Хусте?

Короджий рассказал, что с ним случилось и как он попал в этот дом. Он закончил свой рассказ просьбой к доктору — дать ему какое-нибудь лекарство от простуды. Вконец смущенный, он обратился и к Ружене:

— А вы, пани Ружена, давно уже в Хусте?

— Нет, — ответила она, — я только сегодня приехала в Хуст и — как и вы, — попросила приюта у доктора. Завтра мне предстоит ехать дальше.

Арпад внимательно наблюдал за Руженой и Короджием и не пропустил ни одного их слова. От себя он добавил:

— Но все это будет завтра, а сегодня я должен осмотреть больного учителя, а Оронка, надеюсь, покормит нас ужином. В эту пору в Хусте выходить на улицу запрещено, и вам обоим придется быть нашими гостями.

Арпад Доломаш тщательно осмотрел Короджия. Учитель был крайне утомлен, слегка простудился в дороге, но ничего угрожающего у него не было. Порошок на ночь, теплая постель, и через день учитель сможет продолжить свое путешествие.

Как хотелось Арпаду о многом расспросить учителя с Верховины! Как хотел и Короджий расспросить про Ружену у доктора! Но оба они были осторожные, выдержанные люди и говорили только о болезни учителя.

Вечером Ружена расспрашивала Короджия о жизни на Верховине: она интересовалась всеми событиями в Кленах, но ни словом не обмолвилась про Василя Герберу, словно его и на свете не существовало. Больше того, она, казалось, спешила закончить ужин и уйти к себе.

Короджий долго не мог заснуть. Тяжелая поездка, а особенно события этого вечера встревожили его. Он присел к столу и долго сидел, опустив голову на руки.

Неожиданно в приемную вошла Ружена.

— Вы не спите? — спросила она.

— Нет, — ответил Короджий, — мне сейчас не хочется спать.

— И мне почему-то не спится,— тихо проговорила Ружена.— Я посижу немного у вас.

Ружена взглянула на Короджия своим светлым ласковым взглядом.

— Скажите, Иосиф, могу я быть откровенна с вами?

Он не смел ей сказать, что знает о ней, но решил, что вправе сказать правду о себе.

— Если вас что-нибудь интересует, я с радостью отвечу на ваши вопросы.

— Вы знаете, кто такой Василь Гербера? — спросила она.

— Да, знаю! — ответил он.

— И вы знаете, что он следил за вами?

— Да, я и это знаю.

— Но он следит и за другими...

— Все другие это знают.

— Тогда я спокойна,— тихо проговорила Ружена.— Я только об этом и хотела вам сказать.

— Хоть вы и не сказали мне ничего нового,— волнуясь, признался Короджий,— но я очень признателен, пани Ружена, что вы пришли и сказали мне эти слова. Этого я никогда не забуду.

— Мне было очень тяжело в Кленах,— Ружена тоже волновалась, искала нужных слов,— но я никогда не забуду Верховины. Я пережила там много прекрасных минут...

Это было, должно быть, не то, что ей хотелось сказать, и она поправилась:

— Я не забуду картин Верховины, я не забуду многих услышанных там слов, во мне звучат слова, какие я не успела...

— Но,— перебил он,— вы еще увидите эти картины, вы услышите еще много новых слов, и вы скажете все слова, какие вы не успели сказать. Пани Ружена, я все знаю, все понимаю! Я страшно взволнован тем, что говорю с вами, дочерью профессора...

— Молчите! — приложила она палец к губам.— Сейчас, пожалуй, не время об этом говорить. Не знаю, увидимся ли мы завтра, я еду очень рано. Доброй ночи, Иосиф! До свидания!

Она взяла его руку, на несколько мгновений задержала в своей теплой руке и исчезла. На городской станции выключили свет.

Утром Ружены у доктора Арпада не оказалось. Доктор сказал, что она уехала на рассвете. Он не сказал, куда уехала Ружена. Короджий его об этом и не спросил. На дворе стоял мороз, был чудесный солнечный день, Короджий чувствовал себя окрепшим. И он ушел, поблагодарив Арпада и Оронку за их гостеприимство.

Только тогда Ружена вышла в столовую.

— Я исполнил вашу просьбу и сказал, что вы уехали, — проговорил Арпад. — Но почему вы так поступили? Разве он плохой человек?

Она подошла к окну, — в конце улицы еще виднелась фигура Короджия. Ружена молчала, пока он не исчез из виду.

— Вы, Арпад, многому научили меня, — ответила она. — И главное, чему вы научили меня, — забывать о своем, личном, а думать и заботиться о других. Я поступила так потому, что он очень хороший человек. У него очень много горя. Я не хочу, чтобы у него еще прибавилось горя из-за меня.

На глазах Ружены сверкали в лучах солнца две слезинки.

3

Верховой с гор привез известие, что на делянке у Клумака упавшей елью придавило лесоруба Миколу Турчина. Разумеется, Гаврила Клумака известие это не удивило и не взволновало. Чего не бывает на лесоработках! В руках у лесоруба только длинная палка с крюком, а против него — лес, столетние сосны, буки. Тому перебьет руку, тому ногу! Не подставлять же Гаврилу под буки и сосны собственную спину! Разговор с искалеченным лесорубом короткий: осталась еще сила в теле — работай, а калека — ступай просить милостыню. При чем тут фирма Клумаков? Что они — страховое общество «Якорь» или «Сатурн», которые одному сто пенге ткнут, а с тысячи по сто пенге возьмут. Нет, за несчастные случаи фирма Клумак и К^о ответственности не несла.

Не нужен был Клумакам и Микола Турчин! Гаврило Клумак и в лицо такого не знал. Несколько сот их — разве запомнишь? Но верховой с гор привез известие не только про Миколу Турчина. Он сообщил, что кто-то из лесорубов, когда Турчина придавило, побежал в село,

кто-то отправился в самые Ясени за врачом, а все остальные бросили работу, сидят вокруг землянки, где положили Турчина, и не работают.

Этого Гаврило Клумак стерпеть не смог. Он тут же оделся, побежал на лесопилку и приказал приготовить грузовик, посадил в него трех гонведов-охранников, а потом заехал в сельскую управу — разыскал Яноша Репаша.

Вскоре грузовик с Клумаком и тремя охранниками и мотоцикл, который вел Марадик, мчались по ущелью в горы, на лесосеку. Гаврило Клумак прямо почернел от злости, сидел в кабине и поглядывал на горы, скалы, сосны; Янош Репаша ехал, держа наготове автомат.

Грузовик и мотоцикл остановились на крутом повороте, откуда видна была вся дорога, уходившая змейкой в горы. Недалеко были и лесные разработки, к ним легче и проще было добраться пешком, через просеку.

Но неужто пошел бы Гаврило пешком на свой участок, да еще просекой, где навалено снега? Ни за что не пошел бы просекой и Янош. Пускай через сугробы и бурелом лесорубы прыгают!

Они остановились на повороте, потому что увидели — с горы вниз по дороге спускается толпа. Впереди тащила сани рыжая Клумакова кляча, на которой возили воду, за санями — по четыре, по шесть человек в ряд — шли лесорубы.

Оттуда не долетало ни звука. Лесорубы шли молча. Тихо было окрест. Но Гаврилу Клумаку стало как-то не по себе, страшно, и он с опаской поглядывал на горы, склоны, сосны.

— Видите, Янош,— процедил он сквозь зубы,— везут того раненого, и смотрите, все бросили работу.

— А мы им прикажем возвратиться,— нагло ответил Янош.— Марадик! Достань-ка второй автомат из коляски.

Марадик молча вынул автомат. Подтянулись и гонведы, глянули вперед, назад...

Лесорубы шли молча. Слышен был лишь топот многих ног да скрип полозьев по промерзлому насту. Лесорубы, конечно, знали, что это за машина и что за люди стоят у поворота дороги, но никто из них не остановился, увидав Клумака и Репаша: они шли и шли вперед.

Даже когда сани почти вплотную подъехали к ма-

шине, никто не остановился, только из толпы прозвучало сурово, грозно:

— Эй, там! Дайте дорогу! Дорогу!

— Стой! — закричал Гаврило Клумак. — Кому говорю? Стойте!

Сани остановились. Один за другим остановились и лесорубы.

Клумак выступил вперед — сделал шаг, второй, третий. За ним шел Янош Репаша.

— Это что? — прошипел Клумак. — Кто вам позволил оставлять работу?

— И что это за собрание? — услышал Гаврило за собой голос Яноша Репаша.

Лесорубы молчали. Ненависть светилась в их глазах, но никто из них не проронил ни слова.

И только после долгой, томительной паузы из толпы вышел Данило Ковач.

Клумак узнал земляка. Он припомнил день, когда встретил Ковача на набережной в Нью-Йорке. Но это был не тот Данило Ковач; этот глядел на Клумака другими — не умоляющими, а полными ненависти глазами.

— Вы спрашиваете, пан хозяин, — сказал он, — почему мы идем и кто нам позволил оставить работу? Так знайте: везем мы мертвого своего товарища — Турчина Миколу. Может, знаете такого?

Лишь тогда Гаврило Клумак кинул взгляд на сани. Там, на свежей светло-зеленой хвое лежал Микола Турчин, лицо его было бледно, глаза провалились, под ними — темные круги. Смерть заострила скулы на лице лесоруба, и оно стало строже. Кричала кровь на его рубашке, кричали горящие ненавистью глаза лесорубов; молчал, но всем своим видом кричал Данило Ковач; кричали, казалось, окрестные горы.

Клумак отвернулся от мертвого и взглянул на живых лесорубов.

— Мертвый может ехать, — сдерживая себя, сказал он. — Но почему оставили работу вы?

Данило Ковач спокойно ответил Клумаку:

— Мы, живые, идем проводить нашего товарища, друга. Мы идем сказать вам, пан Клумак, что это ваши десятники заставили Миколу Турчина рубить бук в такой чащобе, где человеку не вывернуться. А это убийство, пан Клумак.

— Слушай, любезный! — крикнул сердито Гаврило. — Ты что, хочешь на моем бутине свои порядки устанавливать? Кто смеет говорить о каком-то там убийстве? В лесу как в лесу, и я не позволю оставлять дерево, где бы оно ни стояло. Я плачу деньги за аренду и должен всё до последнего пня снять.

— Так неужели человек для вас дешевле дерева? — спросил Данило Ковач.

В толпе пробежал шум. Гаврило Клумак это заметил, но все же сказал холодно, черство:

— Кому что, а мне дерево нужно! Я приказываю... на работу!

Ковач ничего не ответил, поглядел в лицо мертвеца, одним взмахом сбросил с головы войлочную шляпу и поднял острием вверх свою палку. И все лесорубы сняли шапки, подняли свои палки.

— Прощай, Микола! — сказал Данило Ковач. — Ты погиб честной смертью, как в бою... И мы никогда не забудем тебя!

Как пики, взметнулись крючья, над толпой блеснуло несколько топоров, лесорубы склонили головы, с их уст сорвалось: «Прощай, Микола!» Потом наступила долгая тишина, такая глубокая и немая, что слышно было, как шуршит по снегу поднятый ветром желтый, сухой листок...

Не выдержал Янош Репаша, крикнул:

— Довольно! Расходитесь! Я не разрешаю!

Данило Ковач посмотрел на одноглазого коменданта таким взглядом, что тот даже попятился.

— А мы и расходимся! — сказал Ковач и, поклонясь мертвому, повернулся, вскинул на плечо палку с крюком и зашагал назад, в лес. Следом за ним, кланяясь мертвому, двинулись все лесорубы.

— Ну, чего ж ты! — крикнул Клумак лесорубу, который держал лошадь. — Вези его в село...

Сани двинулись, объезжая автомобиль, над самой кручей; мертвый клонился на бок, точно отворачивался от Клумака. Дальше полозья саней поползли колеей. Некоторое время видна была непокрытая голова Миколы Турчина, а там, за поворотом, исчезли и сани и хвоя.

— Вижу я, — сказал, ежась от холода, Янош Репаша, — что нам на бутин незачем ехать... Вернемся, видно, домой...

Сани показались на повороте, уже ниже, и там остановились. От села к ним приближалась толпа селян и селянок. В сухом морозном воздухе родился и покатился по ущелью отчаянный женский крик... рыдания...

Уже совсем стемнело, когда Гаврило Клумак пролез сквозь дыру в стене, некогда разделявшей их усадьбы, во двор к брату Дмитру. Протискиваясь, Гаврило выругался: дыра, видимо, не была рассчитана на зимнее время, и в кожухе сквозь нее пролезть было трудно.

Между братьями-промышленниками никогда не было согласия. В последнее время они открыто враждовали между собой. Случай на лесосеке был каплей, которая переполнила чашу терпения Гаврила.

Где-то в конце села изливала печаль трембита. Она стонала и стонала, извещая людей еще об одной смерти — снова насильственной, снова бессмысленной, безвременной. И звуки трембиты катились по улицам села, проникали в каждую хату: еще одна жизнь без времени оборвалась.

Но не скорбь об ушедшем, не забота о судьбе его семьи и не мысль о том, что это они виновны в смерти, привела Гаврила к брату.

— Слушай, Дмитро,— начал он, входя в кабинет брата.— Да знаешь ли ты, что делается вне твоего дома?

— А что? — жевал верхнюю губу и прислушивался Дмитро.— Вроде бы трембита играет. Опять помер кто-то?

— Сам ты трембита! — выругался Гаврило.— На нашем бутине Миколу Турчина задавило.

— Ну так что? Все там будем.

— Все там будем! — передразнил брата Гаврило.— Так на какого беса ты свет обременяешь? Подыхал бы, и конец. Не все ли тебе равно — раньше или позже?

— Человек должен отжить свои годы,— ответил, почесывая грудь, Дмитро.— Ворожка мне когда-то говорила, что должен я жить девяносто и семь годов... А прожил я только пятьдесят семь...

— Тьфу! — сплюнул Гаврило.— Еще сорок лет! И всё за чужою спиной...

— Отчего же за чужой? У меня и своя спина есть.

И тогда Гаврило разошелся.

— Слушай! — сказал он брату. — В последний раз тебе говорю. До каких пор так будет? Сам меня пригласил в компаньоны, фирма у нас общая, деньги в карман кладем пополам. Но всё на мне. Я и в Ужгород, и в Будапешт, и туда, и сюда, а ты хоть бы что — сидишь да брюхо чешешь. Ты и про Миколу Турчина не слыхал, хозяин, а знаешь, что сегодня на бутине лесорубы кинули работу?

— Чего не слыхал, того не слыхал! — признался Дмитро.

— Не слыхал, не слыхал! — шипел Гаврило. — Я вот нынче с работниками поругался, жизнью рискую! А ты сидишь, да еще сорок лет собираешься сидеть!

— А что же мне делать? — сказал и тяжело вздохнул Дмитро. — Такая моя судьба.

— Судьба! — злобно захохотал Гаврило. — Так ты думаешь, она сама придет? Ради чего я должен умирать, а ты только деньги копишь? Считаю: у Волошина в Хусте — я был; позже, вспомни, на сейм я ездил. И сюда, в село, не ты, а я сечевиков вызвал; с бунтовщиком Михайлом Тиснянцем по квитался. А с венгерцами сколько мне заигрывать пришлось? Когда-то сам на поклон к Репаше ходил, а теперь он передо мною спину гнет, потому что он — ничто, а я мадьярский дворянин. Ты думаешь, легко мне было все это делать? Судьба? А сама фирма? Пошли мы с тобою на пай, заплатил я тебе половину цены за тартак, но ведь он был никудышный. А теперь — тартак усовершенствовали, пил вдвое больше, грузовик, охрана. И этого я добился своими руками. А лесосеки — сидел ты когда-то в лесу и пеньки считал на пальцах, а сейчас делянка, да еще делянка, а пеньков что звезд в небе. Кто это сделал, почему так выросли наши доходы, кто за них потом кровью расплачивался? Я — Гаврило Клумак, Гарри Клумп, Гаврош Клумаки. Как бог-отец, сын и дух святой!

Дмитро выслушал эту пространную речь брата, но ничего не сказал. Он только посмотрел на Гаврила маленькими своими, похожими на пуговицы глазками, а широкая рука его всей пятерней погрузилась в растрепанную шевелюру.

Но Гаврило еще не высказал всего, что его волновало, и продолжал:

— Но сейчас уже мало того, что я делал и делаю. Ты думаешь, даром в прошлом году в Хусте памятники героям войны открыли? Э, нет, нам нужны герои и здесь, на внутреннем фронте. А разве я не герой? Залил уже верховинцам сала за шкуру, в каждой хате проклиняют. И пускай, я знал, на что иду. Но этого мало. Вот ты не знаешь, а они мертвого провожают, речи над ним произносят, и какой-то там Ковач смеет мне говорить: «Это убийство, пан Клумак!» Это что — не бунт? Ты думаешь, я прощу? О нет, на бутине половину работников уберу, кто мне не угоден — выгоню, пусть идут в концлагерь... Там из них пот и кровь выпьют. А таких, как Ковач, — в лагери смерти! Цацкаться с ними не буду! Дело простое: либо они, либо мы! А ты сидишь брюхо чешешь — и половину прибылей в карман кладешь...

— Слушай, Гаврило! — сказал наконец Дмитро. — Ты зачем пришел ко мне, в мой дом, — кричать? Что ты мне про людей толкуешь? Я хосен получаю не за людей, а на свои собственные деньги. Не хочешь меня компаньоном иметь — возвращай мне деньги и действуй сам, ведь ты дворянин. Хочешь работать на мои деньги — работай! Но больше денег не дам, ни гроша у меня нет...

Поздно ушел Гаврило Клумак от Дмитра. Вышел, постоял и положил несколько кирпичей в дыру в стене, которая разгораживала их усадьбы.

4

У Федора Стрыпского была книга в прочном кожаном переплете, на первой странице которой стояло: «Требы». Правда, о. Федор по своей нервности написал это слово не отчетливо, и оно читалось так «Треба»¹.

— Ну что ж, пусть будет так! — мирно сказал священник. — Треба... требник... Ведь созвучно!

В «Требнике» каждому обряду, какой исполнял о. Федор, было назначено определенное место. Несколько страниц, как о том свидетельствовали надписи, было уделено большим похоронам, похоронам малым, панихидам, сорокоусту, а дальше следовали венчания — простое и

¹ Т р е б ы — церковные обряды; т р е б а — нужно, требуется (украинск.).

с музыкой, введение в церковь родильницы, крестины, освящение дома, скота, колодца...

Разумеется, о. Федор записывал в этих разделах книги не суть какого-нибудь обряда, а суммы, какие он получал за тот или иной обряд. «Никому не верь, а только счетам», — любил приговаривать о. Федор. Иногда он высказывался еще определеннее: «Грош что вошь, пока не вычешешь, спать не даст».

Свой «Требник» о. Федор особенно часто стал заполнять после назначения его наместником. В книге «Треб» появились новые страницы — Квасы... Гайдуки... Полынча... Гукин... Это были подведомственные благочинному приходы. И в дом к о. Федору заходили уже не только верующие, а часто заезжали возы и брички, забрызганные верховинской грязью, и из них вылезали священники подчиненных приходов.

Отец Федор принимал их в своем кабинете, расспрашивал, переспрашивал, внимательно слушал.

Пока он беседовал с гостем в кабинете, попадья вынимала из возов и бричек подарки духовенства: от того кадочку меда, от того — сверток доброго полотна; священник из глухого верховинского села Чирки привез в подарок благочинному живого медвежонка.

— Что же мы с ним будем делать, матушка? — спросил о. Федор, глядя на звереныша, ползавшего по сараю.

— А что ж, — живо ответила попадья, — покормим месяц-два, а там зарежем. Может, к тому времени и Мария приедет?

— Правда, правда! — согласился о. Федор и погладил по голове медвежонка.

Так и заполнялся «Требник». На поповское подворье в Кленах ехали и ехали священники. «Жир... сало... сверток полотна», — записывал о. Федор в свою книгу.

Медвежонок своего дождался. В начале февраля в Клены неожиданно заявила Мария. Это было странно, ведь Мария прежде, еще в мирное время, наезжала в Клены только летом, а зимой о. Федор привозил ее сюда чуть ли не силой, со слезами, с плачем. И вот смотрите — морозы, снег, вьюга, а из легковой машины, направлявшейся на перевал, выходит Мария...

— Боже мой! Боже мой! — совсем растерялась матушка. — Господи! Анка! Да куда ты, к чертям, делась, Анка! — звала работницу попадая.

Растерялся и о. Федор.

— Так неожиданно? И не написала ничего. Надолго ли ты? Откуда?

Мария скупно отвечала на поцелуи матери, на приветствия отца. Была она замкнута и сурова, причиной этому были, возможно, воспоминания о капитане Чакши и о его гибели. Разумеется, о капитане никто не вспоминал. Говорили о второстепенных делах, выпили, закусили. Затем о. Федор сходил в сарай, принес живого медвежонка, дал ему понюхать табак, а когда медвежонок расчихался, он приговаривал: «На здоровье, на здоровье, Мишка! Вот мы тебя скоро и зарежем!» Дал о. Федор медвежонку и выпить — он пил охотно, облизываясь. Все это вызвало искренний смех за столом.

Отец Федор понимал, что Мария приехала в Клены не случайно. Он даже побаивался дочери, а она изредка отвечала коротким смешком, а больше сидела, поджав сухие губы.

После обеда о. Федор взял Марию под руку и повел ее в свой кабинет, будто бы для того, чтобы показать новый диван и кресла, привезенные осенью из Мукачева.

Отец с дочерью уселись в теплом, уютном кабинете. О. Федор начал было расспрашивать о новостях в епархии, ведь Мария была теперь особой, близкой к высшим чинам капитула, но беседа не ладилась — Мария отвечала на отцовские расспросы скупно, вяло, все курила сигареты, чего за нею прежде не водилось, и глядела на стекла, затянутые морозными узорами.

— Ты о чем-то другом думаешь? — спросил отец.

— А о чем же мне думать? — ответила она. — О Верховине думаю, папа...

— Ну и что же?

— Я не в гости приехала сюда. Теперь много бывших воспитанниц нашей семинарии едут сюда, на Верховину. Канцелярия Защиты веры обращает сейчас особое внимание на распространение веры среди женщин верховинок. Верховинка со сжатыми губами, с немymi глазами может многим содействовать нашему делу. Всеми мерами должны мы вызывать в них подъем религиозного чувства, экстаз, фанатизм... Эти чувства не имеют

ничего общего с коммунизмом, отец. Женщина в религиозной экзальтации может много сделать в своем доме, в своей семье...

Федор Стрыпский внимательно и удивленно поглядел на дочь. Так вот какою стала Мария, вот какую миссию она себе избрала?

— А что же можно сделать, Мария, для достижения такой цели здесь, в Кленах?

— Вы спрашиваете, что можно сделать? — засмеялась Мария. — Я скажу вам, что я хочу и должна сделать. У нас существовала Мариинская община?

— Была, Мария, но сейчас она пришла в упадок. Верховинки не приходят на собрания.

— Будут приходить! Пока еще зима, мы будем учить мариинские песни, я буду читать им книжки, какие привезла с собою. А весной мы пойдем от села к селу. Вспоминаете: впереди украшенный цветами крест, за ним сто, двести женщин. Одна начинает, а все подтягивают: «О Мария, мать божья, молися за нас!» И идут и идут, пока не выбьются из сил, приходят в экстаз... Тогда с ними все можно сделать!

У о. Федора слова дочери вызвали нечто похожее на благоговение.

— Понимаю! — воскликнул он. — Ты говоришь правду. Не токмо мужчин, а такожде и наипаче — женщин. В шоры их, дочка, в шоры!

Это чувство не покидало о. Федора весь вечер. Он был возбужден, многоречив, как никогда, в церкви на вечерне возглашал и пел так вдохновенно!

Нужно сказать, что этот духовный, как выражался о. Федор подъем был вызван не столько неожиданным приездом Марии, как выпитой за обедом палёнкой. Он выпил, поднимая свой стаканчик, за Марию, за попадью, за дело распространения веры и за папу римского, а еще один стаканчик принял в своем покое за алтарем, как называл он ризницу, где лежали разные книги, стоял шкаф с вином, просвирками и крепкой палёнкой. В морозные дни, перед обедней, а то и перед венерней, о. Федор подходил иногда к шкафу и пропуская стаканчик — для прочистки голоса и для лучшего настроения.

И в этот вечер он подошел к шкафу. В пустынной, нетопленной церкви было особенно холодно. Палёнка, выпитая о. Федором дома, уже не действовала. Нужно было еще подкрепиться!

Когда же он налил стаканчик и поднес его к губам, в голове у него возникла странная мысль. Он увидел перед собою, у стены, покрытой серебристым инеем, икону божьей матери старинного письма, которую когда-то давно приказал сторожу перенести из ризницы в алтарь. Эта икона стояла, черная и тусклая, под обмерзшей стеной, и на ней тоже выступил иней.

— Грустишь, непорочная дева!—проговорил шутливо о. Федор.— И тебе, видно, холодно, хотела бы подкрепиться?

Обратясь так к иконе непорочной девы, о. Федор продолжал:

— А почему бы тебе и не выпить, дева Мария? Не можешь? А я тебя все равно угощу...

Он вынул из кармана платок, намочил его в палёнке и провел по губам девы — раз, второй, третий. Делал это он от чистого сердца.

— Пей! — приговаривал благочинный.— Не можешь пить, пригубь. И я чокнусь с тобою, о Мария.

Но о. Федор так и не чокнулся. Рука благочинного вздрогнула, опустилась. Отец Федор увидел, как в том месте, где он протер уста Марии, исчезли грязь, плесень, копоть столетий и из-под них возникли, с новой силой заиграли краски. Это продолжалось несколько мгновений, а затем краски сразу померкли, побледнели. Отец Федор даже испугался, что так обжег уста непорочной, и, погрузив палец в лампадку с маслом, провел им по устам Марии. Краски обновились и так и остались яркими, живыми.

— Ах, как это интересно! — сказал о. Федор, попивая свой стаканчик.— Аве, богородица из Кленов!

Мария Стрыпская не пошла в церковь. Она так и сказала отцу: «Я не хочу никакой сенсации! Все это придет позже!» Вместо этого она решила пройтись по главной улице села.

Был вечер. На западе, там, где зашло солнце, пылал багряный костер, и от него в глубину бездонного голу-

бого неба струились блестящие, острые, как ножи, лучи. Подмораживало. Под ногами поскрипывал сухой, пушистый снежок. На улице не видно было ни души. Над хатами высоко к небу поднимались дымки.

Мария шла по улицам села, где родилась и выросла, где знала каждую рощицу на горе, каждое ущелье и полонину, каждую хату в селе, каждую семью... Но теперь, идя в багрянце заката по знакомым улицам, она не находила здесь ничего родного и радостного.

Это было не впервые. И прежде, бродя здесь, в лесных чащах, она любила прилечь где-нибудь на лужайке, глядеть на облака, которые плывут и плывут в голубом небе, мечтала улететь с ними в мир, где музыка и песни, где богатство и роскошь, где блаженство и радость...

По сухим ее губам, в уголках которых прорезались две морщинки, пробежала усмешка. О, теперь она знала, чем пахнет богатство и роскошь, чего стоят блаженство и радость и что таится за музыкой и песнями, доносящимися из богатого и блестящего мира.

Жизнь обожгла поповну. Она уехала на фронт, как любовница полковника, нашла богатство и роскошь, блаженство и радость. Она побывала в Киеве, жила в Липках, в одном из лучших домов города. Но ни одного дня она не прожила в Киеве без тревоги и не могла там заснуть спокойно ни одной ночи. Это было во сто крат хуже, чем на Верховине; если в Кленах Мария крепко спала в то время, когда не спал ее отец, то в Киеве крепко спал пьяный полковник, но Мария не спала.

• От отца она слыхала, что Стрыпы — давние ее предки — пришли когда-то в Закарпатье из-за Днепра, убегая от простых, убогих людей. Да и о. Федору всю жизнь свойствен был страх перед Днестром и степями, перед людьми, жившими там. В Киеве Мария познала этот страх — ей было жутко в городе, где каждую ночь то и дело вспыхивали пожары, где стреляли пустые, казалось, дома, где под ногами пылала земля.

И когда однажды полковник не возвратился на свою квартиру — его убили среди бела дня на дороге под самым Киевом, у Броваров, — Мария немедленно, первым поездом, какой шел на Будапешт, выехала в Закарпатье.

Преподаватель семинарии о. Никодим не удивился, увидав Марию в Ужгороде. Он знал, что делала его

воспитанница в Киеве. Но ему как раз и нужны были такие обожженные войной, озлобленные люди. Мария расцвела на полковничьих хлебах. Она еще похорошела, стала действительно интересной, зрелой и знающей.

Дело распространения веры! О. Никодиму нужна была опытная, знающая помощница. Он остановил свой выбор на Марии. А разве не сделал он этот выбор уже давно, в былые годы?

Мария Стрыпская шла по улице Кленов. Костер на западе погасал. Все больше поскрипывал снежок, тишина лежала над горами. В темно-синем небе таяли дымки.

Глава третья

1

В лютый мороз, борясь со встречным северным ветром, по ущелью реки Быстрой двигалась длинная колонна. Впереди колонны ехали верхом жандармы. В походе они надели вместо киверов с петушиными перьями теплые шапки, позаматывали головы и шеи теплыми платками. Кроме того, все они надели в поход меховые куртки, фетровые валенки. В каждом селе, а они частенько попадались по дороге, жандармы пили и плотно закусывали.

Жандармам, которые замыкали колонну и ехали на подводах, нагруженных припасами, не приходилось даже сходить с подвод, — все было у них под рукой.

Посреди колонны шли мужчины, женщины, юноши, девушки. На них была жалкая, будничная одежда, — их схватили в том, в чем они были. Страшно было глядеть на этих обмороженных, изможденных людей, которых гнали на линию Арпада! Возле одного села в предгорье на снег упала девушка, и как ни били ее жандармы, она не поднялась и не пошевелинулась. Тело ее ночью взяли селяне и похоронили у камня за селом. Когда кончились села и дорога дальше пошла ущельем, где ветер сбивал с ног, — упало еще два человека. Их жандармы не поднимали; колонну погнало дальше, и, когда она удалась, позади прозвучало несколько выстрелов.

Колонна продвигалась выше и выше в горы. По ущелью разносилось цоканье конских копыт, иногда тяжелый, глубокий стон вырывался из чьей-нибудь груди, иногда слышны были приглушенные рыдания какой-нибудь женщины. Сумрак начинал расстилаться над землей, но страшнее сумрака, страшнее самой черной ночи были для людей горы и линия Арпада. Там их ждало одно — смерть, и хотя они поднимались в горы, но им казалось, что они опускаются все глубже и глубже в могилу.

В одном очень узком месте ущелья колонне пришлось переходить речку по шаткому мостику. По другую сторону моста дорога шла между двумя скалами, где нельзя было ни разминуться, ни отступить в сторону.

И в то самое время, когда колонна перешла через мост, а отголоски еще катились и катились по ущелью, в конце узкого прохода между скалами появился отряд всадников-гонведов.

Начальник колонны — капитан с заиндевелыми усами, обмотанный платком, похожий на кота, дал приказ остановиться. Он решил переждать и предложить командиру отряда, чтобы тот в первую очередь пропустил колонну. Гонведы идут с линии Арпада, а колонна к ночи должна быть там.

Гонведы приближались. Их было немного. Жандармский капитан подсчитал, что их вместе с командиром только семеро, и тем более решил дать соответствующий нагоняй командиру отряда. Он так и собирался сказать: «Семеро одного обычно не ждут, и абсолютно недопустимо, чтобы триста человек ждали семерых!»

Но капитан жандармов так и не сказал своей шутки. Гонведы приближались, подъехали почти вплотную, а потом так ударили по жандармам, что ни один из них не успел даже схватиться за оружие.

Повалился, как сноп, с коня и жандармский капитан и, падая, слышал, как выстрелы загремели в хвосте колонны, у моста, над рекой... Больше капитан ничего не слышал: это был двадцать восьмой и последний рейс его с арестованными на линию Арпада.

Спустя несколько минут пленные, которых гнали на смерть, целовали и обнимали своих освободителей. В ущелье совсем стемнело, но людям казалось, что

вокруг них — ясный день; среди ночной тьмы, мороза и ветра они узнали радость освобождения.

А в это время несколько «гонведов» и лесорубов отошли в сторону, остановились над горным потоком, чтобы видны были въезд и выезд из ущелья, и тихо переговаривались между собой.

— Ты хорошо придумал, Микола,— сказал Степан Чижмарь.— Это был умелый маневр; они все легли на месте, а у нас — никаких потерь.

— Очень удобное место,— указывая на ущелье, реку, скалы, сказал Микола Сокач.— Их покарали Карпаты и люди Карпат.

— Теперь нужно только подумать,— продолжал Чижмарь,— как быть, если кто-нибудь сунется с линии Арпада или из долины в горы.

— Вряд ли кто-нибудь сунется ночью сюда, в горы. Они и днем ездят с опаской. Кроме того, отсюда все видно, и, в случае чего, мы встретим так же и остальных.

— Пожалуй, так! — согласился Чижмарь.— Тогда давайте подумаем, что делать дальше. Жандармов оставим, пусть промерзают, лошадей заберем, на них к утру будем далеко... Но людей надо вывести... Кто из вас тут знает дороги?

Вперед выступил лесоруб Устим — кряжистый, сильный человек; у него на Карпатах не было ни родного села, ни семьи, а он всю свою жизнь ходил с горы на гору, с одной лесосеки на другую, а то и просто жил в лесу.

— Знаю такую дорогу,— сказал Устим,— нужно воротиться назад, а потом идти меж камнями вправо. Никто там не ходит, дорог не знает. А мы к утру выйдем в долину по ту сторону хребта. А там уж пусть люди разбегаются, как ручьи...

— Ладно! — сказал Чижмарь.

Невыразимая радость наполняла его. Вот она, первая боевая проба, результат долгой, настойчивой работы! Теперь может показаться, что нападение в ущелье только счастливый случай, но в действительности здесь были рассчитаны каждый шаг и каждая минута. Микола Сокач ехал с гонведами как связной восьмого полка из гор; отряд партизан следовал за колонной по всему ущелью и вслед за колонной вышел на мост; сигнал об

окружении колонны дал Сокач, а Чижмарь тут же открыл огонь с тыла; выше в горах, в направлении линии Арпада, остались два верховых, а на выходе из ущелья караулят несколько партизан. Интересно, что скажут про операцию Степан Шегута и Франтишек? Ведь это они подсказали подходящее для операции место.

Тем временем партизаны окружили освобожденных, разыскали на подводах припасы, кормили ослабевших, давали глотнуть вина. Люди понемногу оживали, собирались с силами, уже рвались назад, подальше от линии Арпада, от людской могилы.

В темноте шумела река. Поросшие лесом скалы стояли, как свидетели. Но свидетели были немые!

Темною, беззвездною ночью, когда по долине гулял, метался ветер с гор, в селе Серенчевка сгорел тартак, работавший на армию. Пожар начался уже после полуночи, когда в селе все спали, а тартак стоял черный, безмолвный и безлюдный среди снегов. Вооруженная стража, охранявшая тартак, не заметила даже, как все началось. Белое пламя вспыхнуло в штабелях сухого дерева, у восточной стены тартака; именно там, где сильнее всего бушевал ветер; огонь сразу же перекинулся на стены и покрытую дранкой кровлю тартака; пламя со свистом ворвалось внутрь, в помещение, где стояли пилы, и в несколько минут тартак со всеми запасами дерева и уже готовых досок превратился в ряд огненных факелов, стремительно рвавшихся к небу; под мощными порывами ветра с гор они пригибались к земле, растапывая снег.

Нечего было и думать о спасении тартака. На тревожные удары о кусок рельса, повешенный при дороге возле тартака, на беспорядочные выстрелы охранников люди выходили из домов, бежали на пожар, но нечего было и пытаться погасить это огненное море, лезть на явную смерть!

Тартак сгорел очень быстро, за какой-нибудь час, на пожарище осталось столько углей, что они тлели до самого утра; золотые искры, как кусты перекасти-поля, мчались и мчались в черную бездну ночи. Только когда по долине пополз рассвет, пожар начал угасать, но клубы ржаво-черного дыма еще целый день стояли над

пожарищем, а на заснеженную землю, куда только достигал глаз, сыпался и сыпался, как дождь, пепел.

Наутро в село приехали жандармы. Целая сотня гонведов примчалась на машинах из Мукачева. Гонведы выставили посты вокруг пожарища, кинулись в окрестные леса, но к обеду возвратились с пустыми руками. А жандармы в это время хватали в домах работников с тартака, сторожей и допрашивали их одного за другим в сельской управе. Однако никто не мог сказать, почему возник пожар; сторожа еще ночью обошли все склоны кругом и не нашли никакого следа. С тем и отправились назад и гонведы и жандармы. С собой, правда, жандармы увезли всех сторожей. Но о них в селе никто не жалел: что грабитель, что его сторож — оба одинаковы...

Так и не узнал никто, отчего сгорел тартак в Серенчевке. Ночь была темная, ветром замело все следы, а молчаливые тучи исчезли.

Большая мельница в селе Ключарках работала на армию оккупантов. Ключарки расположены на железной дороге, сразу за Мукачевом; из города к мельнице в Ключарках непрерывно шли машины с зерном, награбленным у селян в долине; в то же время из ворот мельницы другие машины вывозили муку на станцию, — здесь ее грузили в вагоны и везли на восток, в Мукачево, кормить армии захватчиков, и на запад — на Чоп, набивать глотки будапештскому панству.

Мельница работала день и ночь. Сюда не так-то легко было попасть. Она считалась военным предприятием.

И все же однажды ночью здесь вдруг поднялась тревога, загудел отрывисто и хрипло гудок, где-то заревела сирена, раздались несколько выстрелов, слышались крики: «Пожар! Горим! Караул!»

Все кинулись гасить пожар. Но, как это ни странно, оказалось, что уже весь первый этаж здания охвачен пламенем; сквозь решетки окон было видно, как огненные языки плясали на втором этаже. Огонь и дым вырывались из всех дверей мельницы. А там пламя вырывалось из окон, поползло на крышу...

Как только начался пожар, кто-то позвонил в Мукачево, и оттуда немедленно прикатило несколько пожарных машин и еще несколько машин с жандармами, де-

журившими в эту ночь при управлении. Машины летели, обгоняя друг друга, рыли передками снег, ревели, гудели... Но чем ближе было к Ключаркам, тем яснее становилось, что торопиться туда уже незачем: стояла тихая морозная ночь, и там, где прежде была мельница, к самому небу поднимался столб огня.

Пожарные, прибывшие из Мукачева, разматывали длинные шланги, пускали воду, пробовали ставить лестницы, ругались, но им не удалось вырвать из огненного моря ни одного мешка муки и ни одного куля зерна, приготовленного для помола. Погибли не только зерно и мука, погибла одна из самых крупных мельниц Закарпатья, стоявшая на железнодорожном пути Чоп — Мукачево, на военной магистрали с запада на восток.

В ту же ночь в Ключарках побывали мукачевский бургомистр доктор Иштван Энгельбрехт, начальник охраны Сейкель Дьюло, полковник Кричфалуши. Всю ночь провода на линии Мукачево — Ужгород не отдыхали ни минуты, а регентский комиссар несколько раз звонил по прямому проводу из Будапешта. В ту же ночь в подземелья Конера в Мукачево было брошено множество невинных людей из Ключарок и соседних сел.

Но никто из арестованных в ту ночь и позднее не мог ничего сказать, кроме того, что уже хорошо было известно палачам Конера: мельница в Ключарках перестала существовать за одну ночь, а кто это сделал — знали только ночь да степной ветер.

Учитель Василь Жупан просматривал тетради своих учеников. Тетрадка за тетрадкой и выведенные разными почерками, но переписанные из одного школьного учебника слова.

Он оторвался от тетрадей и по привычке хотел взглянуть в окно. Там, за окном, — ночь, мороз, заснеженные просторы долины, яркие глаза звезд в вышине, а от края до края рассыпалась серебристой пылью Небесная Дорога¹.

Но окно было завешено одеялом — ни неба, ни земли, ни звезд — вот какое Закарпатье! Затемнены не только окна, замкнуты не только двери — души людей затем-

¹ Н е б е с н а я Д о р о г а — Млечный Путь (местн.).

нены, замкнуты наглухо фашистским оккупационным режимом, винтовкой, штыком.

— Настя! — позвал он жену.

Она вошла и стала у стола. Василь Жупан заглянул в соседнюю комнату и плотно затворил дверь.

— Спят! — сказал он. — И пускай спят! Садись, Настя! Значит, ты завтра едешь в Хуст. Действуй, как обычно. Зайди в лавку Логойды, а там уж узнаешь, куда идти. Запомни, милая, что нужно сказать. Скажи, что наша группа подожгла тартак в Серенчевке и что там сгорело все дотла. Сожжена еще мельница в Ключарках, и она теперь надолго вышла из строя. Скажи, что несколько человек мукачевской группы сожгли также мельницу в Коропце. Все операции прошли успешно, и группа ждет приказа о новых боевых действиях... Не забудешь ничего, Настя?

— Нет, Василь, я запомнила все, от слова до слова.

2

С Руженой случилось несчастье. В злые морозы, в непогоду, в снег и ветер она в плохонькой своей одежде навещала больных в Хусте, по несколько раз ходила в соседние села, ухаживая там за больными. Зима в долине была лютая, давал себя знать и голод, люди тяжело болели, помощь врача и Ружены была крайне необходима.

И вот как-то вечером Ружена возвратилась из села Изы вся в огне, надрывисто кашляя, разбитая, измученная. У нее открылось воспаление легких.

В первый же день Ружена впала в беспамятство. Она не узнавала ни Арпада, ни Оронки, в городе не было лекарств, чтобы прервать болезнь. Доктору и Оронке по очереди пришлось дежурить у постели больной, которую уложили в кабинете. Чета Доломашей с невыразимой болью смотрела на Ружену — она бредила без перерыва. За недолгое время они успели, как родную, полюбить белокурую, нежную, тихую женщину с добрым, чутким сердцем.

И тогда, в первую же ночь, пытаясь вскочить с постели, глядя вдаль безумными глазами и сухим голосом выговаривая слова, Ружена высказала многое из того, что волновало и мучило ее сердце. Из отдельных, выры-

вавшихся у нее слов никто, пожалуй, ничего и не понял бы, но Арпад и Оронка знали ее жизнь и тревоги и умели за этими отрывистыми словами прочесть затаенные мысли Ружены...

Она боялась Василя Герберы. Ружена говорила, что ненавидит Герберу так, как только можно ненавидеть врага, проклинала его самого, его отца, весь его продажный род. Она боялась за близких людей и говорила, что Гербера — шпион и предатель. Ей мерещилось, что он подкрадывается к людям Верховины, к женщинам, к колыбелям, где лежат младенцы.

— Не пускайте его! Не пускайте! — шептала она. — Он говорит, что он учитель!.. Но в руках у него — нож... видите, как блестит этот нож! Ну, что же вы не схватите его! Вяжите его! Это убийца, убийца!

Часто она вспоминала Вацлава Цемпера.

— Мой дорогой, — говорила Ружена, — я вам всего не сказала. Но помните: если вы в жизни встретите Василя Герберу, берегитесь его...

Еще чаще в болезненном бреду она вспоминала какого-то Иосифа.

— Иосиф, — металась она, — вон Василь. Он подстерегает вас. Он хочет вас погубить! Он погубит вас! Иосиф! Ну, что же вы стоите! Идите сюда! Здесь, в лесу, будет безопасно! Идемте в эту лощину! Да куда же вы делись, Иосиф! Иосиф!

Однажды, когда Ружена успокоилась и заснула, Арпад вышел в столовую выпить стакан чаю. Там он сказал задумчиво:

— А все-таки, Оронка, существует на свете великая, священная любовь. Эта любовь не в том состоит, что люди говорят друг другу высокие слова, а в том, что за любимого человека мы готовы пойти на все муки, страдания и даже на смерть. Мне кажется, наша тихая Ружена именно так любит учителя с Верховины, который недавно был у нас в доме...

Однажды ночью раздался громкий стук. Арпад сам пошел отворить входную дверь.

Вслед за Арпадом в столовую вошел начальник окружного жандармского управления, капитан Сиплоки. Его сопровождало несколько жандармов.

Об этом жандармском офицере рассказывали в Хусте страшные вещи. Но в доме врача он вел себя сдержанно.

— Доктор Арпад Доломаш?

— Да...

— У вас есть семья?

— Да... Я сам, жена Оронка и сестра ее Роза.

— Где ваша жена?

— Я,— сказала Оронка.

— Документы?

— Пожалуйста,— вынула из ящика стола свои документы Оронка.

— А где сестра вашей жены?

— Она тяжело больна,— сказал доктор.— У нее тиф...

Сиплоки брезгливо пожал плечами. Он очень боялся болезней, особенно тифа. Но нужно было довести начатое дело до конца и потому жандармский офицер сказал:

— Документы!

Арпад на мгновение задумался. В свое время, когда они отправлялись к больному Франтишку Поспишину, он отдал Ружене документы Розы Саболи. Сейчас он не знал, где Ружена спрятала их.

Но он ничем не выказал своей тревоги, наоборт, отворив дверь в кабинет, где лежала Ружена, спокойными шагами прошел туда, поискал на столе, нашел сумку Ружены и вынул оттуда документы Розы Саболи. Он тут же положил сумку за книги — в ней, наверно, были документы и самой Ружены.

В эту минуту капитан Сиплоки появился в дверях кабинета, оглядел комнату, зажег фонарик и направил луч на диван, на котором лежала Ружена... Она пошевелилась, застонала, на лице ее отразилась боль... Нет, Ружена в эту минуту не была похожа на себя.

— Это Роза Саболи,— сказал Арпад,— а вот ее документы.

Став возле стола так, чтобы ни к чему не прикоснуться, капитан Сиплоки развернул паспорт Розы Саболи, внимательно прочитал, посмотрел на ее карточку, спросил:

— А почему Роза Саболи живет в Хусте?

— Роза жила в Дебрецене с отцом и матерью,— ответил Арпад,— но они в прошлом году умерли. Тогда Роза переехала к нам, она помогает жене, а также и мне.

— Осмотрите все комнаты,— сказал капитан Сиплоки жандармам.— И на чердаке посмотрите!..

И все время, пока жандармы шарили по комнатам, заглядывая под кровати и за шкафы, а потом поднялись на чердак, капитан Сиплоки стоял у стола, держа в руках паспорт Розы Саболи. Один раз, как это заметил Арпад, капитан вынул из кармана какую-то фотографию и пристально посмотрел на нее. Потом он подошел к столу в углу, где стоял флакон с одеколоном, не спрашивая позволения, вымыл одеколоном руки и долго, тщательно вытирал их платком. Тем временем жандармы спустились с чердака, доложили, что там ничего не найдено, и все вместе, не попрощавшись, молча вышли на улицу. Арпад проводил их и запер дверь.

Когда Арпад возвратился в столовую, Оронка, бледная и взволнованная, но с выражением радости на лице, стояла, опершись о столик в углу, где поручик брал одеколон. Арпад молча, сложив руки за спиной, прошелся по комнате взад-вперед.

— А все же,— остановился и тихо сказал он,— я уверен, что они разыскивают именно Ружену... Тиф! Он боится заболеть, проклятый фашист. Но ведь он сам — микроб, страшный, опасный... И все же ему не удалось здесь достичь своего.

Арпад сделал шаг и подошел вплотную к Оронке.

— Я вижу,— продолжал он,— у тебя за последнее время появилось много седых волос. Ты сходи завтра же к парикмахеру и попроси покрасить волосы в темный цвет. И ты попроси его, чтобы он дал тебе черной краски, много черной краски. Этот капитан не заметил сегодня, что Роза Саболи брюнетка, как и ты, а Ружена — блондинка. Завтра же выкрась волосы Ружене. Это ничего, что она больна. Болезнь пройдет, и Ружена не будет упрекать нас за то, что мы из нее сделали брюнетку...

3

Над Хустом металась вьюга. Улицу Глубокую покрыли высокие сугробы,— кто в такую пору вышел бы из дому? Но именно это время и выбрал Степан Шегута для встречи с Франтишком Поспишилом.

Давно уже и Ганна Логойда, и дети ее — Гаврило и

Оленка — предлагали Франтишку Поспишилу перейти в большой дом. Он туда не перешел, говоря, что будет там мешать молодежи, что в большом доме часто бывают соседи, что, наконец, ему очень хорошо с бабусей Лонкай. И правда — старуха Лонкай полюбила коммуниста, которого все звали Андреем, точно родного сына, она ночей недосыпала, ухаживая за ним.

— Тесновато у вас, — сказал Степан Шегута, входя в маленький домик и стряхивая снег с сапог, кожанка, шапки.

— Зато тепло, — ответил Франтишек, — и тихо.

— Что верно, то верно, — тихо и тепло, — согласился Степан, приглядываясь к Франтишку. — И ты, я вижу, орел орлом.

— Выздоровел, Степан, совсем выздоровел... Благодарю тебя.

Франтишек давно уже начал ходить. С палкой, осторожно. Долгими зимними ночами, когда все спали, он выходил во двор, садился на бревна позади дома, где с улицы никто не мог его увидеть, и долго сидел в тишине, прислушиваясь к каждому звуку, долетавшему из города. И сейчас он, в ожидании Степана, уже несколько раз выходил во двор.

— А как же, Степан! Ведь уже почти полгода прошло. Камень растет, а кости у человека и подавно срастаются. А если бы еще свободно можно было ходить! Ногам, да еще раненым, нужно движение, тогда они скорее выздоравливают.

Степан внимательно посмотрел на Франтишка.

— Вижу, к работе рвешься...

— Сколько же можно сидеть, Степан? Будь у меня крылья, полетел бы в Прагу. Нет Юлиуса Фучика, еще скольких товарищей не стало... Сейчас там нужны руки, как никогда!

— Но ехать тебе в Прагу... — начал Степан.

— Да, понимаю, абсурд, — согласился Франтишек. — На костылях туда не пойдешь... Только повредишь делу.

— Но и в Хусте оставаться тебе не следует.

Поспишил взглянул на Шегуту своими светлыми глазами.

— А где же мне быть? Здесь очень быстро, прямо на глазах выросла крепкая подпольная группа. Какие чудесные подобрались люди! Братья Логойды, Сирко, Жупан, Попадинец. А Ярослав Гишка из Рахова! А мой

врач — Арпад Доломаш! Руководство чехословацкой коммунистической партии и венгерские коммунисты могут быть довольны. Закарпатье — это прекрасный пример того, как братские коммунистические партии должны бороться за счастливое будущее всех народов. И ты сам знаешь, Степан, каковы результаты этой работы.

Лицо Франтишка Поспишила все так и сияло, в глазах сверкала невыразимая радость. Он забыл даже про свои больные ноги и встал без палки, выпрямился перед своим дощатым ложем.

— Ты сядь, Франтишек! — тихо сказал Шегута. — И не волнуйся. Это все так, и я все это знаю. Но не думаешь ли ты, что успехи, которых мы достигли, еще больше обязывают нас к бдительности и осторожности?

— Конечно, — согласился Поспишил. — Беречься нужно всегда, а теперь и подавно. Но почему ты говоришь мне об этом?

— Потому, что нам дорога твоя жизнь. Успокойся, дружище, и слушай! Тебе известно, что здесь, в Закарпатье, идет напряженная, жестокая борьба против фашистского гнета. Хуст — лишь одна из страниц этой борьбы. Я только что побывал в Турянской долине, где сосредоточены самые большие наши фабрики, был в Ужгороде и Мукачеве, в Солотвине... Рабочий класс Закарпатья крепко сплочен, он в первых рядах борьбы... За рабочими идут все трудящиеся Закарпатья, куда ни взгляни — на горы, или в леса, или на долины, — всюду идет борьба против фашистов. И эту борьбу есть кому возглавить — руководство чехословацкой и венгерской коммунистических партий действуют, они нашли себе надежный приют за Карпатами, а мы здесь осуществляем руководство на местах. Низовые наши организации существуют на всех заводах и фабриках Закарпатья, во всех крупных центрах, во многих селах. Пройдет немного времени, и мы приведем в действие все наши силы, начнем всенародную борьбу. Разумеется, одних наших сил мало для победы — судьба Закарпатья, Чехословакии, Венгрии и еще многих стран решается по ту сторону Карпат, на фронте, где сражается Советская Армия. Но фронт все ближе, с каждым днем все слышнее победный шаг Советской Армии.

— Да, — пылко сказал Поспишил. — Я чувствую все это даже здесь, в этой лачуге.

— Тем более,— продолжал Шегута.— Тогда ты должен понять, что нам нужны бдительность, осторожность.

— Слушай, друг! — спохватился Поспишил.— Но почему ты говоришь это мне?

— Потому,— ответил Шегута,— что мы совещались с товарищами, следует ли тебе оставаться и дальше в Хусте.

— Понимаю,— засмеялся Франтишек Поспишил.— Спасибо, Степан! Но куда я сейчас могу переехать? И почему я должен оставить Хуст?

— Я должен был это сказать тебе,— ответил Степан,— потому что мне, Франтишек, за последние годы довелось немало пережить и многое видеть. Погибли Фома Маркус и Сергей Визиканич, Олекса Борканюк и еще много, много наших людей... Может быть, ты переедешь в Ужгород или Мукачево? У нас найдется, где спрятать тебя.

Франтишек Поспишил оглядел низенькие стены домика, коптилку, горевшую на столе, дверь, покрытую серебристой, морозной пылью.

— Нет,— ответил он.— Я просил бы тебя и всех товарищей разрешить мне остаться в Хусте. Сейчас я предвижу здесь столько работы...

— Хорошо,— сказал Шегута.— Работы здесь будет на самом деле много. Но условимся,— с первым моим сигналом ты оставляешь Хуст... Да и вся организация должна быть готова к тому, чтобы свернуться, быстро перейти на новое место. Весна близко, последняя, решающая наша весна!

Глава четвертая

1

Одна мать родила Степана и Василя Чижмарей, обоим дала она здоровье, красоту, да не одну натуру им дала.

Степан Чижмарь был человек спокойный, выдержанный. Когда говорил, вперед обдумывал каждое слово, перед каждым важным шагом все взвешивал. Даже холодноватым, бесстрастным казался кое-кому Степан,

хотя в действительности было у него горячее, страстное сердце. Только умел он свое сердце подчинять разуму.

Прекрасное сердце было и у его брата Василя, но подчинять его он не хотел и не умел. С привлекательной внешностью, черноволосый, похожий на цыгана, подвижной, он был точно вихрь или гром, который возникает как раз в ту минуту, когда не ждешь. Особенно много мог натворить после стаканчика доброй палёнки Василь. Ласковый к родным людям, он старался тогда проявить к ним еще большую привязанность и доброту; непримиримый к врагам, он поступал не так, как подсказывал разум, а как велело его пылкое сердце. И как часто Василь сожалел о сделанном накануне!

Степан часто корил Василя за его повадки. Ссориться братьям приходилось не раз, ибо судьба вела их одним путем: вместе провели детство и юность в Копашневе, вместе пробирались в Испанию и там служили в одном полку, а после того сидели в одной камере в Будапеште, вместе бежали оттуда за горы, на восток. Все было у них общее — и горе, и мука, и радость.

И хоть корил Степан Василя, но любил его и всегда болезненно переживал за него: ведь случилось однажды в Испании, что Василь, не зная ни языка, ни местности, с одним только ножом ушел в глубокий тыл и пробыл там чуть ли не неделю! А чего стоил случай в офицерском клубе в Будапеште, где Василь, переодевшись в военный мундир, обыграл в карты всех офицеров! Не раз волновался Степан за Василя — вот так погибнет когда-нибудь сам, да еще и общему делу повредит.

Именно поэтому по возвращении на Закарпатье Степан Чижмарь постарался, чтобы Василь не жил дома. Сам Степан часто бывал в Копашневе, так как хотел наладить работу местной организации. Но действовал он осторожно; пока было тепло, скрывался в лесу, туда к нему приходили и Попадинец и сельские коммунисты. Когда же наступила осень, а за нею зима, Степан стал реже наведываться в Копашнево, у него были надежные места для укрытия и в Драгове, и в Бороняве, и в Изе. Часто бывал Степан и в Хусте, который становился подпольным партизанским центром по всей долине реки Хустец.

И для Василя нашел Степан работу. Ему нужны были доверенные, смелые, решительные люди во всех селах вокруг Хуста. Условились, что Василь будет работать в Нижнем Селище. Степан настрого приказал Василю не показываться дома, а если и придется там быть, то беречься самому, беречь и людей.

И Василь Чижмарь держался Селища. Работал он там хорошо. Раза два побывал в Копашневе, но с опаской. Несколько раз приходил и Степан в Селище; в укромном месте, у надежных людей, братья делились новостями, советовались, что делать дальше, нетерпеливо ждали весны, дыхание которой чувствовалось в тусклом блеске снегов, в запахах лесов, в темных тучах над горами.

— Это уж будет наша, верховинская весна,— говорил Степан.— Слышишь, что делается за Карпатами! Идет вперед Советская Армия, ни мороз, ни снег ее не останавливают. А здесь, Василь, что делается! Идет и скоро придет справедливая кара и наш народный суд, Василь!

На масленице Василь Чижмарь пришел в Копашнево. Не сам на это решился, советовался с селищанскими товарищами, и те согласились: «А что ж, сходи домой, Василь! У каждого человека есть душа, и разве мы тебя не понимаем? Только осторожнее и не мешкай. Два-три дня, а больше не засиживайся, Василь!»

Он пришел в родной дом ночью, пришел так, что самое чуткое ухо не услышало бы, постучал в окно, вызвал младшего брата и расспросил его, спокойно ли в селе, попросил брата караулить все время, пока он будет в Копашневе.

И до поздней ночи просидел в темной хате, беседуя с женой, сестрами, братьями.

Как близки были его сердцу голоса, звучавшие в ту ночь в хате, как приятно пахли сухие цветы полонины, развешенные на стенах, как сладок был ломоть овсяного хлеба, разрезанный за столом, где сидели отцы и деды, и как радостно было лечь в постель, чувствуя рядом тепло жены. Все это так походило на сон, что Василь и не заметил, где же окончилось то, что казалось сном, и когда сам он погрузился в забытие.

Еще до зари проснулся Василь. Так он делал всю жизнь — просыпался по-темному, еще минуту лежал, думал о том, что нужно сделать, и сразу вскакивал, одевался, начинал действовать. Так он поступил и сегодня, поднялся спозаранку, тихо, чтобы никого не потревожить, вышел во двор, прислушался.

В эту же ночь и Степан Чижмарь ночевал в Копашневе, в одном из соседних домов. Вместе с Попадинцем он вышел во двор, прислушался и, распрощавшись, двинулся оврагом к лесу. Была причина, заставлявшая его так поступить.

Василь этого не знал. Он стоял на пороге родной хаты, смотрел, слушал. Все небо было в тучах, над горами и селом висела зеленовато-серая мгла, на улицах нигде ничего не было слышно. Только раз где-то в соседском дворе кто-то закашлял. Василь услышал, как кто-то прошагал к лощине, за село. Это как раз и был Степан Чижмарь.

Василь стоял и думал о том, что товарищи в Селище будут ждать его только через день, а то и через два. В Копашневе ему нечего было бояться, братья охраняли его. И сейчас один из них уже проснулся, вышел из хаты.

Василь решил еще день побыть в Копашневе, подышать дымком родной хаты, перекинуться словечком с родными, а уж на следующую ночь уйти в Селище.

Мелькнула мысль и о жандармах. Что будет, если в село нагрянут жандармы? И к этому был готов Василь. Какая разница в конце концов, здесь он или в Нижнем Селище? Всюду опасность одинакова. Сумеет уйти, обмануть любых жандармов, а если что случится — не посрамит Чижмарей!

— Так что же, Василь,— спросил, подходя к нему, брат,— уходишь или как?

— Нет, пойду уж завтра ночью,— ответил Василь.

Утро выдалось чудесное. Морозная серая мгла, всю ночь закрывавшая небо, осыпалась на рассвете сухим инеем. Из-за гор выплыло во всей своей красе солнце. Засверкали, как зеркала, склоны гор, заиграл всеми красками снег в долине, на ветвях деревьев заискрился серебристый иней. А в воздухе стояла такая тишина, что на все село и долину слышно было, как шумит у плотины Хустец и как кричат грачи над кладбищем за селом.

Василь Чижмарь сидел у окошка и смотрел на огороды. Казалось, ничего особенного он не видел — вблизи, под самым окном, в сухом чертополохе перепархивали синички, на огороде торчали затянутые инеем стебли кукурузы, а за огородом перебирался по мосткам через горный поток какой-то дед, а еще дальше видны были ущелья и покрытые снегами горы.

Но вид этот был близким и родным Василию Чижмарю, лучшего места, казалось ему, во всем мире нет. И он долго сидел у окна, любовался горами и долинами, отдыхал.

Вдруг, как это часто бывает в горных местностях, из-за гор необычайно быстро начало наплывать седоватое облачко. Оно сползало в долину и уже затягивало склоны гор. Потемнело лицо и у Василя.

Но его позвали — уже готов был завтрак, на столе стояла капуста, бутылка палёнки. Василь махнул рукой и сел за стол.

В это время со двора в хату вошел брат Василя и сказал ему:

— Тебе нужно спрятаться, Василь, в село приехал капитан Росс.

— Что это за Росс? — внешне спокойно спросил Василь.

— А тот, — ответил Юрко, — который уже раз приезжал в Копашнево и забрал двести наших хлопцев и дивчат.

Кровь ударила Василию в голову, он весь потемнел даже.

— Как же это? — прохрипел он. — Один раз приехал и две сотни наших хлопцев и дивчат забрал, а теперь еще сотню заберет. А мы должны смотреть и молчать?

Он сидел злой, сжав кулаки, и глядел за окно, где начал сыпаться густой, пушистый снег.

— Так я же не допущу! — с невыразимой горечью в голосе сказал он. — Пускай Степан что хочет говорит, а я не допущу. Убью его, пса, слышите, убью нынче!

Братья и сестры пробовали успокоить Василя.

— Не ходи! Это добра не принесет! Послушай нас, спрячься!

Но Василя уже нельзя было узнать. Хмурый, сердитый, сидел он за столом. Твердой, решительной рукой схватил чарку и выпил.

В это время кто-то сказал, что офицер вышел из сельской управы и пошел на другой конец села, к попу Косею. И это не подействовало на Василя, а только больше рассердило.

— Ну, туда ему не дойти! — сказал он и вскочил из-за стола.

Капитан Росс хорошо знал дорогу от сельской управы к попу Косею. В Копашневе он бывал не раз, у попа его принимали, как дорогого гостя. Там, думал он, можно будет славно поесть. И ночевал капитан в прошлые разы у Косея. Почему бы ему не заночевать и теперь? Ведь по всему видно, что будет вьюга. А в поповском доме так уютно!

Так и шел он вдоль плетней, поглядывая на черные хижины верховинцев, на клуни, огороды. Пусто было во дворах, никто не выходил из хат, не хозяйничал в клунях. Попрятались они, что ли? А нужно будет взять из Копашнева еще сотню человек. На этот раз прямо в горы, на линию Арпада, пускай роют землю и ложатся в нее!

Еще думал капитан Росс о том, что же дают ему все эти операции: двести да еще сто человек из Копашнева, сто и еще пятьдесят из Драгова, сто и еще пятьдесят — из Изы! Сколько и каких молодых, здоровых людей! Ему не жаль было этих людей, которых он гнал на смерть. Но где же обещанная награда, о чем думает полковник Кричфалуши? Сам понацеплял себе на грудь десяток орденов, полковник, депутат Верхней палаты, член Президиума АЗС! А Росс — капитан и капитан, перспектив никаких. Не лучше ли будет перейти в «Рондьош гарду»? Генерал Винце больше заботится о своих подчиненных, чем полковник Кричфалуши. Там точный расчет: десять убитых партизан и — чин, деньги, орден! А кто там разберет, был убитый партизаном или нет? Нет, думал капитан Росс, с мертвыми лучше иметь дело, чем с живыми. И почему он не может поступить так, как поступают другие? Только «Рондьош гарда»!

В эту самую минуту капитан Росс заметил на улице женщину, — она медленно шла к нему навстречу вдоль плетня. Росс подумал: когда эта женщина подойдет ближе, он остановит ее, позабавится с ней.

Женщина шла очень медленно. Падал снежок, и лица женщины капитан издали не мог разглядеть, но по походке было видно, что это уже немолодая женщина. Какая уж тут забава? Замысел капитана пропадал. Тогда он решил, если это старуха, напугать ее. О, это Росс тоже умел делать отлично!

Не дойдя нескольких шагов до капитана, женщина остановилась. Она, должно быть, задумалась, ничего не замечала и вдруг увидела капитана и решила бежать. Капитан Росс уже собирался крикнуть, чтобы женщина непременно подошла к нему.

Но кричать Россу не пришлось. Женщина сама пошла прямо на него. Капитан даже глаза раскрыл от неожиданной дерзости и глядел, как она сделала шаг, второй и третий. Еще успел разглядеть Росс лицо, которое уже видно было из-под платка. Но это было совсем не женское лицо — черные, тонкие брови, тонкий нос, темные усики. Один миг, выброшенная вперед рука, выстрел...

Только выстрела Росс не услышал. Что-то ударило его в грудь, в сердце, потемнело небо и снега, он хотел крикнуть и не смог, вскинул руку — и зарылся в снег...

Так и остался Росс лежать у плетня, — на снегу, с вытаращенными глазами, скрюченными руками, с пулей в сердце. А жандармы, выбежавшие на звук выстрела из сельской управы, увидели женщину, — она побежала прочь от капитана, перескочила через тын и исчезла в огородах...

2

В одну из ближайших ночей Степан Чижмарь пришел в Нижнее Селище и постучался в окно к далекому своему родичу по матери — Ивану Дранчуку. Дранчук был человек надежный, и Степан говорил с ним открыто.

— Ты знаешь, Иван, где сейчас Василь?

— Да ты сам знаешь, Степан! Но, если хочешь, могу проводить.

— Не пойду! Если знаешь, сходи к нему и скажи, чтобы завтра вечером был там, где когда-то мне на сопилке играл.

-- На сопилке? Что ты задумал, Степан? Ну не буду расспрашивать, утром разыщу и скажу. А что там такое случилось в Копашневе, Степан? Говорят, высокого мадь-

яриака убили. И убила будто бы женщина! Ой, ой! Вчера через наше Селище с полтысячи жандармов проехало этой самой «грабь-гвардии». Все на Копашнево. Ох, и страх будет.

Ничего не ответил на это Степан. Лицо у него было темное, строгое.

— Ты мне Василя найди.

— Раз сказал — найду. И, говоришь, чтобы туда шел, где тебе на сопилке играл?

— Да, да! На сопилке. Прощай, Иван!

— Будь здоров.

Степан Чижмарь исчез во мгле беззвездной, серой ночи...

К вечеру Василь Чижмарь пришел на гору Менчул. Он знал, про какую сопилку поворит Степан. И еще знал Василь, — Степан зовет его недаром.

Степан ждал его на условленном месте, там, где они когда-то спустились вместе. Он сидел на камне, где тропа делает изгиб, в том месте, где Василь непременно должен был пройти.

Он издали увидел брата, едва тот начал подниматься по тропе. Заметил, что идет Василь медленно, задумавшись.

Степан окликнул Василя, — он долго сидел над тропой и знал, что вблизи никого нет. Кто пошел бы на гору Менчул на ночь глядя? Василь, услышав голос, зашагал быстрее. Уже стало его видно: был он бледный, какой-то растерянный. И когда наконец остановился, с испугом поглядел в лицо брату.

Степан не встал с камня, когда приблизился брат. Не нашлось у него и приветного слова.

— Ты пришел, — только и сказал он. — Хорошо, Василь! Я знал, что ты придешь.

В долине, внизу, уже был вечер. На вершине, где встретились братья, еще отблескивал снег; красноватый отсвет заката окрашивал покрытые инеем ветви сосен.

— Что это ты наделал, Василь? — каким-то глухим голосом спросил Степан.

— А что? — точно ничего не понимая, ответил Василь.

— Ты спрашиваешь — что? Так пойдй погляди в Копашневе. Убил одного офицера, а сейчас наехало их с полтысячи, загубят все село. И разве только село? Они

давно ищут нашего следа. Вот и след — ты навел врагов на всю нашу организацию.

Василь знал, зачем позвал его брат. Он знал, что рано или поздно, а Степан его позовет. И сам он после происшествия в Копашневе утратил покой, не спал несколько ночей. Но все эти ночи он думал не о том, в чем должен был обвинить себя, а упрямо искал оправдания для своего поступка.

— А что мне было делать? — сказал теперь он. — Ведь этот офицер однажды уже приезжал и тогда забрал двести хлопцев и дивчат. Теперь новых хотел взять. Ну, не помню, как это случилось, не стерпело мое сердце, взял... убил... А что бы ты сделал на моем месте?

— Не помню! — с ноткой раздражения, но вместе с тем и отчаяния в голосе процедил Степан. — Так теперь понять должен — попала твоя пуля не туда, куда ты целил. В тебя самого попала она, в мою грудь, в сердце, во всех нас.

Даже пошатнулся Василь, точно ветром его ударило в грудь. Взглянул на Степана и отвернулся. Много обидного и угрожающего было в словах брата. Чтобы овладеть собою и не стоять, как перед судом, Василь переминался с ноги на ногу, заметил поблизости камень и тяжело опустился на него.

— Нет, нет, Степан, не говори мне так, — задыхаясь, сказал он, — и не обижай. Чтобы я стрелял в брата и в своих людей! Не говори, нет, нет, не говори!

— Скажу! — громко сказал Степан. — Должен ты знать, что нехорошо поступил, нехорошо! Понимаю — у тебя натура такая, горячая, гуцульская. И я такой, Василь: врагам мы пощады не даем; если караем их, то насмерть! Это так! Но в тебе сидит еще один чертенок, и он тебя губит. Нет села без грязи, людей без изъяна, — ты это знаешь? У тебя такая голова, что все беды ищет. А ты эту голову еще и в палёнке мочишь. Ну, не прячь лица, гляди стыду своему в глаза, гляди!

— Степан! — все еще не уступал Василь. — Не говори мне про палёнку. Не она виновата — сердце. И сердца своего, слышишь, я не осуждаю, сделано так — значит, справедливо!

— Справедливо! — горько усмехнулся Степан. — Так слушай! Когда ты один убивал паршивого офицера, что приехал наших людей забирать, мы сообща совеща-

лись, как этих наших людей спасти и покарать того офицера. Но не здесь, а там, где только лес да горы...

Василь широко раскрытыми черными своими глазами, которые сейчас точно угли горели, глядел на Степана.

— Спасти людей и покарать офицера в другом месте?

— А ты как думал? Думал, я пришел сюда, на Менчул, с тобой спорить? Нет, не для того я пришел, судить тебя я должен.

— Ну и суди! — напоследок уже усмехнулся Василь. — А откуда я мог знать, что вы так решите?

— Слушай, Василь, — ответил ему на это Степан. — Ты — коммунист, но столкнуться с тобой — ой, как трудно! Не понимаешь ты, что не всегда на собственный ум можно полагаться, так что же ты сейчас натворил, ведь против всех пошел!

Ничего на этот раз не сказал Василь, понурился, опустил на колени ослабевшие руки.

— Думали мы с товарищами о тебе, — тихо сказал Степан, глядя на долину, которую затягивал туман, — и осудили твой поступок как вредный, преступный...

Вздрогнул Василь, взглянул на брата.

— А, вот зачем ты меня сюда звал, — проговорил он. — Что ж, убивай брата за паршивого офицера. Ты знаешь — я смерти не боюсь. Ну, стреляй — вот моя грудь!

— Не шути со смертью, — покачал головой Степан. — Виновен? И то хорошо. Но я тебя не убью. Не будь я твой брат, быть бы тебе мертвецом. Запомни, Василь, не такие мы люди, чтобы брат брата убивал. Хорошо, что мне и тебе верят товарищи. Они поверили мне, потому что я поручился за тебя. Мне поверили, и тебе, что ты выправишься, Василь. Придет время, каждый из нас сумеет умереть, как нужно, достойно. Но сейчас умирать рано. Давай подумаем о другом. У тебя в Селище люди готовы?

— А что? — встал с камня Василь.

— И сюда могут жандармы нагрянуть. Никто не выдержит, выдержат?

— Да, Степан! — ответил Василь. — Хорошие коммунисты в Селищах, всё выдержат.

— Вот и ты будь с ними, — приказал Степан. — Пусть держатся и ждут, потому что подходят жаркие дни.

И в Копашневе выдержат, там наши люди как один. Пусть зарывают того паршивого офицера, пусть запугивают, но мы людей не дадим, только расквитаемся погуцульски — там, где лес да горы...

— Что ты задумал, куда ты идешь? — с тревогой спросил Василь и поглядел на брата.

— Я? — Степан улыбнулся. — Слышишь, как пахнут сосны, весна идет, Василь. Пойду я в Хуст.

— Но ведь это прямо в пасть к врагам?

— В пасть? — потемнел лицом Степан. — Нет, люди наши там сейчас под страшной смертной угрозой. Пусть они узнают обо всем, что случилось в Копашневе, и будем думать, что делать дальше. И довольно. Ты молчи, Василь; как я решил, так и будет. А встретимся мы после того в Изе. Ступай!

Василь сделал несколько шагов, но вдруг обернулся.

— Степан!

— А что? — Степан сидел на прежнем месте.

— Степан! — повторил Василь и подошел к брату. — Слушай, Степан! Ну, виноват я, виноват. Понимаю и все, все сделаю, брат, чтобы искупить вину... А ты... простишь ты меня, Степан?

— Ступай, Василь! — ответил Степан. — И не спрашивай меня, прощаю ли я. Люди когда-нибудь рассудят нас.

— Тогда прощай! — сказал Василь.

И он пошел твердым шагом. Степан глядел ему вслед, пока брат не исчез в кустах, тогда направился в другую сторону — в Хуст.

3

Полковник Кричфалуши спешил в Хуст. Накануне в Ужгороде у него был неприятный разговор с генералом Винце. Этот генерал, прибывший из Будапешта, несколько лет сидел при регентском комиссаре Миклоше Козме, затем при Вильмоше Томчани и все организовывал и организовывал «Роидьош гарду».

В Будапеште Винце хвастался, что нанес уже сокрушительный удар партизанам Закарпатья, там он назначал сроки, когда, мол, с коммунистами и партизанским движением на Закарпатье будет полностью покончено.

Не раз выступал Винце со статьями на эту тему в будапештских газетах. Но генерал был попросту болтун, он не выезжал никуда дальше Ужгорода, отряды его состояли из уголовных преступников, воров, бандитов. Вся похвальба и разговоры о рейдах, победах, подвигах «Рондьош гарды» и генерала Винце были направлены к одному, он вертелся возле Миклоша Козмы и ожидал его смертного часа в надежде занять место регентского комиссара. Когда же после Козмы к власти пришел Вильмош Пал Томчани, Винце всячески начал поносить в Будапеште нового регентского комиссара. Карьера диктатора Закарпатья — вот о чем мечтал генерал Винце!

Но об этом же мечтал и полковник Кричфалуши. На кой леший было ему, коменданту личной охраны Хорти, имевшему все основания сделать в Будапеште блестящую карьеру, ехать в глубокую провинцию, в какое-то Закарпатье? На черта было организовывать жандармерию в округах и рыскать с отрядами по долинам и горам? И если в Закарпатье были уничтожены тысячи коммунистов, партизан — все, кто хоть в какой-то мере был причастен к бунтарскому движению, и даже те, кто не имел к нему ни малейшего отношения, — в этом была только его, Кричфалуши, заслуга. Полковник Кричфалуши уверенно пробивался к креслу регентского комиссара: была у него рука и в Будапеште. Разумеется, полковник доподлинно знал о всех контрмерах своего противника — генерала Винце — и считал его своим первым и самым опасным врагом.

И полковник Кричфалуши и генерал Винце все это делали втайне, соблюдая такт, с величайшей выдержкой. Встречаясь, они, казалось, так сердечно беседовали; когда им случалось присутствовать на каком-нибудь банкете, то неизменно и подчеркнуто громко в одном конце стола тост за рыцаря жандармерии Кричфалуши поднимал генерал Винце, а Кричфалуши, в свою очередь, пил за счастье, здоровье и новые боевые успехи генерала Винце.

И вдруг генерал Винце показал свои когти. Во время очередной любезной, милой беседы с генералом Винце в приемной регентского комиссара полковник Кричфалуши уловил новые нотки в голосе генерала.

— Я решил выехать и перебросить отряды «Рондьош

гарды» на юг — в Хуст, Рахов, а может быть, и выше, в горы, — сказал генерал, поблескивая золотыми зубами и стряхивая пепел с сигареты.

— А разве господин генерал обнаружил что-нибудь интересное в районе Хуста или Рахова? — насторожился Кричфалуши.

— Ничего конкретного пока не обнаружено, — скуповато ответил генерал. — Но кое-какие ниточки я уже добыл.

— Если я не ошибаюсь, — заметил Кричфалуши, — в последнее время господин генерал говорил мне о ниточках в районе Турянской долины?

— Мои отряды уже успели побывать в районе Турянской долины, — сделал глубокую затяжку генерал. — В то время как полковник Кричфалуши искал партизан в районе Хуста...

— Но партизан, которые могли бы интересоваться «Рондьош гарду», в районе Хуста мои жандармы не выявили, — ответил полковник Кричфалуши.

— А я уверен, что они должны быть именно там! — упрямо заявил генерал. — И от «Рондьош гарды» они не уйдут.

Полковник Кричфалуши поднял голову, стараясь заглянуть в глаза генералу Винце поверх его блестящих очков. Правду он говорит или, как всегда, играет? Но глаза Винце ничего не сказали, просто генерал отвел свой взгляд в сторону.

Однако для Кричфалуши этого было достаточно. Когда генерал заговорил о каких-то ниточках в Турянской долине, полковник со своими жандармами немедленно выехал туда. Генерал говорит про Хуст — Кричфалуши будет там завтра.

— Все может быть, — сказал он генералу. — Кстати, завтра я выезжаю в Хуст.

— Значит, мы с вами там встретимся?

— Я буду очень рад увидеть генерала в Хусте, — ехидно кинул полковник. — В этом городе я знаю каждую улицу и каждый переулок. Могу показать господину генералу и все окрестные села — очень живописная местность, дорогой генерал. Глубокие ущелья, быстрые горные потоки, отвесные скалы, пропасти...

— Посмотрим! Посмотрим! — сказал генерал Винце и принялся вытирать пестрым платком свои очки в золотой оправе.

В тот же день полковник Кричфалуши в сопровождении группы офицеров из жандармского управления выехал из Ужгорода. Даже этим доверенным лицам полковник Кричфалуши не сказал, куда именно они едут. Машины промчались по шоссе до Мукачева, без остановки миновали город, вынеслись на дорогу к Береговому: поздно вечером пролетели через Севлюш и около полуночи приблизились к Хусту.

«Погоди, генерал! — думал Андрош Кричфалуши. — Посмотрим, кто из нас будет первым!»

Правда, одному лицу в Ужгороде Кричфалуши сказал, куда выезжает, и этим лицом был Андрей Бродий.

В этом не было ничего странного. Андрей Бродий и все его функционеры были первыми помощниками жандармерии. Недаром пан Бродий, формируя президиум Автономного земледельческого союза, ввел в состав его и шефа жандармов. Жандармы — и Земледельческий союз! Это, пожалуй, звучало дико. Но разве не ввел Бродий в состав президиума протоотария о. Александра Ильницкого? Автономный союз, жандармерия, греко-католическая церковь — все это были в то время звенья одной цепи — фашизма. И полковник ничего не скрывал от пана Бродия, он откровенно рассказал ему о беседе с генералом Винце и выразил пожелание, чтобы отставной премьер-министр также выехал в Хуст.

Пожелание! Если бы полковник Кричфалуши знал, как забилося сердце у отставного премьер-министра, когда он услышал о беседе полковника с генералом! Дело в том, что пан Бродий день и ночь видел в мечтах пост регентского комиссара, ненавидел и генерала Винце, и полковника Кричфалуши, и каждого, кто мог претендовать на этот пост, и изо всех сил карабкался на пост комиссара сам.

Разумеется, пан Бродий не говорил этого ни Кричфалуши, ни Винце, а при встречах распинаялся перед ними, клялся в дружбе и любви, на банкетах пил за здоровье обоих.

И теперь, когда полковник Кричфалуши сообщил, что едет в Хуст, Бродий решил также немедленно выехать туда. Он только не мог следовать за Кричфалуши на ночь глядя. Пан отставной премьер-министр на пенсии боялся показываться на закарпатских дорогах не только ночью, а и днем. С некоторого времени у отставного

премьера происходило что-то с глазами, и это «что-то» он называл «миражеманией». Где бы ни был пан Бродий и куда бы ни ехал, ему все время что-то мерещилось впереди. В степи ему казалось, что на горизонте появляются какие-то всадники с обнаженными саблями или черные бронированные автомобили, на улицах ему казалось, будто кто-то выглядывает то здесь, то там из-за угла, и даже у себя в спальне, прежде чем лечь, пан Бродий опускался на колени и заглядывал под кровать из опасения, что там кто-нибудь спрятан.

Он выехал только на следующий день утром в сопровождении двух жандармов, которые поместились с автоматами в задке машины, и ехал браво, курил сигарету, любовался встречными видами, думал о разных приятных вещах, видел себя регентским комиссаром, видел даже памятник...

Машина бешено подпрыгивала на ухабах, пана Бродия от быстрой езды слегка поташнивало, он глядел вперед, на горизонт, утопавший в туманной изморози, и ему все мерещились то всадники с обнаженными саблями, то черные бронированные автомобили...

Но позади отставного премьера сидели два вооруженных жандарма, которые, к слову сказать, ежевечерне обязаны были представлять полковнику Кричфалуши рапорты за истекший день, — где был и что делал Бродий.

«Миражемания, да и только!» — думал Андрей Бродий.

Глава пятая

1

От Менчула до Хуста Степан Чижмарь шел целую ночь. Вряд ли еще кто-нибудь, кроме него, прошел бы этою дорогой в такую пору. Он обходил села, чтобы не нарваться на какого-нибудь пса, и держался подальше от людского жилья, пробираясь там, где леса да ущелья, камни да снега. Снег в горах таял, в лощинах зашумели ручьи, в долинах приходилось брести по воде.

Для Степана Чижмаря все это было делом обычным. Он родился и вырос неподалеку от Менчула, по окрестным горам и лесам прошел бы в самую темную ночь; его не страшила ни зима, ни предвесеннее бездорожье. Бездорожье было ему даже на руку: он знал, что ни один из жандармов не сунется в горы по грязи в такую ночь, все они сидят в Хусте по ресторанам и гостиницам, а если кто из них и забрел в село, то притаился и прячется в теплой хате.

Часто Степан думал про Копашнево. А как там в эту ночную пору? Ведь жандармов туда понаехало великое множество. А поздним вечером, как удалось разглядеть Степану, в Копашнево прошла низом длинная черная колонна. Неужели появилась в их местах еще и «Рондьош гарда»?

Вспоминал Степан и Василя. Идя в сером тумане по мокрому снегу, перепрыгивая через ручьи, прокрадываясь между деревьями, Степан все время думал о своем неугомонном брате. Несколько часов прошло после их разговора на горе Менчул, а Степан еще и сейчас, казалось, видел взволнованное лицо брата и его злые глаза...

Но чем дальше отходил Степан от Менчула, тем чаще возникали перед ним другие глаза Василя, те глаза, какие были у него, когда он сказал: «Простишь ли ты меня, брат?» Такими глазами — грустными, печальными — никогда еще не смотрел на Степана Василь.

Степану было невыразимо жалко Василя. Ведь не чужие люди — братья! Сколько довелось им пережить вместе и радостей и бед! Правда, такой беды, как та, что случилась теперь, еще не было у братьев. Жестоко и безжалостно говорил Степан с братом, но говорил он так потому, что любил его.

Нет, нельзя быть слабым и легкодушным в эти дни. Враги свирепеют. С той поры как открыли памятник в Хусте, они точно взбесились. В каждом селе появился жандармский пост, действуют функционеры АЗС, попы точат и точат языки с церковных амвонов — и все они только и ждут подходящего случая, ждут первого промаха подпольщиков, как псы ищут след.

Степан шел в Хуст рассказать там о проступке Василя. Он скажет все по правде: и как Василь убил мадьярского офицера, и как коммунисты в Копашневе думали его расстрелять, и как он, Степан, заступился перед

товарищами за брата, как сам говорил с ним. Пускай судят и там товарищи; в великой борьбе нужно быть искренним, открытым!

Но не только это вело Чижмаря в Хуст и не только это беспокоило его. Связной из Нанкова, с которым Степан встретился накануне, сообщал ему, что он должен немедленно прибыть в Хуст.

Прошло уже несколько часов с той поры, как Степан сошел с Менчула. Усевшись в укромном месте на поваленном стволе, он решил отдохнуть.

Перед ним лежала долина. Сквозь прорези в тучах светилась луна, уже на ущербе. В слабом лунном сиянии чуть мерцали снега в долине. Невдалеке от Степана шумел ручей, талые воды так наполнили его, что слышно было, как ворочаются в нем камни.

Ручей течет к Хусту. Туда идет и Степан. Что же случилось в Хусте, и зачем его зовут? Но вот ондохнул раз, другой и всем своим существом ощутил запахи талых снегов, запахи свежей земли, свежий горный воздух. Близко весна — это слышал Степан и в шуме горного ручья. Вода с гор течет к Хусту, значит близко весна. И что бы там ни было, но Степан идет в Хуст, потому что чует весну, как чуют ее и все люди в горах.

Убаюканный шумом ручья, опьянев от запахов снега, воды, воздуха, он долго сидел на поваленном стволе бука. И хотя на склоне горы было холодно и неудобно, но на душе у него стало тепло. Почему-то в эту минуту Степан Чижмарь снова подумал про Василя, и с уст его сорвалось:

— Нет, теперь уж Василь не сплоскает, никогда! А если я чего не доделаю, ведь ты докончишь, брат?

Пришел Степан Чижмарь в Хуст на рассвете. В Киришах, перед самым Хустом, он зашел к знакомому селянину и взял у него с полмешка яблок. Так, с яблоками, будто бы на рынок, безопаснее было войти в город. Но, кроме того, у Степана была справка о том, что он будто бы больной лесоруб из Драгова и идет в долину к врачу.

Когда Степан подошел к окраинам Хуста, город уже просыпался. Казалось, все здесь радовались тому, что миновала еще одна ночь, а они снова остались живы. Во всех дворах на окраине уже хлопотали хозяева, на улицах скалывали и складывали в кучи лед, подтаявший

за ночь на тротуарах и мостовой, женщины стояли в длинных очередях у лавок за хлебом.

Но Степан заметил не только это. От его глаз не укрылось, что в городе было больше, чем обычно, жандармов, он заметил на улицах и военных, на рукавах шинелей у которых, кроме свастики, белели черепа и кости, а это свидетельствовало об их принадлежности к «Рондьош гарде». По улицам Хуста были расклеены какие-то новые объявления.

Остановясь на минуту у одного из домов, Степан прочитал такое объявление. В нем комендант оповещал об усилении борьбы с партизанами и на этот раз обещал награду тем, кто «выследит и уведомит комендатуру или жандармерию о лицах, которые вредят королевству и вооруженным силам». Комендант обещал, что имя такого объявителя останется в тайне.

Степан стоял, делая вид, будто читает объявление. Но объявление было давно прочитано. Глядя на черные буквы, от которых рябило в глазах, он слышал, как за спиной у него проходят жандармы, как они останавливаются и пробуют прочесть объявление, но, выругавшись, проходят дальше. И думал о том, что его, очевидно, недаром вызвали в Хуст. Здесь начинаются очень большие дела.

Он раздумывал о том, куда же ему пойти. В Хусте было несколько явок — в лавке Логойды на улице Ракоци, у дядька Гната, у Сирка. Но напряженная обстановка в Хусте подсказывала ему, что не нужно идти по этим старым явкам. Вот почему он направился со своими яблоками к одному столяру, Миколе Джерелюку, жившему на окраине города. Он знал Джерелюка, жена которого — Катря — была в дальнем родстве с Чижмарами.

Степан вошел во двор к Джерелюкам, крикнул:

— Может, яблок кому? Спелые, сочные, как мед...

Микола Джерелюк вышел из дома, сказал:

— Покажи, брат, свои яблоки. Да пройди-ка лучше в хату.

В хате они поговорили о делах. Степан попросил Джерелюка сходить в лавку Логойды, передать Гаврилу или Олене, что пришел Степан и спрашивает, как быть?

Микола Джерелюк ушел в город, вернулся через час и сообщил, что видел Гаврила Логойду. Но Гаврило не

мог сразу дать ответ, а просил Миколу зайти еще раз под вечер.

Это было неутешительное известие. Оно говорило о том, что партизаны в Хусте чем-то встревожены и держатся очень осторожно. Но все же Степан был спокоен. Вместе с Миколой они поели. После бессонной ночи Степан заснул в хате, где Катря протопила печь-лежанку. Спал крепко, потому что был очень утомлен.

К вечеру Микола Джерелюк еще раз ходил в лавку Логойды. На этот раз Гаврило ответил, что сам придет к Джерелюку, когда стемнеет.

2

Адам Гуржий долго готовился к разговору с сыном.

Сын чувствовал, что отец хочет с ним говорить. Разговор состоялся тогда, когда Яков надолго отлучился из Хуста и только на четвертый день к вечеру возвратился домой.

Тогда отец пришел в комнату к сыну. Был вечер. На столе горела свеча. Яков, как был в одежде, с закрытыми глазами, заложив руки за голову, лежал на своей кровати.

— Что ж, вижу, ты и приехал? — начал отец, присаживаясь к столу. — И далеко ездил? Говорит мать, будто бы в Мукачево? А как мне ты скажешь?

Яков поднялся и сел на кровати. У него был усталый вид.

— Разве вам не все равно, где я был? — спросил он. — Приходится ездить, хочу получить работу, должен зарабатывать деньги, если отец отказался.

Адам Гуржий укоризненно посмотрел на сына.

— Я от тебя не отказался и, помни, не отказываюсь. Это ты отрекаешься от отца, стращаешь меня, попрекаешь, будто деньги зарабатываю на чужих душах! Я тебя не попрекаю, а спрашиваю — что же ты заработал на людских душах!

— Вы... вы не смеете так говорить! — возмутился сын.

— А почему я не смею? — спросил отец. — Ты лучше меня или из другого теста? И если на то пошло, так ты мне то же самое когда-то говорил, и я тогда слушал. Что же ты теперь кричишь, когда я говорю правду? А я

знаю, что говорю. Знаю, что ты в Мукачево не ездил, знаю, где именно ты был. Хочешь — скажу. В горах ты был, там, где партизаны заключенных отбили.

— Молчите! — зашептал Яков. — Откуда вы можете знать?

— Откуда? — Брови у отца, как стрелки, поднялись вверх. — А чего ж тут знать? О нападении в горах весь город толкует. Тебя четыре дня дома нет. Если бы ты в Мукачево ездил, я бы это знал. Да погляди на свои сапоги! Чего ж ты молчишь? И уж если с Логойдами начал водиться, добра от тебя не жди. Ну, согласен?

— Вот вы с какой стороны подошли, — строго сказал Яков. — Точно прокурор или следователь. Как мерзко!

— Ну, там мерзко или нет, уж это мне лучше знать. Молись богу, что только я об этом знаю. Но запомни — другим это также может прийти в голову. Народ стал злой, хищный. Я уж по себе знаю — сделаешь шаг, а и бургомистру известно, и пану Бродию, а самое главное — Кричфалуши нашепчут, Сейкелю Дьюло нашепчут. А в охранку да в жандармерию лучше не попадать. Ты запомни это. А я тебе не враг и пока что сделаю только одно. Гляди!

Он взял со стола карандаш, послюнил его на листке бумаги, лежавшем перед ним, поставил крестик.

— Постойте! — удивленно проговорил Яков. — Что вы сделали?

— А что? — пожал плечами отец. — Ничего особенного! Поставил крестик, чтобы не забыть про нападение в горах. Но это только первый крестик. Может, мне поставить еще один?

— А за что вы можете его поставить?

Адам Гуржий поглядел презрительно на сына и засмеялся.

— Так, — медленно сказал он. — Знаю, понимаю. Ты думаешь, тебе больше не за что ставить крестики? Ошибаешься. А вот ты не поставил бы мне и одного крестика, потому что ты действительно ничего не знаешь. Втянули тебя в эту коммунистическую организацию, и ты числишься в ней, но как мало, ой, как мало ты знаешь! Ну, скажи мне, к примеру, кто лежал в той хате на окраине, где жандармы делали обыск? Ты скажешь — коммунист. Я это знаю. Но что за коммунист? Ну, говори!

Яков молчал.

— А я знаю! — гордо заявил отец. — Русский коммунист. Товарищ... по имени...

— Замолчите! — сказал Яков. — Вы не смеете, не можете этого знать!

— Не могу? — Отец покачал головой. — Ой, ошибаешься ты, Яков. Даже и очень могу я это знать. Когда-то нам пан Бродий говорил про парашютистов. И как раз в это же время, как-то ночью, я встретил на окраине людей, они несли раненого. Ну, я и пошел за ними. И видел — в Гнатову хату. Догадайся сам, кто бы это мог быть. А я знаю, и ставлю еще один крестик. Выходит, вроде бы два?

И он аккуратно, проведя одну линию, а потом и вторую, нарисовал еще один крестик.

— Вы говорите страшные вещи, — побледнел и даже съежился Яков. — Ну, так разве вы не торгуете людскими душами?

— Что это страшно — правда, — согласился отец. — Но что я торгую людскими душами, ты ошибаешься. А кто намекнул тебе, что в доме у Гната может быть обыск? Я тебе это сказал, потому что ты сын мой, моего корня дитя, и тебя я не хочу продавать. Боялся я, чтобы тебя, случаем, возле того офицера не сцапали. Вот я тебе и сказал. Но я многого не сказал, что знаю. Вот, к примеру, знаешь ли ты, кто того офицера лечил? По глазам вижу — не знаешь. А я... хи-хи-ха... знаю. Доктор Арпад Доломаш, он тебя еще маленьким выходил. Что ж, поставим, пожалуй, еще один — третий крестик... Ты молчишь? А что ж тебе говорить, если ты ничего не знаешь! Не знаешь ты и того, кто за больным ходил и сейчас живет у доктора Доломаша. А я знаю. Его свояченица? Нет, это не свояченица, это — чешская коммунистка. Вот тебе и еще один крестик. А теперь, спрашиваю я, где сейчас лежит этот раненый русский офицер, который был у Гната? Куда его перенесли твои друзья? Видишь, ты не знаешь!

— Ошибаетесь! — еще раз попробовал возразить Яков. — Вы не знаете, не можете всего знать. Откуда это? Откуда?

— Мне нравится, что ты так заговорил, — в голосе Адама слышалось торжество. — А откуда и как я могу знать, это очень просто, Яков! Магазин мой, как ты

знаешь, находится напротив лавки Логойды. Кто выйдет оттуда, кто войдет — все вижу. А почему бы мне, гуляя, не пройти за некоторыми гостями Логойды? Видишь, как просто! Глаза да уши!

— Слушайте! — Яков шагнул вперед, подошел вплотную к отцу, такой бледный и испуганный, что на него страшно было смотреть. — Немедленно, сейчас же зачеркните все эти крестики! Вы не смеете, не имеете права об этом нигде говорить! Вы, вы!.. — Голос Якова прерывался, ему не хватало слов, чтобы выразить все свои чувства.

— Не кричи, не кричи! — сказал отец. — Крестики можно и не зачеркивать. Что в них? Пустое дело, Яков, одни значки! Эти крестики только для меня и для тебя. И не бойся, я никому не скажу, что эти крестики обозначают. Может, мы с тобой сидели и в крестики играли. Помнишь, когда маленький был, играли мы так: крестик раз — крестик два, чей третий выше? Если бы я хотел, давно бы пошел в кемельгарито или прямо к полковнику Кричфалуши и не крестики, а правду выложил бы. Тут уже не та игра! Большие деньги получил бы, Яков, за такие факты, не один, а два магазина поставил бы. И не только деньги! Рыцарем был бы, немешем, важной особой. Ты знаешь, как Иван Куртяк выслужился! А погляди на Андрея Бродия, что он сделал, — ничего. Только записочки да сплетни — и вот премьер-министр на пенсии, акционер, важная персона. Стал бы и я таким...

Он наклонился вперед, почти к самому лицу Якова, и прошептал:

— Но мне тебя жаль, тебя жалею, сын! Пусть они таятся от тебя! Я это понимаю — ты им чужой, ты им не нужен, а если и нужен, то для того только, чтобы подставить тебя, если что случится, под пулю. Но к чему ты таишься от меня? Враг я тебе, что ли? Или, может, я о тебе не забочусь? Есть магазин Адама Гуржия! А почему бы не создать фирму «Адам Гуржий и Сын»? Сын в таком случае тоже пишется с большой буквы, Яков! А у нас что творится? Я живу сейчас одиноко, ты к ним пристал, и с ними заодно действуешь. А куда вы идете, куда вы смотрите? Поверь мне, ведь на фронте вот-вот настанет перелом — не сегодня-завтра немцы пустят в ход новое оружие. Погляди, что делается и в нашем Хусте! Полковник Кричфалуши приехал со своими жандар-

мами, сотни их, тысячи, сила! А с обеда начала идти «Рондьош гарда». Страх! И пан Бродий тут! Я сижу, жду, но знаю, что он вот-вот позовет своих функционеров. А тогда что? Неужели ты не понимаешь, до чего дошло? Я от тебя не таюсь, открыто говорю, что знаю. Решай, Яков! Или ты с нами, или с ними! А если ты с ними, вот посмотришь,— пропала твоя организация, пропал и ты! Чего ж ты молчишь? Я вижу, ты одеваешься? Куда на ночь глядя пойдешь? К ним? Опомнись, подумай!

— Не удерживайте меня! — хрипло сказал сын. — Не спрашивайте, куда иду! Это вы какими-то кривулинами жить думаете. Я не хочу кривулин. Я должен идти прямо, прямо!

— Прямо! — процедил отец и посмотрел на сына. — Ну что ж, иди! Я не держу! Иди прямо!

Отец стоял у стола, и луч свечи косо ложился на его лицо. Сын вышел из комнаты, шаги прозвучали в столовой, глухо затихли за дверью. Усмешка пробежала по лицу отца.

Был поздний вечер, когда Яков Гуржий вышел из дома. Высоко в небе висела ущербная, бледная луна, струившая на землю призрачный, зеленоватый свет. Над домами, над старым замком катились рваные, косматые тучи. Из-за туч, то вспыхивая, то погасая, как заговорщики выглядывали звезды. Несколько дней перед тем дул, растапливая снега, теплый ветер с Балкан. Ветер не стихал и этой ночью. С ветвей деревьев сыпались и сыпались капли. На улицах, в канавах звенели ручьи. Над городом стоял тихий, приглушенный гомон и гул.

Шумели не только ветер и ручьи. По главной улице города, в направлении к Замковой горе, где помещались охранка и жандармерия, погасив фары, ехали и ехали автомобили. Даже до Киришской улицы достигал грохот колонны, которая проходила по улице Ракоци. Долетела издали и оборвалась заунывная мелодия джаза — это, видно, отворили и снова закрыли двери в ресторане гостиницы «Централь», где каждый вечер собирались и вплоть до утра пьянствовали офицеры, чиновники окружного управления, жандармы.

Прижавшись к толстому стволу ясеня и как бы слив-

шись с ним, Яков Гуржий стоял, вслушивался в этот гул, смотрел на дом, из которого только что вышел, на двор, где блуждали тени деревьев, раскачиваемых ветром, на улицу, где, точно могилы, синели сугробы снега. Некоторое время он ждал, что отец откроет дверь, позовет его. Может быть, они поговорили бы по-другому? Но отец не вышел, и тогда Яков шатнулся, оторвался от дерева и судорожными, неверными шагами, не сгибая туловища, точно лунатик, вышел из двора и так же тихо, уже под кустами ракитника, от которых падали на снег густые, синие тени, пошел по улице.

Спроси его кто-нибудь в эту минуту, куда он идет, — вряд ли Яков смог бы на это ответить. Он просто не мог усидеть дома, отношения с отцом обострились давно, а в этот вечер перешли все грани. Отец раскрыл свои карты, отец знал больше, чем сын, — и Яков должен был действовать.

В Хусте в такую пору ходить было опасно. Но Яков все взвесил — сюда, в эту глушь, жандармы заглядывали редко, а если бы кто и появился здесь, Яков увидел бы это издали и успел бы скрыться в первом попавшемся дворе. Ведь он знал здесь каждый плетень, каждый кустик ежевики.

Так он прошел по Каширской улице, свернул на Глубокую, притаился под кустом у «холерной криницы» и долго, напряженно прислушивался, вглядываясь в Глубокую улицу. Но везде было тихо, только в канаве вдоль мостовой серебром звенела вода.

Тогда Яков быстро пересек низинку у колодца, взбежал на пригорок и очутился под кустами уже на Глубокой улице. Здесь он остановился передохнуть. И почувствовал в эту минуту, как у него бешено заколотилось сердце. Но это было не от быстрой ходьбы.

Перед ним на пригорке виднелся знакомый ему дом Логойды, с улицы темнели два окна, под скудным светом луны на сером фоне неба рисовались черепичная крыша, крыльцо, дворовая кухня, цементированный колодец, сарай... Увидев все это, Яков Гуржий понял: именно этот дом и хотел он увидеть, именно сюда и вело его встревоженное сердце, он должен быть здесь.

Это была обычная селянская хата. Но здесь, на этом клочке земли, под темной крышей скрещивались нити жизни многих людей, здесь, через кухоньку на дворе,

проходил главный нерв подпольной организации Хуста. Слова отца подтверждали это.

Казалось, проще всего было бы пересечь улицу, шагнуть через плетень к Логойдам и, поднявшись на крыльцо, тихо постучать в окно, или еще проще — в дверь кухни. Ведь над всеми людьми этого двора нависла смерть; смерть также витала и над Яковом.

Но Яков этого не сделал — и не мог сделать. Где-то на огороде, за хатой Логойд, а может, за хатой Штефусов, слышались шаги. Те, кто шел, ступали очень осторожно, тихо, но у Якова был острый слух; издали он слышал шаги.

Будучи трусливым, Яков Гуржий пожалел, что очутился в этот поздний час на Глубокой улице, — и сам нарывался на опасность, и в случае провала обрекал на гибель других. Но раздумывать об этом было некогда. Якова охватил страх, он огляделся растерянно, отступил во двор Бурдия, возле забора которого стоял, и вскочил в хлев, где лежала и тяжело сопела откормленная Бурдиева свинья.

И то, что он вскочил в хлев, как и то, что у его ног лежала свинья, как-то чудодейственно повлияло на Якова. Кто бы там ни был и кто бы ни шел, но эти люди не будут по ночам лазить по каким-то хлевам. Он подскочил к отдушине в хлеву, выходящей на улицу, и выглянул оттуда.

Во дворе Логойды, неподалеку от дома, он увидел темные очертания двух человек — один из них был рослый и напоминал Степана Чижмаря, второй, как это Яков узнал безошибочно, был Гаврило Логойда. Они недолго постояли, прислушиваясь, а потом Гаврило Логойда подошел к маленькому домику, к кухне посреди двора, и собрался было постучать. Но стучать ему не пришлось — из кухни вышел еще один человек, высокий, широкоплечий, но чуть сутулый, с палкой в руках.

Все происходило молча, по крайней мере как ни прислушивался Гуржий, он не слышал ни слова. Донеслось только эхо их шагов — все они втроем прошли через узенький двор и поднялись на крыльцо. Гуржий заметил даже, что Степан Чижмарь и Гаврило помогли человеку с палочкой подняться по ступенькам. Скрипнула дверь в доме у Логойд, на миг блеснул свет, и все они исчезли. Во дворе наступила тишина.

Правда, Яков Гуржий заметил после этого еще одну странную вещь. Когда трое мужчин исчезли в доме, на том месте, где они только что стояли, появилась согбенная фигура женщины. Гуржий не видел, откуда она взялась, не заметил, куда исчезла старая, согбенная женщина; она появилась, точно призрак, постояла, поворачивая голову во все стороны, и исчезла так же неожиданно, как появилась.

На Глубокой улице стало как-то особенно тихо. Яков Гуржий слышал только, как шумят вдоль мостовой ручьи, как с крыши падают капли, как ветер печально вздыхает в ветвях высоких ясеней. Да еще слышал Яков, как рядом с ним мерзко хрюкает свинья Бурдиев.

И ему самому было необычайно мерзко. Ведь он знал всех этих людей, которые вошли в дом Логойды. Во двор пришли Степан Чижмарь и Гаврило Логойда, из кухни к ним вышел раненый коммунист, это старуха Лонкай стояла посреди двора. И если он, Яков Гуржий, пришел теперь, в этот поздний час, на Глубокую улицу, если он знает, что грозит этим людям, почему же он не подошел к ним?

Ему вспомнилось несколько случаев, когда, как казалось Якову, коммунисты не доверяли ему. Да, да, он когда-то сам спрашивал за ужином у Сирков про раненого коммуниста, и Гаврило Логойда ответил ему, что этот товарищ уже далеко, в другом месте. А сколько еще раз Яков спрашивал у Гаврила, Юрка, Оленки Логойды про организацию, ходил к Михайлу Сирку, хотел все знать. Но все время между ним и коммунистами стояла как бы стена, и вот — отец знает больше, чем сын.

Ответ пришел сам собой. Он не подошел к этим людям потому, что боялся их. Да, да, это было странно, но Яков Гуржий боялся этих людей, и страх этот возник в нем не только в эту минуту.

Он припомнил все события, происшедшие за последние годы, во всей последовательности. У него была полная возможность это сделать, потому что выйти из хлева сразу после того, как руководители подполья прошли в дом Логойды, он боялся. Ему приходилось оставаться в хлеву до той поры, пока он не убедится, что поблизости никого нет.

Ему вспомнилось и то, о чем забыл или о чем, может быть, не хотел говорить в этот вечер отец. Несколько лет

назад, еще когда Яков был в последних классах гимназии и начинал ближе знакомиться с Логойдой и Сирком, отец как-то вошел к нему в комнату, сел, взял карандаш в руки, сказал:

— Ты вот, Яков, дружишь с Логойдами и Сирками? Что ж, это не плохо! Ты делай так: не рви ниток с Куртяками, Барабашами, Бурдиями, но завязывай ниточки и с Логойдами. В наше время нужно играть на два фронта. Проиграл здесь — выиграешь там, выиграешь здесь — проиграли они. Политика! У нас здесь, на Закарпатье, сын, двадцать семь партий. Пойди разберись в них! Я по крайней мере сделал ставку на семь партий. Если одна из них выиграет, выиграю и я...

Эта беседа Якова с отцом происходила давно, и он о ней забыл. Но сейчас она всплыла в памяти — и эти слова отца приобрели какую-то новую, большую силу. Как ни крути, а слова отца сбылись.

Яков подумал и о другом. Ведь если сейчас пойти к Логойдам и рассказать, что им угрожает, они спросят, откуда Якову об этом стало известно, и он вынужден будет назвать имя своего отца. Тогда — что же дальше? Отец говорил коротко и не все сказал, еще короче будет разговор с коммунистами. Они должны будут немедленно уничтожить его отца, ибо это необходимо для их спасения.

И почему так, что и у Логойд, и у Сирков, и у всех этих людей в Хусте, которые сочувствуют или принадлежат к коммунистам, это сочувствие идет от самого сердца, там за одного держится вся семья, там за одного пойдут на гибель все? Ведь вот только что он видел — вошли коммунисты в дом Логойды, а старая подслеповатая бабка Лонкай стережет их, вишь ворочает во все стороны головой. А у Сирков? Ведь старый Илья Сирко склонялся и к той и к другой партии, но за своего Михаила, хоть и за коммуниста, голову отдаст. А у них, у Гуржиев, в доме, в собственной семье происходит по-другому. Вот отец, для красного словца, предложил когда-то, чтобы сын пошел к коммунистам. А может, так тогда и нужно было поступить, как говорил отец. Он по крайней мере не тайлся со своей ставкой на семь партий. «Одна выиграла — и он выиграл». Политика!

Яков считал, что он работает в одной только партии. Он и сделал уже кое-что полезное для этой партии. Ведь

это он спас коммуниста, это он ходил в горы к Быстрой. Так кто же он?

Яков понял: отец не случайно завел с ним разговор. «Теперь уже не до игры», — так, кажется, сказал Адам Гуржий. И это была правда. Яков Гуржий сам понимал: пришло время, когда нельзя служить одновременно не только семи партиям, а даже двум. В этот грозный час в Закарпатье уже нет двадцати семи партий, а существуют только две партии — партия фашистов, которой служат Бродий, его отец, поп Русинка, и партия, которую кое-кто считал уничтоженной, ликвидированной, но которая живет и действует, как теплые вешние воды под холодным льдом, — партия коммунистов. Так с кем же он, Яков Гуржий?

Он выглянул раз и другой из хлева, пригляделся, не видно ли кого-нибудь на дворе у Логойд, прислушался, не слышно ли кого на улице. Он не повернул к дому Логойды, а мимо хаты Бурдия прошел через огород и очутился на Киришской улице, возле своего дома. Но и там он не остановился, а зашагал дальше, в город.

3

Полковник Кричфалуши совершенно растерялся. В самом деле, можно было с ума сойти! Нападение на жандармов у Быстрой, поджог тартака в Серенчевке, пожар в Ключарках. Он ехал в Хуст, а сзади его подстегивали пожар в Коропце, поджог в Верхнем Сарде; он звонил в Ужгород — а оттуда летели вести о взрывах в Перечине и по всей Турянской долине. А тут еще убийство офицера Росса в Копашневе!

Полковник Кричфалуши лично допросил жандармов, которые были свидетелями гибели капитана Росса. Все они в один голос твердили, что капитана Росса убила женщина в одежде верховинки. Они сами издали видели ее, гнались за ней, почти догнали, но женщина скрылась в лесном ущелье, и, сколько они ни искали, следов ее не нашли.

Кричфалуши чертыхался, на чем свет стоит ругал жандармов, но знал больше, чем они: у него под руками были агентурные данные о том, что в Хусте скрывается

дочь чешского коммуниста Иосифа Гланца — Ружена. Здесь не могло быть случайности — полковник Кричфалуши был убежден, что капитана Росса застрелила Ружена Гланец.

Но где искать эту Ружену? В Хусте сам капитан Сиплоки с фотокарточкой в руках обошел дома и перевернул там все вплоть до последнего гвоздя на чердаках. Ружены в Хусте нет, она исчезла. Тогда где же она?

И снова — агентурные данные о том, что кто-то из жителей города видел ночью, как несколько партизан несли по одной из окраинных улиц раненого коммуниста. Сыщики будто бы выследили и дом, где лежал этот коммунист. Но когда жандармы вломились туда поздно ночью, то нашли там только хозяина, его жену да кучу ребятишек.

Сразу после события в Копашневе полковник Кричфалуши направил туда многочисленный отряд жандармов, прозванных «черными волками». Полковник представлял себе, что натворят «черные волки» в Копашневе. И сердце его наполняла злобная радость.

Но что было делать дальше? Полковник Кричфалуши считал, что лучше всего было бы ему выехать в район Севлюша, в Турянскую долину, а еще лучше оставаться в Ужгороде, чтобы держать все нити и следовать только за ними. Однако выехать он не мог — в Хуст прибывала «Рондьош гарда» с генералом Винце во главе.

Это окончательно напугало полковника Кричфалуши. Он все припоминал последний разговор с генералом Винце в Ужгороде. Нет, это не было пустым хвастовством. Генерал Винце, очевидно, располагает сведениями о партизанах в районе Хуста, он идет по их следам. Но откуда у него такие сведения, неужели же его, Кричфалуши, так уважил пан Бродий со своими функционерами? Ну, если только он узнает, что это дело Бродия, тогда этому регентишке не будет пощады.

Поздно ночью полковник Кричфалуши сидел с капитаном Сиплоки в здании жандармерии у Замковой горы в Хусте и тщетно ломал голову над тем, как развязать хустский узел. Ни сила, ни оружие, ни сотни шпионов не могут ответить на вопрос, где же партизаны в Хусте?

В дверь кабинета постучался и попросил разрешения войти адъютант капитана Сиплоки. Он доложил, что в жандармерию пришел какой-то местный молодой человек

и что он хочет говорить только с полковником Кричфалуши.

— Вы сядьте здесь, за шторой,— сказал полковник Кричфалуши капитану Сиплоки.— А вы,— обратился он к адъютанту,— общите этого молодого человека, приведите его сюда и сами исчезните.

— Слушаю! — откозырял адъютант.

Капитан Сиплоки спрятался за штору, так что его нельзя было заметить, полковник Кричфалуши закурил сигарету и с видом необычайно утомленного человека наклонился над столом. В кабинете наступила полная тишина.

В кабинет робко вошел и остановился на пороге Яков Гуржий. Он был очень растерян, необычайно бледен, шляпа в руках у него мелко дрожала. Только глаза его горели жадным блеском; едва Яков вошел в кабинет, взгляд его прилип к лицу полковника Кричфалуши и не отставал от него.

— Кто вы, молодой человек? — спросил полковник.

— Я — Яков Гуржий, сын Адама Гуржия.

— Сын Адама Гуржия? Знаю! Отец ваш — достойная особа,— произнес полковник Кричфалуши.— Что же скажете вы, молодой человек?

Яков сделал такое движение, точно хотел и не мог что-то проглотить, взялся рукой за шею, судорожно мотнул головой.

— Ну, молодой человек, смелее! Да что вы стоите? Присаживайтесь, прошу вас! И успокойтесь!

Полковник встал из-за стола, сделал несколько шагов, легонько взял Якова за руки и усадил его в кресло.

— Вот так! — сказал он.— Вы не курите? Это хорошо. Ничто так не подтачивает организм, как никотин. А я вот курю, привычка! Но вы что-то хотели сказать мне?

— Да! — сказал Яков и сам не узнал своего голоса, такой он был сухой и хриплый.— Я пришел рассказать про подпольную организацию коммунистов.

— Очень приятно! — Полковник Кричфалуши равнодушно пожал плечами и, зажмурясь, пустил под потолок тоненькую струйку дыма.— А что же вы можете добавить к тому, что нам уже известно?

Яков внимательно глядел на полковника, но не обнаружил в его лице ни малейшего удивления. Это было, казалось, совсем будничное, набрякшее, чуть заспанное, несколько усталое лицо.

— Я знаю абсолютно секретные вещи,— добавил Гуржий.

— Абсолютно секретные! Ха-ха-ха! — полковник Кричфалуши засмеялся.— Каждому из вас все представляется абсолютно секретным, новым. А на самом деле? Вы знаете, молодой человек, сколько лет существует мир? Миллиарды лет! И людям кажется, будто они выдумывают что-то новое и новое. А на деле все только повторяется и повторяется... Какие же новости вы хотели мне сообщить?

— Я хотел сказать, что налетом у реки Быстрой руководили Степан Чижмарь из села Копашнева и Микола Сокач, который служит здесь, в армии, как унтер-офицер...

— Вы хотите сказать, служил? — усмехнулся полковник Кричфалуши.

— Я его видел вчера,— вспыхнул Гуржий.

— Но не сегодня! Сегодня он арестован, молодой человек! — вздохнул полковник.

Яков смутился — он не ожидал этой реплики полковника.

— Но ведь Степан Чижмарь на свободе,— торопливо заговорил Гуржий.— Он сегодня вечером пошел к Логойдам, туда, где лежит раненый русский коммунист. А Юрко Логойда приехал только вчера из Будапешта от венгерских коммунистов. Потом еще коммунисты из Севлюша, я, правда, не знаю их имен, и учитель Василь Жупан из Мукачева.

— Пойдите, пойдите! — сказал Кричфалуши.— Так мы перепутаем все на свете.

Он встал с кресла, медленно подошел к столу, сел, раскрыл какую-то папку, где лежала ведомость о расходе горючего в январе месяце, взял еще один чистый лист бумаги и положил его рядом с ведомостью.

— Давайте сравним,— деловито сказал он,— то, что уже нам известно, с тем, что вы говорите. Вы, молодой человек, называйте все имена членов подпольной организации, говорите все факты.

Яков на миг остановился.

— Пан полковник! — проговорил он. — Но мое имя, как объявителя, останется в тайне?

— Молодой человек! Пан Гуржий! Как вам не совестно! Мы не только оставляем в тайне имя каждого объявителя, но даем таким людям еще и награду. Говорите, молодой человек, имя и фамилию, имя и фамилию. Я записываю — и сравниваю. Значит, говорите, Степан Чижмарь и Микола Сокач? Логойды? Как их имена? Гаврило, Юрко и Олена! Вот про Олену мы не думали. Доктор Арпад Доломаш? Ну, этого мы знаем давно! Его племянница Роза? Записываю, записываю...

Когда Гуржий кончил, и когда на чистом листе бумаги появился длинный ряд имен, полковник Кричфалуши позвал:

— Пан капитан!

Из-за шторы вышел капитан Сиплоки. Ему, должно быть, душно было за шторой, да и беседа полковника с Гуржием затянулась надолго, — капитан Сиплоки даже вспотел и, выйдя, начал вытирать лицо платочком. Яков Гуржий медленно, растопырив руки, как автомат, поднялся в кресле.

— Пан капитан, — обратился к Сиплоки полковник. — Возьмите этого молодого человека и — в одиночку. Кроме меня, никто с ним не имеет права говорить.

Яков Гуржий стоял, вытянувшись, шевельнул раз и другой пересохшими губами.

— Пан полковник! — вырвалось у него. — Как же это? Имя объявителя... Я же все рассказал...

Лицо полковника Кричфалуши стало совсем не таким, как минуту назад. Он посмотрел на Гуржия так, как смотрят на пса...

— Вы еще и не это скажете, — прошипел сквозь зубы Кричфалуши. — Эх, вы! Молодой человек! Наша планета существует миллиарды лет, и ничто здесь не изменяется, а только повторяется и повторяется... Заберите его, капитан! А потом возвращайтесь назад. Теперь нам нужно поторапливаться! •

4

В большой комнате у Логойд в этот вечер не зажигали света. Правда, в этом и не было особой надобности — сквозь два окна, выходящих на улицу, и одно

окно, выходившее во двор, вливался слабый лунный свет, он ложился на стены комнаты, скамьи, стол, две кровати в углу.

За столом и на скамейках сидели в комнате Франтишек Поспишил, Степан Чижмарь, Юрко Логойда и Степан Лизанец, в меньшей комнате, выходившей окнами на огород и во двор соседа Штефуци, сторожили Гаврило Логойда и Оленка. В своей дворовой кухоньке не жила старая Лонкай, туда же ушла мать Логойды со второй дочкой.

— Что-то беспокойно в городе,— сказал Юрко Логойда.— Чтобы добраться сюда от Джерелюка, нам со Степаном пришлось идти чуть ли не до Копани. Всюду посты, сторожат на всех дорогах. Из Севлюша идет и идет гвардия. Видно, думают всю округу прочесать.

— Все равно всего не прочешут,— заметил Франтишек Поспишил.— И где же прочесывать? Стягивают силы в Хуст, а основные события происходят и будут происходить в других местах. Что у вас нового?

Степан Лизанец, который в тот день пришел из Мукачева и до позднего вечера пробыл у Сирков, ответил:

— Вы, надо полагать, слышали про Серенчевку и про Ключарки?

— Да,— кивнул головой Поспишил.— Жена Василя передала нам весть об этом.

— А два дня назад у Верхнего Сарда сгорел склад с горючим.

— Хорошо! Очень хорошо! — вырвалось у Поспишила.— Что передает товарищ Шегута?

— Мы получили от него сведения из Турянской долины два дня назад. Позавчера взорвались мины в эшелоне, подготовленном к отправке. Неделю назад вспыхнул пожар на Перечинском заводе. Товарищ Шегута имеет сведения, что в ближайшее время, как только сойдет снег на полонинах и земля просохнет, из-за Карпат прибудет новая группа наших людей. •Еще товарищ Шегута поручил передать тебе, Франтишек, что он снова напоминает о последнем разговоре.

Франтишек пояснил товарищам:

— В последний раз, когда я виделся со Степаном, он очень настаивал, чтобы я покинул Хуст и чтобы мы свернули здесь работу. Я просил Степана разрешить мне еще

на некоторое время остаться в Хусте, ведь я не мог выехать в Прагу на костылях. За это время окрепли наши группы в Хусте, Копашневе, Севлюше, Бороняве, Изе, Липшем, Нанкове, Золотареве. Мы наладили связь с Тячевым и Раховщиной. Все эти группы действуют в глубоко подполье; если не считать радиостанции, которая попала во вражеские руки и которою они теперь провоцируют нас, то у них больше ничего нет. Операция у Быстрой также проведена хорошо.

В сером сумраке видно было, как поднялся Степан Чижмарь.

— Нехороший случай произошел у нас к Копашневе. Там брат мой Василь убил мадьярского офицера.

— Я слышал,— сказал Поспишил.— И это в самом деле очень плохо. Среди бела дня! И ради чего? Разумеется, Василь подвел организацию, дал врагам нищотку в руки. Еще хуже то, что он нарядился женщиной. Они давно ищут здесь одну женщину-коммунистку. Горячая голова у Василя, не учел всего, не подумал.

— Копашневские коммунисты постановили расстрелять Василя,— глухо проговорил Степан.

— Этого делать не нужно,— возразил Поспишил.— Я говорю, горячая голова у Василя, но эта голова нам нужна.

— Я заступился за Василя,— продолжал Степан,— и они его помиловали.

— Вот и хорошо,— вздохнул Франтишек.— Беречь должны мы наших людей, учить! Ты только что сказал, товарищ Лизанец, что Степан Шегута напоминает мне о последнем разговоре. Мы совещались здесь с ним, товарищи. Сейчас я вызвал вас, чтобы сказать: пришло время свернуть наш штаб в Хусте. Наши явки здесь стали слишком известны, в нашу организацию влились новые силы, их нужно проверить. Мы сделаем все это, появимся в тех местах, где нас не ждут. Передайте это товарищам. Но здесь, в этом доме, мы сегодня собрались в последний раз. Этой же ночью мы оставим Хуст. Я уйду в другое место. Мне помогут Лизанец и ты, Гаврило.

Он поглядел в окно,— туда, где на высокой насыпи вырисовывалась хата соседей Логойд — Бурднев, где над хлебом ветер раскачивал ясени, а над ними в зеленоватом небе клонилась к земле ущербная луна.

— Гудит,— сказал Поспишил.— Едут отряды жандармов, идут банды грабь-гвардии, говорят, и Бродий появился в Хусте. Но им не остановить и не уничтожить нашего движения. Близится весна, и скоро-скоро наши отряды начнут действовать, люди пойдут в леса и горы, мы нанесем такой удар фашистскому зверю...

Внезапно Франтишек Поспишил замолчал, встал и шагнул к окну. Его палка упала на пол. Вслед за ним кинулись к окнам Лизанец и Степан Чижмарь.

Им было видно, как с улицы во двор Логойды вбежали жандармы. Доносились голоса команды, лязг оружия. Степан Чижмарь кинулся к окну, которое выходило во двор,— и там появились жандармы, они бежали из огорода.

— Облава! — вырвалось у Франтишка Поспишила.

— Нет, не облава! — с невыразимой горечью в голосе произнес Чижмарь.— Они окружили дом!

Во дворе возле кухни слышались отчаянные крики женщин. Можно было узнать голоса Ганны Логойды, ее матери — старухи Ганны Лонкай.

— Здесь никого нет! Что вы ломитесь! Здесь живет старая женщина! Чего вам нужно? — кричали женщины.

Раздался выстрел, и его, казалось, продолжил отчаянный вскрик старой Лонкай. Крик затих медленно, погасая. А между тем жандармы уже топотали на крыльце, стучали в дверь...

Франтишек Поспишил и Степан Чижмарь стояли у окна и видели друг друга. Их взгляды встретились. О многом сказал этот быстрый, как молния, взгляд друзей.

— Да! — проговорил Франтишек.— Что ж, приготовим оружие! Если придется бежать — через разные окна.— Он указал на окно, выходившее во двор, и на два окна, которые выходили на улицу, и добавил: — Степан — туда, Юрко здесь, ты сюда, Лизанец... Вы готовы?

Степан Чижмарь уже выхватил из кармана и ставил на боевой взвод револьвер, Лизанец вынимал из свертка запалы для гранат. Юрко Логойда вытаскивал из-за ширмочки, закрывавшей полку с книгами, винтовку.

Распахнулась дверь из первой комнаты, и оттуда выбежала испуганная, такая белая, что это видно было даже при лунном свете, Олена. Еще миг — и в дверях появился Гаврило Логойда.

— Я стану по ту сторону! Я не пущу их!

Он резко захлопнул дверь.

— По стенам! По стенам, товарищи! — шептал Франтишек. — Олена — на пол!

На крыльце уже не стучали в дверь, а били в нее ногами, прикладами. В первой комнате Гаврило кричал: «Что вам нужно? Здесь все спят! Здесь больные! Тиф!» Вдруг дверь из сеней в первую комнату повалилась. Это было слышно и в большой комнате.

— Выходи, кто там! Мы стреляем!

— Здесь никого нет! Я — больной! Тиф! — кричал Гаврило.

— Выходи, больной!

— Я не могу выйти!

Раздалось несколько автоматных очередей. Под дверью первой комнаты блеснул свет. Жандармы осматривали ее из сеней.

— Ты чего лежишь под дверью?

— Я болен! — крикнул Гаврило. — Я не могу встать.

В большой комнате поняли: Гаврило нарочно упал под дверь, чтобы телом своим заслонить дорогу жандармам.

— Встань! — кричали жандармы, и сквозь щели двери прорезался еще яснее свет электрических фонарей.

Прозвучала команда во дворе, воздух в комнате, где были подпольщики, со свистом прошили пули. Зазвенели стекла окон. Слышно было, как упала на пол Оленка, а Юрко шептал ей:

— Что с тобой, Оленка? Что с тобой?

Когда во дворе затихла беспорядочная стрельба, Франтишек Поспишил сказал:

— Теперь мы будем стрелять. По окнам! Только без промаха.

Степан Чижмарь, Юрко Логойда, Лизанец и сам Франтишек подползли к окнам, вскочили, прицелились. На дворе слышался дикий крик, видно было, как повалился на землю один жандарм, и второй. Остальные залегли за углом дома, прятались под стенами кухни.

— Еще раз! Так их, проклятых! — говорил Поспишил.

Начался настоящий бой. Жандармы боялись выходить из укрытия, раздалась команда:

— Приготовить гранаты!

Одна граната ударилась о стену комнаты, упала на пол и взорвалась с таким блеском и грохотом, что всех ослепило и оглушило. Разорвалась вторая граната.

— Степан! Степан! — звал Поспишил.

Степану Чижмарю казалось, что он вынырнул на поверхность из глубокой воды. Еще секунда, он задохнулся бы, утонул, но в грудь ударило чистым свежим воздухом. Значит, жив.

Его, видно, ранило в голову. Кровь заливала глаза, рот. Но это была не смертельная рана, он все слышал и понимал, у него действовали руки.

— Ты слышишь, Степан? — шептал Поспишил.

— Да, я слышу!..

Они говорили тихо. Под окнами раздавался лязг оружия, крики:

— Ну, теперь им конец! В доме все мертвы. Пусть войдут те, что на крыльце. Да только скорее, скорее. Эй, кто там, за хатой?

Этот крик наполнил душу Степана неугасимой ненавистью. Он не знал, остался ли еще кто-нибудь в живых в комнате, кроме него и Франтишка, и не мог подать голос своим побратимам, друзьям. Но ведь они живы, слышите, убийцы, живы!

— Степан! Кинем гранаты вместе. Они стоят под самыми окнами.

— Хорошо, Франтишек! Я готов!

Поднялись. Свистнуло в окна. Красноватый отсвет взрыва гранат заиграл на стенах комнаты, в окна ударило волной воздуха и дыма; сквозь грохот и треск слышались отчаянные вопли жандармов.

В комнату полетело еще несколько гранат. Степан услышал оглушительные разрывы, почувствовал, как его ударило в руки, ноги, грудь. Но ни на миг в эти минуты величайшего напряжения у него не затмилась память, в нем бушевала та сила, которая заставляет забывать опасность, боль, — сила, которая заставляет бороться до последнего удара сердца.

Должно быть, то же переживал и Франтишек Поспишил — на своей руке Степан почувствовал теплую его руку и пожал ее.

Все это напоминало чудовищный сон, но в хаос этих минут врывались яркие, красочные, выпуклые картины.

прошлого, такие отчетливые, как те картины, которые открываются глазу при ослепительной вспышке молнии.

Степан Чижмарь вспомнил, как они с Олексой Борканюком шли по зеленому, усеянному цветами лугу на берегу Хустца, за Копашневым. У Борканюка в руках был пышный букет цветов, лицо его светилось радостью.

«Когда ты станешь коммунистом, Степан, помни: нет большей чести, чем честь носить это имя, нет большей любви, чем любовь к своему народу, и нет высшей цели, чем борьба, а если нужно, то и смерть за его счастье...»

На аэродроме, по ту сторону Восточного фронта, перед тем как они, несколько закарпатцев, готовились сесть в самолет, к ним подошел старый, седой генерал и сказал:

— Так летите же, друзья, туда, куда вас зовет сердце, и действуйте так, как вам подсказывает совесть коммунистов и как требует отчизна. А мы не забудем вас! Желаю вам счастья, товарищи!

— А все же у них ничего не выйдет! Есть другие, их много! — услышал Чижмарь голос Поспишила.

Степан сперва подумал, что Франтишек бредит. Но тут же вспыхнула мысль: это Поспишил говорит о тех людях, которые остаются после них, про Копашнево и Селище, про Изу и Золотарево, про Закарпатье и Чехословакию.

— Это правда, — ответил Степан Чижмарь.

Жандармы неистовствовали. Уже луна побагровела, висела у самого края неба, вот-вот могло стемнеть, а партизаны в доме Логойд были живы.

Жандармы долго стреляли из всех винтовок и автоматов, какие только у них были. Они еще и еще метали в окна гранаты. Из дома во двор клубами катился дым. В доме было тихо.

И тогда жандармы осмелели. Послышалась немецкая и венгерская речь. Кто-то процедил по-украински:

— Ну, теперь они уже трупы.

В эту минуту Степан Чижмарь запел:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...

Он услышал, как рядом зазвучали другие голоса. Он узнал их. Пели Степан Лизанец, Юрко и Оленка Логойды. Молчит Франтишек — значит, его уже не стало. Веч-

ная память тебе, друг! Но еще жив он, другие — Степан Лизанец, Юрко, Оленка! Так пойте, пойте, друзья!

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов...

Молодые сыны Закарпатья умирали. Но они верили, что их мужественные голоса услышат, непременно услышат на горах и в долине.

Из дома несло:

Это есть наш последний
И решительный бой...

В окна, в распахнутую дверь кухни, где все горело, прыгали разъяренные жандармы. Холодеющей рукой Степан рванул кольцо последней гранаты.

Последний и решительный бой!

Глава шестая

1

Всю ночь — с воскресенья двадцать седьмого февраля 1944 года на понедельник — в Хусте никто не спал. Несколько часов продолжалась стрельба на Глубокой улице, в усадьбе Логойд. Эхо ружейных выстрелов, пулеметных очередей и разрывов гранат катилось по темным улицам города, билось под Замковой горой, врывалось в ущелья, в долины, замирало посреди далеких перевалов.

Позднее выстрелы зазвучали и в других частях города — на Замковой улице, на одной из улиц за рынком, где-то возле неприметных хаток на окраине города. Всюду слышались крики испуганных женщин и детей; крики смешивались с выстрелами, и тому, кто это слышал, было невыразимо страшно, жутко.

Никто не знал, что случилось на Глубокой улице и что происходило в других концах маленького закарпатского городка Хуста. Каждый боялся выйти из дому, а если кто и выходил, то прижимался к стене, слушал, не зная, чем пояснить эту неожиданную тревогу среди ночи.

Багровая луна ушла за Тиснянскую долину, город лежал в черной мгле, бредил, стонал.

А на улицах ревели и ревели грузовики, гулко стучали кованые сапоги, неслась брань и угрозы, еще был слышен беспорядочный топот людей, которых взяли где-то в их домах и куда-то теперь гнали.

В эту страшную ночь не спали и в доме доктора Домаша. Все они — и Арпад, и Оронка, и Ружена — слышали, как началась стрельба на Глубокой улице. Никто из них не сказал ни слова; только Арпад сделал рукой знак, отпер входную дверь, вышел во двор, стал под деревьями и некоторое время прислушивался, откуда долетают выстрелы.

Потом, возвратясь в дом, приказал:

— Погасите свет! Я должен идти. Но я скоро возвращусь.

И он ушел. Оронка и Ружена понимали: не пойти он не мог. Они молча сидели в темной комнате, потом Оронка раздвинула штору на одном из окон. Теперь им не только были слышны выстрелы, они видели желтые вспышки на Глубокой улице, ответ их то и дело озарял стены комнаты, вещи в ней и две женские фигуры, которые, тесно прижавшись друг к другу, стояли у окна.

Арпад возвратился, когда на Глубокой улице закончилась стрельба. Он осторожно постучал в окно, ему сразу же отперла Оронка.

Тихими шагами Арпад вошел в комнату.

— Вы тут, Ружена? — спросил Арпад. — Идемте в мой кабинет. Давайте зажжем свет. Ведь окна у нас завешены.

Дрожащими руками Ружена зажгла свет. Арпад кинулся к столу, вынул несколько бумажек и сжег их на гибком язычке свечи.

— Случилось неповторимое несчастье, — сказал он спокойно. — Они напали на наш след и убили всех, кто был в эту ночь в доме Логойды.

— Там был и Франтишек?

— Да, Ружена, там был и Франтишек.

Он замолчал и печально глядел на огонек свечи, который колыхался и колыхался над столом. В глазах доктора, казалось, отразился весь ужас того, что ему довелось увидеть в эту ночь. На лице Арпада была глубокая скорбь, — таким Ружена никогда еще его не видала.

— Сейчас ночь,— продолжал Арпад.— Выстрелы слышны по всему Хусту. Я не знаю, кто из наших друзей остался в живых, кого враги забрали в эту ночь. Но мы живы и должны действовать. Вы поможете мне, Ружена?

— Я готова исполнить все, что нужно для нашего дела.

— Слушайте, Ружена! Нам нужно немедленно известить наших товарищей в Мукачеве и Ужгороде. Если мы в эту ночь сможем известить наших товарищей в Севлюше, и это будет хорошо. Они передадут дальше. Но согласны ли вы и сможете ли вы сейчас, ночью, выйти из Хуста, а утром добраться до Севлюша?

— Думаю, что смогу.

— Я узнаю Розу! Спасибо, Ружена! Тогда не будем терять времени. Я вам скажу, как выбраться из города. Надеюсь, за это время и вы хорошо изучили здесь все дороги. Ведь мы с вами ходили вместе. Я вам назову несколько адресов в Севлюше. Не записывайте ничего, Ружена. Повторяйте за мной. Запомните и не забудьте ни одной фамилии. В Севлюше найдете доктора Лезмана. Говорите с ним открыто. Если доктора Лезмана нет, найдите Михайла Гендеру. Если нет Михайла Гендеру, скажите его жене. Но, Ружена, может быть, что такое несчастье случилось и в Севлюше. Ищите тогда в Мукачеве, запомните еще несколько адресов.

Ружена слово в слово повторила все, что говорил ей Арпад. Она только спросила, когда доктор замолчал:

— Но почему не выйти из города и вам? Вы должны оставить Хуст, Арпад! Должна идти и Оронка!

Оронка все это время стояла в дверях комнаты, задумчивая, молчаливая.

— Нет, Ружена! — ответил Арпад.— Выйти из Хуста — это выдать себя. Зачем предполагать, будто они все знают? Почему нельзя допустить, что им известно очень мало и что все происшествия этой ночи — только случайность? А тогда я тем более обязан быть здесь.

— Арпад прав,— проговорила в дверях Оронка.— Я останусь с ним.

— Еще одно я хотел вам сказать, Ружена,— добавил Доломаш.— К сожалению, документы Розы Саболи больше вам не понадобятся и даже могут повредить. В Севлюше или в Мукачеве вам дадут другие документы.

Арпад сделал шаг вперед, взял холодную руку Ру-

жены. Но потом он поднял свои руки, положил их на плечи Ружены и поцеловал ее в лоб. И она поцеловалась с ним, а потом с Оронкой.

Через несколько минут темная фигура сошла по ступенькам крыльца доктора Арпада Доломаша. Он стоял на крыльце и видел, как эта фигура мелькнула во дворе, остановилась на миг у калитки и где-то исчезла, растаяла в ночном мраке.

А еще через несколько минут жандармы появились перед домом Арпада Доломаша, окружили его, начали колотить в окна и двери.

Он сам отворил им. Свет электрических фонариков заплясал по стенам комнаты. Увидав, что в кзартуре, кроме доктора и его жены, никого нет, жандармы пришли в ярость.

Арпад Доломаш узнал давнего своего знакомого — капитана Сиплоки. Начальник окружной жандармерии явился лично, чтобы произвести обыск в доме врача. И это он, стоя посреди приемной, указывал револьвером то на ту, то на другую дверь, приказывал своим жандармам осмотреть комнаты, открыть шкафы, перевернуть постели, лезть на чердак.

Обыск ничего не дал. Как ни бились жандармы, они ничего не нашли у доктора.

— А где же эта... ваша свояченица? — хищно спросил Капитан Сиплоки.

— Несколько дней назад моя свояченица Роза Саболи выехала в Дебрецен.

— Проклятье! — выругался капитан Сиплоки. — Теперь мне понятна вся ваша комедия!

Он оглядел с головы до ног доктора Доломаша.

— И это... венгерец!.. — презрительно кинул он. — Это врач королевства!

Арпад Доломаш стоял с гордо поднятой головой, и ни один мускул на его лице не дрогнул.

— Пан капитан, — сказал он. — Я поступаю так, как должен поступать истинный венгерец. И я был, пан капитан, и всегда буду врачом.

— Взять его! Заковать в наручники! — кричал капитан.

Жандармы связали Арпаду руки, вывели из дома. Капитан Сиплоки поглядел на Оронку, махнул рукой и вышел.

. Так Оронка осталась одна в опустошенном доме. Она прошла по комнатам, где только что разговаривала с Руженой, где только что слышала тихую, но смелую речь своего мужа. Теперь в комнатах было пусто, страшно. Среди хаоса, какой оставили жандармы, она стояла несколько долгих минут неподвижно, а потом подошла к дивану в приемной, упала на него, обхватила голову руками и неудержимо зарыдала.

2

Утро нового дня выдалось на диво солнечным. Еще до зари, когда с гор повеял холодноватый, свежий ветерок, на влажную землю и на пески у Тиссы росами пал туман, и солнце выплыло из-за перевалов, словно омытое — весеннее, радостное, теплое.

Невеселую картину осветило солнце в Хусте. Изрешеченные пулями стены дома Логойды, выбитые гранатами окна, сорванные с петель двери, кирпич и стекло под стенами — все это говорило о страшных событиях минувшей ночи.

У стены разоренного дома лежали трупы людей, чьи сердца еще так недавно страстно бились, кто так недавно жил, действовал. Степан Чижмарь и Франтишек Поспишил лежали рядом, полуобернувшись друг к другу, словно и после смерти совещались меж собой. С пробитым черепом и окровавленным лицом лежал навзничь Степан Лизанец, и его необычайно белая рука касалась плеча Оленки Логойды, точно он хотел защитить ее. Смерть не могла убить красоты Оленки Логойды, только лицо ее стало сосредоточенным, спокойным, нерасплетенные, тугие длинные косы ее лежали вдоль тела. Невдалеке от Оленки лежал и брат ее, Юрко. Выше всех, касаясь головой завалинки, лежала бабка Ганна Лонкай, и казалось — она сидит над своими детьми, опечаленная, скорбная.

Кое-кто из соседей на рассвете побывал возле дома Логойды. Это они и вынесли из дому трупы убитых. Входить во двор с улицы было опасно — шпики сновали кругом, кто-нибудь из них мог засесть в одном из ближних домов. Люди приходили через соседние дворы, огороды. Они приходили, останавливались, молча и задумчиво

стояли над трупами убитых, и с многих уст срывались проклятия, а из глаз всех струились жаркие слезы.

Много позже к усадьбе Логрйд подкатило несколько машин. Из них вышли начальник кемельгарито Сейкель Дьюло, шеф жандармерии полковник Кричфалуши, начальник «Рондьош гарды» генерал Винце, капитан Сиплоки и Андрей Бродий. Вокруг них вертелось множество охранников. Прибывшие гордо и надменно, как победители, вошли во двор, оглядели дом снаружи, заглянули в окна, равнодушно остановились над трупами.

— Так вот они какие! — вырвалось у Андрея Бродия.

— А какие? — холодно проговорил Кричфалуши.

— Смотрите, — усмехнулся Бродий, — ведь они, можно сказать, совсем небольшие. И две женщины между ними...

— Эти небольшие люди представляли собой очень большую опасность для нашего государства, — сказал полковник Кричфалуши. — И этот Хуст, — он обвел рукой вокруг, — тоже, видите, как будто совсем маленький городок. Но, господа, должен вас заверить, здесь у нас много врагов.

— Которых мы, надеюсь, очень быстро обезвредим, — вставил словечко генерал Винце, внимательно слушавший полковника Кричфалуши.

— Это зависит от того, — медленно процедил Кричфалуши, — насколько успешно будут действовать мои жандармы. Этой ночью они поработали неплохо, в тюрьме уже нет места. Часть арестованных нам пришлось поместить в военных казармах.

— Но ведь этот заговор не ограничивается одним Хустом, — заметил как бы про себя генерал Винце, — и мои гвардейцы еще вчера двинулись по ущелью Хустца и на юг, к Тячеву.

— Я боюсь, что гвардейцы могут и опоздать, — сдерживал себя, но постепенно входил в азарт Кричфалуши. — Отряды моих «черных волков» уж несколько дней оперируют во всех окрестных селах.

— Господа! — старался успокоить их Андрей Бродий. — Кто не знает славных жандармов полковника Кричфалуши! Честь им и хвала! И разве кто-нибудь из нас забудет, что сделали для процветания Закарпатья гвардейцы генерала Винце? Я надеюсь, правительство скажет свое слово о героической работе и нашей жандар-

мерии, и народной гвардии, оно достойно оценит заслуги и полковника Кричфалуши, и генерала Винце. Я думаю, лучше будет, если полковник Кричфалуши любезно покажет нам свою тюрьму и тех преступников, которые еще живы сегодня, но которым место вон там, на Замковой горе, среди мертвецов.

— Охотно, господа. Но это будет несколько позже.

Генерал Винце, поблескивая золотом своих очков, стоял посреди двора и угрюмо глядел на солнце, подымавшееся все выше и выше. Его душили злоба и зависть, но он знал, как нужно действовать в таких случаях. Еще до того как они отправились к дому Логойды, связной генерала Винце повез пакет в Будапешт — генерал уведомлял королевское правительство о том, что в Хусте раскрыта организация коммунистов, и недвусмысленно намекал на свою роль в этом деле.

А мертвые лежали под стенами дома Логойды, и бледные, окровавленные лица их звали к мести и расплате.

3

Гаврило Логойда пришел в себя и затуманенным взглядом огляделся вокруг. Он не понимал, где он, не знал, что с ним случилось. Он даже удивился, что еще жив. Где-то вверху еле мерцало голубое оконце, ниже клубился сизый туман, еще ниже вырисовывались очертания людей. Но кто эти люди, что с ними? Они сидят в сером сумраке, все в одной позе — скрестив под собой ноги, руки у всех закинута назад, за спину, у каждого из них голова высоко поднята. Вот один из этих людей пошевелился, и сразу на голову его опустилась резиновая палка.

Гаврило Логойда тоже попробовал шевельнуться. Но пошевеливаться он не мог — ноги его были подогнуты и привязаны к рукам. При первом таком усилии он снова впал в беспамятство и долго, — он не знал, как долго, — лежал, ничего не понимая, ничего не чувствуя.

Очнувшись, он снова увидел ту же картину. Люди сидели все в той же позе — со скрещенными ногами, руки у них были закинута назад, каждый из них старался выше поднять голову, смотрел перед собой в одну точку на серой стене. Но их головы все чаще и чаще опускались, руки разгибались. И Гаврило Логойда видел, как

к ним подскакивают жандармы, как быют их резиновыми палками по головам, по рукам и спинам. И самого его, когда он шевельнулся и повалился на пол, как колода, тоже били — долго и беспощадно.

В этом чудовищном кошмаре Гаврило Логойда начинал все же кое-что понимать. Как со дна глубокой реки, в его памяти возникло несколько картин — вот он лежит под дверями комнаты, где собрались руководители партизанского штаба, жандармы быют его коваными сапогами, тащат во двор, связывают руки и швыряют на мокрую землю; в большой комнате их дома раздаются выстрелы, и оттуда доносятся слова победной песни. А дальше — туман, небытие, пустота... Так что же тогда случилось с Франтишком Поспишилом, со Степаном Чижмарем, Лизанцом, Оленкой, которая ушла в большую комнату?

Ответа на этот вопрос Гаврило найти не мог. Понемногу он начинал понимать, что случилось с ним и что происходит здесь, вокруг него, где сидят на холодном полу люди, которых пытаются жандармы.

Он увидел неподалеку от себя мать. Она сидела так же, как и остальные, глаза ее были прикованы к стене прямо перед собой, но на один миг она сумела повернуть голову, встретила с взглядом Гаврила, и в ее глазах он прочитал такую невыразимую скорбь, такое отчаяние, что все понял.

И так, одно за другим, перед ним проходили новые и новые лица. Он увидел доктора Арпада Доломаша, дядька Гната, Михайла Сирка, который так изменился, что был непохож на себя — у него глубоко ввалились глаза, губы до того побелели, что сливались с кожей лица, взгляд — далекий, тусклый...

Еще узнал Гаврило Логойда Миколу Сокача. У него был рассечен лоб, глубокая рана проходила по правой щеке, все лицо покрывал один сплошной синяк, так что оно казалось черным. Гаврило узнал Миколу Сокача по блестящим темным глазам, по мундиру с сорванными погонами, узнал потому, что Микола Сокач поглядел на него, вздохнул, и горькая усмешка на какой-то миг тронула его губы.

Еще многих и многих людей из Хуста и окрестных сел узнал Гаврило Логойда. Он знал этих людей, они приходили к ним в лавку, заходили в их дом на Глубокой

улице. Теперь люди молчали. Гаврило также не мог сказать никому из них хотя бы слово.

Гаврило понял: он в тюрьме. Их организация раскрыта. Жандармы напали на их след. Ночью они сделали облаву не только на Глубокой улице, а по всему Хусту и даже в окрестных селах.

Суровая и безжалостная мысль обожгла мозг Гаврила Логойды. Ведь если облава и аресты в одну ночь произведены и у них в доме, и у Сирков, и в доме доктора Доломаша, и дядька Гната, и еще у многих и многих членов их организации, то это значит, что кто-то их выдал, что между ними был предатель. Так кто же тот, кому они верили, не зная, что пригрели змею у своего сердца?

Еще одна мысль вспыхнула и ни на миг не погасала у Гаврила Логойды. Что же произошло в их доме, живы ли руководители партизанского штаба, почему их нет в этой камере? Он застонал, сделал движение ногами и руками, но не встал, а только повалился на холодный пол камеры. Сразу послышался смех жандармов, на его тело посыпались удары, он ощутил нестерпимую, жгучую боль.

4

Хустская тюрьма! Она была построена на главной улице города, во дворе, за управлением финансами. Снаружи этот дом, выдержанный в стиле модерн и выкрашенный серой краской, с его башенками и пристройками на крыше, с его украшенными орнаментом окнами совсем не напоминал тюрьму.

Но узкие высокие окна изнутри были затянуты решетками. На башенках день и ночь стояли часовые. Каменная стена окружала все строения и двор тюрьмы, а поверх стены в несколько рядов тянулась колючая проволока. В здании тюрьмы были камеры для пыток с такими приспособлениями, до которых не додумались бы и инквизиторы, в подвалах жандармы держали собак; там же помещались и камеры-одиночки для самых опасных заключенных. Каждого, кто входил в глухие железные ворота между финансовым управлением и домом в стиле модерн, ожидала горькая участь.

Арестованные по хустскому делу, как его с первого

же дня называли жандармы, изведали нечеловеческие муки. Не было дня и ночи, когда бы арестованных не мучили, не пытали. То, что в первую же ночь их заставили сесть по-турецки на полу, скрестить руки за спиной и смотреть в одну точку перед собой,— было только началом издевательств. Позже, когда взошло солнце, жандармы изобрели другую пытку. Они жарко натопили камеры, и люди теряли в них сознание от духоты. Чтобы развлечься, жандармы время от времени отворяли дверь и из шлангов поливали заключенных холодной водой. А через минуту— снова духота, снова невероятная мука.

Ночью жандармы приказали заключенным лечь на голый пол и закутаться. Заключенные должны были лежать с закутанными головами, в камерах нечем уже было дышать, но никому из них не позволяли снять одеяло с головы, все задыхались.

Так день за днем, ночь за ночью. Полковник Кричфалуши отдал приказ своим палачам — совершенно истощить заключенных, подготавливая их к допросам. Затем начались и допросы.

Камеры следователей были на втором этаже. Заключенного с закованными руками бросали на скамью, ноги его привязывали к углам скамейки и начинали бить по голым подошвам.

Полковник Кричфалуши часто сам приходил на допросы.

— Кто же руководил вашей подрывной работой? Куда делась чешская коммунистка? Откуда вы получали листовки? Каких вы знаете русских коммунистов?

Что могли ответить на это узники хустской тюрьмы? Тот из них, кто знал подлинную правду партизанской борьбы, все равно не выдал бы ее и словом. Если кто-нибудь и говорил ту правду, которая, несомненно, была известна палачам, его мучили и пытали, чтобы вырвать другую. От непрерывных побоев люди теряли сознание — их обливали ледяной водой и, когда человек приходил в себя, продолжали допрос.

Полковник Кричфалуши и его подручные изобретали все новые и новые пытки. Они выдумали «медвежий таец». К паху пытаемого привязывали крючок таким образом, чтобы он причинял человеку невероятную боль; когда же пытаемый, чтобы облегчить страдания, начинал переступать с ноги на ногу, тогда его били под коленями.

Еще страшнее была другая пытка, которую полковник Кричфалуши называл «железной рукавицей». Заключенного заковывали в кандалы таким образом, что ладонь правой руки оказывалась прижатой к пальцам левой ноги. В этой «железной рукавице» человек должен был выстаивать по пять, десять, двадцать, тридцать часов.

Но все эти муки и пытки не могли сломить воли непокоренных людей. Они говорили только то, что было известно жандармам, но ничего, кроме этого. Они соглашались с тем, что их породили русинские матери, но ни один из них не отрекся от своей матери. Они говорили о своей любви к людям, которые жили за Карпатами, высказывали извечные мечты своих отцов и дедов о воссоединении с Советской Украиной, и ничем нельзя было заставить их отказаться от этого. Полковник Кричфалуши свирепствовал, он просто с ума сходил от злости, но люди оставались непоколебимыми, словно выкованные из крепкого металла. Они стояли как нерушимая стена.

Полковник Кричфалуши чувствовал это не только при встречах с заключенными. С тревогой ехал он в машине по улицам Хуста, залитым весенним солнцем; беспокойство ни на миг не покидало его, когда он мчался в Ужгород для свидания с регентским комиссаром и возвращался назад в Хуст; рапорты с жандармских постов только усиливали эту тревогу. Опять красный флаг, опять листовки, опять поджог, опять авария на железной дороге, опять пожар в лесу.

Исчезла, казалось, и вражда между полковником Кричфалуши и генералом Винце. Они действовали сообща и, когда все их попытки раскрыть глубже подпольную организацию партизан не дали желаемых результатов, сообща пришли и к выводу: всех арестованных по этому делу нужно как можно скорее уничтожить. Регентский комиссар Вильмош Пал Томчани, а также пан Андрей Бродий полностью поддерживали это решение. Ждали только приказа из Будапешта.

Темной ночью жандармы разбудили узников хустской тюрьмы, вывели их во двор и там выстроили. Вдоль стен двора стояли грузовики. Узников бросали в кузовы машин, где уже стояли жандармы.

Одна за другой машины проехали через ворота, миновали двор финансового управления и с потушенными фарами направились к Замковой горе, где обычно фашисты творили все свои кровавые расправы.

Но возле Замковой горы машины не остановились. Они мчались дальше, словно за ними была погоня. В сером сумраке ночи осталась позади Замковая гора, растаяли очертания города. Впереди мелькали деревья, кусты, скалы.

Никто из узников не знал, куда их везут и зачем. И, разумеется, никто не ждал добра от палачей. Как видно, смерть. Но почему не в Хусте? Видно, палачи чего-то боятся, хотят отвезти их подальше.

Машины вырвались на дорогу, ведущую из Хуста на Буштино, миновали Буштино, помчались к Тячеву. В селах, которые они проезжали, и в лугах за ними не видно было ни огонька. По небу ползли рваные тучи, временами из-за них выглядывали окруженные сиреневым ореолом желтые тревожные звезды. Справа по камням гнала свои волны напоенная весенними дождями Тисса. Иногда грузовики проносились так близко над рекой, что видны были серые гребни волн, слышался шум бушующей воды, остро чувствовались свежие запахи притиснянских просторов.

Машины не остановились и в Тячеве, прогрохотали по мосту, где в Тиссу вливаются воды Тересвы. Глухо шумела под мостом вода с родных Карпатских гор, от туда же, с полонин и из лесов Карпат, дул резкий, холодный, свежий ветер.

За все это время никто в машинах не произнес ни слова. Жандармы сами молчали и не позволяли говорить арестованным. Тем тяжелее была для узников эта страшная ночь, каждый чувствовал приближение конца, каждый видел перед собой смерть, но не мог сказать ни слова, не мог даже попрощаться с друзьями.

Шоферы затормозили только тогда, когда начало светать и когда в призрачном сиянии зари в туманной низине на левом берегу Тиссы вырисовались очертания Сигота. Здесь дорога расходилась: направо в Сигот, налево — в горы, на Раховщину.

Свернули вправо, к Сиготу. Стража на мосту была, видимо, предупреждена и пропустила машины без задержки. Пропустили их и посты на окраине города. По

улицам Сигота завывали сирены. Покружив по городу, грузовики остановились перед большим серым двухэтажным зданием с колоннами.

Узников не повели к главному входу, за колоннами. Им приказали сойти с грузовиков, поставили в очередь, завели в переулок рядом с большим зданием и там, одного за другим, начали впускать через узенькую, потайную, железом окованную дверь.

Войдя в эту дверь, узники очутились на широком дворе, вокруг которого с четырех сторон подымались серые корпуса с крошечными зарешеченными окнами.

В конце двора стояли два столба с перекладиной и помостом под ними. В окнах корпусов и на всем широком дворе не видно было ни огонька.

Узников поставили в два ряда посреди двора. Жандармский офицер, сопровождавший их, направился к одному из корпусов. Он долго не возвращался оттуда. Заключение молча стояли посреди двора. Все больше и больше светало. Над землей струился тусклый свет. Небо было затянуто тучами. Повеял ветерок. На виселице в конце двора закачалась веревка.

Наконец жандармский офицер возвратился. Хриплым голосом он отдал команду часовым. Колонна зашевелилась, разорвалась на две части. Одна часть узников направилась к корпусу налево, вторая — к корпусу направо. Постепенно двор опустел.

5

— Здравствуй, Мараморош! Здравствуй, проклятая сиготская тюрьма! — раздался голос в холодной и сырой камере, куда жандармы загнали часть узников и, заперев за ними дверь, вышли. — Давненько я тебя не видал. А все — такое же, как и было. И камень, и решетки, и даже запах!

Узники посмотрели на человека, произнесшего эти слова. Это был дядько Данило из села Изы под Хустом. Мало кто из заключенных знал его, был он в хустской тюрьме не разговорчив, оттого-то всех и удивило, что он заговорил первым, переступив порог нового застенка.

— А что ж вы удивляетесь, люди? — продолжал Данило, скинув с плеч кожушок, расстелив его на каменном полу и усевшись под стеной. — Ведь был я в этой проклятой тюрьме ровно тридцать лет назад. Да, да, было это в тысяча девятьсот тринадцатом году, а теперь, — он оглядел стены камеры, людей, сидевших вокруг, — снова сюда запаковали.

Заметив, что узники заинтересовались его рассказом, дядько Данило кинул взгляд на запертую наглухо дверь и продолжал тихим голосом, часто останавливаясь, стараясь возобновить в памяти все, что не давало ему покоя много лет, что терзало его наболевшее сердце.

— Так вот, говорю, люди, было это в тринадцатом году. За год до того, сдается, в Вене был заключен договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией. А мы, лучше и не вспоминать, тогда к Австро-Венгерской империи принадлежали. Франц-Иосиф над нами тогда сидел, чтоб его кости в земле перевернулись. По этому договору Германия, Австро-Венгрия и Италия хотели начать войну против России.

Он остановился, перевел дыхание. В те давние времена дядько Данило не все понимал, что творилось вокруг него, но сейчас минувшие события были для него ясны как на ладони.

— Мы, известно, на Карпатах не хотели войны с Россией. Война? Мы и не думали про какую-то там войну с Россией, а об одном мечтали — как бы соединиться с нашими братьями. И деды и отцы наши молились на Восток, вспоминаете, какие песни пели нам матери над колысками? Но цесарь Франц-Иосиф знал, что за подданные сидят у него на Карпатах, вот он и решил устроить над ними суд, запугать, помучить, потерзать, чтобы мы уж если не поможем ему в войне, то хотя бы сидели молчком, тихо. И вот как-то, как раз под Новый год, нагрянули жандармы в села Верховины, а больше всего в нашу Изу, да еще в Ясени, на Раховщине, и забрали сотню человек. За что забирают, в чем обвиняют, ей-ей, мы и не знали. Позднее уже, на суде, проведали. Выступил ихний шпик, инспектор полиции Арнольд Дулишкевич, и начал говорить, будто бы мы агенты русского правительства, читаем русские книги, русские газеты, имеем русские иконы. И на стол — иконы из Киево-Печерской лавры, церковные книги, газету «Рус-

ская правда»¹. Мы даже глаза вытаращили — а что же в тех иконах, а к чему тут церковные книги, которые мы читаем сотни лет, к чему та «Русская правда»? Но Арнольд Дулишкевич свое: эти, мол, русины — враги существующего строя, они готовятся к восстанию, чтобы присоединиться к Российской державе, они, мол, шпионы и изменники. Но, люди, чего ж и ожидать от такого Дулишкевича? Он и вправду бывал у нас на Верховине, сам, вражий сын, служил в том и в другом селе как греко-католический поп. Поняли мы тогда, какому богу молился этот святоша, чьим языком он говорил...

Позади узников была тяжкая дорога, они не знали, что несет им грядущий день, но все они на корточках сидели вокруг дядька Данила и внимательно слушали каждое его слово.

— Ой, и насмотрелись мы тогда на эту тюрьму, ведь сидели мы почти полгода, и судили нас в этой проклятой мараморош-сиготской тюрьме, вон в том зале, вы видели, когда ехали, — за высокими колоннами. Нас было на том суде девяносто четыре человека, но все не смогли сесть на скамью подсудимых, когда начался суд, потому что трое еще до суда с ума сошли, а еще несколько человек померло. А как было не сойти с ума? День и ночь, ночь и день, без начала, без конца: «Ты русин?» — «Сами знаете, русин». — «Врешь, австрияк ты». — «Ей-ей, не знал того, пане». — «Ты смеешься?» — «Да нет, где уж там смеяться». А за допросами — муки, пытки. И на суде то же самое: «Читали газету «Русская правда»? Молились по православной библии? Есть у вас киевские иконы?» Уж на что заискивали перед судом их же адвокаты, но один из них сказал: «Если русины называют себя русскими, то в этом еще нет преступления, потому что им пришлось бы вылезти из собственной шкуры, чтобы стать кем-нибудь другим», И засудили — кого в тюрьму, кого на каторгу, кого к штрафу.

Замолк дядько Данило, печально поглядел кругом, потрогал каменный пол.

— Так вот куда нас теперь привезли, — с грустью проговорил он. — Ой, Мараморош, Мараморош! Много ты видел, Мараморош, а теперь здесь хозяйничают еще и фашисты!

¹ «Русская правда» — газета, которая издавалась в городе Черновцах и проходила австрийскую цензуру.

Глава седьмая

1

Весна начинала победный поход. На огородах и лужайках посинели, осели и развалились наметенные за зиму сугробы; с полой водой снесло в Тиссу грязь зимы. День ото дня все сильнее пригревало солнце, заголубели подснежники, зацвели одуванчики.

Весна! На вершинах еще гуляли студеные ветра — снеговей; с крутых скал, подмытые талыми водами, срывались снега и летели, рассыпаясь пылью, вниз. В этом стремительном движении снега сдвигали камни, с корнем вырывали деревья. Все это летело, гудело, ревело, точно отголоски боя.

В лесах и чащах упругие, ожившие под солнечными лучами ветви сбрасывали ноздреватые, синие пласты обледенелого снега, и в долины покатылся торжественный, победный шум лесов. Из берлоги вылез и продрал глаза косматой лапой медведь; в чаще появились дикие кабаны, волки и боязливая рысь; сторожко шли олени в наполненных весенними звуками лесах.

Пробуждались и птицы. В вышине, над Карпатскими хребтами, как нитки мониста,плыли на далекий север гуси и журавли, и в долины струилась их печальная песня; над ущельями кружили ястребы и коршуны, а еще выше плавали в голубой бездне гордые беркуты; над долинами потянулись аисты, утки, вальдшнепы.

А солнце разгоняло и разгоняло тучи, растапливало в горах снега, наполняло горные ручьи и потоки; вышли из тихих затонов на быструю воду, двинулись против течения, ловко перепрыгивая через каменные запруды, голавли и форели.

Ожила детвора. Бледные и тонкие, как былинка без солнца, мальчики и девочки выходили на лужайку у горного потока, где вблизи шумели мельницы, и, поглядывая на горы и полонины, водили хоровод, припевая:

Кручу, кручу кручарем
Із маленьким бігарем,
Так швидко ся обертаймо,
Як млинове колесо...

Начиналась весна.

Ласло Потоки вышел из дому глухою ночью, потому что кто-то постучал в окно. Во дворе его ждал Ярослав Гишка.

Была дивная весенняя ночь. Над землею чуть веял теплый восток и приносил с собою запахи весенних цветов, свежей воды, сосновых лесов. В вышине, в чистом свежем воздухе висели яркие, то зеленоватые, то рдяные, как угли, большие звезды и струили на землю свое волшебное сияние. В горном потоке шумела, ворочала камни вода, ближе к селу с легким скрипом двигались колеса мельниц. Из горных просторов доносился зов журавлей; он звучал и звучал, пока не затих вдали. Ночь, весеннее цветение звали к жизни, к неустанному труду.

Но Ярослав Гишка принес с собой невеселые вести. Усевшись на завалинке у хаты Потоки, он рассказал про аресты в Хусте и по всей долине, рассказал, кого арестовали фашисты, рассказал про народную ненависть, которая клокочет по всем долинам и Верховине вплоть до Турящины.

— Они уже много чего натворили в долине,— говорил Ярослав Гишка.— Но волна террора катится дальше и дальше. Вчера отряды «Рондьош гарды» прибыли в Рахов. Выползли функционеры АЗС, поп Демьянович, шпики и сыщики. Там начались аресты. Мы готовы встретить эту волну. Но краевой комитет приказал, чтобы здесь, на Верховине, все руководители наших отрядов, которым угрожает опасность, ушли в леса. Нам нужны люди. На фронте началось новое наступление, Советская Армия неуклонно продвигается вперед, на нее вся наша надежда. Но как только просохнет в горах, и мы начнем боевые операции здесь. С этим я и прибыл, Ласло. Нужно подумать, что делать вашим людям и кто из них должен на некоторое время скрываться. «Рондьош гарда» побывает в Кленах, потому что вчера Гаврило Клумак был в Рахове на приеме у генерала Винце.

— Я думаю, Данилу Ковачу нужно уйти от расправы,— сказал Ласло Потоки.— Если Клумак был у генерала Винце, то уж понятно, чье имя он называл первым.

— Но у Ковача есть и сестра.

— Я говорю про Данила и про его сестру. Кроме Гаврила Клумака, есть в селе еще и Янош Репаша. Этот мерзавец давно заглядывается на девушку.

— Вполне согласен с тобой,— сказал Ярослав Гиш-

ка.— Так и решим --- Данило Ковач пускай идет в лес, потому что ему нужно быть ближе к Кленам, а сестра его, скажи, пускай идет в Бочары. Там у нас есть пристанище, жива еще Тиснянчиха. У нее Юлина сможет перебыть. А кто же еще уйдет из села?

— Многим нужно уйти,— задумался Ласло Потоки.— Учитель Иосиф Короджий — правая рука Данила. Но я не думаю, чтобы они его тронули. Нет, Иосиф Короджий должен остаться в селе. Нам нужен и здесь такой человек.

— А сам ты, Ласло?

— О! — ответил механик.— Чего мне бояться? Мое дело — заботиться, чтобы тартак меньше работал, чтобы рвались и рвались пасы, чтобы портились и портились пилы, чтобы стояли моторы. Чего мне скрываться? Я останусь тут. Венгерские коммунисты боролись и будут бороться рядом со своими товарищами русинами.

— Это правда,— согласился Ярослав Гишка.— Очень хорошо, если вы с Короджием будете тут. Я тоже буду в своей сторожке под Раховым. Мы должны теперь держать связь, как никогда. Жаль, Юлины не будет, но я найду других связных. А ты, друг Ласло, если что, сообщай немедленно. Ну, пожалуй, я и пойду...

— Светает как будто. На шоссе будет опасно.

— Зачем мне шоссе? Я перейду Черную Тиссу, а дальше подамся лесами. В лесу — я хозяин, Ласло!

2

Наутро Данило Ковач и Юлина покинули родной дом. Тяжко, горько было думать, что пройдет еще минута, выйдут они из хаты, где родились их отцы и деды, где сами они впервые увидели свет, но неизвестно, удастся ли им еще когда-нибудь возвратиться сюда, увидеть убогий стол, вытертые скамьи, резные узоры на брусках потолка?

— Сядем, Юлина,— сказал, усмехнувшись, брат.— Перед нами дальний путь. В таком случае полагается присесть.

Они сели. Тишина наполнила хату. На окне билась о стекло мушка — она оживала, чуя тепло. Пахло горными травами, которые не теряют своего аромата много

лет. Солнечный луч выглянул из-за стены и лег на стол рядом с краюхой овсяного хлеба.

— Прощай, сестра,— сказал Данило Ковач.— Счастливый путь тебе, Юлина.

— Прощай, Данило.

Отойдя от двора, еще немного постояли. Родной дом издали казался таким теплым, таким милым.

Данило отвернулся и взглянул в другую сторону — на раховскую дорогу, которая начиналась от села и тянулась в голубую даль.

— Похоже, мы вышли из дома вовремя,— вырвалось у него.— Глянь, Юлина, на шлях!

В долине видна была длинная колонна, она издали напоминала черную змею, которая, поворачивая голову то вправо, то влево, медленно ползла по дороге в гору. Это шла «Рондьош гарда», чтобы кровью залить убогие верховинские села.

Брат и сестра расстались на безлесной вершине. Юлина пошла влево, нырнула в густые заросли, чтобы обойти грабь-гвардию, перейти где-нибудь Черную Тиссу и сквозь чащи и ущелья выйти к Белой Тиссе и к селу Бочары.

Данило двинулся в горы. Он направлялся на Печенежскую полонину, где хотел встретиться с Сегинем. Весь скот еще был в долине, но старый чабан уже несколько дней назад ушел на полонины, чтобы осмотреть тропы, найти воду, приготовить изгороди. У чабана было еще и другое задание, о котором знали только он сам да Данило Ковач.

Этим утром Данилу особенно хотелось повидать Сегиня. Ведь старик не знает, что творится в долине, с гор он, упаси бог, может спуститься прямо на лужайку возле Ковачевой хаты. Нужно его предупредить — там ему уже нечего искать, там его не встретит Юлина.

Идти в гору было тяжело, и не потому только, что тропа подымалась круто, что камни вырывались из-под ног и что земля в горах еще не просохла, вязла, приставала к ногам.

Тяжело было на сердце у Ковача. Уже давно он знал и понимал, что все вокруг в родных ему Карпатах захватили враги, что его леса принадлежат не ему, что в его горах хозяйничают изверги; в конце зимы новые паны отняли у верховинцев последние их богатства — горные па-

стбища, полонины. А все же у Данила Ковача был тихий родной уголок в этом огромном мире, был свой дом, где он мог съесть кусок хлеба и запить его водой.

Теперь и этого не стало. Нет у Данила Ковача уголка на Карпатах, не осталось ничего из того, что ему принадлежало и что он имел. Нищий сын Верховины, сын зеленых Карпат поднимался тропинкой в горы.

Только к вечеру добрался Данило до Печенежской полонины. Они с Сегинем уселись у шалаша, откуда видна была вся долина, поросшие лесом склоны, Черная Тисса. Данило рассказал обо всем, что произошло в Хусте, что творится в Рахове и почему он вынужден был покинуть хату на лесной прогалине.

— Но подождите, вуйко Юрий! — вдруг воскликнул Ковач и разом вскочил на ноги. — Поглядите-ка туда!

На западе багрянцем догорало небо. Рдяно-золотистые облака висели над самым его краем. Но ярче облаков, на лесной прогалине, где стояла Данилова хата, блеснул огонь. Поначалу видны были багровые языки пламени и клубы дыма, а потом хата вспыхнула, как свечка, среди темно-зеленых лесов в холодной тишине Карпатских гор.

— Так вот что они сделали, — чуть слышно проговорил Данило Ковач, но через миг его голос зазвучал твердо и грозно: — Ну, погодите, проклятые! Думаете, если спалили мою хату, так уж ничего у меня и не осталось? Как бы не так! Это была, вуйко Юрий, только последняя нитка, связывавшая меня с тамошним миром. Больше ничего у меня нет, ей-ей, только сердце да еще автомат. Но теперь уже мои все эти горы, все леса и полонины, Верховина, свет милый наш...

И чабан Юрко Сегинь, пристально глядевший на Данила Ковача, заметил в эту минуту на лице лесоруба отсвет пожара и еще что-то, что шло, должно быть, от самого сердца его побратима. Лицо Данила светилось такой ненавистью к врагам, которая все побеждает, все крушит и испепеляет!

3

Юлина пришла в Бочары на рассвете. В лесу за Белой Тиссой она встретила Павла Тиснянца, и тот проводил ее почти до самого села. Правда, Павло дальше не

пошел, ему опасно было показываться там, но он следил из лесных зарослей до тех пор, пока Юлина не исчезла вдали.

Старуха Тиснянчиха хозяйничала во дворе, когда увидела девушку, приближавшуюся к их дому со стороны ущелья. Заслонясь рукой от слепящих солнечных лучей, Тиснянчиха долго следила глазами за маленькой фигуркой, которая передвигалась медленно, словно крадучись; потом старуха опустила руку и быстро пошла навстречу девушке.

— Моя дорогая,— говорила Гафия, утирая слезы, а они все катились и катились у нее из глаз,— дитятко мое милое, дорогое! Как же это ты здесь очутилась, отчего вижу тебя здесь?

— Вот что творится у нас на Карпатах,— ответила Юлина.— То я провожала вас из Кленов — не нашлось вам места, а теперь уже нет места и мне.

— А Данило?

— Жив, но должен скрываться в лесу. И ему места нет.

— Лишь бы жив был,— сказала Гафия.— Я, Юлина, как сяду вечером, все вспоминаю Клены, молюсь за тех, кто жив, вспоминаю умерших. Всех вспоминаю. А Данила и тебя — никогда не забывала. Вот оно как, невесточка!

— Ну, за кого же вы меня просватали? — спросила Юлина и улыбнулась.— Ведь у вас два сына — Павло и Антон.

— Павло молод, еще погуляет, а Антон вот-вот должен вернуться. Ведь он жив, как ты думаешь, Юлина?

Обе они поглядели на перевалы, из-за которых выкапывалось солнце.

— Жив! — ответила Юлина.

— Да идем в хату,— сказала Гафия.— Ты не бойся, Юлина. Слава богу, висельники эти ко мне не заходят. А что им здесь взять — ничего у меня нет.

Они вместе вошли в хату, где на дощатом помосте еще спали Настя и София, где приятно дышало теплом, где на колке у двери висела войлочная шляпа Кирила Полоинца.

— Кто-нибудь из мужчин тут есть? — спросила Юлина, заметив шляпу.

— Хозяйская, — проговорила Тиснянчиха. — Забрали его, все добро разграбили. Вот только крисаня осталась. А я жду, может вернется.

— Вернется, — уверенно сказала Юлина. — Что враги ни делают, а наши люди обязательно вернутся.

В чужой хате съела в то утро Юлина кусок хлеба, запила его кислым молоком. Это был дорогой хлеб, и Юлина боялась пить молоко, — должно быть, вдова с великим трудом добыла его для своих детей. Но на душе у Юлины было тихо и спокойно. Она почувствовала, что всюду здесь, среди Карпатских гор, есть родные люди, что всюду здесь бедняки помогают друг другу.

После долгой бессонной ночи она легла на дощатом помосте рядом с будущими своими золовками, — они крепко спали, по-детски раскинув ручки, — и сама погрузилась в крепкий девичий сон.

4

На столе, покрытом зеленым сукном, стояло распятье. По бокам в старинных бронзовых подсвечниках горели свечи. Желтые огоньки жадно тянулись вверх, словно им не хватало воздуха.

И не удивительно! В маленьком зале, при наглухо закрытых окнах и дверях, на узких скамьях за загородкой, под штыками жандармов, плечом к плечу сидело несколько сот человек, участников «Хустского дела по обвинению русинов в антигосударственном заговоре».

Некоторые из заключенных находились до этого дня в общих камерах, но немало было и таких, кто провел много дней и ночей в камерах-одиночках, в подвалах хустской тюрьмы, а позднее в подвалах Мараморош-Сигота. Измученные люди ничего не знали о судьбе своих друзей, не знали, кто из них жив, кого нет. После долгого перерыва теперь, в зале суда, они встретились, увидели друг друга — и ужаснулись.

Жестоко избит был Микола Сокач — глубокая рана чернела на правой щеке, отчего добродушное, ласковое, веселое некогда лицо его казалось угрюмым, суровым.

Не было следов побоев на лице Василя Чижмаря, но выдавшиеся скулы, черные тени под глазами, серая кожа на щеках и левая рука, которую ему все время

приходилось поддерживать, говорили о том, сколько ему пришлось пережить.

Гаврило Логойда и Михайло Сирко до заключения были молодыми, живыми, подвижными юношами. Теперь они выглядели как пожилые и к тому же вконец истомленные люди — у Гаврила отросли усы и борода, седина засеребрилась в буйных волосах Михайла.

И так было со всеми. На их лицах отразился весь ужас тех мук, на какие способны были обречь узников Сейкель и Кричфалуши в Хусте, на какие способны были прочие палачи из Сигота.

Но узники уже не думали о пережитых мучениях. Прошрое, как черная грозоевая туча, отступило от них, и не страх, не отчаяние, не страдание запечатлелись на их лицах, когда заключенных небольшими группами вводили в зал, а твердая решимость и радость, что наконец хоть здесь они встретились, хоть здесь могут взглянуть друг другу в глаза, поделиться своими наболевшими, заветными думами.

Они сидели, положив на колени натруженные руки, погружаясь в тяжелое раздумье. Если же кто-нибудь поднимал голову, то лишь для того, чтобы взглянуть в глаза товарищам. Судебные правила запрещали им выражать свои чувства и мысли, и они молчали, но это было грозное, многозначительное молчание; а когда, в самую тяжелую минуту, вздох и вырывался у кого-нибудь из груди — он зажигал сердца друзей, а самих судей пронизывала дрожь. Все они напоминали солдат, вышедших в последний и решительный бой. Этот бой предстоял быть горячим, и они еще до начала его подсчитывали, хватит ли у них сил, на кого они могут опереться, как должны действовать в решающую минуту.

В продолжение всего суда узники держались достойно и твердо. Боялись ли они? О нет! За несколько дней до суда к ним в камеры приходили субъекты, именовавшие себя адвокатами, и предлагали взять на себя защиту. По их словам, каждый из подсудимых заслуживал самой тяжелой кары, но приговор им мог быть и смягчен — нужно было, говорили адвокаты, рассказать на суде все начистоту и выдать всех тех, кто оставался на свободе. Никто из подсудимых не взял себе адвоката.

Среди подсудимых было много женщин. Каждая из них уже перенесла тяжкие испытания — Ганна Логойда

видела смерть родной матери и детей — Юрка и Олены, неподалеку от нее сидели сын ее Гаврило и дочь Анка. Близко от Михайла Сирка были его сестры; подняв голову, Василь Жупан встречал взгляд своей жены. Севлюшские подпольщики — Олена Гендера и Мария Шварц, Мария и Сирена Фаркаши, — сколько нечеловеческих мук выпало на их долю!

Но после всего пережитого женщины не согнулись, не опустили руки в отчаянии, не пали духом, напротив того — приобрели крепость, закалку, выдержку, веру в общее дело. Они молча сидели, когда допрашивали их мужей и сыновей, вдумывались в каждое сказанное ими слово; когда же допрашивали их — говорили только то, что не могло пойти на пользу врагам.

Судьи называли процесс в Сиготе «Хустским делом по обвинению русинов в антигосударственном заговоре». Это была ложь! Не одни украинцы сидели на скамье подсудимых, рядом с ними сидели такие честные венгерцы, как Арпад Доломаш, как Юрий Уйфалуши с малолетним сыном Юрием. Здесь сидели чехи, словаки. Не украинцев судили фашистские палачи, они творили кровавую расправу над людьми, не желавшими умирать в ярме, желавшими счастья для себя и своих детей.

— Встать! Суд идет! — кричал жандармский старшина.

Члены суда занимали место за столом, на котором стояло распятие и горели свечи.

Судьей на процессе был Доминич, тот, кто раньше, в Будапеште, осудил на смерть Олексу Борканюка, подписал тысячи приговоров другим людям, кого сами фашисты прозвали «автоматическим счетчиком смертей». Два члена суда были ему под пару: чиновники и шпионы из королевского министерства внутренних дел.

Обвинительный акт читался по-венгерски. Большинство подсудимых не понимало этого языка, а потому и не могло понять того, что измыслили прокуроры в канцеляриях мараморош-сиготского суда и что добавили к этому юристы королевского совета министров.

Прокурор читал обвинительный акт. Подсудимые молча слушали его. Они смотрели не на распятие на столе, не на свечи, стоявшие перед судьями. За окнами

бушевала весна. В вышине видно было голубое бездонное небо, на горизонте с одной стороны вздымались громадой Трансильванские Альпы, с другой — Карпаты. Из окон зала виден был и город Сигот — высокий шпиль ратуши и высокие серые дома в центре, зеленые деревья на улицах и бульварах. Окна в зале были закрыты, но все же сквозь них долетал приглушенный шум города.

Доминич долго и придирчиво допрашивал подсудимых. Что они могли сказать? На вопрос судьи, кто они, подсудимые ответили, что они — русины; на вопрос, боролись ли они, — отвечали, что боролись; на вопрос, кто был их сообщниками, говорили, что их сообщники — все честные люди Закарпатья, и венгры, и чехи.

Когда поднялся отвечать на вопросы Микола Сокач, судья кинул ему:

— Как вам не стыдно, подсудимый Сокач! Вы были унтер-офицером венгерской армии и изменили ей, давали партизанам сведения, которые шли во вред народу, и сами участвовали в преступных действиях. Вы запятнали честь офицерского мундира, но еще можете заслужить снисхождение, если скажете нам всю правду.

Микола Сокач ответил на это судье:

— Да, я, к сожалению, был унтер-офицером венгерской армии. Но не сам я пошел в эту армию, меня силой погнало. Что же касается народа, то я, господин судья, никогда ему не изменял, потому что давал партизанам те сведения, какие шли на благо народа, и участвовал только в таких действиях, какие направлены были на освобождение нашего народа. И потом, господин судья, я не знаю, кто именно совершает преступление — народ, который борется за свое счастье, или армия, которая борется против народа. Это — моя правда. Снисхождения себе я не прошу. Приговор вашего суда я знаю и не боюсь его.

И так один за другим — все узники Хуста: мужчины, женщины и даже подростки.

— Ганна Логойда, скажите, что вам известно о партизанах?

— Ничего я не знаю, — ответила осиротевшая мать.

— Как ничего не знаете? Ведь в вашем доме соби-
рался их штаб, там были захвачены с поличным и убиты
ваши нечестивые дети — Юрко и Олена, чешский комму-

нист Поспишил, Степан Чижмарь, Лизанец. Вы знали этих людей!

— Нет, таких, как говорит господин судья, я не знала.

— Как? Вы отрекаетесь от родных детей?

— Нет. Я никогда не отрекалась и не отреклась от родных детей. Юрко и Олена — мои дети. Но господин судья говорит о каких-то нечестивых детях. Таких я не знаю.

— Вас ждет смертный приговор. Вы это знаете?

— Знаю! Но от своих детей я не отступлюсь, и судьба их — это моя, материнская судьба.

Ночью Василя Чижмаря перевели в общую камеру. Но до самого дня суда он не видел никого из заключенных, он не знал судьбы всех подсудимых, как не знал и того, в чем их обвиняют.

Василь тяжело страдал. Он страдал не от тех нечеловеческих мук, какие ему довелось испытать в Хусте и Мараморош-Сиготе. Он был крепкий человек и выдержал все муки и пытки. Не раз он до полного изнеможения доводил своих палачей, но не назвал ни одного имени, не сказал ни слова, какое могло бы повредить делу, которому он служил.

Другое мучило Василя. Перед его глазами все время стояла встреча с братом Степаном на горе Менчул, горькие слова брата и та любовь, какою было окроплено каждое из этих горьких братниных слов. Он непрестанно думал о том, что Степан слишком мягко поступил с ним, что убийство капитана Росса в Копашневе помогло фашистам раскрыть всю подпольную организацию и что он — Василь Чижмарь — совершил непоправимую ошибку.

Долгие были дни и ночи в Хусте, необычайно долги и неимоверно тяжки были дни и ночи в мараморош-сиготской тюрьме. Василь не спал, ходил из угла в угол по камере, останавливался, смотрел на несколько звезд, видневшихся в решетчатом окне его одиночки. «Винювен!» — повторял Василь, и сердце его горело, дыхание замирало в груди, голова пылала огнем. Он подходил к стене камеры и пылающей головой прижимался к холодному камню.

Когда прокурор читал обвинительный акт, Василь Чижмарь вслушивался в каждое слово и уловил то, что

искал. В акте говорилось про чешскую коммунистку Ружену Гланец, которая якобы убила венгерского офицера в Копашневце. «Значит, они ничего не знают», — подумал Чижмарь. Но в этом же акте и такие факты приводились, которые могли стать известны суду только благодаря шпиону, проникшему в их организацию. Это было страшно. Василь, как и все заключенные, пытался угадать, кто же был врагом среди них?

Ночью, когда его перевели в общую камеру, Василь всем сердцем почувствовал поддержку друзей. С ним так тепло говорили, к нему протянулась чья-то рука, и впервые за много дней он закурил сигарету, глубоко затянулся ее ароматным, вкусным дымом. В эту же ночь, улегшись рядом с другими заключенными, он спокойно заснул.

Ему приснился Степан. Как будто они снова встретились на горе Менчул. Но Степан был не такой, как в ту последнюю ночь. Степан был ласковый и добрый, он улыбался Василю, положил ему руку на плечо.

«Так-то, Василь. Я ж тебе говорил, что наши люди все поймут и простят. Нужно только еще тебе, Василь, сделать последнее: ведь ты один остался из тех, что спустились у горы Менчул».

Василь проснулся среди ночи и долго сидел, силясь понять, о чем говорил брат Степан.

На второй день судья вызвал Василя Чижмаря. Василь встал со своей скамьи и, поддерживая вывернутую руку, вышел вперед. И хоть оратор он был неважный, но он понял, что в эти минуты должен говорить хорошо, потому что он будет отвечать и за себя, и за всех товарищей, которых не было в этом судебном зале, и за брата Степана. А Василь знал, что сделал бы и что сказал бы Степан, если бы находился здесь.

— Ваше имя? — спросил судья.

— Степан Чижмарь, — вырвалось у Василя. — Извините, господин судья, — поправился он, поняв, что назвал имя брата, потому что непрестанно думал о нем. — Брата моего Степана вы уже убили. А я — Василь Чижмарь и буду говорить и за себя, и за покойного брата.

Подсудимые подняли головы. Смелый Василь Чиж-

марь, горячая голова у хлопца, хорошо ответил проклятому судье. Кто-то громко прошептал:

— Слышите, сейчас будет говорить про Степана. Ну, ну! Говори, Василь!

Судья позвонил и крикнул:

— Что за шум? Молчать! Вы, подсудимый Чижмарь, должны отвечать суду по существу и только правду.

— А я не приучен врать, господин судья. Буду говорить правду,— сказал Василь спокойно.

— Суд располагает неопровержимыми данными,— начал судья,— что вы были некогда в Испании, а в тысяча девятьсот тридцать девятом году бежали в Советский Союз.

— Это правда,— вздохнул Василь.— Были мы со Степаном в Испании, а в тысяча девятьсот тридцать девятом году вынуждены были бежать в Советский Союз, иначе погибли бы. Да и кто же, кроме советских людей, примет человека, у которого отнимают родину? Мы со Степаном не хотели погибать, как не хотели погибать и другие наши люди. А за Карпатами нас приняли — это правда.

— Суду не интересен вопрос, отчего вы бежали. Мы располагаем данными, что вы возвратились оттуда как парашютисты.

— А какая разница, господин судья,— проговорил Василь,— прилетели мы, или пешком пришли, или ползком приползли. Пришло время, услышали, что тут творится, узнали о новом порядке на Карпатах — и не выдержало сердце. Хорошо, я признаюсь, прилетели мы сюда домой, в Закарпатье.

— Никакого Закарпатья в составе Венгерского королевства нет,— кинул судья.— В составе королевства имеются округа, и нам известно, что вы спустились на территории Хустского округа, у горы Менчул.

— Я, господин судья,— улыбнулся Василь,— не сильно ученый насчет того, как называть родные места. Потому, видите, и путаю. При цесаре были у нас вроде бы комитаты, при чехах — жупы, теперь, говорите, округа? А народ считает по-своему и говорит: что жупа, что комитат — всё на один лад.

Люди на скамье подсудимых заулыбались. «Правду говорит Василь. Не в бровь, а в глаз попал фашистскому судье».

— Молчать! — крикнул Доминич. — Дело не в названии, а в месте. Вы не отрицаете, что спустились в Хустском округе у горы Менчул?

— Где мы спустились, господин судья, ей-ей, не упомяну. Была, знаете, ночь, да еще, знаете, дул сильный ветер: вокруг — лес да скалы, ну, разве разберешь, где спустился? Одно мы знали, господин судья, — очутились мы дома, в Закарпатье.

— Что вы все говорите «мы» да «мы». Кто такие «вы»? От имени кого вы говорите?

— Мы — это я и все эти люди, что сидят на скамье подсудимых и что живут в Закарпатье от Тиссы до перевалов.

— Вы даже географию знаете, подсудимый Чижмарь. Где же вы учились?

— Здесь меня учили палачи да тюремщики, но ничему не научили. По-настоящему же меня научили коммунисты.

— Ответ, вполне достойный бандита. Но кто же все-таки «вы»?

— Украинцы мы, господин судья.

— То есть вы считаете, — уцепился за эти слова судья, — что вы подданный той Советской Украины, что за горами?

— Нет, — вздохнул Василь, — к сожалению, мы не подданные Советской Украины, что за горами, мы — только украинцы, которые живут испокон веку за Карпатами и мечтают о воссоединении с родной землей.

— А пока что вы занимаетесь шпионской деятельностью в пользу этой Советской Украины?

— Не думаю я, господин судья, — ответил на это Василь, — что Советской Украине нужны здесь, за Карпатами, какие-то шпионы. Зачем советским людям такие шпионы? Разве можно скрыть то, что творится у нас, в Закарпатье?

— Вы очень разговорчивы, подсудимый Чижмарь!

— Господин судья, — с горькой иронией сказал Василь, — когда человек знает, что его ждет, а я доподлинно знаю, чего мне от вас следует ожидать, то должен же он хоть раз в своей жизни откровенно высказаться.

— Суд дал вам полную возможность высказаться, — кричал Доминич, — но так и не услышал от вас ни од-

ного правдивого слова и сознания в том, в чем вас обвиняют!

— Ей-ей, я не знаю, в чем нас обвиняют.

— А диверсии?

— Какие это диверсии, господин судья?

— Поджог лесопилки в Серенчевке, поджог в Коропце, в Ключарках, в Верхнем Сарде. Ведь вы участвовали в этих диверсиях, вы знаете все про взрывы, про пожары, убийства?

— Конечно,— согласился Василь.— Я знаю и про взрывы, и про пожары, и про убийства. К чему таиться? Все знаю.

Доминич даже приподнялся в кресле.

— Ну, говорите,— заторопился он.— Говорите, что вы знаете про пожары, взрывы и убийства.

— Если это интересует господина судью,— медленно начал Василь,— я могу сказать, сколько сожжено хат в нашем селе, сколько уже там убито наших людей, сколько сожжено хат по всей Верховине и в долинах, сколько всего убито людей во всем нашем Верховинском крае. Нас всех было, кажется, семьсот тысяч, а за последние годы убито больше ста тысяч. Говорить про все села, господин судья?

— Молчать! — заорал Доминич.— Одно — справедливая кара правительства, а другое — диверсионный акт, направленный против правительства!

— Какая же это справедливость, господин судья, если среди белого дня убивают моего брата и по ветру пускают дом? И разве это диверсия, скажите, если наши люди поднимают руку на поджигателей, вешателей, палачей?

— Я вижу, вы неисправимый преступник,— крикнул судья,— и прекращаю вашу коммунистическую демагогию! Дайте мне только четкий и ясный ответ на несколько вопросов. Вы вели шпионскую работу?

— Нет.

— Вы осуществляли диверсии?

— Нет.

— Садитесь. Кому я говорю, садитесь! — закричал судья.

Составленный за несколько дней до начала суда, согласованный с Хорти и его министрами, тщательно отпечатанный судебный приговор читал председатель су-

да Доминич. На его лице не шевельнулся ни один мускул, и он был совершенно спокоен, оглашая смертный приговор тридцати четверем закарпатцам, а еще четверемстам подсудимым — заключение в лагерях смерти. Кетилалтоли голал¹ — эти слова глухо и страшно прозвучали в переполненном зале.

Никто из подсудимых не дрогнул. Люди, часть которых носила славное звание коммунистов, и те жители Верховины и долин, которые не были коммунистами, но верили, что в грядущих боях победят только коммунисты, — стояли плечом к плечу, сжав кулаки, без единого слова.

Доминич положил бумагу с текстом приговора на стол и долгую минуту ждал. Он надеялся, что в зале начнется крик, что этот смертный приговор сломит последние силы подсудимых, что кто-нибудь из них не выдержит, закричит, хотя бы скажет слово.

Осужденные молчали. Доминич повернулся и пошел к выходу. Один из членов суда нагнулся к свечам и начал гасить их.

И опять по камерам Мараморош-Сигота забежали фашистские адвокаты, уговаривали осужденных покаяться, добавить хоть что-нибудь к тому, что говорилось в обвинительном заключении, выдать других, за что обещали смягчение приговора; они, наконец, уговаривали осужденных подать прошение правительству и Хорти, чтобы им «кетилалтоли голал» заменили на «гольоалтоли голал»². Осужденные смеялись, услышав эти слова от фашистских наймитов.

Под стенами тюрьмы, на широкой площади в Сиготе и на окраинах города, в убогих лачугах, ждали родные осужденных. Несколько матерей, знавших о приговоре, заливались слезами; глядя на горы и долины, видя солнце над головами, они думали — что им делать? Тратя последние гроши, выбиваясь из сил, они умоляли шоферов подвезти их до Ужгорода.

Три дня и три ночи у ворот епископской резиденции

¹ Кетилалтоли голал — смертная казнь через повешение (венгерск.).

² Гольоалтоли голал — смертная казнь через расстрел (венгерск.).

в Ужгороде стояли женщины, матери из долин и с Верховины.

В небе сияло безжалостное, жаркое солнце, но еще более жаркий огонь жег сердца матерей — их дети были осуждены в Мараморош-Сиготе на смертную казнь, и матери не знали даже, живы ли еще они.

Великое, святое материнское чувство привело их сюда, к епископской резиденции в Ужгороде. Они думали, что если суд в Мараморош-Сиготе так несправедлив и безжалостен, то, может быть, владыка мукачевский, который все время твердит о любви и сочувствии к страдающим, смилостивится над ними и возвысит свой голос за то, чтобы у детей их не отнимали жизнь.

В прошении, которое родные осужденных вручили епископу Федору, писалось, что все матери долин и Верховины покорно умоляют его святейшество заступиться за их сынов и просить королевские власти отменить им смертный приговор.

В течение трех дней и трех ночей никто не вышел из епископской резиденции к матерям, и никто за эти три дня и три ночи не сказал им ни слова.

Настал день четвертый, и снова целый день простояли матери перед железными решетками; за ними виден был сад, посыпанные песком дорожки, газоны и пышные цветы. Видели матери и священников, которые прохаживались в тени деревьев, видели однажды и епископа — он тяжело спустился по ступеням, сел в автомобиль, куда-то уехал и через час возвратился в свою резиденцию. Но он даже не взглянул на несчастных.

Только к вечеру, когда над Карпатами густо засинело небо, а на западе зажегся багряный пожар, из ворот епископской резиденции вышел высокий темно-волосый священник, по своей одежде и внешнему виду похожий на монаха. Это был о. Никодим, советник епископа Федора.

— Что вам нужно? — спросил он женщин, окинув их пронизывающим взглядом.

— Наших сыновей и мужей присудили в Сиготе к смертной казни, — заговорили женщины. — А пришли мы к его преосвященству владыке просить, чтобы их помиловали, оставили им жизнь.

Отец Никодим стоял у ворот, и в темных глазах его играли зловещие отсветы багряного пожара на западе.

— За кого просите? — сказал он. — О чем просите? И кто вы сами, жены? В Сиготе, как нам ведомо, судили безбожных коммунистов или тех, кто сочувствует коммунистам, а на них нет и не может быть божьей благодати, ибо это чудовища, проклятые богом. И не вы ли, сюда приходящие, сами являетесь пособниками коммунистов, посланцами дьявола? Ступайте прочь! Его пресвященство не может вас принять, он молится денно и нощно за другие души...

5

Жандармы сказали:

— Через полчаса их казнят, а сейчас вам разрешается свидание с ними.

Они вывели из подвала мать Гаврила Логойды — Ганну, его сестру, жену Василя Жупана. На улице, у тюрьмы, уже несколько дней дежурили отец Михайла Сирка — старый Илья Сирко, и брат Василя Жупана — Осип. Жандармы издевались над ними, вымогали взятки, а когда забрали все деньги, какие были у Сирка и Жупана, тогда захотели еще и «румынки». Старый Илья и Осип напоили жандармов, и они пустили их в тюрьму.

Жандарм, стоявший у входа в маленькую комнатку, вынул часы и предупредил:

— Ровно три минуты! Не больше!

У стены стояли пять осужденных — Михайло Сирко, Гаврило Логойда, Василь Жупан — с одной стороны, Микола Сокач и Василь Чижмарь — с другой, под окнами. Молодые подпольщики Закарпатья держались достойно и мужественно. Они хотели, чтобы близкие люди тоже видели их такими. Гаврило Логойда, несколько дней перед тем болевший, надел новый, темный костюм, который ему привезли в тюрьму соседи, побрился. Был чисто, тщательно выбрит и Василь Жупан, одетый в темные брюки и белую чистую сорочку. Глубокая рана, рассекавшая правую щеку Миколы Сокача, все не могла закрыться, но он стоял подтянутый, в военном мундире, с которого были сорваны только серебряные звездочки на воротнике. Один Михайло Сирко был в той же одежде, в какой вышел из дому. Василь Чижмарь стоял внешне спокойный, задумчивый, но такой бледный,

что все лицо его сливалось в одну белую маску. Выделялись только темные усики и борода.

Три минуты! Что можно сказать за этот срок в обычных условиях? Что можно сказать за этот срок перед лицом смерти?

— Сын мой! Любимый мой! — первая обратилась к Гаврилу Ганна Логойда. — Вот и уходите вы один за другим... Юрко, Оленка, а теперь и ты. Давай попрощаемся, сын!

Отец Михайла — Илья — стоял с торбочкой в руках перед сыном и не знал, что ему сказать.

— Я вот тебе новую сорочку принес, — наконец выговорил он.

— Вот и хорошо, отец! Спасибо! — Михайло спешил. Лицо его было серьезно и строго. — Мы, отец, — продолжал он, — сделали все по правде, а вы позаботьтесь о том, чтобы наши тела здесь на чужбине не тлели, а чтобы были на родной земле.

— Обещаю, — ответил отец. — И прости меня, старого!

Ганна Логойда кинулась на грудь сыну. Илья Сирко перекрестил, обнял и поцеловал сына, сделал еще шаг и поцеловал Василя Чижмаря, Логойду, Жупана. Василь Жупан глядел в глаза брату и говорил:

— Мне, Осип, не страшно. Только одного я боялся, — что меня повесят. Нынче сказали — будет расстрел. Поцелуй мать, сестер, братьев. Пусть не гnevаются на меня, если в чем провинился.

— Три минуты кончились! — крикнул жандарм.

— Сын мой, сын! — протянул руки Илья Сирко.

Во дворе тюрьмы собрались магнаты, имевшие виллы в окрестностях Сигота, там, где начинаются живописные, покрытые зелеными лесами отроги Трансильванских Альп. Тут были владельцы особняков с Королевской улицы, торгаши с Базарной площади, чиновники окружного управления, нотариата, финансовой дирекции, наместник Сиготского греко-католического округа со всем своим клиром, духовные отцы римско-католической церкви, монахи и монахини.

Все эти люди пришли посмотреть, как будут казнить непокорных русинов, и не одни, а с женами и детьми.

Все они принарядились, чтобы покрасоваться друг перед другом и одновременно поговорить на этом многолюдном сборище о собственных делах; духовенство, как на церковную службу, надело лучшие рясы, белые как снег воротнички.

Среди этого сборища не было, правда, людей, ломающих камень в карьерах под городом, не было лесорубов, работающих в горах, не было сплавщиков с Тиссы и тех убогих селян, чьи огороды, точно заплаты, облепили богатые кварталы города. Но господа считали, что это и к лучшему!

Вся эта пестрая, шумная толпа разместилась в одном конце тюремного двора. Перед толпой, как стены огромного коридора, тянулись серые корпуса тюрьмы, посреди — широкий двор, а в конце его — виселица.

Во дворе внезапно раздалась барабанная дробь, и из корпуса, прилегающего к улице, вышли, по два в ряд, жандармы. Еще минута — и один за другим вышли пятеро осужденных.

— Ведут! Ведут! Смотрите! — слышалось в толпе.

Осужденные, выйдя во двор, на мгновение остановились, окинули взглядом толпу и стены. Затрещали барабаны, что-то крикнул офицер, шедший во главе жандармов, и пятеро двинулись вперед — тесно друг к другу.

В конце двора, под глухой стеной, недалеко от виселицы, где еще оставалось свободное место и куда как раз в эти минуты проникали солнечные лучи, освещая зеленую траву, жандармы остановили осужденных и поставили их лицом к толпе: с правого края Василь Чижмарь, за ним Гаврило Логойда, Василь Жупан, Михайло Сирко — все четверо высокие, стройные, молодые, а с левого края — Микола Сокач, русоволосый юноша.

— Видите? — спросил Чижмарь.

— Глядите, сколько их собралось, — ответил, прищурясь, Гаврило Логойда.

— В корпусах наши люди! — сказал Чижмарь.

— Услышат ли? — спросил Гаврило Логойда.

— Услышат, — проговорил Василь Жупан.

К осужденным направился греко-католический священник, сам наместник Сиготского округа. Тюремная администрация уже перед этим приглашала его исповедать и причастить осужденных к расстрелу, но они от-

казались говорить со священником. Теперь он снова появился.

Офицер читал приговор. Королевские власти заменяли осужденным смертную казнь через повешение смертной казнь через расстрел. Когда офицер кончил читать, наместник высоко поднял серебряный крест, ярко засверкавший под жаркими лучами солнца, и двинулся к арестованным, точно хотел их благословить. Он сделал шаг, второй, третий...

И вдруг священник отвернулся от осужденных и широким взмахом креста благословил не их, а тех жандармов, что стояли против узников с винтовками в руках. После этого он опустил крест, отошел к толпе зрителей и стал впереди.

Осужденным завязали глаза. Офицер тихо проговорил: «Жандармы!» — и медленно вынул из ножен саблю.

Василь Чижмарь крикнул первым, его поддержали все осужденные:

— Народа вам не убить! Да здравствует народ! Да здравствует Советская Армия — освободительница!

Офицер быстро взмахнул над головою саблей. Ему очень хотелось увидеть, как будут умирать осужденные русины, но долг подсказал ему смотреть в другую сторону — на жандармов, которым предстояло исполнить приговор. Чутье опытного жандарма не обмануло его: сперва, когда он взмахнул саблей, подавая этим команду, на осужденных было направлено двадцать винтовок, но в последний момент дула трех винтовок опустились к земле, и стреляли — позор королевской жандармерии! — только семнадцать винтовок. Офицер мгновенно подсчитал, какие именно жандармы не стреляли: второй, четвертый и пятый... Трое из осужденных упали на землю; Василь Чижмарь и Микола Сокач продолжали стоять.

— Да стреляйте же! Стреляйте! — вне себя закричал офицер.

Прозвучал второй залп. Василь Чижмарь и Микола Сокач повалились на зеленую траву.

Они были мертвы, однако, по приказу офицера, один из жандармов вынул из ножен саблю и отрубил голову Миколу Сокачу. Микола Сокач служил в венгерской армии, и палачи хотели надругаться над ним и запугать

тех офицеров и солдат, которые вздумали бы бунтовать.

Вечером, когда совсем стемнело, из задних ворот тюрьмы выехали три телеги с трупами расстрелянных во дворе сиготской тюрьмы. За ними из ворот вышел отряд жандармов и кучка людей с заступами на плечах.

Покачиваясь на ухабах, телеги проехали по узким, глухим улочкам северной окраины города, где не видно было ни души, потом свернули к полотну железной дороги, спустились под насыпь и наконец остановились посреди пустыря, поросшего редким кустарником.

Жандармы приказали людям, пришедшим с заступами, рыть могилу, а сами стояли, покуривая сигареты, изредка перебрасываясь словами, пока на сером фоне пустыря не зачернел квадрат неглубокой ямы. Тогда они приказали снять с телег пять гробов и поставить их в ряд, на дно ямы.

Застучали комки земли о гробы, потом земля посыпалась глухо, после этого жандармы еще утоптали свежую землю ногами, трамбуя ее, заговорили громче, отпустили телеги, а сами погнали людей с заступами на плечах назад, в тюрьму.

Вот они исчезли в тусклой дали; над пустырем некоторое время стояла напряженная тишина; где-то на станции свистнул паровоз; где-то в городе слышался крик; далеко в небе прогудел самолет. Но все эти шумы и звуки были, казалось, из другого мира. На пустыре стояла полная тишина.

Но вот слышались шаги. В полутьме появилась одна фигура, вторая. Двое неизвестных миновали кусты и остановились там, где только что в землю легли пять трупов.

— Здесь! — слышался голос Осипа Жупана.

— Боже мой! Боже мой! — с отчаянием воскликнул старый Сирко.

Они стояли среди ночи на пустыре за Сиготом, перед черным квадратом.

— Так возьми же наши вешки, — сказал Илья Сирко, — и позакапывай в углах, чтобы найти место, когда придут наши.

Он склонился к земле. Осип Жупан взял вешки, которые принес с собой, и закопал их в рыхлую землю, во всех четырех углах могилы.

Старый Сирко по-прежнему стоял на коленях. Прижавшись лбом к земле, он, казалось, старался услышать то, чего не успел услышать от сына, и что-то шептал, точно хотел высказать сыну все наболевшее у него на сердце.

Так заканчивается повесть о пятерых мужественных и бесстрашных людях, расстрелянных одним весенним днем во дворе тюрьмы в Сиготе. Но в стенах тюрьмы оставалось еще много узников, осужденных фашистскими палачами на смерть, в концлагери, на каторгу.

Больше месяца еще продержали их в камерах сиготской тюрьмы. К ним снова и снова приходили адвокаты, греко-католические попы, вымогая сознание в преступлениях и подговаривая выдать товарищей.

Но ни один из узников сиготской тюрьмы не сказал ни слова, которое пригодились бы палачам. Вечная слава и память героям!

Палачи жестоко казнили всех осужденных. Приговор был приведен в исполнение в один и тот же день в тех селах, где эти люди родились, где жили их братья, их родня.

По приказу полковника Кричфалуши жандармы погнали грузовики дорогой из Сигота на север. В каждой из машин находились узники.

В Хусте, у Замковой горы, жандармы поставили перед памятником из гранита с краткой, но красноречивой надписью «1915» заключенных Дякуна, Калинича, Батына.

Прозвучал короткий залп — и не стало сынов Верховинского края. Хоронить их было запрещено, но бедняки Хуста, жившие подле Замковой горы, ночью взяли на руки мертвых, вынесли их на склоны горы и похоронили там, откуда видна вся долина Хустца и далекие горы.

Затем жандармы остановились в Севлюше и свели с машины Марию и Сирену Фаркаш, Олену Гендеру и Марию Шварц, доктора Лезмана и Михайла Гичку. Залп — не стало и этих людей!

В Текове они расстреляли еще троих — Михайла Панька и Юрия Уйфалуши, отца, вместе с сыном его, также Юрием Уйфалуши.

Перед смертью отец сказал сыну:

— Не бойся, Юрко! Пусть они боятся нашей честной смерти, сын!

В темную, беззвездную ночь жандармы вывели из сикотской тюрьмы всех остальных узников — тех, кто был осужден на пожизненное заключение в концлагери и на каторгу.

Тайком, больше ночами, гнали жандармы Кричфалуши узников Закарпатья. Не все эти люди могли уже идти; один поддерживал другого; мужчины помогали женщинам; молодые люди вели под руки стариков.

В колонне узников шли дядько Гнат из Хуста, Дмитро Вакаров, копашневцы, селищане, боронявцы, лесорубы и сплавщики леса. Рядом с Ганной Логойдой и ее дочерью шел доктор Арпад Доломаш. Он видел, как подкашиваются ноги у матери убитых детей, и взял ее под руку.

— Держитесь, Ганна!

— Держусь! — проговорила Ганна Логойда. — Только зачем?

— Жить нужно! — сказал доктор Доломаш. — Слышите, что делается за Карпатами?

В ночной тишине слышен был лязг оружия жандармов, топот множества ног, вздохи, чей-то приглушенный плач.

Но не только эти звуки всплесками рождались в тишине. Где-то далеко за Карпатами гудела земля, там били и били орудия, точно кто-то глухо ударял молотом о наковальню.

— Стучатся в двери нашего дома! — сказал доктор Арпад Доломаш. — Слышите, Ганна? Это идут нам на помощь.

В небе мерцали сполохи, словно там раз за разом вспыхивали молнии. Заключенным запрещено было обращаться, и они замечали только, как пляшут отсветы на темных фигурах людей и на штыках и винтовках жандармов.

«Звездная крепость» Комарно, концлагери Даутмергена и Шердингена, — что сулило им неведомое, страшное будущее?

Регентский комиссар Вильмош Томчани и начальник кемельгарито Сейкель Дьюло, полковник Кричфалуши и Андрей Бродий, епископ Федор и его подручные отцы

Александр Ильницкий и Юлий Марина, функционеры АЗС и греко-католические попы — все они, как вороны, что клюют людям сердца и очи, ждали награды из Будапешта за все совершенные ими преступления.

Долго ожидать награды не пришлось. За горами все громче и громче гудело и ревело, над долинами в недосягаемой вышине, начали появляться разведчики со звездами на крыльях; по всему Закарпатыю, как и по всей Венгрии, было беспокойно.

Из Будапешта пришла телеграмма о том, что в Ужгород прибудет статс-секретарь совета министров королевства — Патаки. Ранним утром на аэродром явилось все местное начальство — чиновники во главе с Томчани, жандармские офицеры, предводительствуемые Кричфалуши, духовенство под началом епископа Федора, члены президиума АЗС вместе с председателем Бродием.

Все они внимательно следили, как на горизонте появился один из самолетов, подаренных Гитлером Хорти, как он сделал неширокий круг над долиной Ужа, как пошел на посадку и как, наконец, покатился по асфальтовой дорожке аэродрома. Тогда ужгородские начальники, как псы, спешащие на поживу, кинулись к самолету, окружили его, штатские согнули спины, сняли шляпы, военные вытянулись, как по команде «смирно».

Из кабины самолета вышел статс-секретарь совета министров, господин Патаки, немолодой уже, хорошо откормленный, элегантно одетый панок из Будапешта. Он тепло поздоровался со всеми значительными особами, встречавшими его, пожал им руки и прошел к автомобилю, который немедленно тронулся. За ним стайкой, точно черные, синие, коричневые жуки, покатали прочие машины.

И в регентском комиссариате, и в кемельгарито, и в жандармерии, и даже в епископской резиденции весь день только и было разговоров, что про статс-секретаря и цель его приезда. Но никто толком не знал, зачем прилетел пан Патаки, какие меры предпримет он здесь, что сулит каждому его приезд. И сам статс-секретарь вел себя более чем странно, — расположившись на даче регентского комиссара, он в первый день никого не принимал, не побеседовал даже с самим регентским комис-

саром. Он только предупредил Томчани, что просит вечером собрать доверенных лиц — по списку, привезенному им из Будапешта.

Вечером указанные особы собрались в просторном, тихом кабинете регентского комиссара. Господин Патаки приехал из загородной дачи и прошел в кабинет последним. Все вытянулись, замерли, увидав в дверях статс-секретаря.

Если поглядеть со стороны, это был подлинный спектакль, цирк. Вильмош Томчани почему-то надел ради этого собрания рясу священнослужителя, отцы Александр Ильницкий и Юлий Марина были сильно под хмельком и выглядели, наоборот, как миряне, полковник Кричфалуши нафиксатуарил усы, брови, нацепил на грудь все регалии и напоминал размалеванного клоуна, пан Бродий и все члены президиума АЗС выстроились вдоль стены в черных сюртуках, сами черные, точно трубочисты или служащие похоронной конторы. Только генерал Винце выделялся из этой компании — он стоял в стороне, держался уверенно, и по лицу его блуждала улыбка.

В кабинете были опущены шторы, на паркете лежали тяжелые, толстые ковры, воздух был сухой и спертый. И когда статс-секретарь сделал шаг, и второй, никто не услышал их.

Но все слышали каждое слово, сказанное в этот вечер статс-секретарем Патаки. От имени самого Хорти он передал всем особам, бывшим в кабинете, благодарность за раскрытие в Закарпатье «враждебной русинской организации», оценил деятельность каждого из присутствовавших здесь как подлинный подвиг во имя королевства и начал называть фамилию за фамилией и награды, которых эти особы удостоились.

«Рыцарь... орден Обороны... Веры... Креста...»

Регентский комиссар, полковник Кричфалуши, Сейкель Дьюло, Андрей Бродий вытянулись так, что даже позвонки у них трещали.

Дальше статс-секретарь совета министров прочитал указ регента. Указ этот ошеломил всех присутствующих, и, в первую очередь, регентского комиссара Вильмоша Томчани, как удар грома. В указе говорилось, что, по собственному желанию и вследствие долгой болезни, регентскому комиссару дается отставка с сохранением

за ним пожизненно его оклада и что совет министров королевства назначает регентским комиссаром генерала Винце.

После этого сообщения в кабинете наступила неловкая пауза.

— Благодарю! — вырвалось у Вильмоша Томчани, но эти слова прозвучали бледно и смешно.

— Поздравим нового нашего регентского комиссара, — предложил статс-секретарь Патаки.

И тогда все зашевелились, начали подходить к генералу Винце. Первым подошел полковник Кричфалуши, за ним Андрей Бродий, дальше Сейкель Дьюло, а там отцы Александр Ильницкий и Юлий Марина. Все они с силой, пропорциональной их обиде и неприязни, пожимали руку новому регентскому комиссару.

Поединок между господами Винце, Кричфалуши и Бродием, казалось, был закончен. А между тем, пожалуй, именно в эту минуту между ними и началась настоящая и уже последняя схватка.

7

В глубоком забое солотвинской шахты «Людвиг» находилось несколько рабочих. Невдалеке от них на глыбе соли сидел и курил сигару десятник шахты, известный под кличкой «Ганс проклятый». Он равнодушно посматривал на рабочих, на стены штольни и время от времени покрикивал: «А ну, живее, живее!»

Здесь, под землей, на глубине полутора метров, терялось ощущение времени: слабым желтоватым светом горели лампочки солекопов, отсвет огней тускло играл на больших глыбах соли, длинные тени двигались и колыхались на стенах и на потолке огромной, похожей на зал штольни.

Вверху, над землей, всходило и заходило солнце, где-то там день сменял ночь и за днем снова приходила ночь, а здесь, под землей, люди не знали ни радости рассвета, ни тихого спокойствия вечера; не переставая, здесь шла работа; не переставая, в лабиринтах подземных коридоров гремели кайла и кирки, поблескивали слабые огоньки ламп, а еще глубже клубились сумерки, мгла и холод ночи.

Глыба, которую отбивали рабочие, оторвалась с грохотом и треском, как волна, внезапно обрушившаяся на камень. Не только этот грохот и треск напоминали море. Глыба упала, разбилась, рассыпалась и потекла вниз по склону штольни ручьями; ручьи мерцали, сияли и играли, как струйки воды, которые бегут и бегут по песку, когда на берег нахлынет, а потом отступает назад, к морю, буйный вал. И пахло здесь, как на берегу моря. Да разве эта глыба и не была окаменевшей волной гигантского моря, которое бушевало и пенилось в давно минувшие века над Карпатами?

Когда эхо обвала прокатилось по подземным коридорам, несколько раз повторилось там и наконец затихло вдали, Ганс деловито обошел новую соляную россыпь, обмерил ее, записал что-то в книжечку.

— Что ж, шабаш! — заметил он и усмехнулся. — Если хотите, можете спать. Завтра мы начнем новый пласт. Метр ширины и восемнадцать по горизонту. Поняли?

Высоко держа над собой лампочку, он направился по штольне к выходу. Ганс хотел теперь одного — скорее добраться до главной шахты, сесть в клеть, подняться наверх. Ему не было дела до солекопов — кто из них поднимется на-гора, кто будет спать здесь, под землей — на глыбах соли, в холоде и сырости подземелья.

Рабочие глядели вслед десятнику, пока огонек его лампочки не исчез в конце штольни.

— Проклятый! — сказал один из солекопов. — Он так своего добился, сегодня было двенадцать по горизонту, завтра хочет перейти на восемнадцать. Но ничего, он еще получит свои два метра. Однако мы, пожалуй, запоздали. Который может быть час? Вечер или ночь?

— Мы, конечно, запоздали, — проговорил другой солекоп, — но все же они нас ждут. Бросай кирки и отбойные молотки. Вот так! Мы пошли спать, проклятый Ганс, слышишь, спать!

Рабочие прошли по штольне, свернули в поперечную, боковую, меньшую, попали в подземный зал, где мастера-солекопы некогда вырубили из соли и оставили на память будущим поколениям несколько гигантских статуй. Здесь они недолго постояли, как бы осматривая статуи. Погасла одна лампочка, погасла вторая. Вокруг была пустота, холод, ночь.

Но они уверенно двинулись вперед среди этой тем-

ноты и пустоты. Солекопы знали тут каждую штольню, запутанный подземный лабиринт, еще они знали то, о чем даже и подумать не могли ни Ганс, ни какой-нибудь другой десятник.

Потайным подземным коридором солекопы проникли в шахту «Кунигунда». Там их ждали три товарища — Степан Шегута, Михайло Волощук и Василь Сокол.

Несколько лампочек стояли на глыбах соли; свет пронизывал глыбы насквозь, и они казались вырубленными из льда. Это была мокрая штольня, и на стенах ее выступала роса. Капли падали и падали с потолка, со стен; где-то в канавке журчал ручей.

— Вот и снова мы собрались,— сказал Шегута, поздоровавшись с рабочими, которые пришли из шахты «Людвиг».— Садитесь, товарищи, наш комитет вроде бы в сборе.

Внешне Шегута сильно постарел и переменился за последнее время. Седина уже густо покрыла его виски, глубже стали морщины на лице, глаза горели лихорадочным огнем. И товарищам, которые пришли с ним, тоже немало, видно, пришлось пережить. Рабочий Бычковского химического завода Василь Сокол то и дело сдерживал кашель, у Волощука на лбу был глубокий шрам. Солекопы устали, были истощены чрезмерной работой.

— Да,— продолжал Шегута.— Они опять похваляются, что уничтожили наш комитет, разгромили партизанский штаб и всю нашу организацию. Пан Бродий вчера выступал по радио из Будапешта. Если верить ему, то мы все уже не существуем, все уже мертвы...

Руки тяжело лежали на острых коленях солекопов. Василь Сокол вглядывался в глубину штольни; Михайло Волощук, казалось, считал капли — они падали и падали с потолка. Но в одну минуту лица у них словно переменялись. Вдохнул один рабочий, другой, в глазах у них вспыхнул гнев.

— Случилось большое, непоправимое несчастье,— продолжал Шегута,— в Хусте, Мукачеве, Севлюше, в десятках сел. Это так. Логойды, Сирко, Жупан, Чижмар, руководители подпольных групп, передовые члены нашей организации погибли,— это жестокая правда, и ее мы не скрываем. Это не слепой случай, это не промах одного человека или отдельной организации — это наше

огромное поражение, результат длительной подрывной работы наших врагов.

— Но кто мог это сделать, Степан? — спросил Волощук. — Кто продал наших людей?

Шегута посмотрел на Михайла Волощука долгим, пронизательным взглядом и ответил не сразу.

— Я припоминаю, — сказал он, — как нам когда-то, и не раз, говорил Олекса Борканюк: «Смотрите, чтобы в наши ряды не проникли вредные, вражеские элементы и чтобы среди наших людей все время велась политическая работа, ибо без этого нашу организацию может постичь неудача и большое несчастье». Мы, товарищи, не выполнили этого наказа Олексы. Наши организации росли с каждым днем, но мы не всегда проверяли наши ряды, слишком доверяли людям, которые приходили к нам. А проверять нужно было делом, кровью, жизнью.

Он замолчал, раздумывая, наверно, о событиях последних месяцев.

— Семья Логойд, братья Чижмари, Василь Жупан, Михайло Сирко, наш друг Франтишек, Арпад; все те, кто погиб в Хусте, Сиготе, Севлюше; все те, кого сейчас жандармы Кричфалуши передают эсэсовцам, — какие это чудесные люди, они до последней капли крови и до последнего биения сердца боролись и борются за счастье народа, за воссоединение с нашими братьями за Карпатами. Когда-нибудь история расскажет суровую, величественную правду о них; новое поколение поставит памятники этим простым нашим людям и вычеканит золотом их имена.

Со свода падали и падали капли, где-то монотонно журчал и журчал ручей, глыбы соли отсвечивали нежным голубым сиянием.

— Но фашисты ошибаются, если думают, что наш комитет, наш партизанский штаб и наша организация уничтожены, — продолжал Степан Шегута. — Нет, организация наша живет и будет жить, никто и никогда не сможет ее уничтожить. Я только что был в Хусте, Севлюше и Мукачеве. На место тех, кто пал, стали уже новые товарищи. Как у вас, в Великом Бычкове?

— Завод снова не работает, — улыбнулся Волощук.

— А Солотвино?

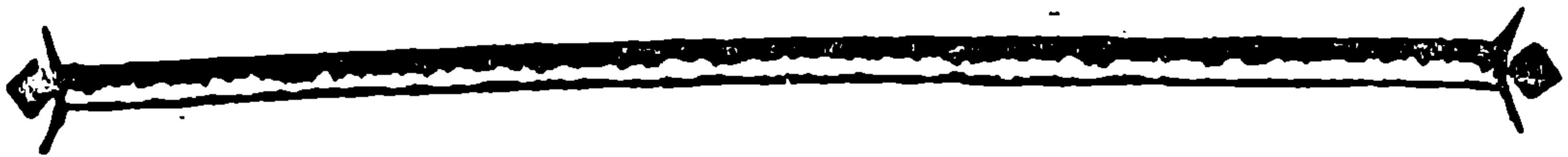
— Мы готовы, Степан. В штольнях припасено и оружие. Ждем сигнала.

— Турянщина?

— В районе Великой Дежи весной спустился отряд наших людей,— доложил Василь Сокол.— К сожалению, этот отряд не смог наладить связь с нами и мы не могли разыскать в лесах этих друзей. Им пришлось возвратиться за Карпаты. Были и жертвы. Но несколько дней назад на полонине Руно мы за одну ночь приняли три отряда, пятьдесят человек. Все это— опытные, вооруженные люди, сейчас все они находятся в надежных местах.

Ласковая улыбка пробежала по лицу Шегуты.

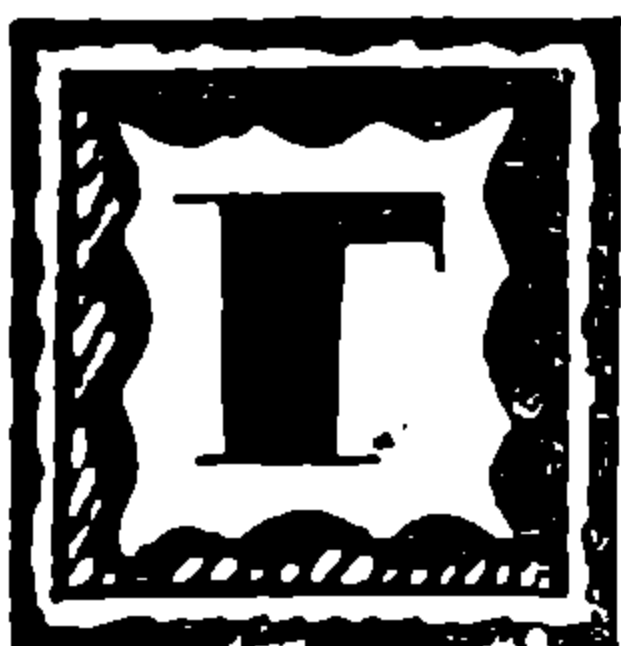
— Да,— сказал он.— Я и хотел, чтобы эту новость узнали вы все, товарищи. Пришла весна. Мы понесли большие потери, но наша организация крепка и тверда. Мы — не одни, товарищи! Советская Армия освободила Крым, вышла на Прут, достигла Карпат и вышла на берега Серета. Там, на фронте, решается наша судьба. А что делается здесь? Ты сказал, Василь, что пятьдесят товарищей прибыло из-за Карпат. Эти люди побывали в Советском Союзе, они сумеют повести на бой тысячи наших людей. Пришло время сделать наши партизанские отряды боевыми, действенными. Краевой комитет приказывает начинать всенародную партизанскую борьбу, идти в леса, идти в горы, начинать такую войну, чтобы громом гремели Карпаты. Пусть беснуются винце и кричфалуши, пусть им кажется, что они победили. Нет, как ни велики наши потери, но сегодня мы можем сказать: фашисты и все их прихвостни в Закарпатье уже проиграли свою игру, а мы выиграли и скоро победим окончательно!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

1



енерал-лейтенант Андрош Винце не случайно был назначен регентским комиссаром Закарпатья на место бывшего священнослужителя Вильмоша Томчани.

И в Будапеште и в Берлине доподлинно было известно, что делается в горах и в долинах Закарпатья. В ре-ляциях регентского комиссара Томчани превозносилось и восхвалялось торжество «нового порядка» в Закарпатые; brave рапорты полковника Кричфалуши пестрели фактами новых и новых успехов жандармерии и лично его — Кричфалуши — по части ликвидации коммунистической организации и партизанского движения в Закарпатые; в ежедневных своих сводках, так же как и во всех парламентских выступлениях, Андрей Бродий с пеной у рта доказывал, что это он и его партия АЗС имеют наибольшие заслуги в борьбе с русинизмом; резиденция епископа мукачевского Федора хвасталась подвигами греко-католического воинства.

Никто из них не лгал, и каждый по-своему говорил правду. Пройдут десятки лет, но трудящиеся Закарпатья не забудут регентских комиссаров, насаждавших здесь фашизм; не забудут душепродавца Андрея Бродия, который повинен в смерти тысяч их отцов и братьев; не

забудут палача Кричфалуши-Габаря; не забудут и греко-католического воинства, которое под голубиными крыльями скрывало яд и нож. Все они в свое время говорили правду хозяевам из Будапешта и Берлина, огнем и мечом пройдя по Верховине и долинам.

Только в одном они ошибались: как ни хвастали они своими победами, как ни расписывали «окончательный разгром коммунистической организации и партизанского движения», — организация жила и действовала; не была и не могла быть уничтожена коммунистическая партия; не было и не могло быть уничтожено партизанское движение; не могло быть уничтожено то светлое и непобедимое, что носил в себе столетиями народ.

Вот почему, с точки зрения фашистов, генерал Винце был на голову выше и Томчани, и Кричфалуши, и Андрея Бродия, потому что он писал в Будапешт правду:

«Я считаю, что меры, принятые регентским комиссаром Вильмошем Томчани, а также полковником Кричфалуши и Бродием в отношении русинского меньшинства, не дали желательных результатов, потому что здесь, на Карпатах, речь идет и может идти только об одном — о физическом уничтожении или выселении с гор и долин всех жителей, именующих себя украинцами...»

Именно поэтому, а также и потому еще, что генерал Винце неоднократно намекал в Будапеште, что только он способен и берет на себя истребление края с населением в семьсот тысяч человек — он и был назначен регентским комиссаром.

В первые же дни по назначении своем на новый пост генерал Винце созвал совещание. Оттягивать это ему никак не приходилось — стояло позднее лето 1944 года, сводки с фронтов были самые неутешительные: Советская Армия подошла уже вплотную к линии Арпада; Будапешт и Берлин требовали от своего наемника действий.

Задумываться над тем, на кого должен опираться генерал Винце в своих мероприятиях, ему не приходилось. В кабинете нового регентского комиссара собрались его вчерашние враги и соперники — полковник Кричфалуши, Сейкель Дьюло, Андрей Бродий, святые отцы Александр Ильницкий и Юлий Марина.

Все они так тепло, сердечно, откровенно глядели в глаза друг другу, а больше всего в темно-карие, увели-

ченные стеклами очков глаза генерала Винце. И они так любезно улыбались, говорили другу другу такие приятные вещи...

— Я собрал вас, господа,— начал после обмена приветствиями Андрош Винце,— чтобы поговорить с вами об очередных задачах нашей политики в Закарпатье.

— С великою радостью,— пробасил о. Александр Ильницкий.

— К вашим услугам,— вскочил полковник Кричфа-луши.

— От всей души и от всего сердца,— так и расцвел в улыбке Андрей Бродий.

В кабинете Винце было тихо. Из трех широких окон кабинета открывался вид на долину реки Уж, на городские кварталы по левому берегу реки, на далекие голубые горы.

— Сердечно благодарю за приветствия и надеюсь на всестороннюю вашу поддержку и помощь в доверенной мне работе,— продолжал генерал Винце.— Ведь все вы остаетесь на своих постах, господа. И я не мыслю даже предпринимать что-нибудь в Закарпатье без вашей помощи. А перед нами множество дел. Наше положение, как правителей прифронтовой провинции королевства, обязывает нас к действиям в широком масштабе. Ведь мы, по сути, находимся на фронте, и все здесь должно делаться по-военному.

Генерал Винце окинул взглядом лица собравшихся в кабинете.

— Я понимаю,— скрывая усмешку, сказал он,— что вы, господа, уже много сделали для процветания Закарпатья. Но это были только первые шаги, это была только подготовка.

Эти слова прозвучали как вызов всем присутствующим. Десятки тысяч расстрелянных и повешенных, сотни сожженных сел, истребление ценностей Закарпатья, наконец последнее хустское дело,— а генерал Винце говорит, что это только подготовка!

Но никто из них не сказал ни слова, на лицах присутствующих по-прежнему сияли благожелательные, ласковые улыбки.

— На войне все должно быть, как на войне,— говорил регентский комиссар, заметно любуясь своей воен-

ной выправкой.— Военная обстановка подсказывает нам...

И дальше он говорил уже не от своего имени, а раздел за разделом читал приказ, прибывший прошлой ночью из Будапешта и завизированный Берлином.

— «На территории всех округов, которые граничат на востоке с линией фронта, следует оставить только необходимые для армии предприятия, а все остальные — в кратчайший срок демонтировать и срочно отгрузить на запад, в глубокий тыл».

— «В интересах усиления экономического и военного потенциалов,— читал дальше генерал Винце,— необходимо объявить в этих округах мобилизацию всех специалистов с шестнадцати до пятидесяти пяти лет, которых также немедленно отправить на запад, в глубокий тыл».

— «С целью создания условий для успешного развертывания действий наших военных сил,— разносился по кабинету голос генерала Винце,— правительство королевства считает необходимым выселить из всех округов, прилегающих к Карпатам, всех мужчин в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет...»

— А женщины? — поинтересовался Андрей Бродий.

— Я считаю, что они пойдут за своими мужьями,— скупно сказал генерал Винце.

Итак, Карпаты должны стать зоной смерти, отсюда должны быть вывезены все богатства края, отсюда должно быть выселено все живое... Мертвый край, блиндажи и окопы, а над ними — чудовищный образ фашиста с автоматом и бомбой в руках. Вот о чем говорил генерал Винце! Вот кого назначили палачом в зоне смерти!

2

Высокие особы, присутствовавшие на приеме у регентского комиссара, так же как и сам генерал Винце, эту ночь спали плохо. Всю ночь в Ужгороде и повсюду в долинах, а еще больше в горах, было слышно, как за Карпатами быют и быют орудия; небо над перевалами пламенело багрянцем, точно взволнованное море; то и дело вспыхивали прожектора, ища самолеты,— а они гудели и гудели в глубине черного, бездонного неба.

Мечи прожекторов не могли обнаружить эти самолеты: на высоте двух-трех километров висели сплошные облака, они закрывали небо, где шли и шли своим курсом советские самолеты. Гул этих самолетов, звуки далекой канонады, вспышки огней в ночной тьме заставляли людей в долине и в горах выходить из домов; не давали они спать и высокому начальству во главе с генералом Винце.

Однако среди этих начальников был один человек, который и не хотел спать, а под покровом ночи старался делать свое дело,— этот человек был Андрей Бродий.

Еще до захода солнца он сел в машину и выехал в окрестности Ужгорода, что делал очень редко. На этот раз не было с ним и охранников-жандармов. Выехав за Радванку, Бродий приказал шоферу изо всех сил гнать машину на юг; это совсем сбило шофера с панталыку.

Андрей Бродий ехал недолго. Через какой-нибудь час машина его уже колесила по окраине Мукачева; еще через несколько минут Бродий подъехал к гостинице, напротив здания жупаната, а еще спустя какой-нибудь час пан Бродий вышел из парадного подъезда гостиницы,— по-видимому, прогуляться по улицам Мукачева.

Прогулка отставного премьер-министра на пенсии была не из веселых. По главной улице на юг непрерывно шли грузовики с полупьяными гонведами, снаряжением, разной военной техникой. На улицах появлялись и кричали на запоздавших прохожих жандармы. В беспокойный шум города вплеталось эхо далекой канонады, высоко в небе гудели самолеты. Бродий шел по улицам Мукачева, костлявый и сгорбленный, черный, как демон, злой, как сто чертей.

Он остановился перед домом члена президиума АЗС и депутата парламента Михайла Демка, огляделся по сторонам и прошел не через парадный, а с черного хода, не на шутку напугав пани Демко.

Михайло Демко — грузный, пожилой уже мужчина, говоривший хриплым басом, тяжело поднялся с кресла, услышав голос Бродия, вышел из кабинета ему навстречу, как клещами схватил его руку.

— Что это вы так поздно, Андрей? — с беспокойством спросил он.— Может, прорвали?

— Ну, до этого еще не дошло,— ответил Бродий,— но рвется всюду, каждая нитка.

Он сел в кресло, пригласил сесть и Демка, а затем рассказал о беседе, происходившей днем у нового регентского комиссара.

— Понятно,— ударил себя по лбу Демко, когда Бродий закончил.— Если они додумались создать здесь пустыню, значит их дело дрянь.

— У королевства давно дело дрянь,— перебил его Бродий.— У венгерских гонведов мундиры и раньше были в заплатках, а на этой войне они проиграли и штаны.

— Так неужто ж, Андрей, придется погибать? — всплеснул руками Демко.— Сколько трудов, сколько сил! Предприятия, земля, капиталы акционерных обществ...

Угрюмый и сердитый, сидел Андрей Бродий, уставясь в темное пятно на желтом паркете.

— О нет,— зловеще прошептал он.— Они, эти гонведы, так просто отсюда не уйдут. На линии Арпада будет еще много дела. Да и наши друзья на западе должны наконец взяться за ум. Думаешь, легко им смотреть на то, что творится сейчас на Карпатах? А Рим — да неужели папа о нас забудет?

— И про запад и про Рим ты говоришь правду,— уныло протянул Демко и махнул рукой,— но лучше, пожалуй, выехать пока что отсюда и, по возможности, вывезти капитал.

— А народ! — крикнул Бродий.— Где мы, Михайло, еще найдем народ, каким могли бы править?

— Это правда,— согласился Демко,— народа и территории мы не получим. Там свои деятели, там нас не примут.

— Вот то-то и оно,— сказал Бродий.— Нам нужно сидеть здесь до конца, держаться... А что,— зашептал он вдруг,— если бы мы наладили связь с партизанами?

— Что ты говоришь, Андрей? Связь с нашими партизанами?

— Хороши «наши»,— засмеялся Бродий.— Но ничего не поделаешь, они существуют, и они действительно русинские, наши. Ты не бойся, Михайло. Нам всегда приходилось играть на несколько фронтов. Вспомни, как мы организовали наш союз. Ох-хо-хо! Наш учитель Иосиф Каминский кому только не служил! Мы сидели в чехословацком парламенте, но были связаны с немецкой агентурой — с Крепсом и Франком, позднее связа-

лись с партией Гейнлейна, еще позднее заключили договор о дружбе с венгерскими национал-социалистами, но одновременно были связаны с представителем Гитлера в Венгрии, герром Башем. Будем последовательны до конца, Михайло, будем придерживаться наших принципов.

Демко ничего не ответил, а только тяжело дышал и сопел.

— Тебя удивило,— говорил Бродий,— что я завел речь о партизанах. Разумеется, между ними и нами разница, как между небом и землей. Но пойми их и наше положение. Они разгромлены или же, скажем прямо, понесли большие потери, в перспективе сейчас эвакуация всего населения, смерть края...

Он долго молчал и так стиснул пальцы, что они захрустели.

— Мы обязаны действовать быстро и решительно,— излагал свой план Бродий.— Кто убивает русинов, кто вывозит их богатства, кто их выселяет? Ответ простой— фашисты. Молчи, Михайло! Знаю, они скажут, что и мы с фашистами... А мы скажем, что можем в какой-то мере приостановить убийства, можем частично приостановить демонтаж заводов, можем задержать выселение. Должны же понять русины, что мы — небольшая сами по себе сила, что не мы здесь сегодня хозяева. Но мы постараемся, чтобы комиссариат оставил какой-нибудь там завод, мы не дадим вывезти сотню-другую людей. Как бы там ни было, мой милый, с нами власти всегда считались. А если мы этого добьемся, то сможем на весь мир кричать, что мы, и только мы, заботились о насущных интересах русинов, что мы, и только мы, вправе говорить от их имени. И почему бы, в таком случае, партизанам не поговорить с нами? Кто будет говорить? Что ж, если на то пошло, я согласен лично вести переговоры с ними.

3

В 1939 году, когда воины Советской Армии появились на перевалах Карпат, о. Федор Стрыпский до того растерялся, что захворал и пролежал несколько дней в лихорадке.

Но теперь, когда Советская Армия снова подошла

к Карпатам, когда под самым хребтом шли бои, когда стекла окон поповского дома дребезжали от взрывов, а над долиной катился терпкий дым, о. Федор Стрыпский вел себя совсем не так, как в 1939 году.

Он не лежал теперь в постели, о нет! Правда, по временам, когда над селом проплывали самолеты, он залезал вместе с попадьей и Марией в глубокую яму, выкопанную за сараем рядом с усовершенствованной уборной, часто крестился и еще чаще приговаривал: «Спаси и сохрани... Пронеси, господи!» Но все остальное время живую, подвижную фигурку верховинского наместника можно было увидеть то в церкви, где он совершал по всем правилам утрени, обедни и вечерни, то возле сельской управы, то у стен его собственного дома, где он стоял и настороженно поводил головой, будто принюхивался.

Смешно было бы говорить, что теперь о. Федор набрался храбрости или лучше стал разбираться в событиях. Наивно было также думать, что он доверял правительству или гонведам. Уж если говорить правду, то именно в это время о. Федор изверился в мощи гонвдовского оружия и допускал, правда только во сне, что Советская Армия может перейти Карпаты. Но откуда же у него появилось это внешнее спокойствие?

Советская Армия была еще далеко от Карпат, и ничто не предвещало близкого боя, как вдруг однажды вечером в своем кабинете о. Федор услышал по радио из Рима перезвон колоколов, потом голос диктора, торжественные звуки како-то хора и наконец документ — новую энциклику папы Пия XII.

Это было в 1944 году. То, что слышалось из радиоприемника, казалось бы, не имело никакого отношения к мировым событиям. В начале энциклики папа Пий XII подчеркивал, что среди грома битв и лязга оружия он обращается к чадам своим со словами мира, благословляет их и желает, чтобы тишина и спокойствие скорее вошли в их дома и чтобы благодать божия была на них ныне, присно и во веки веков.

Затем папа обратился с отдельным, особым словом к тем чадам своим, кои живут в «богом благословенном» Ужгороде, в древнем Мукачеве, в долинах Тиссы и на горах Карпатских. Это было на первый взгляд странно и даже невероятно. Ведь папа Пий XII молчал,

когда Карпаты по венскому арбитражу были разделены пополам и когда в одной половине края врывались в дома и творили лютую расправу сечевики, а в города и села долин входили венгерские оккупанты; он молчал, когда оккупанты с помощью бродиевцев издевались, грабили, убивали население Верховины и долин; молчал он и тогда, когда вода в Тиссе багровела от крови, когда в Сиготе, Хусте, Севлюше, Ужгороде пули пронизывали пылкие сердца сынов верховинского края. Почему же теперь обращался к закарпатцам папа?

— Вскоре исполнится триста лет с тех пор,— взывал голос из Рима,— как в тысяча шестьсот сорок шестом году в древнем Ужгородском замке наши сыны с Карпат нашли свой путь и свою истинную веру, как на них снизошла благодать божия. Поднимем очи горё, чада мои, и припомним ныне прошедшее славное трехсотлетие.

В энциклике вспоминалась Анна Другет, которая вооруженной рукой проводила унию, вспомнят был епископ Василь Тарасович, которого мукачевцы триста лет назад вытащили во двор и кричали: «Не разорвешь унии — тебя разорвем»; вспоминались монах Петр и Парфений Ростошинский, которым за эту унию на Верховине ломали ребра; среди длинного списка священников-униатов упоминался и Роман Стрыпа.

В этом месте энциклики о. Федор Стрыпский облегченно вздохнул и даже перекрестился. Папа говорит о его далеком предке; благодать, снизошедшая на Романа Стрыпу, осеняет и его, Федора Стрыпского.

Папа прославлял жестокую Марию-Терезию как «просветительницу», благословлял Антония Карольи и епископа Ольшавского, проводивших унию сообща,— первый штыком, второй крестом; папа называл всех этих душепродавцев и тиранов благодетелями, ибо это они якобы были теми людьми, которые распространяли среди невежественных русинов слово божие и тем открыли широкие возможности для их развития.

Каковы были эти возможности, папа не говорил. Да и что мог он сказать? Все это говорилось для того, чтобы в грозный час перед боем отвратить сердца и взоры закарпатцев от истинного и верного пути, свести их на окольные тропы, держать, как и триста лет назад, в рабской покорности.

— Понимаю,— тихо проговорил о. Федор, когда чтение энциклики закончилось, и сам испугался своего голоса.— Триста лет назад мы начали, а теперь должны заканчивать. Понимаю, наисвятейший.

И когда на следующий день, в обедню, о. Федор вышел, окутанный синим дымком, в рясе, с крестом в руках и начал свою проповедь, то всю силу своего вдохновения обратил он на то, что здесь, на Карпатах, все должно быть так, как было триста лет; он призывал верховинцев стоять на страже собственности, освященной богом, угрожал вечными мучениями тем, кто обращает свои взоры к схизматикам с востока, и обещал рай на небе верным сынам католической церкви. На хребте Карпат, там, где тянется линия Арпада, сидели с оружием в руках гонимые, а в долине среди гор о. Федор Стрыпский хитро плел свою паутину.

Энциклика из Рима, а позднее комментарии к ней наполнили душу кленовского благочинного решимостью и огнем, вдохновляли к действиям. Он теперь часто созывал членов церковного совета — Клумаков, Клочуряков, даже Репаша, хотя последние принадлежали к римско-католической церкви, и наставлял, как им всем надлежит держаться, как бороться. Он вызывал к себе подчиненных священников, и те, приехав с подарками, слушали его наставления.

Не весь отряд порученных ему приходских священников нравился о. Федору. Особенно зол он был на священника из села Чирки, который как-то зимой привез ему в подарок медвежонок. Этот звереныш, чтобы его черти побрали, вылез ночью из сарая и удрал в лес. Федор Стрыпский ругался, но в душе был доволен, так как и сам не знал, что с ним делать.

Стрыпского возмущал не медвежонок, а сам чирковский священник о. Никон, осмелившийся утверждать, будто бы в Чирках многие селяне говорят про Советскую Армию, которая, как они думают, вскоре перейдет через Карпаты.

— Пустое! — злобно прошептал о. Федор.— В своих проповедях доказывайте, что схизматикам никогда не переступить через Карпаты, что бог перстом своим укрепил эту твердыню католической церкви и что она находится именно на линии Арпада. Триста лет назад в древнем Ужгороде...

— Отец Федор,— заметил о. Никон,— до трехсот лет остается еще два года.

Благочинный из-под бровей оглядел его.

— Два года — это миг в вечности,— сердито сказал он.

— Боюсь, этот миг,— дерзко проговорил о. Никон,— будет таков, что перечеркнет все предшествующие двести девяносто восемь лет.

— О, вот вы как говорите!

Ночью о. Федор не мог заснуть. Он все вспоминал чирковского священника, возмущался, грыз ногти и наконец, уже почти на рассвете, вскочил с постели, тихо прошел в одном белье в свой кабинет и принялся за очередное послание в канцелярию защиты веры. Письмо было посвящено о. Никону. Перо благочинного с Верховины было безжалостно и остро.

Во всех тайных своих делах о. Федор ощущал повседневную помощь дочери Марии. Панночка Мария переменилась, как это заметил и отец, не только физически, но и духовно. И, разумеется, приехала она в Клены, как уже известно, не за тем, чтобы прогуливаться в тени верховинских лесов или купаться в ледяной воде горного потока, а потом греться на жарком солнце.

Наместник с Верховины весьма аккуратно посылал реляции в епископскую канцелярию. Часто по ночам он замечал, что Мария сидит в приемной и, наклонясь над столом, что-то пишет и пишет.

«А не доносит ли она, часом, и про меня? — думал о. Федор, поглядывая из-под одеяла на поджатые губы Марии и на ее лихорадочно сверкающие глаза.

Но он тут же успокаивался. Федор Стрыпский считал себя священником справедливым, правоверным, он выполнял предписания церкви и наисвятейшего папы. Так же должна действовать и дочь его Мария.

И Мария действовала! Высокая, стройная, темноглазая, мистическая, как говаривал о. Федор, она поражала и родителей и верующих своим энтузиазмом, вдохновением, страстностью.

Когда-то Мария считала недостойным заходить в верховинские лачуги, беседовать с крестьянами и крестьянками. Теперь она очень часто навещалась под высокие крыши домов местных богатеев, но ее можно было увидеть и в убогих верховинских хижинах, где она по-

долгу сидела и беседовала с женщинами, обо всем допытываясь у них и рассказывая о том, что ей было нужно.

Мария рассказывала вдохновенно. Поповна не уступала в красноречии отцу. Глядя на перевалы над которыми то и дело возникали дымки, она рисовала верховинским женщинам всяческие страхи какие только способна была выдумать, вбивала им в голову мысль, будто бы в этот грозный час не нужно думать о сопротивлении или о борьбе против фашистов, а нужно терпеть и полагаться только на бога.

По вечерам она собирала у церкви женщин и учила их песням, посвященным деве Марии. Было что-то злое в унылой мелодии песни, которую заводила Мария и которую в унисон тянуло еще несколько обманутых женщин.

Однажды в воскресенье о. Федор увидел результаты работы Марии. После обедни, когда о. Федор отдыхал, мимо его дома прошла небольшая процессия. Впереди с крестом, обвитым желтыми и красными осенними цветами, шел, пошатываясь, пьянчуга Кирило Тупчик: за ним торопились Мария, жена Дмитра Клумака, жена Клочуряка с дочерьми, еще несколько жен и дочек зажиточных хозяев; замыкала шествие бабка Степанида-ворожка. Все эти женщины кричали пронзительными тонкими голосами:

О Мария, мать божья,
Молися за нас...

Разгоряченные, сердитые, охваченные религиозным экстазом, они шли по улице села так быстро, что казалось — они бегут. Мариинская песня прозвучала по улицам села и затихла за безлесными взгорьями, где началась линия Арпада. Женщины ходили несколько часов и возвратились в село совершенно изможденные, усталые, мокрые от пота.

— Экзальтация! — проговорил о. Федор. — Гипноз! Даже бабка Степанида запела. Но это неплохо! Этот гипноз нам нужен. Аве, Мария!

И наконец именно в это время о. Федор Стрыпский закончил еще одно чрезвычайно сложное и даже рискованное дело.

С некоторых пор начал он подолгу задерживаться после службы в церкви, причем просил сторожа Кузьму не входить в алтарь: хочет, мол, отдохнуть наедине и побеседовать мысленно с богом. Покидая после этого церковь, о. Федор почему-то начал запереть ризницу, чем вызвал великое любопытство у Кузьмы.

Разумеется, о. Федор не беседовал, да и не мог беседовать с господом богом. Что он мог сказать господу богу и что тот мог сказать ему? С богом у него давно было покончено. В ризнице о. Федор занимался иными, земными делами. Скинув рясу, он возился над иконой девы Марии, которую когда-то вынул из сундука в притворе, промывал палёнкой краски, умащал их после этого деревянным маслом, ждал, пока масло впитается в старые краски, и снова промывал их палёнкой. Работа оказалась очень тяжелой и кропотливой, у о. Федора даже немели руки, со лба его катился обильный пот.

Упорные труды о. Федора Стрыпского привели к желаемым последствиям. Под рукою кленовского благочинного старые краски на иконе ожили, написанный старым мастером, и наверняка с живой натуры, портрет засиял во всей своей красе, и о. Федору жутковато даже становилось, когда он смотрел на него.

— Чудо! — шептал о. Федор в полутемной ризнице. — Чудо, о господи! Чего только не сделает рука людская!

4

Поздно ночью Данило Ковач пришел на полонину. Он тихо приблизился к землянкам. Чабанские псы молчали — они знали шаги Данила. Да и пришел он не один — на ближних тропах его встретил один из подручных Сегиня.

Зажигать огонь на полонине не разрешалось. Костер горел в землянке, наполняя ее дымом и жаром. Тут же сидели Юрко Сегинь, несколько чабанов, два лесоруба, старый плотогон Семен Лелекач.

— Вечер добрый! — поздоровался Данило Ковач с порога и оглядел собравшихся.

— Добрый вечер, Данило! Как добрался?

— Хорошо. Весь день ходил по взгорьям, прятался от жандармов. Да разве им поймать меня?

Юрко Сегинь считал первым своим долгом накормить каждого гостя ужином. И теперь он захлопотал, поставил на старый коврик деревянную миску с похлебкой, налил в котелок пенистого парного молока, достал кусок баранины.

— Садись, Данило. Проголодался небось?

— И правда, голоден. Так, может, поужинаем все вместе, люди?

— Мы уже отужинали,— отозвались изо всех углов.— Ешь ты, Данило.

Он поел, потому что проголодался за долгий день. Только ли за день? Говорят, опришок ест только тогда, когда встречает человека. А Данило ходит в горах, там только скалы да камни, человека редко встретишь. А от многих людей Данило еще и скрываться должен.

Однако ему не терпелось, и, ломая овсяный хлеб и запивая его молоком, он начал спрашивать:

— Что нового в селе?

— Нового больше всего за перевалами,— ответил ему Сегинь.— Уже стоит Советская Армия под самыми Карпатами, замыкает кольцо с севера и с юга.

— Знаю,— проговорил Данило.— Мне с высоких гор видно, что делается за перевалами. А не было ли из Рахова приказа посылать наших людей за перевалы?

— Говорил Ласло Потоки, что об этом была речь. Мы должны быть наготове. Нужно будет — и пойдем. Да и ходят наши люди за перевал. Когда Ковпак на Карпаты приходил, наши люди к нему сразу пробились. Так и теперь. Горы нас не разделят. Советская Армия близко, и люди туда ходят. Если не с нашего, то с других перевалов.

Юрко Сегинь пошевелил железным прутом в костре, и золотые искорки столбом закружились у крыши шалаша.

— Вот здесь будет тяжело, Данило,— продолжал он.— Передают из Рахова, будто бы власти будут выселять всех с гор и из долин.

— Передают? — поднял брови Данило.— Может быть. Ну что ж! Пойдем не туда, куда хотели бы нас загнать фашисты, а в горы. Ведь так?

— Верно, верно,— заговорили во всех углах.— Не пойдем! Ни за что!

— Но пока мы здесь, — размышлял Данило Ковач, — нужно показать им, что мы еще живы. Да и фронт близко, должны мы ему помогать.

Он закончил ужин и посмотрел на людей. Решимость видна была на лице у Данила Ковача. Он изменился с тех пор, как ушел из села. Старая одежда его — киптаре, длинная рубаха, пояс, постолы, — все это порвалось, побилось, потерлось от жизни в скалах. У него появились усы, темная бородка, и часто, зачерпнув воду из горного ручья, он подолгу глядел на свое отражение в воде и даже улыбался: «Да ты совсем не такой был, Данило. Что только с тобой случилось?»

— Как там, на бутинах? — спросил теперь Данило. — Много уже заготовили Клумаки леса?

— Дараб у заплота много. Ждут дождей.

— Скоро будет дождь, — кивнул головой Данило Ковач. — Как вы думаете, сплавщики?

— Сплавим, — уверенно сказал Семен Лелекач.

— Да, да! — сказал Ковач. — К черту в зубы их нужно сплавить. И на бутинах, — обернулся он к лесорубам, — нужно поглядывать.

— Рвем желоба, бревно летит в пропасть; Гаврило Клумак ходит как туча.

— Знаю — проговорил Ковач. — Так и нужно! Еще не такое должно быть! Вот пришел я сюда, чтобы попросить... Людей бы мне хоть немного, думаю сходить в долину, там по железнодорожной колее ходят взад-вперед эшолонь...

Нет, это был не прежний Данило Ковач!

Перед самой зарей он покинул пастбище. Казалось бы, ничто не предвещало близость зари — из лесов и долин не долетало ни звука, горы окрест лежали холодные и немые, в небе, как и раньше, мерцали звезды.

Но Данило Ковач видел много примет — вестниц нового дня. Он заметил, что Небесная Дорога уже погасает, Косари¹ стали высоко в небе, лучистая Светилка² сияет, как корона. На землю падала холодная роса, от долины веяло теплом, — скоро рассвет.

И, вспоминая свою встречу с людьми в землянке на горном пастбище, Данило обращался мыслью к ним.

¹ Косари — созвездие Плеяды (местн.).

² Светилка — утренняя звезда (местн.).

Вот — ночь кругом, неволя, фашистская тюрьма, а они собираются в горах, решают свои дела.

Что же случилось с этими людьми и с ним — Данилом? Он шел по высохшей траве среди темной ночи, но видел свою жизнь, как тропку, обвившуюся вокруг земного шара. И верно — здесь он родился, здесь рос, но прошел все Карпаты, прошел всю Европу, побывал за океаном — в Америке. Ведь это настоящий круг, десятки тысяч километров.

Но припомни-ка, Данило, тот далекий день, когда шел ты из Кленов в Америку, припомни страшные дни, когда блуждал там по разным штатам, припомни день, когда возвратился оттуда, и взгляни на сегодняшний день, Данило!

Нет, не такой он теперь, как был когда-то. Жизнь его ломает, гнет, жизнь отняла у него все, что только можно отнять у человека, — семью, родной дом, единственную сестру; он вынужден был уйти из родного села, он изгнанник, блуждает в горах, опришок, как насмешливо называют Клумаки и Клочуряки таких, как Данило. Рассказывали только что в землянке товарищи, что в воскресенье в церкви и его преподобие предал анафеме опришков.

Опришок! Данило даже остановился и долго разглядывал долину, темные горы, большие звезды в вышине. Анафема? Он засмеялся. Кого и за что проклинаете?

Да, Данило Ковач — нищий человек верховинского края. Мало сказать, что он нищий. У него ничего нет. Вот и сейчас стоит он среди темной ночи на высокой полонине, все его добро — на себе, все, чем владеет, — с ним. И ничего у него больше на свете нет. Опришок? Да, он опришок.

Но у опришка Ковача есть то, чего не было у того Данила Ковача, который собирался когда-то идти в мир — искать счастья и доли. Тот Данило подлинно был нищий, так как надеялся, что счастье все же придет к нему, надеялся заработать хоть что-нибудь у богача и даже протянул руку Гаврилу Клумаку. У кого зарабатывать — у них? У кого просить — у пауков? Нет, это был нищий Данило.

Опришок Данило Ковач не будет у них ничего просить. Довольно! Нужно взять у них свое, отнять награбленное, отплатить за все обиды и мучения.

Он долго стоял на полонине, и если бы кто-нибудь увидел в эту минуту лицо Ковача, тот содрогнулся бы — такая ненависть и злоба написаны были на нем. А потом Данило вострепнулся и пошел тихим, охотничьим шагом по увядшей траве.

Данило припомнил Олексу Борканюка, Степана Шегуту, Ярослава Гишку — всех коммунистов, которых он встречал на своем жизненном пути. Многих из них уже нет в живых, где другие — того не знает Ковач, но коммунистическая партия, к которой он принадлежит, — это как бы огромная река, куда притекают новые и новые свежие потоки. И в их селе уже нескольких коммунистов не стало, а их все не становится меньше, у них нет страха; вот и нынче, темной ночью, собрались на полонине.

Опришок! Пусть себе издеваются и глумятся, но коммунисты, ушедшие в горы, — это страшные для них люди. Не один Данило блуждает в чащобе. Сегодня он встречался с партизанами из Кленов, вчера видел партизан из Ясеней, вон там за Тиссой скрываются в лесу хлопцы из Квасов, нужно — они сойдутся, нужно — разойдутся, и никто их не узнает, никто не найдет.

Данило и все они бродят в горах. Но каждый из них связан незаметными для чужого глаза ниточками с селами и хижинами в долине. В условном месте опришок всегда найдет кусок овсяного хлеба, брынзу, табак и даже спички. А кто из бедняков Верховины не отворит дверь своей хаты, услышав ночью голос под окном: «Я — Данило!»

Нет, не таков теперь Данило Ковач, каким был когда-то, и не таковы нынче все люди в горах. Много горя извели они, большие потери испытали, а все же смело глядят в грядущий день и смело идут вперед.

До той минуты, когда над горами прорезывается золотая полоска зари и когда ветер после этого волной перекачивается из-за перевалов, оставалось еще много времени, и Данило Ковач, отойдя подальше от полонины, сел на траве у опушки леса, а после и прилег, заложив за голову крепкие свои руки.

Он любил так лежать в предрассветный час на высоких горах, под самым небом, где одинаково близко было и до земли и до облаков. В эту пору возникали

такие чудесные мысли, ему так легко мечталось, а самые мысли были так красочны и привлекательны!

Но больше всего думал он о том дне, когда на Карпатах грянет последний бой, когда горы загудят так, как никогда еще не гудели, когда над землей прокатится огонь, какого эта земля не знала, когда среди белого дня над Карпатами на долгие часы погаснет солнце, ибо все окутает горький и терпкий дым.

Данило Ковач представлял себе этот день, он видел мир, который придет после того на Карпаты, и он готов был отдать за это все свои силы и даже жизнь.

Когда Данило открыл глаза и огляделся, он увидел над перевалами золотую полосу зари. Эта полоска напоминала розовую теплую руку, она все выше и выше поднималась в небо, а от ее сияния розовели все горы окрест.

Светало. Данило Ковач встал и направился в лесную чащу.

Глава вторая

1

Линия Арпада — каких только фантастических слухов не ходило о ней! Все будапештские и берлинские газеты в один голос твердили, что линия эта в несколько сот километров длиной и на двадцать — тридцать километров в глубину — неприступная твердыня.

Но на западных склонах Карпат было беспокойно. Здесь были заминированы все мосты и дороги, здесь человек без проверки не смел ступить ни шагу, здесь перестали на эту пору куриться дымки заводов и фабрик, а все машины этих предприятий разбирались, укладывались в ящики, ставились на площадки вагонов.

В горах и в долинах сельские старосты составляли списки населения, которое предстояло, по плану генерала Винце, вывезти из Закарпатья. В списки вносились не только мужчины в возрасте от восемнадцати до пятидесяти лет, а и старики, женщины, дети. В Ужгороде, Мукачеве, Севлюше, Хусте формировались новые отряды «Рондьош гарды», пополнялись отряды камельга-

рито; перед ними ставилась задача — в кратчайший срок выселить из Закарпатья и гнать долиной Тиссы, в Трансильванию, сотни тысяч людей Верховинского края.

В канцелярию регентского комиссара поступали тревожные вести. В долине, у ворот Трансильвании, сбилось столько людей, что пропустить их всех на юг не было возможности, а жандармерия и отряды «Рондьош гарды» гнали с севера новые и новые тысячи людей.

2

Отставной премьер-министр Андрей Бродий помогал генералу Винце; его функционеры — советники при военных комендантах — составляли списки населения, устанавливали, когда какое село должно быть выселено.

Однако несколько наиболее доверенных функционеров получили теперь еще и другое задание. Любой ценой и за большое вознаграждение они искали путей, какими отставной премьер-министр мог бы встретиться и лично переговорить с кем-нибудь из руководителей партизанского подполья. Сыщики и шпионы рыскали в районе Турянской долины, где на эту пору особенно усилилось партизанское движение, шныряли в районе Хуста и Рахова, откуда доходили слухи о новых партизанских отрядах. Но напасть на след партизан они не могли, а некоторые из них, например Яков Шуленко, угодили в петлю на высокой сосне. Пану Андрею Бродию трудно было добраться до партизан.

Тем временем отставной премьер-министр решил навеститься в Будапешт. В столице, по-видимому, ждали пана Бродия, потому что он очень легко попал на прием к самому премьер-министру пану Калаи.

Встреча Андрея Бродия с паном Калаи началась исключительно хорошо. Премьер существующий и премьер отставной сердечно пожали друг другу руки, Калаи предложил Бродию сесть, спросил, как полагается в таких случаях, когда пан Бродий прибыл в Будапешт, как себя чувствует. Казалось, это был тот самый Калаи, с которым Бродий встречался много раз, тот самый Калаи, который в Хусте пожимал руку Бродию и говорил: «О вашей партии и о вас, пан Бродий, всякий знает...»

Но теперь Андрей Бродий заметил в выражении лица премьер-министра что-то новое. Калаи смотрел на него прищурясь и как бы недоверчиво; на его сухих губах то и дело возникала странная усмешка; господин премьер-министр часто делал паузы и поглядывал на бумаги перед собой, а еще чаще мерил Бродия с головы до ног острым, пронизывающим взглядом.

Первые же слова пана Калаи показали, что Андрей Бродий не ошибся. Они красноречиво свидетельствовали, чем именно недоволен и чего хотел бы премьер-министр.

— Как ваша партия, пан Бродий?

— Благодаря заботе королевского правительства и вашему лично партия АЗС существует и действует...

— Вы сказали, пан Бродий, что партия ваша существует, но должен ли АЗС существовать и дальше?

— Я не понимаю пана премьер-министра. Ведь вы сами недавно говорили в Хусте, что Автономный земледельческий союз много сделал для присоединения...

— Можете не заканчивать, пан Бродий, я хорошо помню свои слова. Но вы должны понять, что это говорилось о работе партии АЗС в прошлом. А сможет ли партия АЗС обеспечить наши интересы в будущем?

— И я и вся моя партия,— быстро ответил Андрей Бродий,— рады будем служить...

— Будем откровенны, пан Бродий,— сказал Калаи.— Партия АЗС служила нам по совести, и мы не раз выказывали свое благожелательное отношение к ней. Но бои идут у самой линии Арпада, мы должны сейчас на весь мир кричать о неприкосновенности территории королевства, об угрозе, надвигающейся с востока. В этих условиях, пан Бродий, нужно, чтобы об опасности говорило не только правительство, а и население государства...

— Плебисцит,— засмеялся Бродий.— Да мы обеспечим на Закарпатье такой плебисцит, который удовлетворит все наши интересы. Опыт у нас есть.

— Что опыт! — усмехнулся и Калаи.— Сейчас некогда проводить какой-то там плебисцит. Довольно будет, если выскажутся представители партий.

— Да неужели же Автономный земледельческий союз не способен это сделать? — тихим голосом спросил Андрей Бродий.

— Нет, пан Бродий,— ответил Калаи.— Сегодня про

эту партию слишком многое знают. А потом, это и не модно — для чего Земледельческий союз, почему он «автономный»? Нужно название более широкое, обобщающее... И даже со словами «подкарпатские русины».

— Автономное объединение подкарпатских русинов! — вырвалось у Бродия.

— А что ж, — посмотрел на него господин Калаи, но уже не так, как раньше, а как-то по-другому, так, например, словно он видел перед собой странного зверя или птицу. — Автономное объединение подкарпатских русинов — это не дурно. В этом действительно есть какой-то смысл, вполне согласен с вами, пан Бродий.

— Тогда мы просто переименуем нашу партию, — сказал Бродий. — Закажем новую печать, новые бланки.

— Вы недальновидны, пан Бродий, — заметил Калаи. — Дело не в переименовании. АЗС, повторяю, слишком знают. Партию нужно основать из новых лиц, секретно, держать ее про запас. В нее, конечно, вольтуются все ваши кадры — потихоньку, втайне. Мы введем в нее еще и новые силы, какие нам понадобятся, — духовенство, правительственных чиновников, жандармерию, полицию.

— Значит, новая партия должна быть карманной? — спросил Андрей Бродий.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Калаи. — Карманная партия — это очень остроумно. Вы меня хорошо поняли, пан Бродий: партия АЗС работает, но вы готовите новую партию, держите ее в кармане. Разве много нужно для организации новой партии — двадцать, тридцать учредителей, и... список прячут в карман.

— Не совсем безопасная игра, — пробормотал Андрей Бродий. — Между этими двадцатью членами в Закарпатье непременно найдутся болтуны и выдадут все секреты.

— А зачем вам искать этих людей в Закарпатье? Набирайте их хоть на северном полюсе. Автономное объединение подкарпатских русинов, ну, кого это к чему-нибудь обязывает?

«Легко тебе говорить про новую партию, — подумал Андрей Бродий, выйдя из здания правительства. — Но где они, эти двадцать учредителей? До чего трудно приходится политическим деятелям в Европе! Как тяжела наша работа!»

Прозвучал сигнал тревоги, и Бродий стремглав завернул за угол правительственного здания.

Воздушная тревога загнала растерявшегося после беседы с Калаи Бродия в пивнушку, которая помещалась в подвале неподалеку от здания совета министров.

Собственно, это была не пивная. На дощечке, висевшей на дверях, в которые протиснулся Андрей Бродий, значилось: «Угро-русский клуб». Кое-что здесь и напоминало клуб: в сыром и холодном подземелье помещались небольшой вестибюль, раздевалка, зал на несколько десятков человек, комнатка директора, фойе, а от фойе направо — пивная.

Но зал клуба давно уже не открывался, комната директора была забита досками, и единственной реальностью и смыслом существования этого клуба в Будапеште была пивная, где пили и жрали людишки, не имевшие никакого отношения ни к каким русинским делам.

Да и сам Андрей Бродий хотя и знал о существовании такого клуба в Будапеште, хотя и говорил о нем в парламентских речах, как о культурном достижении, но так и не знал толком, где помещается этот клуб и что он собою представляет.

Бродий постоял перед закрытым залом, перед забитой дверью директора, разделся и вошел в пивную.

Люди, приходявшие сюда, очевидно не обращали внимания на обстановку пивной. Под потолком висел большой, ядовито-розовый абажур с кистями; в пивной клубился полумрак, вдоль трех стен зала стояло несколько столиков, застланных грязными скатертями. Всю же четвертую стену занимал огромный, похожий на ноев ковчег буфет.

В пивной в это время было пусто, только в углу за столиком возле буфета сидел директор и, поглядывая в какую-то ведомость, считал деньги. Между ведомостью и деньгами, очевидно, было большое, но приятное расхождение, потому что у директора даже глаза замаслились, а брюхо отвисло как мешок и не позволяло свободно ходить.

Разумеется, директор, по прозвищу Кость Тромболист, хорошо знал пана Бродия и, едва увидел в дверях отставного премьер-министра на пенсии, подхватил обеими руками свое брюхо и кинулся навстречу гостю.

Кость Тромболист не жил в Закарпатье уже много лет, потому что служил до 1938 года в венгерской разведке, когда и был разоблачен коммунистами. Он и теперь говорил о Закарпатье со страхом и волнением.

— Ведь убить могли, пан Бродий! Вот я и окопался тут. Угро-русский клуб...

— А кто ходит в этот ваш клуб? — спросил Бродий, смакуя венгерское вино.

— Есть еще несколько человек таких, как я, несколько человек из УНО, несколько белогвардейцев, петлюровцев, гетманцев.

— Значит, так и работаете вместе с вашими коллегами? — недвусмысленно поглядел пан Бродий на столик возле буфета, где лежали пачки денег.

— Пан Бродий, — сказал с ноткой укоризны в голосе Кость Тромболист. — Русины мы.

— Но ведь, пан Тромболист, живете вы в Будапеште, то есть в Угрии...¹

— Пан Бродий, — вздохнул Тромболист, — и в Будапеште много русинов, за которыми мы должны следить. Только весной этого года мы раскрыли подпольную организацию русинских студентов в Будапеште. Они и сюда порой заходили, а мы им русинскую кухню — лепешки из кукурузы, овсяный супчик, да подешевле. Я уж сам следил за ними, может слышали — Дмитро Вакаров, Виктор Орос, Юрко Логойда. Аккуратно все сделали, пан Бродий.

— Слышал, слышал, — промычал Бродий. — Знаю.

И вдруг отставной премьер-министр Закарпатья еще раз быстро оглядел пивную, остановил мечтательный взгляд на ядовито-розовом абажуре и предложил директору:

— А что, дорогой мой, если бы мы здесь при угро-русском клубе русинскую партию организовали?

Тромболист поднял свои тяжелые веки и спросил:

— Но эта новая партия будет лояльной?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Бродий. — Как вы смеете мне говорить такое! Это будет лояльная, разрешенная правительством партия, и об этой партии я только что беседовал с паном Калаи. Почему в самом деле нам в Будапеште, где, как вы говорите,

¹ Угрия, Угорщина — Венгрия.

много наших русинов, не иметь такой партии? Назвать ее можно, например, так: «Автономное объединение подкарпатских русинов».

— Ну, если автономное, да еще объединение,— махнул рукой Тромболист,— тогда, конечно, можно. Но, пан Бродий,— добавил он,— будет ли нам субсидия от правительства?

— Я, как единогласно избранный глава подкарпатских русинов и как председатель президиума АЗС, дам достаточную субсидию каждому из учредителей новой партии. Сколько членов мы можем набрать?

— Нас... таких, как я,— задумался, шевеля толстыми, жирными губами Тромболист,— немного. Но десятка два вместе с уновцами, петлюровцами, гетманцами и белогвардейцами я организую. Только согласятся ли все они?

— Согласятся,— ответил Бродий.

— А нельзя ли было бы добавить еще нашего повара, буфетчицу и уборщицу? — погладил брюхо Тромболист.— Субсидия, она, знаете, каждому нужна.

— Добавляйте,— согласился Бродий.

В тот же вечер в угро-русском клубе состоялось многочисленное собрание русинов, и на этом собрании было постановлено для помощи населению Закарпатья организовать новую партию: «Автономное объединение подкарпатских русинов».

На деле же все происходило так: пан Бродий сидел за столиком, на котором стояло несколько бутылок венгерского вина; к нему подходили один за другим субъекты, подготовленные Тромболистом; они подписывали заранее подготовленный протокол, пили вино и по получении «субсидии» расписывались у Тромболиста.

На следующий день Андрей Бродий зарегистрировал новую партию в совете министров и, спрятав протокол в карман, выехал в Ужгород. На свет появилась новая карманная, двадцать девятая, кажется, по счету, партия в Закарпатье.

4.

Едва рассвело, а Гаврило Клумак уже примчался на лесосеку. Машина заскрипела тормозами, остановилась на широкой прогалине. Из нее тотчас выскочили три жандарма, из кабины вышел сам Гаврило.

Величав и прекрасен был лес в эту утреннюю пору. Вокруг сияли золотом высокие горы. На ветвях сосен, кольцом обступивших прогалину, висели и переливались, как самоцветы, крупные зерна росы. Над пеньками и кучами папоротника прозрачными облачками поднимался теплый пар. В кустах меж деревьями порхали и подавали звонкие голоса птицы.

Но Клумаку не было дела до торжественности и величия леса. Выйдя из машины, он с минуту прислушивался. До слуха его долетела тоскливая мелодия песни:

Ой, іде бокораш долу водою много,
Та піду поникати, чи не є там мого?
Ой, пішла, поникала, мій май молоденький,
Та він сидить, посвистує, листок зелененький.

— Еще и поют, проклятые! — выругался Гаврило Клумак, возмущенный — как это люди могут петь у него на работе? Но песня сразу же стихла, а ухо Клумака уловило монотонные, похожие на перестук множества дятлов звуки. Он довольно усмехнулся, сделал знак жандармам и неторопливо пошел просекой.

На делянке Гаврила Клумака встретил десятник Осип Кикерчин — сам человек с достатком, правая рука Клумака на лесосеке. Он проворно побежал вперед, завидев меж деревьями хозяина, остановился в нескольких шагах от него, снял шляпу и так низко поклонился, что лысина на его голове блеснула, как начищенный медный котелок.

— Слава Иисусу, — сладким голосом сказал Кикерчин.

— Иисусу-то слава, а у тебя что делается? — рявкнул в ответ на приветствие десятника Гаврило Клумак.

— Рубим, пан хозяин, нынче начали еще затемно...

— Вижу, — процедил Клумак. — Только зачем все подряд рубите? Ты бери на выбор, чтобы только первый сорт был. На черта мне кривулины? Бросай их, углубляйся в лес. Что тебе — жалко?

— Чего бы я стал жалеть, — зашептал, подступая ближе к Клумаку, Кикерчин. — Но боюсь, пан хозяин, идти глубже в лес. Их только пусти — рассыплутся, разбегутся. Я ими командую, как солдатами, утром приведу на делянку, выстрою и рублю все подряд до кустика, чтобы всех видеть, всех слышать. Как на фронте. А за ними ставлю еще и жандармов.

— Что ж, пожалуй, ты прав,— сказал Клумак.

— Прав, хи-хи-хи, ей-богу, прав,— засмеялся Кикерчин.— Тут только минутку не догляди, а уж что-нибудь случилось. Нынче опять порвало желоба

— Как? — крикнул Клумак.— Опять?

— Опять, пан хозяин. Я уж каждую подпору своими руками проверял, каждую доску оглядел, все сам обшарил, а оно рвет и рвет, и бревна летят не в реку, а в пропасть.

— Да что же это рвет? — спросил Клумак.

— Это...— развел руками Кикерчин.— Ей-ей, не пойму, что такое это, но действует, вредит, рвет...

— Боюсь, как бы тебя на клочья не порвало,— вскипел Клумак.— И не оно уже порвет, а я своей рукой. У меня, сам знаешь, расправа короткая.

Черный, как ночь, шел Гаврило Клумак просекой, залитой потоками розового света. Вся просека завалена была стволами деревьев. Лесорубы вручную тащили их к желобам. Он увидел несколько групп лесорубов,— обвязав стволы канатами и впрягшись в них, они тянули колоду, наваливаясь вперед всем телом, обливаясь потом. Люди работали сверх силы, каждому из них хотелось остановиться, передохнуть. Но вдоль просеки стояли жандармы, всюду шныряли десятники. Клумак молча прошел по лесу, не обращаясь ни к кому из людей, и только у обрыва, где начинались желоба, остановился.

Здесь лежало множество буков и пихт. Солнце заливало лучами бревна, и они напоминали гигантские желтые свечи. Все вокруг пахло смолой. Но Клумак не хотел смотреть на эти бревна. У него сердце разрывалось при мысли о том, что эти бревна зря лежат на горе. Они давно должны быть внизу, у заплота, куда протянуты желоба. Приказ регентского комиссара, приказы окружного управления коротки,— он, как и все лесопромышленники на Карпатах, должен выдать как можно больше дерева, бревна должны, как снаряды, лететь с гор. Пусть гибнут все леса на Карпатах, пусть гибнут все люди, что работают на его лесосеках,— Гаврилу Клумаку нет до этого никакого дела, он должен выполнить контракты с министерством и частными фирмами, должен получить свой хосен. В Рахове стоят порожние вагоны, за каждый день простоя приходится платить штраф. Штраф? Это он, Гаврило Клумак, будет платить штраф?

А вот желоба и порваны! Бревна лежат! И все молчит вокруг. Проклятая тишина! Молчат горы, молчат леса, молчат люди на лесосеке. Лучше бы уж они кричали, похвалялись, угрожали. Тогда бы по крайней мере он знал, где его враг. А здесь тишина! Только за хребтом глухо бьют и бьют орудия, дымки курятся над перевалами, в мозг врезается назойливый вой самолетов.

Крутою тропинкой, шедшей под желобами, Гаврило Клумак спустился к реке. Если груды бревен лежат наверху, то нужно скорее пускать хоть те, которые уже связанными лежат ниже запруды. Хорошо, что за последние дни прошли дожди. Уже сверху Клумак видел взбухший от дождей водоем, запруду, русло горного потока, плоты на берегу.

Через несколько минут он был у запруды. Сплавщики, в большинстве старые, почтенные люди, босые, в одних рубахах и коротких штанах, связывали веревками бревна, деревянными колышками прибивали к готовым уже плотам стойки, на которые обычно ставится руль, ладили опачины¹. В ямы на дне русла набиралась вода, стекавшая со склонов гор, и сплавщики стыли от холода.

— Почему не идут дарабы? — закричал Клумак, рывая ногой гальку на берегу высохшего потока.

— Кончаем вязать, хозяин. И небо что-то потемнело. Видите, какой поднимается ветер? Как бы не догнало нас у Гриджинки. Там, хозяин, быстрая вода, каменья.

Гаврило Клумак поднял голову. Из-за горы выплывала и быстро росла черная, грозовая туча. Туча спускалась, словно хищная птица с растопыренными когтями, по ущельям в долину. Налетел сильный ветер, и застонали, зашумели деревья.

— Я ничего не хочу знать! — вне себя кричал, стараясь перекрыть шум ветра, Клумак. — Нынче же все мои дарабы должны быть внизу!

И он добился своего. А что могли поделать сплавщики? Заплот подняли, потоки воды хлынули в русло, быстро наполнили его и помчались в долину. Посреди гор в ущелье появилась река. Ветер свистел кругом, обрывки туч летели над самой землей, а вода подступала все выше, и вот уже по волнам закачались, запрыгали плоты.

¹ Опачина — весло у плота.

— Пускайте! — кричал Клумак. — Пускайте все! Мое дерево должно быть сегодня в долине!

От запруды до долины было свыше двадцати километров. На добром коне в горы приходилось ехать несколько часов, лесорубы, работавшие у Клумаков, выходили на работу с вечера, а на делянку попадали только к рассвету. Плоты же пролетали это расстояние за один час.

Тяжела и опасна работа сплавщика на горных реках-потоках. Вода в них обжигает холодом, за каждым поворотом, как поется в песне, смерть стережет сплавщика, трудно провести дарабу или еще больший плот — бокор — через каменные гряды, пороги, деревянные желоба, не застрять где-нибудь на мелководье, попасть в нужное русло на развилке, где поток разделяется надвое, выйти на глубокую воду там, где снова сходятся рукава потока, не удариться о скалу. Погибнет хозяйское добро — пес с ним, но ведь смерть стережет и самого плотогона.

На одном из плотов, который первым в то утро отошел от запруды, стояли Семен и Кирило Лелекачи — отец и сын.

— Так ты смотри, — сказал отец, едва плот тронулся.

— Не бойтесь, батько, — ответил сын, — все сделаю, как приказывали.

Старый сплавщик ласково посмотрел на сына, а потом огляделся по сторонам. Небо сплошь затянули тучи, рябь ходила по воде, разъяренные волны бились о каменные берега.

Дараба мчалась, пролетела под первым мостком, на котором стояли какие-то дивчата. Они, как видно, узнали сплавщиков, приветно замахали им руками, а одна девушка кинула несколько красных цветов, они упали на плот у самых ног Кирила. Но Кирило не мог взять цветок, чтобы засунуть его за шнур крисани, — и он и отец крепко держали в руках опачину: впереди сердито гудели омуты, вода все быстрее и быстрее несла плот в долину.

Мешал плотогонам и встер. За первым поворотом, где поток круто сворачивал влево, ветер так ударил сплавщикам в грудь, что едва не свалил их с ног. Плот отворачивало от скал левого берега и несло на правый. Напрягая все силы, тяжело дыша, Лелекачи сдерживали плот опачинами.

— Вырвались! — крикнул Семен, когда плот выровнялся и помчался, как по струне, по стрежню потока. — Ты знаешь, сын, куда ведем дарабы?

— Знаю, — сказал, утирая холодный пот со лба, Кирило. — Видать, к Нижней Гриджинке.

— Верно! — сказал старый бокораш, поглядел назад, где плыли прочие плоты, крикнул: — Бере-гись! Эй, бере-гись!

Плоты летели через равные интервалы один за другим. На каждом из них стояли смелые бокораши. Сколько раз уже спускались они по этому потоку в долину! Но такой бури и непогоды давно уже не было. Все вокруг ревело. Тучи закрыли горы. Волны поднимались выше и выше. Опачины так и скрипели в руках плотогонов.

— Берегись! — кричал старый Лелекач. — Вот и Верхняя Гриджинка. Нажми крепче на опачину, сын! Крепче, говорю, нажми!

Отец с сыном, прыгая то вправо, то влево, изо всех сил поворачивали опачину. Трудно, очень трудно было сдержать плот, но он круто повернул вправо, еще круче вывернулся влево и снова лег на стержень потока.

— Ну и пекло! — сказал старый Лелекач, набрав в ладонь воды, проступившей между бревнами, и жадно глотнул.

Берега уже просто мелькали, вслед за плотами мчались крикливые речные птицы — рыболовы, но, какой шум ни стоял окрест, издали уже долетал рев воды на Нижней Гриджинке.

И тогда старый Лелекач выпустил из рук опачину. Побледневший, суровый, высоко подняв голову, стоял он на мокром бревне.

— Сын, — промолвил бокораш. — Попрощаемся, видно. Прости меня, если в чем обидел тебя, Кирило.

— Бог простит, — ответил сын. — И вы простите, коли в чем обидел, батько.

— Прощаю! Все прощаю, Кирило! Снимай руки с опачины. Пора!

Так они и стояли, пока плот приближался к Нижней Гриджинке. Никто и никогда не смог бы обвинить в чем-нибудь отца или сына. Если плот мчался в ад, то и жизнь бокорашей проходила на одну только волосинку от смерти. И чтобы поступать так, как поступали Семен и Кирило Лелекачи, нужна была очень большая смелость. Ког-

да плот уже подходил к скалам Нижней Гриджинки, отец с сыном кинулись в холодную воду. А что им было делать, если все испортил ветер с левого бока? Ведь говорили Клумаку, — не следует пускать дарабы. Вот и вышло так, как говорили бокораши. Ведь это проклятый ветер сбил дарабу со стержня, кинул ее на острые камни, это ветер один виноват в том, что погибло Клумаково добро.

А разве один только плот погиб в тот день? Никакой силой нельзя было остановить плоты, летевшие вслед за первым. Это был страх, сила, стихия! С каждой дарабы, когда она приближалась к Нижней Гриджинке, прыгивали в ледяную воду бокораши. А бревна выворачивало, ставило стоймя, кидало, рвало. Что делать бокорашам? Только ветер, только буря виной, что в тот день погибли все плоты Гаврила Клумака.

Правду знал разве только Данило Ковач, — он стоял высоко на скале и видел, как плоты отходили от запруды, как они мчались потоком, как налетали друг на друга у Нижней Гриджинки. Сжав кулаки, напрягая зрение, затаив дыхание, стоял Данило на крутой скале. Когда же последняя дараба обрушилась на камни, а бревна ее, как длинные пальцы, высунулись на миг из воды, а потом с треском рассыпались, Данило, приложив ко рту ладони, захохотал так, что эхо покатилося по отрогам и ущельям.

— Бере-гись! Бе-ре-гись!

Тучи с гор начали спускаться в долину, закрывали склоны, подступали к скале, на которой стоял Ковач. И сам он скоро скрылся в мутной, серой мгле.

5

Слух о гибели дараб долетел до Кленов раньше, чем туда примчался Гаврило Клумак. Когда он остановился у ворот, навстречу ему выбежал перепуганный и бледный Дмитро.

— Наши дарабы того... — сказал Дмитро, — по всему потоку плывут.

— А ты, — накинулся на него Гаврило, — чего тут стоишь?

Они сразу побежали к реке. Избитые, изломанные бревна без конца плыли по горному потоку и лучше всяких слов рассказывали о происшедшем. У воды, за

лесопилкой, где стояли Ласло Потоки и жандармы, начинали появляться бокораши,— босые, мокрые, они пробирались сюда вдоль потока.

— Чего глаза вытаращили,— крикнул Гаврило яростно.— Чего стоите? Ловите колоды, спасайте!

И сам он, как был в одежде, в сапогах, в добротном пиджаке, кинулся в воду; за ним, понурясь, полезли три жандарма. Неохотно побрели в воду и бокораши. Только сумасшедший гонвед, как ни кричал на него Гаврило Клумак, так и не полез в воду, ссылаясь на болезнь.

Это была настоящая катастрофа для фирмы Клумаков. Сколько плотов погибло, какие бревна пропали, куда ни кинь глазом — плывут и плывут. И будут ловить их теперь кому только не лень,— ведь не краденое, сама вода на берег выбрасывает. Но не только на этом терял Гаврило Клумак. Пропал десяток дараб, от неустойки не отвертеться. А кроме того, у Нижней Гриджинки — завал, когда его разберут? Да если завал и разберут, то в лесу рвутся и рвутся желоба. Он припомнил утренний разговор с Кикерчиным. Кто виноват во всем? Вода, ветер, стихия? Э, нет! Действует «это», то самое, о чем говорил ему Кикерчин. Значит, оно есть, оно существует. Но где же виновный, как его найти?

Раздраженный, сердитый, возвращался Гаврило к себе домой.

— Одни тебе убытки,— бурчал Дмитро, идя рядом с братом.— Черт его знает, когда уж этому будет конец.

— Убытки! — злобно прохрипел Гаврило, поглядывая на сухие штаны и сапоги брата.— Даже к воде не подошел. Говорил тебе — нужно больше жандармов кинуть на бутин, говорил — нужно ставить жандармов вдоль всего потока, говорил, что и на дарабы нужно посадить жандармов...

— Если бы у нас столько жандармов было, так и хосена не было бы,— в испуге кинул Дмитро.

— Зато теперь имеем хосен! — крикнул Гаврило.— Ведь фирма горит, все наше добро погибает... Еще не хватает, чтобы они и нас зарезали. И зарежут, попомнишь мое слово.

Братья остановились. Гаврило с ненавистью долго вглядывался в одутловатое лицо Дмитра,— тот задыхался от одышки и, как водяной, шевелил неуклюжими пухлыми руками.

— Я сделаю все, что ты скажешь,— выдохнул Дмитро.— Гаврюша, слышишь, сделаю все, что скажешь!

— Ладно! — сказал Гаврило.— Тогда давай мне в долг все твои деньги. Я знаю, как с ними обернуться. В долину поедem, нечего тут сидеть. Дай только денег.

— Не могу,— ответил Дмитро.— Душу свою отдам, а деньги — не могу, нету.

— Ну, тогда пропадай пропадом,— отрезал Гаврило.— Попомнишь мое слово, издохнешь...

Рассерженные братья разошлись посреди улицы неподалеку от лесопилки, один пошел к себе во двор, другой — к себе. И ни один из них даже не оглянулся.

Однако братья встретились, и очень скоро. Начинало смеркаться, когда у ворот Гаврила остановилась машина, а из нее вышел и заковылял к дому какой-то облезлый, длиннорукий, сгорбленный человек.

— Погодите,— сказал Гаврило Клумак, выйдя на порог навстречу незнакомцу,— мы с вами, кажется, где-то уже видались?

— А как же, видались,— ответил тот.— И спали почти на одной кровати.

Это был Давыд Левицкий, панок с Полтавщины, которого Гаврило Клумак встречал когда-то в Хусте во времена Волошина. Уже тогда Давыд Левицкий не выглядел по-человечески. Но что за вид был у него теперь!

Давно не бритый и не стриженный, с набрякшим синеватым лицом и водяночными мешками под глазами, с грязными волосатыми руками, в черном когда-то, а теперь сером от пыли пальто, Давыд Левицкий напоминал дикаря каменного века, случайно очутившегося в другом, новом времени. И еще одна перемена произошла с ним за эти недолгие годы: он уже не говорил, а точно шипел и, выговорив с трудом какое-нибудь слово, с опаской озирался по сторонам.

— Так это вы, персо-эфиоп? — сказал Гаврило.

— Вы все еще шутите? — зашипел и оглянулся Давыд Левицкий.

— Да нет,— сочувственно проговорил Клумак, убедившись, что не ошибся.— Слава Иисусу, говорю.

— Иисусу? — заскрежетал, как ножом по камню, Левицкий.— Ой, теперь ни Иисус, ни аллах не помогут.

Да и Клумак понял неуместность своего приветствия,— ведь Левицкий был православным и католиком,

реформатором и протестантом, буддистом и магометанином одновременно.

— Побывали на Полтавщине, в имении? — спросил Клумак.

Левицкий поглядел на него мутными глазами и умоляюще проговорил:

— А не зайти ли нам, пан Клумак, в хату, да не найдется ли у вас чарочки той самой, как она у вас прозывается...

— Палёнки?

— Именно об этом я и думаю! — торжественно подтвердил Левицкий.

Так они очутились в доме у Клумака. Хозяин не очень рад был своему гостю, сходил на кухню и принес оттуда початую бутылку палёнки, но закуски не поставил.

Однако через минуту Гаврило изменил свое отношение к Левицкому, вынул новую бутылку, достал закуску и сам присел вместе с гостем к столу.

— Вы спрашивали, как там, на Полтавщине? — спросил Давыд Левицкий. — Что ж вам ответить, пан Клумак? Мы с вами теперь почти в одинаковом положении.

— Как это, в одинаковом? — удивился Клумак.

— А так, — ответил Левицкий. — Меня вытурили из Полтавщины, а вас собираются вытурить отсюда. Неужто вы этого не понимаете?

— Шутите, пан Левицкий, — сказал, пытаясь улыбнуться, Клумак. — Кто же меня отсюда может вытурить?

Левицкий поглядел презрительно на Клумака, усмехнулся, допил стакан.

— Вы знаете пана Стогаля? — спросил он.

— Стогаля?

Гаврило вскочил, подошел к окну, посмотрел, нет ли кого-нибудь во дворе, кинулся на кухню и плотно прикрыл дверь.

— Так вы знаете пана Стогаля?

— Умгу... Я ж вам сказал. В одинаковом мы положении. Папаша у нас один...

— И что ж говорил пан Стогаль?

— Люблю деловой разговор, — усмехнулся Левицкий. — Только, пан Клумак, налейте мне еще стаканчик.

Гаврило терпеливо ждал, пока Левицкий поднял полный стакан, посмотрел его на свет, потом медленно под-

нес к пересохшим губам и еще медленнее, смакуя каждый глоток, выпил.

— Разговор у меня с вами будет очень короткий, — сказал Левицкий. — Пан Стогаль интересовался и вами и нами... Мы давно уже эмигранты, а вы можете стать ими. Стогаль приказал уведомить вас, что положение чрезвычайно серьезное. Линия Арпада, разумеется, очень сильна, и возможно, что они через нее и не пройдут. Но линия Арпада — ничто, если они захотят пройти. Мы должны на всякий случай быть наготове. Пан Стогаль прислал вам подарок.

— Подарок?

— Что? — засмеялся Левицкий. — Не привыкли вы, чтобы пан Стогаль делал подарки? Но на этот раз подарок он делает щедрый...

В тот же вечер Гаврило Клумак и Давыд Левицкий разгрузили машину, стоявшую во дворе, сняли с нее несколько ящиков. После этого Гаврило позвал Дмитра.

— Слушай, брат, — обратился он к нему. — Нужно нам этой ночью спрятать кое-какие вещи у тебя на огороде.

— Почему же у меня? — спросил Дмитро.

— У меня, знаешь, есть Осип — немой, а все-таки человек. У тебя же — только ты да Варвара. Но не бойся, Дмитро, оружие, которое мы спрячем, — это мое и твое оружие. Дошло до того, что, может быть, придется его в руки брать. Ну, не моргай, не моргай глазами, на твои руки я не надеюсь. Руки найдем, были бы деньги. А деньги у нас есть, не хватит своих — помогут.

Давыд Левицкий, захмелевший от палёнки, в это время спал на постели в доме у Гаврила. Немого Осипа не было дома — Гаврило отправил его спать на тартак. Братья перенесли ящики на огород к Дмитру и там закопали в кустах над потоком.

Утром Левицкий уехал из Кленов. Направлялся он в долину. Прощаясь с Гаврилом, панок с Полтавщины сказал:

— Вот так-то, пан Клумак. Были мы когда-то реальностью, твердыней. Сейчас мы вроде кометы. Я уже старая комета, вы — только нарождаетесь. Но оба мы вертимся и вертимся. Однако знаете ли вы, что такое комета? Газ, туман, блеск. Нам непременно нужно держаться возле какой-нибудь планеты. Так вот, прощайте и не забывайте, что нам нужна... планета...

Машина загрохотала по Раховскому шоссе в долину. Гаврило Клумак долго стоял у ворот своего дома и глядел ей вслед.

— Кометы! — сказал Гаврило. — Этот панок с Полтавщины, видно, толковый. Сказал про планету. А где же моя, эта планета?

Глава третья

1

В восьмидесятых годах прошлого столетия на Карпатах, посреди тогда еще непроходимых лесов Перечинщины и Велико-Березнянщины, где между высоких гор прорезывается глубокая Турянская долина, немецкий барон Котз поставил завод. После его смерти предприятия эти перекупил другой немецкий промышленник Август Бантлин. Вместе с заводом он за бесценок приобрел обширные массивы буковых лесов.

На дешевом сырье и на еще более дешевой рабочей силе Август Бантлин за короткое время изрядно раздобыл. Он связался с другими немецкими, английскими и французскими промышленниками, организовал акционерное общество «Бантлин». Общество перенесло старый завод ближе к массивам бука и к горной речке Уж, построило там новые цеха. С тех пор год за годом богатели акционерное общество «Бантлин» и все беднее становился трудовой люд этой округи, на чьей крови и поте промышленники сколачивали огромные капиталы.

Во время войны акционерное общество получало сказочные прибыли. В Турянской долине день и ночь курился дым, стонали гудки, шумели цеха. Акционеры выкуривали из бука нужные для войны химикаты, а из рабочего люда высасывали последние силы.

Работа на батлинских заводах шла в две смены, по двенадцать часов каждая. Неподалеку от заводских корпусов стояли черные казармы, где люди, в короткие часы отдыха, валялись на голых дощатых нарах, расположенных в два яруса. Другие сотни рабочих гнили в землянках и просто в шалашах, построенных из коры

и ветвей да трухлявого дерева, не нашедшего применения на заводе.

Труд на заводах общества «Бантлин» был настоящей каторгой. У каждых ворот жандармы проверяли и обыскивали рабочих, закончивших смену, а также и тех, которые должны были стать, в свою очередь, у печей и горячих котлов. Жандармы, шпики, сыщики постоянно шныряли и в казармах, караулили на дорогах, ведущих к заводу, на железнодорожных путях, по которым вывозили продукцию с заводов.

Выше в горах повсюду стояли воинские части; там были вышки для воздушного наблюдения и связи, там проходила та же линия Арпада, за которой думали удержаться на Карпатах фашисты. Армия охраняла капиталистов.

С некоторого времени, правда, заводы Бантлины начали сокращать производство. Расположенные вблизи линии фронта, они могли быстро очутиться в зоне военных действий. На заводах срочно разбирали машины, запаковывали их в огромные ящики, грузили на платформы и отправляли на запад.

В то же время во многих цехах, на подъездных путях и прямо на лужайках в лесу вокруг заводов появились грозные надписи: «Осторожно, мины!» Администрация, не будучи уверена, что ей удастся вывезти все оборудование заводов, собиралась взорвать их на воздух. Приказ генерала Винце о превращении Закарпатья, а также Турянской долины в пустыню действовал.

А все же, как ни следили жандармы и шпики на заводах, они не видели и не могли видеть того, что делалось у них под самым носом — в цехах, во дворах, в казармах и окрестных лесах.

Не видели они и того, как в одну из июльских ночей на лесной опушке за заводами, именно там, где было особенно много надписей: «Осторожно, мины!», и где потому не было часовых, — появились и долго стояли две фигуры.

Ночь выдалась темная, все окна на заводах были завешены, — кто мог увидеть и узнать этих людей? Да и кто, казалось, осмелился бы направиться туда, где все было перегорожено колючей проволокой, а земля под нею — сплошь засеяна минами.

Двое постояли на опушке, приглядываясь к серой прогалине перед ними и к корпусам цехов, смутно мая-

чившим на фоне синего неба, а затем двинулись, уверенно обходя ряды проволочных заграждений и пробираясь через минные поля. Они оставили позади прогалину, крадучись приблизились к одной из землянок и нырнули в нее. Если бы кто-нибудь следил за ними, он заметил бы еще и третьего, который встретил прибывших, проводил их, а сам остался караулить у землянки. Так и стоял он там долгое время, приглядываясь и прислушиваясь ко всему окружающему.

Степан Шегута не впервые пришел на Турянские заводы. Он был тесно связан не только с рабочими, а и со многими селянами в Турянской долине. Отец Степана, Иван Шегута, был одним из тех первых рабочих, которые когда-то с голодухи пошли на завод барона Котза. Жил тогда Иван Шегута в лачуге, ютившейся в расщелине, неподалеку от завода. Была у Ивана Шегуты большая семья, перебивался он с нею с хлеба на воду; на завод к барону пошел, чтобы спасти своих детей. Но семьи своей Иван Шегута так и не спас — один за другим погибали от чахотки его дети; однажды весной, когда в долине зацветала дикая черемуха, и самого Ивана Шегуты не стало.

Степан Шегута был единственным, кто выжил из всей многочисленной семьи. Работал он уже не у Котза, а у Августа Бантлина. С малых лет изведал Степан удушье горячих печей, горечь газов у котлов, нищету, голод и холод. У него не было даже того, чем владел отец, — через их двор прошла узкоколейка, по которой Бантлин вывозил продукцию своих заводов в долину. Степан Шегута поселился тогда в землянке на пустыре за заводом.

В эту самую землянку и пришел теперь Степан Шегута темной июльской ночью. Здесь его ожидали рабочие.

— Добрый вечер, Степан! Какие вести из долины? Подсаживайся ближе, Степан.

Отец Шегуты не видел выхода из каторжной жизни в Турянской долине и воспринимал все житейские невзгоды, как удары неумолимой судьбы. Сын его Степан не считал эти удары неминуемыми и знал, что для порабощенного люда Турянщины, как и для всего Закарпатья, есть спасение.

Сколько дорог исходил Степан Шегута в Закарпатье! Где Ужгород, а где Раховщина, где Хуст, а где Перечин! Кем только не был за долгие годы жизни Шегута—заводским рабочим, лесорубом, солекопом!

На Карпатах был у него свой уголок. В маленьком селе Тиблях, что лежит в горах за Синевирским озером, жила его жена — сельская учительница Ганна, было у них двое детей — Андрейко и Леся.

Степан Шегута себе не принадлежал. Давно, еще в молодые годы, работая на заводе у Бантлины, вступил он в коммунистическую партию, впоследствии был секретарем партийной организации на заводе, после этого, опасаясь за его жизнь, комитет приказал ему перейти на работу в Солотвин; когда Гитлер разрывал надвое Чехословакию, Степана Шегуту избрали членом краевого комитета.

В трудное время пришел он на тот самый завод, где работал в молодые годы; он отдыхал сейчас в той самой землянке, где когда-то жил много лет; вокруг него сидели люди, которых он хорошо знал и которые были верны ему.

— Как идет демонтаж? — спросил Степан.

— Очень хорошо, — слышался голос в землянке. — Вчера мы демонтировали котлы с серебряными трубами — это самая большая ценность нашего завода. Трубы мы тайком зарыли в землю, а в ящики взамен насыпали разного лома. Все кончилось хорошо: стража ящики приняла, печати поставили, повезли в долину.

— Пусть везут, — улыбнулся Шегута. — Такие ценности пусть вывозят. А что скажут товарищи, которым поручено следить за минированием цехов?

— Враги действуют хитро, — ответил другой голос. — Их минеры прокладывают одни шнуры снаружи, а в то же время запасные шнуры зарывают в канавы.

— Я думаю, — сказал Шегута, — что зарытые в земле шнуры нужно перерезать сразу. И тем более нужно следить за шнурами, какие положены снаружи.

— Следим, Степан.

Шегута продолжал:

— Получены радостные вести, товарищи. За перевалами собираются силы. Недалек день, когда Советская Армия сломит линию Арпада. Но и теперь уже Советская Армия наносит большой ущерб фашистам в тылу. Совет-

ская авиация ежедневно бомбит военные заводы и военные магистрали по всей Чехословакии и Венгрии. Она может направить свой удар и на заводы Закарпатья, сюда, и в Турянскую долину тоже. Да, товарищи, ведь это сегодня военные заводы. Достаточно только дать нам сигнал, как здесь содрогнется земля и от заводов останутся только щепки да пепел.

— Но ведь эти заводы построены нашими руками, Степан,— слышался в углу чей-то голос.

— Вот потому я и спрашиваю вас,— продолжал Шегута.— Дадим ли мы сигнал, что эти заводы нужно разбомбить, или будем просить, чтобы советская авиация их не трогала? Но мы можем просить об этом только в том случае, если будем уверены, что фашисты не вывезут оборудование наших заводов и что эти заводы смогут начать работать на мирных людей на следующий день по окончании войны.

Степан Шегута замолчал. В землянке настала тишина.

— Нет, Степан, заводов наших бомбить не нужно,— слышалось немного погодя несколько голосов сразу.

— Не вывезут?

— Нет! Нет!

— И мы их быстро восстановим?

— А как же.

— Хорошо, товарищи. Я передам вашу просьбу. А теперь нужно подумать, как помочь партизанам в горах. Возле Полонины Руно появилась новая группа наших товарищей. Им нужна наша помощь. В горах сейчас начнутся ответственные и сложные операции. Кого мы пошлем туда?

...Была поздняя ночь, когда Степан Шегута покинул землянку. С двумя товарищами он направился к опушке, вслед за ним пошло еще несколько рабочих, несколько человек вышло из других землянок.

Собрались они все на опушке, вполголоса перекинулись словом и, растянувшись цепочкой, двинулись по тропинке, извивавшейся между высоких буков и сосен.

В лесу было тихо. Опавшая листва и сосновая хвоя упругим пластом покрывали землю. Не слышно было шагов. Только из глубины леса долетал по временам шум или крик, где-то там, в глубине чащи, хрустели валежником олени или пробирался кабан.

Рабочим Турянской долины не впервой было идти в

горы. На крутом повороте, откуда открывался широкий вид на горы и долину, все они остановились. Ночь была темная, горы вдали окутал туман, облака то и дело закрывали долину. Но люди знали и угадывали все места. Вот — хребет, вот — темнеют полонины, а вон там, как темная река, вьется на юг Турянская долина. Там остались родные села, дома, семьи...

Степан Шегута тоже долго глядел на далекие горы. Там, в маленьком горном селении, быть может, сидит у окна и смотрит в ночной туман его жена Ганна, на дощатом помосте спят дети. Знаю, знаю, Анка, что давно уже не был я дома, знаю, что нашим детям снится, как с гостинцами входит в дом их отец. Но ведь ты сама говорила: «Иди, Степан! И детям будет лучше, если их отец придет домой смело, не озираясь. Сколько детей ждет своих отцов в горах и в долинах!»

Тропы в горах — круты. Но тот, кто идет по ним, должен знать, что идет он — к вершине.

2

Высоко в горах, недалеко от самого хребта Карпат, где волнистыми полосами легли лесные чащи, где меж горами зияют глубокие, темные долины, а в них шумят день и ночь быстрые реки, далеко-далеко протянулась полонина, которую верховинцы называли Полониной Руно. Именно здесь и развернулись события, от которых надеждой забились сердца трудящихся Закарпатья и пришли в ужас захватчики.

В ночь на двадцать первое июля на горной станции воздушного наблюдения и связи, так же как и на станции метеорологической службы, находившихся на высшей точке за Полониной Руно, дежурные зафиксировали, что около второго часа ночи над полониной прошли два самолета; один из них сделал здесь несколько заходов, а второй сразу развернулся и повернул на север.

Данные станции подтвердили и наблюдатели зенитных батарей, расположенных на западных склонах Полонины Руно и у села Полянская Гута. Они также около двух часов ночи слышали шум в небе, и тогда же зенитные батареи в течение долгого времени били так, что осколками засыпало леса, склоны гор и долину.

Но наутро, сколько ни взбирались гонведы на полонину, сколько ни бродили они по склонам гор, никаких следов парашютистов не нашли, ничего не выявили, все поиски были напрасны. Даже трава на полонине, где чабаны давно уже не водили своих стад, не была примята; там не видно было никакого следа.

На следующую ночь на Полонине Руно и по всей окрестности было тихо, но около двух часов ночи зенитчики и наблюдатели заметили, как на южной части полонины одна за другой взлетели в небо две зеленые ракеты, после чего сразу же в другом месте, возле Полянской Гуты, взлетела еще одна ракета — красная.

Ни зенитчики, ни наблюдатели не стреляли. В беспокойстве сидели они той ночью в своих блиндажах и ждали, что же будет дальше. Однако до самого утра они ничего не услышали, ничего не увидели. В небе не было никакого шума; молчаливые, лежали горы и полонина.

И вдруг, выйдя утром двадцать второго июля, чтобы прочесать леса вокруг Полонины Руно, гонведы обнаружили на вершине одного бука человеческую фигуру, висевшую среди ветвей на парашюте. Они окружили дерево, начали к нему подкрадываться и тогда увидели, что это была мертвая девушка в одежде верховинки.

Но в ту минуту, когда гонведы подползли уже совсем близко и собирались стащить вниз труп девушки, позади них ударили автоматы; несколько гонведов тут же повалилось на месте, остальные кинулись наутек, сквозь густые чащи.

Они возвратились на это место только к вечеру, силами чуть ли не батальона. Однако ни тщательно разработанный командованием план окружения местности вокруг дерева, ни все принятые гонведами меры не дали никаких результатов. На дереве уже не было мертвой девушки, никого не обнаружили солдаты и вокруг, кроме трупов убитых гонведов.

Гонведы вместе с подкреплением, прибывшим к ним из долины, прочесали леса, произвели облавы в Лютом, Лумшурах, Липовке. Но все было тщетно. Ни в лесу, ни в селах они никого из партизан не обнаружили. Не помогло и то, что гонведы ловили и пытали мужчин, женщин и детей в селах, — никто не сказал ни слова во вред партизанам.

А утром двадцать третьего июля не гонведы нашли партизан, которых они так старательно и упорно искали, а партизаны нашли гонведов, и к тому же тогда, когда те их никак не ожидали.

Произошло это невдалеке от Лютеранской Голицы в узкой долине речки Турицы, где, как говорят местные люди, один еще может пройти, а двоим никак не разминутся.

Когда гонведы выезжали из села Лютого, с безлесных склонов справа раздалось несколько выстрелов. Гонведы сразу же кинулись на выстрелы. Они были уверены, что одолеют горсточку партизан, тем более что после обеда в Лютом все они, королевские воины, были под хорошим хмельком. Было их немало — человек двести, с несколькими опытными офицерами во главе.

Гонведы ударили шпорами лошадей и помчались к Лютеранской Голице. По расчетам офицеров, партизаны могли быть только там. Так они проскакали рысью до самого ущелья речки Турицы, а дальше один за другим направились по узкой, извилистой тропке между крутыми, отвесными скалами, с одной стороны залитыми ярким солнечным светом, а с другой — грозно черневшими.

Когда первые всадники выезжали из ущелья, а остальные еще только спускались в долину Турицы, снова загремели выстрелы. Стреляли и в голове колонны, и в ее хвосте. Долго нельзя было понять, откуда и кто стреляет, — все ущелье сразу наполнилось огнем, дымом, криком. Когда все внезапно стихло, оказалось, что партизаны убили до сотни гонведов и офицеров. Лишь небольшая часть гонведов спаслась, прорвавшись вперед — к Лютеранской Голице, или назад — к Лютому.

Беглецы без памяти помчались в долину и там нагнали великого страха. Ночью в горы выступило уже около тысячи гонведов; на заре эта орда обошла Лютое, появилась близ Лумшуров, нарвалась на засаду партизан, потеряла еще с полсотни человек и отступила к Полонине Руно.

Так в районе Полонины Руно начались бои партизан с оккупантами; так зеленые полонины, где чабаны некогда пасли скот, стали местом горячих боевых стычек; так сотни закарпатцев, вынужденных в тяжкую годину покинуть родной край, возвратились сюда и начали жестокую борьбу с оккупантами, которая с тех пор уже не прекращалась.

Много дней провела Ружена вместе с партизанами в походах. Если бы кто-нибудь сказал ей прежде, что она сможет ходить наравне с вооруженными мужчинами по горам, если бы кто-нибудь сказал, что к ней будут протягиваться в трудную минуту руки раненых людей и что она сможет им помочь,— вряд ли поверила бы Ружена, что у нее окажутся такие силы.

Но это было так. Нежная с виду женщина, одетая как простая верховинка, которую партизаны называли Олейной Руцаковой, никогда не жаловалась на усталость, не отставала от мужчин, не терялась в самой сложной обстановке.

Никто из них не знал, да и думать не мог, что эта женщина черпает свои силы именно в них, что она у них учится бороться, что это их судьба, судьба бедняков, так изменила судьбу этой женщины.

Не только у партизан черпала Ружена свои силы. Это в конечном счете были военные люди; они давно привыкли к походам и боям, их беспокоила скорее предательская тишина вокруг, чем звуки боя. И что для каждого из них были трудности, если они боролись за жизнь тысяч родных людей?

Ружена вспомнила своего отца и каждое слово, когда-нибудь услышанное от него. Как-то ночью, слушая вместе с партизанами радио с востока, она услышала голос отца. Так вот где он! С разных сторон, но они идут друг к другу.

А какие люди были здесь, в горах! В первом же бою, в котором участвовала Ружена, на руках у нее оказалось двое раненых. Отряд вскоре должен был занять новые позиции. Что было делать Ружене с ранеными?

В Смерековом командир отряда вместе с Руженой зашел в хату селянина Андрея Блага.

— Слушайте, вуйко, у нас двое раненых. Хотим у вас оставить. Сможете спрятать, пока вернемся?

Андрей Благ растерянно оглядел хату, где с ребенком на руках стояла встревоженная его жена, где была такая бедность и нищета.

— Должен спрятать,—ответил он,—и спрячу. Не беспокойтесь. Только скорей возвращайтесь.

И он прятал раненых партизан до тех пор, пока отряд снова не возвратился в Смереково. За доверенную

ему жизнь партизан верховинец готов был отдать жизнь свою, жены, ребенка.

Смереково — Буковец — Лумшуры — Ликицар, — много сел прошла за это время Ружена с партизанами, и много простых, но необычайно сложных в своих чувствах людей повстречала она за это время.

Сила этих людей росла на глазах у Ружены. Сперва девушка замечала, что кое-кто из партизан перед боем испытывает беспокойство, тревогу. И самой ей свойственна была эта тревога. Но чем дальше, тем все больше исчезал у людей страх, теперь уже не они боялись гонведов, а гонведы боялись их.

Побывала Ружена и в бою под горой Руно Плай. Там бой шел целый день, и только ночь его прекратила; на склонах горы остались сотни убитых гонведов.

Ночью Ружена перевязывала раненых. Возле одного из них, молодого еще хлопца, Ружена провела целый час. Хлопца ранило в обе ноги, но врач, внимательно осмотревший раненого, утешил его: кости не затронуты, всего неделя — и он встанет.

Но все же раненый сильно мучился. Он недавно прибыл из-за перевалов и не мог представить себе, как это ему придется целую неделю лежать где-нибудь в лесу или в хате.

Ружена присела возле него.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Антон, — ответил хлопец и сразу же начал: — Вы, сестрица, признайтесь, скоро ли я пойду своими ногами?

— Очень скоро, — ответила Ружена. — Ведь доктор сказал — через неделю.

— Вот несчастье, — пожаловался Антон. — Всего несколько дней как прибыл, и такая беда. Как лежать, когда кругом такое делается?

Вокруг них стоял полумрак. Отовсюду слышны были приглушенные голоса — партизаны стягивались к одному месту, чтобы около полуночи перейти на новый рубеж. Полночь — партизанский час; это очень хорошо знала уже Ружена.

Некоторое время они молчали, прислушиваясь к шепотам ночи. Правда, ночь была наполнена и другими звуками — на перевалах раздавались одиночные выстрелы орудий, на дорогах в долине слышен был грохот грузовых машин.

— Обидно, Оленка,— проговорил Антон.— До дому близко, полетел бы туда, а тут ноги...

— А вы, Антон, откуда? — спросила она.— Турянский или из другого места?

— Вы, Оленка, не знаете моего села,— сказал Антон.— Оно вон там, за тем хребтом.

Ружена заметила в темноте протянутую на юг руку раненого.

— Какое же это село?

— Клены,— вздохнул Антон.— Маленькое такое село в горах, над Черной Тиссой.

— Клены?.. Над Черной Тиссой?.. Но как же тогда вас зовут?

— А вы что, знаете Клены? Ну, скажите, Оленка?

Ружена увидела, как опираясь на обе руки, раненый сел на траве, как он потянулся вперед, к ней.

— Да, я знаю Клены,— ответила Ружена.— Только скажите, как вас зовут?

— Я — Антон Тиснянец. Кто же вы? Почему я вас не знаю?

— Вы не можете меня знать, Антон. Я жена... я была женой одного кленовского учителя.

— У нас был учителем в селе Иосиф Короджий,— хриплым голосом проговорил Антон.

— Нет, я говорю про другого учителя,— с ноткой отчаяния в голосе сказала Ружена.— Его фамилия Гербера. Он приехал в Клены тогда, когда вас там уже не было, Антон. Но я знаю вас, я много слышала про вашего отца Михайла, я знаю вашу мать, брата Павла.

— Они живы?

— Живы,— ответила Ружена.— Живы и мать ваша, и сестрички, и брат Павло. Он работал на линии Арпада в горах, потом бежал оттуда. Об этом говорило все село.

— Молодец Павло,— радостно вырвалось у Антона.

— Но когда Павло бежал с линии Арпада, то жан-дармы сожгли хату...

— А мать и сестрички?

— Живут в другом селе.

Антон взял руку Ружены и крепко ее сжал.

— А вы не знаете,— перешел он на шепот,— дивчины такой, Юлины Ковач?

— Знаю,— сказала Ружена.— Чудесная девушка. Она тоже живет там.

Оба на какую-то минуту замолчали. Мыслями они были там, за хребтом, в маленьком селении над Черной Тиссой.

— Как я хочу скорее попасть туда,— с глубокой тоской сказал Антон.

— Мы скоро там будем,— уверенно проговорила Ружена.

Над лесом взвилась, выписала широкую дугу и начала гаснуть зеленая ракета. Близились полночь. Множеством голосов шумел лес.

4

Когда Иосиф Короджий пришел к Гаврилу Клумаку, чтобы продолжать писать портрет, тот заявил, что сейчас портрет его уже не интересует, что он жалеет потраченных зря денег, и захлопнул перед ним дверь. Короджий понял, что это означает. Гаврилу Клумаку и в самом деле было не до портретов, кленовский богач даже похудел и побледнел за последние дни. Несчастье с плотами, авария за аварией на лесопилке, за горами гремит, в селе тревожно. «Что ж,— подумал Короджий,— пусть остается недописанным портрет Клумака: лицо без глаз, только половина груди — левый бок недорисован. Смешной портрет, но в нем есть что-то похожее на правду, ведь у Гаврила Клумака никогда не было человеческого сердца!»

Учитель тихо шел по улице Кленов, держа в руках ящик с красками. День был солнечный, ярко зеленели горы, поток катил голубые воды в долину, на повороте глухо стонала мельница Ключуряков. В селе было тихо, но за всем этим Иосиф Короджий замечал признаки грозы.

Перед домом сельской управы Янош Репаша со своим Марадиком возились возле мотоцикла. Машина не заводилась, по временам бешено редела, неожиданно чихала ржавым газом и так же неожиданно замолкала. Старшина и капрал нервничали, им теперь до зарезу нужна была машина.

У себя во дворе стоял о. Федор Стрыпский. Крайне обеспокоенный, он пристально глядел на перевалы. Вплотную к ограде подошла и дочь священника, Марня. Она долго смотрела вслед учителю, и он, обернувшись раза два, все ловил на себе ее взгляд.

Еще дальше, почти у самой школы, на развилке дороги несколько кленовчан рыли окопы — такой был приказ из окружного управления, во всех селах на Верховине рыли окопы, делали завалы, ставили блиндажи. Возле селян стоял столбом сумасшедший гонвед — внук Франца-Иосифа и брат испанского принца. Он не понимал ни слова по-украински, и когда Короджий проходил мимо селян, то услышал, как один из них — Данило Горинич, веселый и смелый человек, — говорил ласковым голосом, выбрасывая заступом землю из окопа и каждый раз обращаясь к своему стражу:

— Роем, копаем, слышишь, милостивый пан? Должны рыть, потому что у тебя, сукина сына, винтовка в руках, и если что, то еще и убьешь. Вот и роем, роем, точно кроты. А ты стой, стой, солдатская твоя душа! Смотри, чтоб у тебя глаза лопнули, плюйся, чтоб ты слюной истек! погоди, еще и кровью истечешь. Ты знаешь, что мы копаем? Это не окопы-шанцы, это могила тебе, солдат! Рою я, и все мы роем от души, крепко. Загремят пушки на хребте гор, придут сюда братья-вызволители. Не выстоите вы, солдаты, ничего не выйдет. И мы тут поможем, потому что очень злы на вас, сил наших нет. И кинем мы тебя, солдат, в эту яму так, чтобы кости треснули, чтобы жилы рвались. Ну вот и стой, я еще глубже тебе могилу вырою. Я не гордый...

Короджий слышал, что говорил Данило. От него селяне не таились, он был здесь свой человек.

Во дворе школы прохаживался Василь Гербера. Управляющий школой был теперь крайне вежлив и предупредителен. Он заговорил с учителем, допытывался, закончил ли Короджий портрет Гаврила Клумака, намекал на то, что хотел бы тоже иметь портрет.

Утомленный разговором, Иосиф Короджий прошел в свою убогую комнату. Портрет Василя Герберы — ишь куда хватил управитель.

Другую картину и портреты других людей хотел бы написать Иосиф Короджий. За спиной у него было много тяжких лет, жил он в бурные, напряженные дни, а все же часто раздумывал над той картиной, какую непременно напишет тогда, когда пройдет лихолетье, когда закарпатцы обнимутся со своими родными братьями, когда мир придет на политую кровью землю.

В центре своей новой картины Иосиф Короджий хотел

нарисовать Олексу Борканюка, рядом с ним Михайла Тиснянца, ибо то, что делал Михайло, и те слова, за какие он умер, никогда не забудутся. Иосиф Короджий напишет Тиснянца непреклонным, гордым, таким, каким видел его своими глазами, когда Тиснянец говорил: «...что мы пуговичка, это правда, но та Советская Украина, что за Карпатами,— это все-таки большая свитка, и, может, лучше пришивать не свитку к пуговице, а нашу малую пуговицу пришить к той большой свитке».

Еще нарисует Короджий на своей картине Степана Шегуту. Он будет стоять между Олексой Борканюком и Михайлом Тиснянцем, потому что он был другом их обоих и теперь продолжает их дело.

А вокруг них будут стоять труженики Верховины — плотогоны, лесорубы, чабаны, мужчины, женщины. Над ними будут реять красные знамена, в руках у них будут чудесные горные цветы, а позади них солнце будет играть на высоких голубых горах.

Мечта! Иосиф Короджий в эту минуту мог только мечтать о своей будущей картине. Он не мог делать даже эскизы к этой картине, потому что к нему каждый день заходил, следил за ним Василь Гербера, к нему несколько раз заглядывали жандармы — все с той же целью. Что ж, он не будет делать эскизов.

Но эскизы для картины о торжестве людей Закарпатья пишет сама жизнь. Короджий верил — недалек час, о котором они мечтают, скоро придет победа, а тогда будет написана и его картина.

Он долго стоял у окна, из которого открывался вид на горы. Перед ним выплывали лица людей, тех, кто борется за общее дело в долине и в горах. Он вспомнил Юрка Сегиня, Данила Ковача, Юлину, Тиснянчиху и ее сыновей. Почему-то вспомнил Иосиф Ружену — ее улыбку, тихую речь, открытый, ласковый взгляд. О, если бы Гербера знал про Ружену то, что знал о ней Иосиф Короджий!

5

Вечером, подойдя к Белой Тиссе, Юлина села на камень над рекой, склонила голову на руки и задумалась.

Над горами четко вырисовывался широкий полукруг голубоватого месяца, за ним, как пышные одежды, пере-

ливались нежными тонами прозрачные и тонкие серебристые облачка. На берегу Белой Тиссы виднелись темные скалы. Темна была и вода в горном потоке, только у самых ног Юлины, где под камнем воронкой крутился омут, по воде перебегали серебряные полосы, словно стайка серебряных рыбок непрерывно выскакивала и снова ныряла в воду.

Юлина тихонько запела:

Почарую, поворожу над зеленим стогом,
А чи правда, що зловили легіника мого,
Почарую, поворожу воском на пшениці,
А чи правда, що вже стятий любчик мій в темниці
Чи в землі вже спить легіник, чи ще десь бідує,
А чи в гробі він навіки, чи в лісах ночує...

Юлина пела, но не верила словам песни. Она верила, что Антон жив, что скоро воротится из-за перевалов. Антон не может погибнуть, ведь она так упорно ждет его, сердце ее так сжимается при каждом воспоминании о нем, она так жаждет встречи с ним.

Тихими шагами возвратилась Юлина от Белой Тиссы к дому Кирила Полонинца, где они жили теперь с Тиснянчихой, посидела со старухой на завалинке, и еще раз они поговорили про Антона — уже вместе, потом улеглись на дощатом помосте. Засыпая, полузакрытыми глазами Юлина еще раз увидела, как луч месяца, точно прощаясь, заглянул в хату, косо лег по стене, осветив то место, где висела войлочная шляпа Кирила Полонинца. Юлина подумала, что завтра ей нужно идти в Рахов, взять там у Ярослава Гишки и принести в Боцары новые листовки — ведь она делала в этом селе то, что когда-то делал Кирило Полонинец.

Но завтра Юлине не пришлось идти в Рахов. На рассвете ее разбудила Гафия Тиснянчиха, — она и на этот раз проснулась раньше названной своей невестки и дочек. Она вышла во двор взглянуть, скоро ли взойдет солнце, но тут же возвратилась в хату, испуганная и встревоженная.

— Юлина! — кинулась она опрометью к девушке. — Проснись, дитятко! Что-то случилось в селе. И на улице и на огородах стоят жандармы. А один стоит и возле нашего перелаза. Я уж останусь, а ты беги скорей, дочка.

Юлина вышла из хаты так, что и дверь не скрипнула, проскользнула под стеной, проползла бурьянами, выскочила в огород, крадучись пошла меж кустами калины.

До леса было близко. У нее были крепкие, быстрые ноги! Лишь бы спрятаться в кустах, а там уж никто не сумеет ее найти. Только бы не заметил жандарм, торчавший возле огорода!

Но жандарм был не один. Когда Юлина выскочила из кустов калины и изо всех сил побежала по ярко-зеленой и ровной лужайке, она увидела, что вдоль всей опушки через равные интервалы стоят жандармы.

На миг она остановилась, как бы колеблясь, бежать ли ей вперед, к лесу, или возвратиться назад, в село. Но ей не из чего было выбирать, ведь в селе началась облава. Юлина побежала к лесу в надежде, что сумеет прорваться между жандармами.

Еще миг, и она была бы в чаще, но из кустов впереди нее выскочил жандарм и ударом винтовки сбил ее с ног.

Как подстреленная птичка, упала на покрытую холодной росой траву Юлина и все же пыталась подняться, вскочить на ноги, бежать. Она поняла, что творится вокруг, и тем больше хотела бежать — от села, от жандармов, на волю.

Жандарм, сбивший ее с ног, не дал ей подняться, связал за спиной руки и, издеваясь над девушкой, допрашивал:

— Ты куда бежала? Зачем бежала?

А к нему уже подходили другие жандармы. Это палачи генерала Винце нагрянули в Бочары с приказом схватить на первый раз всю молодежь и гнать ее в долину.

Когда солнце вышло из-за перевала, из Бочаров двинулся печальный обоз. Впереди выступали вооруженные жандармы, за ними, связанные между собой по двое, по трое, шли парни и девушки. Между ними и Юлина. Колонну замыкала еще одна группа жандармов.

Старая Тиснянчиха и рядом с нею две девочки стояли возле дома и долго глядели вслед невольникам. Они плакали, но тихо, беззвучно, потому что на улице, неподалеку от хаты, сторожили староста Петельчук и сельский писарь.

Андрей Бродий волновался, но старался скрыть это. Он таки добился своего — долгое время функционеры АЗС искали путей, чтобы установить контакт с партизанами. Способами отставной премьер-министр и его подручные не брезговали: они обещали, что тот, кто наладит контакт с партизанами, получит славу и деньги, клялись, что все это останется в тайне, и уверяли, что ими руководит совесть, чувство долга.

И вот однажды, солнечным утром, старая побитая машина марки «оппель» проскочила извилистой дорогой в долину Ужа, свернула влево, в горы, запрыгала на выбоинах в лесу, остановилась в роще за Туря-Пасекой. Там из машины вышли Андрей Бродий, его секретарь и с ними Михайло Демко.

На этом месте их должны были ждать представители партизан. Так по крайней мере уведомили Бродия. Все тут было так, как условились, — лужайка за Туря-Пасекой, сожженный тартак, белый флажок на жердине в конце лужайки. Не видно было только партизан. Бродий даже нахмурил брови и удивленно поглядывал на сопровождающих, точно говорил: «Что ж это, господа, обман, мистификация или, может быть, и ловушка?»

Но как раз в эту минуту в ближних кустах послышался треск и оттуда вышли два человека — обыкновенные верховинцы в войлочных шляпах и кожушках, один из них даже с пустой торбой за плечами. Верховинцы направились прямо к пану Бродию, остановились за шаг от него, и один из них, улыбнувшись, спросил:

— Вы, случайно, не Бродий?

Это было наивысшее оскорбление — отставной премьер-министр и депутат парламента приезжает на машине, его сопровождают высокие особы, а тут их встречают какие-то русины, да еще насмеваются, глумятся. Пану Бродию пришлось сделать большое усилие, чтобы сдержать себя.

— Да, я Бродий, — деланно-спокойно сказал отставной премьер-министр. — А кто вы?

— Партизаны мы, — сказали верховинцы, — и ждем именно вас.

— Ну, так ведите,— коротко кинул Бродий.

Встреча Андрея Бродия с партизанами состоялась в бедной хижине на окраине Туря-Пасеки.

— Партизаны здесь,— сказали верховинцы, указывая на дверь.

За столом в хате сидели три человека. Войдя, Бродий очень любезно произнес слова приветствия и внимательно оглядел партизан.

— Очень приятно познакомиться,— начал он.— С кем имею честь говорить? Мы уже давно искали путей встречи с вами, потеряли много драгоценного времени, упустили уже столько возможностей...

— Садитесь, панове,— проговорил коротко один из партизан — невысокий, пожилой уже человек с проседью на висках.— Это правда, что мы потеряли много времени. Будем беречь его хоть теперь.

— Пожалуйста,— процедил Бродий и, уже садясь, добавил:— Но вы мне не сказали, с кем я имею честь говорить?

— Я командир партизанского соединения,— ответил седоватый человек.— Это,— указал он на человека в военной форме, сидевшего справа за столом,— начальник штаба, это — офицер штаба. Все сделано, как уговорились наши представители, пан Бродий. Вы хотели говорить с партизанами, пожалуйста,— партизаны вас слушают.

Бродий приложил руку к сердцу, закинув назад голову, закатил глаза.

— Я,— патетически начал он,— как истинный русин, всю свою жизнь думал о процветании своего народа... Я не могу скрывать от вас, что на этом пути меня ждали разные невзгоды и неприятности... Я не стану скрывать от вас, что за долгую свою политическую жизнь совершил немало больших или меньших ошибок...

— Пан Бродий,— перебил его человек, назвавшийся командиром партизанского соединения,— мы достаточно хорошо знаем вашу биографию, и если вы прибыли сюда только для того, чтобы рассказать ее нам, то это напрасная трата времени. А вы сами сказали, что нам нужно беречь время.

— Я прошу прощения,— сразу переменял тон Бродий,— но я считал, что вам, как приезжим людям, инте-

ресно будет узнать обо мне не от каких-нибудь посторонних лиц, а от меня самого непосредственно.

— Вы ошибаетесь, пан Бродий,— строго проговорил командир партизанского соединения,— называя нас приезжими людьми. Какие же мы приезжие, если один из нас родился в Турянской долине, второй — на Раховщине, а третий в том же городе, где родились и вы. Кому ж вас знать, пан Бродий, как не нам? И встречались мы с вами уже не раз, пан Бродий.

— Встречались?

— Да, пан Бродий! Встречались. Только вам было не до нас.

Такое начало беседы не очень порадовало отставного премьер-министра. Но что делать?

— Если я имею дело с земляками, тем лучше,— круто повернул Бродий.— Что ж, я хотел бы начать с того, что решительно осуждаю все мои ошибки и мою работу в Автономном земледельческом союзе.

— Очень хорошо,— сказал командир партизанского соединения,— что пан Бродий так оценивает работу Автономного земледельческого союза. Но неужели вы только ради этого искали встречи с нами.

— О нет, разумеется,— быстро ответил Бродий.— Осуждая тот или иной период своей деятельности, сознательный человек обязан задуматься над тем, как ему не повторять ошибок прошлого и как быть полезным своему народу в настоящем.

— Что-то я не понимаю вас, пан Бродий,— открыто признался командир партизанского соединения.— Как же вы можете, причинив столько несчастий народу, быть полезным ему теперь?

— Но ведь АЗС еще существует,— с затаенным раздражением проговорил Бродий.

— Если это можно назвать существованием, то существует.

— И я ношу звание депутата парламента?

— Временно как будто носите...

— Я понимаю, что все в мире временно,— заявил Бродий,— но сегодня, как председатель президнума АЗС и как депутат парламента, я хочу помочь партизанам... И это не только моя мысль. Вся наша делегация прибыла с этой целью. Мы искренне хотим помочь вам.

Командир партизанского соединения долго смотрел на лысоватую голову Андрея Бродия, на его болезненно-желтое лицо, на глаза, растерянно блуждавшие по комнате.

— Допустим,— сказал командир,— что вы сегодня, как депутат и председатель АЗС, могли бы кое-что сделать, чтобы спасти население долин.

— Я сделаю все, что в моих силах,— сказал Бродий,— в надежде, что позднее мы будем друг друга судить по поступкам.

— Мы согласны, чтобы вы сделали то, что в ваших силах,— сказал командир.— И помните, пан Бродий, что за враждебные поступки мы караем, а за хорошие оправдываем. Как депутат парламента и как влиятельная среди фашистов особа, вы могли бы сберечь много народного добра в Ужгороде, Мукачеве, на фабриках и заводах. Вы могли бы, кроме того, принять меры, чтобы власти приостановили эвакуацию населения Закарпатья. И наконец, я думаю, у вас есть возможность помочь нашим отрядам оружием и обмундированием.

Андрей Бродий отвел глаза от командира и быстро взглянул в окно.

— Что ж, я согласен,— тихо проговорил он,— но я должен знать, на какую численность партизан мы должны рассчитывать и как конкретно мы можем осуществлять контакт в наших действиях?

— Контакт? — улыбнулся командир соединения.— Контакт может быть только в одном: мы будем продолжать свое дело, а вы прекратите свои преступные действия в долине и выполните условия, какие я сейчас поставил. Что касается численности партизан, то вы можете считать партизанами всю бедноту долин и Верховины.

— Понимаю,— сказал Бродий, почувствовав всю бесполезность своей попытки разведать что-нибудь о партизанах.— Для первой нашей встречи этого, пожалуй, достаточно. Я думаю, нам удастся выполнить хотя бы частично ваши требования. Выполнить целиком — я не в силах. Я доверенное лицо при правительстве, но не правительство. Однако вы не сказали, что же обещает нам за это партизанское командование?

— Не мы начинали этот торг,— сказал командир,— но если вы обязываетесь выполнить наши условия, то,

конечно, имеее основание спросить, что же мы обещаем? Мы обещаем вам и всем, кто поможет нам спасти людей Закарпатья,— жизнь и свободу. А это, позвольте вам напомнить, пап Бродий, не так уж мало. К тому же, мы никогда не бросаем обещаний на ветер.

— Знаю,— сказал Андрей Бродий.— Что ж, я согласен!

Три командира вышли из хаты и долго смотрели вслед Бродию,— он вместе со своими спутниками шел к лесу.

— Ишь как полетели,— усмехнулся Степан Шегута (он был представлен Бродию как начальник штаба).— Рады небось, что вырвались живыми. Ну, пускай бегут. Посмотрим, что они сделают. Что это пес, да еще дрессированный, давно известно. Но если он, боясь народа, хоть немного помешает оккупантам в их планах уничтожения наших людей,— и то хорошо. Ради этого с ним стоило встретиться. Нет сомнений, он хитрит, обдумывает какую-то новую комбинацию. Но на этот раз комбинации у него не выйдут. И выскользнуть ему не удастся. Об этом уж мы позаботимся.

2

В Клены приехал о. Никодим. Хотя он теперь занимал значительную должность при епископе мукачевском, но сопровождали его в путешествии на Верховину два жандарма,— это было весьма показательно и характерно, духовенство, очевидно, не полагалось на собственные силы.

И действовал о. Никодим с жандармами и властями сообща. Цель его приезда на Верховину была очень далека от религии, от господ бога, от всех духовных дел.

Плотно позавтракав и выпив вместе с семьей о. Федора, о. Никодим прошел с верховинским благочинным в кабинет, удобно уселся в кресле и начал деловую и очень серьезную беседу.

— В ближайшие дни,— сказал он,— сюда прибывают отряды «Рондьош гарды», они начнут массовое выселение с гор.

— Что ж,— проговорил о. Федор.— верховинцы этого заслужили, ибо полагаться на них в наше страшное время никак нельзя. Скажите мне только, отец Никодим, как понимать слова «массовое выселение»?

— Массовое выселение? О, эти слова говорят сами за себя: гвардейцы будут выселять всех — мужчин, женщин и даже детей. Разумеется, наши люди, то есть те люди, которым мы доверяем, останутся.

— Понимаю,— вздохнул о. Федор.— Справедливо и целесообразно. Но это будет сложная и серьезная экзекуция.

— И она возлагает, отец Федор, великие обязанности на нас — служителей апостольской церкви.

— Понимаю и готов,— бодро сказал о. Федор.— Я уже давно задумываюсь над этим вопросом и понимаю, как все это нужно совершить. Во-первых, я считаю, что нам нужно точно знать, кого выселять, а кого оставить.

— Правильно! — согласился о. Никодим.

— И это у меня уже приготовлено,— улыбнулся о. Федор.— Я старался быть добрым пастырем своих овец, все верующие у меня помечены, каждый из них у меня заклеен.

— Очень хорошо,— похвалил кленовского благочинного о. Никодим.— Вы недаром прожили здесь много лет.

— О да! Я и мои предки прожили здесь несколько столетий и хорошо знаем местное население. Вот почему меня очень беспокоит другое: как их собрать для выселения, удержать от бегства. Вы только взгляните, они живут на всех взгорьях, и чуть что — разбегутся в горы да ущелья. Дикая люди, они и проворны, как зайцы.

— А что бы вы предложили для того, чтобы собрать их и удержать? — спросил о. Никодим.

— У меня намечено одно мероприятие, и о нем я уже писал лично епископу Федору.

— Мне известны все меры, какие вы предлагали в своих письмах, но какую именно имеете вы в виду сейчас?

— Дело идет об иконе божией матери, которую я собственноручно обновил. Я написал епископу Федору, что такое явление можно пояснить и чудом.

— Епископ Федор считает, что это действительно можно назвать чудом, но мы хотели бы приберечь его для более подходящего случая.

— А это разве не подходящий случай? — усмехнулся о. Федор. — В нужный момент, и именно тогда, когда возле села появятся вооруженные силы, мы выставим икону в храме и объявляем: произошло чудо. Я знаю местное население и уверен — верховинцы хлынут в церковь. Чудо в Кленах! А разве вы не пошли бы, отец Никодим? Что касается меня, то я побежал бы.

— Идея привлекательная, — сказал о. Никодим. — Это в самом деле может помочь выселению.

— И даже, — продолжал о. Федор, — когда их уже выселят, то икона очень нам пригодится. Населения нет, но мать божия благословляет и оберегает нашу землю. Кстати, у этой богومатери на голове корона святого Стефана.

— А покажите-ка мне ее, — предложил о. Никодим.

Они прошли вдоль Кленов, где было очень тихо и спокойно — во дворах хлопотали женщины и дивчата, а на привядшей траве играли дети.

В церкви они прошли в чуланчик за алтарем, и там о. Федор вынул икону божьей матери, поставил ее на стул, прямо под ярким солнечным лучом.

— Она была недурна, эта натура, с которой художник писал божью мать! — воскликнул в восторге о. Никодим. — Какие глаза, губы, а грудь, грудь... Нет, для чуда она вполне подходит. А вы, я вижу, настоящий алхимик, отец Федор.

— Нет, я просто католический священник, применяющий все средства для достижения цели, — набожно возведя очи горе, отвечивал о. Федор.

Они возвращались из церкви в поповский дом восторженные, возбужденные. Федор Стрыпский так разволновался и расчувствовался, что, остановясь возле дома Ивана Кулинича, подошел к детям, игравшим на траве, и взял одного ребенка — девочку с большими голубыми глазами и необычайно длинными темными ресницами — на руки.

— Вы мне не сказали еще об одном мероприятии, — обратился он к о. Никодиму.

— О каком именно?

Благочинный погладил девочку по льняным волосам и пояснил:

— Я писал про священника из села Чирок, который высказывал особенные симпатии к Советской Армии;

а сейчас я имею доказательства, что священник этот еще больше активизировался и просто вредит нашему делу.

— Не думаю, чтобы он мог вредить,— сказал о. Никодим.— По нашим сведениям, этого священника уже нет в живых. Несчастный случай — отравление.

— Понятно,— протянул о. Федор.— Такие, как он, долго не живут под солнцем.

Благочинный еще раз погладил девочку по льняным волосам и опустил ее на землю.

3

— А вы гудите! — говорил Гаврило Клумак, указывая на ручку сирены.— Гудите утром, днем, вечером.

— Я могу гудеть хотя бы целый день, пан Клумак,— ответил Ласло Потоки,— но к чему все это, если пасов нет, материалов нет, нефти не купишь. На одной воде лесопилка работать не будет.

— Знаю,— сжал кулаки Гаврило Клумак.— Я еще и не то знаю. Вчера в Рахове беседовал с паном Бродием. Знаете, наверно, его! Я тоже, как вам известно, вхожу сейчас в этот союз. Функционер на Верховине! Так вот, в ближайшие дни начнется выселение с Верховины. Всех будут выселять — мужчин, женщин, детей! Не бойтесь, Ласло, нас с вами никто не выселит. Все достойные люди, разумеется, останутся здесь. Выселять будут одних бунтовщиков или к ним причастных. И пусть выселяют, Ласло. У меня, признаюсь, поначалу чуть сердце не выскочило, когда я услышал про выселение. Ведь это наша рабочая сила — лесорубы, сплавщики, пильщики. А потом я подумал: какой же это капитал, если от него сейчас одни убытки? Ведь и на бутинах и здесь, на тартаке, нет работы, только вредят они. Пускай выселяют, пускай всех гонят. Пройдет этот ужас, рабочая сила сама полезет к нам. А мы пока что останемся здесь, да еще жандармы, да гонведы. Вокруг один только воздух. И хорошо. Некого бояться, некого остерегаться. А мы будем гудеть, пускай думают все, что у нас идет работа. Может, и за перевалами услышат,— пускай себе,— мы сидим здесь. А ну, погудите, Ласло. Вроде бы обеденная пора...

Ласло налег на ручку сирены, и басовитый, резкий звук, захлебываясь, усиливаясь, все нарастая и нарастая, покотился над селом и выше, выше, в горы. Там эхо ударилось о скалы, отразилось от них и удвоенным, утроенным вернулось в долину. Казалось, не одна сирена гудит в долине, а много их тут — разноголосых, пронзительных.

Вот так, под долго не стихающий рев сирены и пошел Гаврило Клумак домой. Был он зол и пьян. Пил Гаврило теперь много — день и ночь тянул паленку. И когда напивался, не скрывал своих мыслей — либо жизнь, либо смерть, иначе кленовский богач не думал.

У ворот его ждал Дмитро. Он стоял темный и набрякший, как утопленник. Веки у него так опухли от бессонных ночей, что он с трудом мог смотреть на свет.

— Гудишь? Пожалуй, лучше помолчать, Гаврило? Ведь тартак не работает.

Гаврило посмотрел на брата и громко захохотал.

— А знаешь что? — вдруг сказал он. — Уж если кого и выселять из Кленов, то я бы тебя первого выселил.

— Ты о чем? — не понял его Дмитро.

— О том, что скоро всех отсюда выселят. В долину, в концлагери, в огненные печи.

— Концлагери и огненные печи — это пускай для других, — серьезно возразил Дмитро. — А вот в долину я поехал бы с радостью.

— С радостью? — язвительно протянул Гаврило Клумак. — Я знаю, теперь ты поехал бы с радостью. Но я тебя в долину не пущу. Издыхать будем с тобой вместе.

— Ты что, пьян, Гаврило?

— Может, и пьян, — согласился Гаврило, — но ум всегда при мне.

Это была не первая ссора между братьями. Они грызлись теперь очень часто. Но разве только теперь? Если говорить по правде, они всю свою жизнь жили, как волки. Только раньше они скрывали свои чувства, а теперь были откровенно злобны.

Ласло Потокки неохотно выпустил из пальцев ручку сирены. Гаврило Клумак приказывал ему гудеть, чтобы люди думали, будто в Кленах спокойно; Ласло Потокки,

пуская в ход сирену, хотел поведать людям свою тревогу.

Пьяный Клумак выболтал механику то, что от верховинского люда скрывали власти, партия АЗС, жандармы, духовенство. Теперь все стало ясно. Выселение и смерть ждет людей Верховины.

Механик тартака огляделся по сторонам и прислушался. Невдалеке от него, за кручей, шумел неугомонный поток, а на повороте глухо ударяли лопасти водяной мельницы. Ниже по течению горного потока, где под крутым берегом всегда стояла глубокая вода, дивчата выбирали из воды коноплю и о чем-то громко между собой переговаривались. На том берегу в кустах кто-то покрикивал на лошадь. Где-то в селе плакал ребенок, а в горах печально пела трембита.

И Ласло Потоки подумал, — что будет здесь, когда не станет людей, когда замолкнут голоса? Будет, правда, шуметь горный поток, из лесов будет набегать и стонать ветер, но не будет живого людского голоса; слышите, голоса людского не будет!

Перед его глазами возникла такая страшная картина опустошения и смерти, что он даже пошатнулся, схватился рукой за фонарный столб среди двора и долго стоял так, провожая глазами быстро бегущие волны потока.

А потом он прошелся по двору, как бы осматривая непригодные для распилки бревна, высокие кучи опилок, свалку железного лома. Ласло должен был ходить так и смотреть, ведь он был механиком клумаковской лесопилки.

Но теперь он думал о другом. Не раз уже коммунисты собирались и совещались о том, как быть, если фашисты начнут выселять людей. Не верилось тогда, что это возможно.

Вечером Ласло Потоки попросил Коти дать ему кусок хлеба и луковицу.

— Ты снова куда-то пойдешь? — спросила Коти, с тревогой глядя на бледное лицо мужа.

— Должен идти, — ответил он спокойно. — Не волнуйся, к рассвету я буду дома. Вот теперь, Коти, я действительно начну работать в две смены.

Вечером о. Никодим и Мария вышли в сад, где еще пахло поздними цветами, но воздух был влажен и свеж, а от земли струился осенний холодок.

— Посидим здесь, Мария,— сказал о. Никодим и сам сел, плотно укрыв ноги сутаной.— Поговорим хоть здесь,— в доме людей как будто и немного, но не все при них скажешь.

— Я слушаю вас, духовный отец,— покорно выговорила Мария, внимательно глядя в лицо своему наставнику.

Священник долго молчал, зажмурясь и вдыхая свежий воздух; потом он открыл глаза, и Мария увидела в них знакомые блестящие огоньки.

— Вы не сделали, Мария, того, чего мы от вас ждали,— сказал священник.

— А что я могла сделать?

— Мы условились, когда вы сюда ехали, что первым и основным вашим заданием будут поиски партизан.

— Я ни на один день не забывала об этом задании,— ответила Мария.— Но как мне было их искать?

— Мы послали сюда вас, женщину, ибо женщина может проникнуть туда, куда никогда не проникнуть мужчине, и может сделать то, что ему и не снится. Ведь партизаны тут, они ходят рядом с нами. Только мы не умеем их найти, и вы, Мария, этого не сумели.

— Мне остается только согласиться с вашими словами,— слегка иронически заметила Мария.

— Конечно,— почувствовав эту иронию, продолжал о. Никодим.— Но вы не выполнили другого задания. Смогли ли вы найти путь, чтобы одной пробраться за горы, во Львов?

— Нет,— со страхом взглянула она на перевалы.— Я и этого не смогла сделать.

И, помолчав, Мария добавила:

— Я со всем соглашаюсь, духовный отец. Но я, видимо, не такая, какую вы меня себе представляли. Я хотела стать героиней, но из этого ничего не вышло. Здесь, в Кленах, я взяла у матери один французский роман, в нем описывается героиня, которая поставила себе целью богатство и славу и этого достигла. Это — героиня! А у меня ничего не вышло. Я выполняю все задания «Канцелярии защиты веры», я побывала на востоке, воз-

вратилась в Ужгород, попала сюда, на Верховину. Нет, я просто незадачливая героиня.

Отец Никодим выслушал эту тираду, а затем проговорил, поразив Марию в самое сердце:

— А такая ли вы на самом деле, как сейчас о себе рассказали?

— Думаю, что да.

— А я думаю, что нет. Для французского писателя вы действительно были бы незадачливой героиней, но я знаю вас много лет и знаю все ваши шаги.

Она посмотрела на него холодным, проницательным взглядом.

— Скажите,— спросил он,— были вы в епископате в ночь на восемнадцатое апреля?

— Ну, неужели я буду помнить какое-то там восемнадцатое апреля? Сколько прошло дней, сколько ночей!

— Нет, Мария, я говорю про одну ночь, и именно,— ночь на восемнадцатое апреля. Именно в эту ночь, когда епископ Стойка был при смерти, апостольский нунций из Будапешта прибыл в Ужгород и вызвал в епископат некоторых лиц, чтобы получить сведения кое о ком из кандидатов в епископы. Вы были в ту ночь в епископате, Мария.

Мария улыбнулась и отвела глаза от о. Никодима.

— Что ж,— проговорила она.— Я давно знала вашу способность проникать сквозь стены. Не удивительно, что вы узнали и об этом. Да, я собирала некоторое время материалы о вас, но если вы такой всевидящий и всезнающий, то должны знать, что я сказала о вас только хорошее и даже сравнила вас со святым...

— Разумеется, знаю,— ответил о. Никодим и вздохнул.— Святой! Великомученик! Божественная особа! А вот не помогло, Мария. На пост епископа нашлись иные, менее достойные.

— Мой духовный отец,— сказала Мария,— но ведь в епископате и сейчас идет борьба. И каждый живой епископ в конце концов становится мертвым.

Отец Никодим захохотал на весь сад.

— Так скажите, Мария,— заговорил он,— неужели вы не героиня? Правда, вы героиня не из французского романа, а из истории святой католической церкви. Борьба церкви идет, и такие, как вы, не приметные, казалось бы, особы делают свое дело. Я не случайно по-

слал вас сюда, Мария, на Верховину. В епископате идет напряженная борьба. Лучше, что вас там нет.

— Спасибо за откровенность,— засмеялась и Мария.— Так для чего же тогда вы, духовный отец, начали разговор с допроса?

— Как я вижу, — согласился о. Никодим,— допрос действительно был не нужен, но ведь он превратился, Мария, в искреннюю и откровенную беседу. Если борьба в епископате не даст желательных для меня результатов, я выезжаю в Рим. Довольно!

Она молчала.

— Не тревожьтесь,— добавил о. Никодим.— На этот раз вы поедете со мною вместе.

— Ах! — воскликнула Мария.— Это будет очень хорошо! Не бойтесь, духовный отец, я и там буду вашей надежной опорой. Скорее, скорее в Рим, духовный отец!

5

Была темная осенняя ночь. Еще с вечера, едва зашло солнце, из-за гор подул резкий ветер. Вскоре он перешел в бурю. Потoki воздуха срывали с деревьев сухую листву, целыми тучами гнали ее, ветер стонал в ветвях и на крышах домов, он забрался даже на колокольню и так раскачал языки колоколов, что и они тихонько позванивали.

Такой бури давно не бывало в этих местах, и она могла наделать много бед. Братья Клумаки вышли из своих домов и долго стояли в укромном месте под стеной, ругаясь и сердитыми голосами высказывая опасение, как бы буря случаем не перевернула их тартак. Янош Репаша с Марадиком тоже выскочили во двор, не зная, как надлежит вести себя военным людям в такую непогоду, но по зрелом размышлении решили, что самое лучшее будет вернуться в дом и приняться за паленку. Выглянул на минуту из дому, услышав, как вдруг задребезжали колокола, и Федор Стрыпский, но тут же понял, какая тому причина, и, трижды мелко перекрестившись, спрятался обратно в тепло, заложил дверь палкой и продолжал играть в карты с о. Никодимом, время от времени промачивая горло сливянкой.

— Ну и завывает,— поглядывал на ставни о. Никодим.

— Что поделаешь, отец Никодим? Карпаты! — усиленно обдумывая, как бы не проиграть, ответил Федор Стрыпский. — Но такие бури в наших местах проходят очень быстро, и я думаю, к приезду отряда гвардии уже установится хорошая погода. Вы снова проиграли, отец Никодим... За вами теперь сто двенадцать пенге!

Не спали и жандармы на лесопилке у Клумаков. Они в эту ночь не стояли на вышках, так как оттуда их могло снести и даже сбросить в поток. Жандармы сбились в своей каморке на лесопилке, забаррикадировали на всякий случай двери и окна досками и по очереди спали и караулили.

Никто из этих людей даже не подозревал, что в Кленах произойдет событие, о котором они не думали и не гадали и которое будет для них диковинней и страшнее, чем ветер или буря.

Данило Ковач пришел в Клены, когда совсем стемнело. К селу он подошел, правда, еще засветло, но ждал сумерек, прячась в расщелине за Довбушевой криницей. Это была глубокая расщелина, вся поросшая орешником и грабом, но Данило заметил, как в предвечернем небе заметались и быстро побежали тучи; позже до слуха его долетел и свист ветра, мчавшегося вверх. Данило усмехнулся: люди людьми, а когда им еще буря помогает — спасибо такому помощнику.

Совсем стемнело, когда Данило вышел из расщелины и зашагал к селу. Среди вихря, бушевавшего в долине, никто не разобрал бы, где сельская управа, где церковь, где чья хата. Но Данило Ковач знал тут каждый кустик и камешек. В условном месте он нашел Иосифа Короджия.

— Ну и ветер, — сказал Данило, подойдя вплотную к учителю. — Нам везет, Иосиф.

— Да, — согласился Короджий. — Буря нам на руку.

— А что слышно из Рахова?

— Жандармы оттуда уже вышли, но остановились в Квасах. Теперь они просидят там до утра. В такую бурю они не отважатся идти...

— А как люди, знают?

— А как же. Весь день объявляли. И всякое было, Данило. Иному вот как нужно уходить из села, а он упирается — я, мол, пересижу. К другому не стоило и заходить, чтобы не повредить делу. Есть такие, что сами

вызываются идти куда глаза глядят из села, а вот не веришь ему... Назначили собраться в полночь. Все наши люди наготове... Охрана будет стоять у сельской управы, напротив тартака, перед домом Репаша.

— Вряд ли кто-нибудь из них покажется в такую ночь.

— Это правда. Ну и задует! Идем, Данило.

Всю ночь в маленьком верховинском селе Кленах никто не спал. В темных хатах еще с вечера люди собирались в дорогу, увязывали небогатый свой скарб. Они выходили из хат, собирались кучками во дворах, а потом выходили и на улицу.

Направлялись все, как было сказано, к ветряку на околице, где начинается дорога на полонины. Крадучись вдоль плетней, часто останавливаясь и озираясь, они пробивались сквозь бурю и ветер, сквозь туман и мрак.

Как ни береглись люди, а все же то в одном, то в другом конце села слышны были женские голоса; заплакал ребенок у одной матери, заплакал у другой. Да что дети! Тоскливо заголосила какая-то пожилая женщина — разве бывало когда-нибудь такое на Карпатах, чтобы люди бежали из родных хат в ночь, в черные горы, в неизвестность!

Несколько семей, которым партизаны предложили покинуть село, все же не пошли. Среди таких был и плотогон Демьян Ступка, смелый, честный, бедный человек. К нему зашел даже Данило Ковач.

— Слушайте, Демьян, что ж это вы? Ведь беда, под самым селом уже жандармы. Вас они также могут захватить. Одно спасение у всех нас — идти в горы.

— Понимаю, Данило, но идти не могу. Я уже три дня жинку уговариваю — не хочет ни за что! И нынче дома не ночует, пошла к тем, что мариинские песни поют. Проклятая поповна с ума их свела.

— Так вы одни должны идти, Демьян. Детей пожалейте.

— Не пойду, Данило. Понимаю, но не пойду. Что будет — то будет. На меня, Данило, можешь положиться.

— Знаю! Прощайте, Демьян.

— Прощай.

Последними из села вышли Данило и Короджий. Они прошли по безлюдной улице, остановились на околице, прислушались.

Это был для них трудный и суровый час. До сих пор они отвечали за небольшое число людей, у каждого из которых была своя жизнь, своя семья, родной дом, судьба. А вот теперь здесь, в долине, эти люди оставляют все, соединяют свою судьбу, а Данило и Короджий берут на себя ответственность за них.

Где-то впереди заплакал ребенок. Учитель и Данило Ковач даже вздрогнули. Крик их не испугал — село оставалось позади. Там никто ничего не услышит. Но это плачет ребенок, и о судьбе его они обязаны думать.

Почти все, с кем уговорились, вышли из села. Шуршала земля под ногами, где-то скрипела повозка, тяжело дышала и упиралась скотина. Шли по двое, по трое в ряд, растянувшись в темноте длинной серой колонной.

Последним шел Иосиф Короджий, прислушиваясь, не слышать ли голосов или криков в селе.

Но всюду было тихо, только стонал ветер, в холодном воздухе кружилась сухая листва и где-то на окраине Кленов на покинутом дворе завывала собака.

За Карпатами багрянцем играли сполохи, порывы ветра донесли и эхо взрывов.

В багряном отсвете, по темному склону горы, крутою горною тропою медленно двигался людской поток. Короджий пошел быстрее, чтобы ни на шаг не отставать от людей.

Глава пятая

1

К утру ветер утих, расколыхавшиеся массы воздуха застыли над долиной, ночной холодок росами опал на леса и травы, чистое и ясное солнце выплыло из-за перевалов.

И в Кленах было все, как обычно. Чуть рассвело — загудела сирена: это Ласло Поточи выполнял хозяйский приказ; возможно, на этот раз сирена гудела дольше и настойчивее, чем всегда. Тогда же проснулся и пришел на тартак Гаврило Клумак. Он любил вставать рано, сразу бежал на тартак, там он и умывался холодной водой. На тартаке Гаврила встретили гонведы; при виде их никто и не подумал бы, что они спали, забаррикадировавшись на тартаке, как в крепости, — двое из них

уже торчали на вышках, трое других, разведя под руководством внука Франца-Иосифа костер, готовили гуляш. Умывшись, Гаврило увидел, как по улице от своего дома к церкви прошел о. Федор Стрыпский. Благодичный шагал в это утро быстрее обычного, высоко подбирал, чтобы не забрызгаться росой, полы длинной сутаны. В то же время, о чем-то переговариваясь меж собой, к сельской управе прошли Золтан Репаша и писарь Сучай — этим не давали спать дела. Только Янош Репаша и Марадик не показывались на улицах Кленов, ведь должны же были военный комендант со своим адъютантом отоспаться после ночного бдения над паленкой?

Дальше все пошло, как заранее было предусмотрено. О. Федор побыл недолго в церкви, стремглав выскочил оттуда, побежал в сельскую управу, где торжественно объявил старосте:

— В нашем храме, пан биров, обновилась икона божией матери!

Священник, староста, а вместе с ними и писарь Сучай кинулись к церкви. Из ворот поповского дома вышли о. Никодим и Мария и поспешили присоединиться к сборищу. К ним подошел Гаврило Клумак, который и в самом деле очень удивился, узнав о «чуде» в церкви. Пока все они совещались, солнце поднялось выше, проснулись наконец Янош Репаша и Марадик.

Все они толпой вошли в церковь, где к этому времени уже собралось несколько женщин, между ними и бабка Степанида. Женщины сразу же затянули мариинскую песню. О. Федор тоже подтянул, а потом приказал сторожу Кузьме живее лезть на колокольню и звонить во все колокола.

Между тем отряд «Рондьош гарды», как и условился накануне в Рахове о. Никодим с капитаном Эндревди, подошел к селу и залег кругом него на безлесных взгорьях.

О Мария, мать божья,
Молися за нас,—

неслось из церкви. Кузьма что есть мочи звонил во все колокола, как на большой праздник.

Все шло в Кленах в то утро так, как и задумал Стрыпский.

И только одно вышло не так, как было предусмотрено. Сколько ни звонил Кузьма в колокола и сколько ни

доносилось из церкви мариинских песен, никто не выходил из островерхих хижин, никто не появлялся на улицах Кленов, никто не подавал голоса, точно все вымерли. Лишь немного погодя пришел в церковь Дмитро Клумак с женой, как очумелая вбежала Юдит Репаша, появился Клочуряк с женой и дочками. А верховинцев как не было, так и не было.

Все в церкви забеспокоились, начали один за другим выходить на паперть. Первым вышел Гаврило Клумак. Кленовский предприниматель всегда был осмотрительнее других. За ним вышел Дмитро — последнее время он старался во всем подражать брату. Потом выскочили Репаша — отец и сын, Сучай, Клочуряк. А там и о. Федор с о. Никодимом, переглядываясь, тихонько вышли из церковного сумрака и стали на паперти. В это время к церкви быстрыми шагами подошел управляющий школой Василь Гербера. В нижней рубаше, в ботинках на босу ногу, бледный и растерянный, он рысцой подбежал к церкви и, запыхавшись, остановился перед Стрыпским.

— Тут у нас событие, пан управитель, — заговорил тихим голосом о. Федор. — Обновилась мадонна. Чудо!

— Там другое чудо! — хрипло проговорил Гербера и указал рукой на верховинские хижины и школу. — Да ведь они все поубегали, в школе нет Короджия, а в его комнате настоящий хаос. Вот это так чудо!

— Что вы говорите? — закричал о. Федор и вдруг отступил в сторону, закинул голову к колокольне и изо всех сил завопил:

— Да будет тебе, Кузьма, звонить!

2

Гвардейцы генерала Винце, услышав, как в Кленах ударили в колокола, начали спускаться со взгорий к селу. Делали они это по всем правилам военной науки, шли на определенной дистанции друг от друга, суживали и суживали кольцо, заняли все выходы из села, а потом двинулись по главной улице.

В селе их встретили Золтан, Янош Репаша, Гаврило Клумак; писарь Сучай вручил командиру отряда — капитану Эндревди — заранее заготовленный список бунтовщиков-селян.

Капитан Эндревди был правой рукой генерала Винце и не раз уже «прославился» своими налетами на верховинские села. Даже внешний вид капитана говорил, что это за птица. У него была широкая и крутая грудь, морда чуть не лопалась от жира; черные усы под ястребиным носом были лихо закручены, острая бородка кидалась в глаза. И голос капитана Эндревди напоминал басовитую трубу; особенно грозно и нестерпимо для слуха гремел он, когда капитан Эндревди выходил из себя.

А выходить из себя и портить себе кровь капитану Эндревди пришлось в Кленах немало. Проклятая буря задержала отряд в Квасах, где капитану негде было даже хорошенько выспаться. Все же он к рассвету прибыл в Клены, своевременно занял исходные позиции, с первым ударом колоколов дал приказ спускаться к селу; в селе, получив список, приказал гвардейцам вламываться в дома и выводить оттуда всех обитателей.

Но как это понять? В домах бунтовщиков ни старого, ни малого, ни мужчин, ни женщин! Только в трех хатах на все село нашлись те люди, которых искали гвардейцы капитана Эндревди, между ними и Демьян Ступка.

— Позвольте,— начал совсем тихо капитан Эндревди, поглядывая на Яноша и Золтана Репаша, которые не отходили от него, и на Гаврила Клумака — этот увидался, как побитый пес.— Как должен я это понимать, господа? Ведь указанных лиц нет в селе, и они, выходит, сбежали?

— Видимо, так,— ответил Янош Репаша, поглядывая сердитым глазом на безлесные взгорья и леса за селом.— Должно быть, сбежали. Странно, ведь вчера вечером все они были на месте.

— Вчера вечером? — возвысил голос капитан.— Но после вечера была ночь, и вы, уважаемый господин комендант, очевидно, проспали и прозевали все.

— Человек должен спать,— начал Янош Репаша.

— Почему же я должен не спать, а лазить целыми ночами по этим скалам и лесам? — перебил его и, как труба, заревел капитан Эндревди.— Почему я должен спать в русинской хате, в Квасах, а вы — нежиться на своей постели? Ну, подождите, это вам так не пройдет, я заставлю вас искать партизан!

Капитан Эндревди действовал так же, как и во многих других селах. Трех крестьян, захваченных в своих

домах, капитан Эндревди приказал расстрелять. Он действовал по инструкции, а она разрешала офицеру расстреливать на месте всякого, заподозренного в связи с партизанами.

Троих задержанных поставили на пригорке за селом, чтобы их видно было со всех улиц, а также и со взгорий. Демьян Ступка стоял между Кирилом Чучупаком и Ониськом Свидой. Был Демьян необычайно бледен, и даже розовый свет зари над долиной не мог смягчить бледности его лица. Был Демьян смертельно растерян и все одергивал и одергивал руками полы своего старого кожушка, все переступал с ноги на ногу.

Перед ним стояли гвардейцы капитана Эндревди, сам капитан торчал на правом фланге. Демьян понял, какую непоправимую ошибку сделал он ночью, отказавшись уйти из села.

В груди его горела ненависть к карателям, уже поднимавшим винтовки. Это была самая большая неправда, какую Демьян Ступка видел в своей жизни.

— Ну, стреляйте же! — крикнул он вне себя. — Но за нас вас покарают наши люди и братья из-за Карпат. Бандиты вы, палачи, иуды!..

Нестройный залп оборвал слова Демьяна Ступки и двух его друзей. Один за другим они тяжело повалились на зеленую траву пригорка, оросили ее своею кровью.

Гвардейцы рассвирепели. Им мало было крови, они жаждали видеть повсюду только смерть и разрушение. Капитан Эндревди отдал приказ, и они рассыпались по всем концам села, вынося из убогих хат все, что могли там найти.

В одном конце села вспыхнул огонь, словно кто-то разложил там костер. Такой же костер вспыхнул и в другом конце села. А еще через несколько минут густой ржавый дым повалил над улицами, достиг горного потока, заполнил узкое русло и потянулся, как печальный вестник, вниз по долине Черной Тиссы. И когда эта волна дыма прокатилась и исчезла, верховинские хаты начали гореть ясным и чистым огнем, потому что в этих местах давно не было дождей и дерево хат было сухое, как порох.

Капитан Эндревди несколько успокоился только в доме о. Федора, куда благочинный пригласил его позавтракать и отдохнуть. Это был чудесный завтрак и

настоящий отдых. Попадья приготовила для гостей исключительно венгерские кушанья по рецептам кулинарной книги, в столовой у наместника собралась добрая компания. Капитан Эндревди изрядно выпил, закусил, познакомился с дочерью благочинного Марией, в которой он сразу угадал бывалую женщину.

Захмелевший капитан настолько обмяк и подобрел, что когда о. Никодим попросил у него разрешения взять на несколько часов машину, чтобы выехать по срочному делу в Рахов, то он охотно это позволил, только просил о. Никодима сейчас же прислать машину назад. И о. Никодим вместе с Марией после завтрака сели в машину и покатили в Рахов.

— Довольно! — сказал о. Никодим, когда машина выехала из села. — Мы сделали, что могли, пускай делает теперь свое дело этот капитан.

3

Еще затемно беглецы из Кленов успели отойти далеко от села. Чужие, незнакомые с этой местностью люди, конечно, не продвинулись бы в такую ночь ни на шаг в горах: вокруг стеной висела тьма, где были горные тропы — неизвестно, буря сгибала людей, валила с ног.

А они шли! Шли, потому что знали здесь каждый камешек, шли, потому что всюду была знакомая им, родная земля.

Что говорили и о чем могли говорить, направляясь в горы, эти люди? Недавно у каждого из них над головою была крыша, теперь лежали кругом горы, затянутое тучами небо висело над головами, буря шумела окрест, и такая же буря бушевала в сердцах людских.

— Свет милый наш, верховинский! Чем мы виноваты, что должны вот так блуждать?

— Кто там спрашивает, чем виноваты? Виноваты тем, что живем на свете, что родители нас породили...

— Но ведь мы отсюда родом, а не они, эти изверги! По какому праву они сюда пришли?

— Право? Кто говорит про право? Спроси у ветра, разве он спрашивает кого-нибудь, куда лететь?

— Но ветер пролетит и стихнет... А мы погибаем год за годом...

За перевалами время от времени глухо били орудия; казалось, кто-то там, за горами, точно за тяжелой дверью, стоит и грозно, с огромной силой ударяет в нее, стараясь открыть. И от могучих этих ударов, под мощным натиском, дверь раскрывается. С востока проникает сюда, на Карпаты, волна далекого красноватого света...

— Когда бы скорее! — останавливались и смотрели на восток измученные люди. — Если б на Украине знали, как мы погибаем!

Рассвет застал их высоко в горах. Под утро ветер стих, росами пали туманы; тучи, блуждавшие в долине, теперь, цепляясь за леса, поднимались по склонам гор к вершинам, точно чабаны гнали на пастбища свои стада; внизу зазеленели лужайки, голубел поток.

За ночь они, казалось бы, далеко отошли от села, а все же оно как на ладони лежало внизу перед ними — маленькое, приветливое, теплое. И в минуту, когда людям позволено было передохнуть, у многих из них, измученных, замерзших, голодных, стоявших, скрываясь, под деревьями и за камнями скал, снова дрогнуло сердце: вон где село, вон их дома, а здесь — холод вершин, скалы, леса и хмурое небо! К ним донесся в эту минуту еще и перезвон колоколов из долины, они так звали к себе — колокола родного села! Кто-то даже снял влажную крисаню и стоял с непокрытой головой.

В селе творилось что-то необыкновенное. На колокольне звонили и звонили колокола; по улицам ходили какие-то люди, потом из села долетел гром выстрелов, а еще спустя некоторое время в одной, а потом другой усадьбе столбом поднялся дым.

— Глядите! Глядите! — слышались голоса.

Дымки, перекатываясь клубами, потянулись по земле к руслу потока, за дымками повалил густой серый туман, а тогда в нескольких концах села сразу взметнулись в небо языки огня.

— Жгут! — громко крикнул кто-то в толпе. — Наши хаты жгут!

На глазах у многих выступили слезы. В другом месте кучка людей живо переговаривалась меж собой; особенно живо говорил селянин Кирило Тупчик, который, судя по обстоятельствам, то ходил в чабанах, то рубил лес на бутине. До Короджия долетали слова Тупчика:

— А может, они жгут за то, что мы ушли из села?

К группе мужчин подошли несколько женщин, напряженно прислушивались к разговору.

— Иосиф! — раздался голос Ковача. — Иди-ка сюда, Иосиф!

Короджий подошел к Ковачу — тот стоял под кустом, у обрыва. Ковач сказал коротко:

— Нужно бы нам потолковать, пожалуй, с людьми, Иосиф?

— Верно, я сам об этом думал тебе сказать.

Им не пришлось собирать людей. Они сами подошли к Ковачу и к Короджию, обступили их.

— Горит село! — слышались возбужденные голоса. — Все погибает. Если теперь и возвратиться, так некуда...

А в эти голоса вплеталось и предательское, лукавое:

— Кабы не пошли в горы, так, может, ничего и не было бы!

Данило Ковач поднял руку.

— А разве мы не знали вчера, — сказал он, — что так будет нынче? Ведь еще вчера наши партизаны проведали, что в Клены идут солдаты, чтобы людей выселить, а хаты сжечь. И наше село не первое — они побывали уже во многих селах на долине и в горах и всюду выселяли и жгли.

Коммунисты вчера, — продолжал он, — решили, что нужно об этом сказать вам, люди, вывести вас из села, спасти, что можно, из имущества, жизнь детей спасти. Не так ли мы сделали, люди?

— Так, — крикнула одна из женщин, она стояла, прижимая к груди ребенка. — Не пойду, ни за что не пойду в долину.

— А как жить будем в горах, Данило? — спросил Кирило Тупчик, выступив вперед.

— Слушай, Кирило! — крикнул Ковач. — Разве нам не все равно, где — там или тут. И вы должны знать, — обратился Ковач уже ко всем людям, — мы давно уже думали о том, что, может, придется нам уходить в горы, и нашли место, где нас враги не достанут, где и мужчины, и женщины, и дети будут в безопасности.

Легкий вздох вырвался из множества грудей.

— А харчи, а вода? — не говорил, а точно кидал слова Кирило Тупчик.

— Будут и вода и харчи, — уверенно сказал Ковач.

— Тогда я не возражаю, — усмехнулся, как бы изви-

нясь, Тупчик.— Я, Данило, чтобы ты знал, сам давно решил идти в горы.

— Знаю,— проговорил Ковач,— и вижу!

Он отвернулся от Тупчика. Тот, словно ничего не случилось, отступил в толпу.

— Но нам теперь нужно подумать, как жить,— обратился ко всем Ковач.— Ведь власти тут нет. Фашисты пануют там, в долине, но здесь, в горах, их власти нет... Мы — сами себе власти!

— Республика в горах,— заметил Короджий.

— А что ж, Иосиф,— подхватил его слова Ковач.— Почему бы и не так — республика в горах?

— Только очень мала наша республика,— прозвучал голос в толпе.

— Бывают республики большие и малые,— улыбнулся Ковач.— Пускай наша республика самая малая на свете, но ведь она существует, люди! И разве такая республика одна? Сейчас много людей пойдет в горы, будет много таких республик. А придет день, мы соединимся, вольемся в великую республику!

— Украина, та, что за горами! Только она спасет нас!.. — слышались голоса.

Данило загорелся. Таким прежде не видал его Короджий. Возбужденный, взволнованный, стоит Данило Ковач, вдохновенно глядя на далекие перевалы.

— Да, люди,— сказал он,— об этом мы и должны думать, за это мы должны бороться. Украина, та, что за горами,— в ней одной наше спасение. А сейчас обождем в горах. И переждем,— уверенно добавил Данило.— Думаю я только, что нужно нам и власть свою избрать.

— Народный комитет,— подсказал Короджий.

— Добро, добро! — зашумели все.— Выбрать комитет, дать ему право...

— А кого же нам в комитет выбирать?

— Ты уж, Данило, хозяйничай,— выступил вперед Сегинь.— Просим тебя, Данило.

— Короджия, Сегиня, Лелекача Семена,— называли имена.

— Что ж, люди,— поклонился Ковач.— Думаю, никто из нас не откажется. Вот только кого нам головой выбрать?

— Данила! Данила! — кричали люди.

Огни в селе погасли. Казалось, и в людских сердцах за это время многое перегорело. Жизнь брала свое, давали знать себя усталость и голод. Мужчины, всю ночь на плечах несшие в горы мешки с припасами или сонных детей, усаживались на землю. Женщины кормили малышей, которые просили есть. Увидав, что дети поели и заснули, взяли по куску хлеба отцы и матери. Кто-то сходил в лес и невдалеке нашел родник, бивший из-под камня.

Ковач и Короджий сели над обрывом, откуда видна была вся долина. К ним подошел и Сегинь.

— Это все так,— сказал Ковач,— республика есть, но и врагов у нас довольно...

— Данило! — перебил его Сегинь.— Люди отойдут, это все сгоряча.

— О нет,— поддержал Ковача и Короджий.— Дело не только в горячем сердце, а и в душе... Ты правду сказал, Данило; враги у нас там, в долине, но будем бдительны и здесь.

Данило кивнул головой.

— Что было — то было, а что будет — увидим. Люди здесь, в горах, в долине — мадьярские гонимые. Что нам делать, вуйко?

— Поведем людей дальше, глубже в горы,— ответил Сегинь.— Места я там давно подыскал. Скотину нынче же перегоним на новые места. Не найдут они нас тут, ей-ей не найдут.

— И ты, Иосиф, ступай с людьми,— добавил Ковач.— Чтобы вместе с вуйком Сегинем навести во всем порядок. Идите да поглядывайте. Ведь здесь сколько гор, столько и дорог.

— Погоди,— сказал Короджий.— Но сам ты что думаешь делать?

Данило улыбнулся и поглядел на долину.

— Спускаюсь ниже.

— В село?

— Может, и в самое село... Туда, где встречу гонимых. Ведь они уже в селе... Хаты наши жгут, может кого уже и убили. А дальше, уверен я, и в горы двинутся. Нас искать будут, непременно. Значит, чем ниже я их встречу, тем лучше. Задержать их еще там нужно. А вы времени не теряйте — отдохнули люди, и идите дальше.

И Короджий и Сегинь помолчали.

— Так ты хоть больше хлопцев с собой возьми,— сказал наконец чабан.

— Много не нужно,— ответил Ковач.— Но несколько человек я должен взять с собой.

Миновал час отдыха. Сегинь с Короджием, подняв людей, повели их тропами выше в горы. Данило Ковач, а с ним еще несколько человек с винтовками стояли на опушке, пока не исчезли кленовчане, а потом, скрываясь меж кустов и скал, начали спускаться к безлесным взгорьям, там и сям видневшимся внизу, среди зеленой чащи.

4

В доме о. Федора Стрыпского капитан Эндревди успокоился и уgomонил свою злобу, но тем сильнее она пробудилась в нем, едва он покинул поповский дом и вышел на улицу. В сельской управе в это время собрались новоселы из венгерской степи, Золтан Репаша, Гаврило Клумак, Клочуряк. Все они обвиняли друг друга в том, что прозевали верховинцев.

— Это вы, пан Репаша, виноваты! — громко кричал Гаврило Клумак.— В ваших руках власть и оружие, вы и должны были смотреть.

— Послушайте, пан Клумак,— огрызался Золтан Репаша.— За кем это и почему именно я должен смотреть? Что ж, я богаче всех, что ли? У меня нет ни тартаков, ни лесосек. Я на фронте, и сын мой...

— Уважаемые господа,— с укоризной произнес о. Федор Стрыпский, вошедший в эту минуту в сельскую управу.— Все мы повинны, но ведь церковь учит нас исправлять свои ошибки.

— Никаких ошибок! — крикнул капитан Эндревди.— Сейчас мы выступаем из села по следам партизан.

— Вот так-то лучше,— сказал, точно отрубил, Клумак.

— Но и все здесь присутствующие лица,— протянул и оглядел комнату капитан Эндревди,— выступают вместе с нами.

Капитан Эндревди уже успел разузнать, куда ушли из села кленовчане. Оказалось, церковный сторож Кузьма слышал ночью шум и крики на околице, одна из дочек богача Клочуряка, возвращаясь ночью с пастбища, видела, как селяне поднимались тропинкой, что ведет к Пе-

ченежской полонине. Слыхала она и мужские, женские голоса, плач детей.

«Обычное бегство,— думал капитан Эндревди,—и они далеко не могли уйти. Мы найдем их на первых взгорьях. Но им дорого придется заплатить за все это».

Сказать по правде, капитан Эндревди не собирался играть в этой операции первую роль. Он послал вперед Яноша с его гонведами и лишь после этого повел своих вояк. Сам он шел последним, как опытный командир, и к тому же то и дело оглядывался назад, потому что, говорил он, на войне всегда как на войне и врага можно ожидать не только с головы, но и с хвоста.

В начале тропы гонведы под командой Яноша Репаша не обнаружили никаких партизан. Там, где горная тропа круто сворачивает на Печенежскую полонину, остановились на длительный привал, причем капитан Эндревди лично разрешил своим солдатам выпить вина из фляг и сам выпил, чокнувшись с Яношем Репаша. После этого военный комендант Кленов, чувствовавший себя весьма скверно, заметно повеселел, живее замигал глазом и таинственно замахал рукой.

— Они уж где-нибудь недалеко, и я их найду,— хвастливо сказал он капитану Эндревди.

— Если так будет, я подам рапорт министру и уверен, что он вас наградит.

— Вы уже можете писать рапорт,— заявил Янош Репаша.

С нижней части тропы, куда поднялись гонведы и жандармы, видна была долина, село, пожарище, темный дым, все еще висевший над потоком. Они не обращали на это никакого внимания; холодные и бессердечные, они думали только об одном: как бы обнаружить в этих горах партизан и покарать их. О, если бы это случилось, много крови пролилось бы в тот день на склонах гор у Кленов, много матерей зарыдало бы по своим детям и у многих детей в этот день не стало бы отцов.

— Ну, пошли! — сказал капитан Эндревди, взглянув на часы.— Мы должны засветло возвратиться в село.

Рассыпавшись полукругом и пригибаясь к самой земле, гонведы Яноша Репаша начали карабкаться по крутому склону горы. За ними двинулись сельские паны, солдаты капитана Эндревди. Они, как мурашки, ползли

по склону горы, стараясь поскорее добраться до высшей ее точки.

Первым взобрался на вершину Янош Репаша. Он сдержал свое слово. Одноглазый вояка был страшен, он озверел в эту минуту. Рядом с ним шел Марадик — его тоже изрядно угостил капитан. За ними на вершину вскарабкались гонведы с тартака и несколько солдат капитана. Размахивая руками и крича, что по ту сторону горы никого не видно, они звали сюда и остальных.

Когда на вершине собралось достаточно людей, с соседней скалы прозвучала длинная очередь из автомата. На эту очередь откликнулась вторая, со скалы слева. Еще один автомат заговорил из леса, под самой горой.

Широко взмахнул рукой Янош Репаша. Миг — и он рухнул на землю, покатился по склону. За ним упал Марадик, но не покатился, а остался лежать на месте. Повалилось несколько солдат Эндревди, сумасшедший гонвед с лесопилки Клумака. А все прочие стрелки кинулись вниз, обгоняя друг друга на крутом склоне.

— Проклятье! — кричал капитан Эндревди — он все еще стоял у подножья горы. — Вперед! Кому я говорю, вперед!

Но напрасно он кричал. Уже ничто не могло остановить его солдат; впереди всех мчался Янош Репаша — он, как оказалось, не был даже ранен; гонведы с тартака опрометью бежали по склону, за ними еле поспевали Клумака и паны из венгерской степи.

Только Марадик, три гвардейца и сумасшедший не бежали. Так и остались они лежать на серых камнях, пока все вокруг не скрылось под черным покровом ночи.

Глава шестая

1

Гафия Тиснянчиха не запирала на ночь дверей. Да и зачем ей запереть их? Достатки у нее великие, что ли, или денег много, — да что говорить, ничего в хате нет, только она сама да еще две дочки. Враг придет — все равно вломится в хату, убогий человек забредет в дом — она с радостью даст ему приют.

А в последнее время и подавно Гафия не хотела запереть хату. И днем и ночью, где бы она ни была, что бы ни делала, слышался ей вдали голос Юлины: «Матуся, помогите! Матуся!!!» Останавливалась, прислушивалась, так напряженно прислушивалась, что, казалось, слышала, как кровь стучит в жилах. А Юлины все не было! Оттого Гафия и на ночь не заперала хату, не спала, а дремала. Все чудилось ей, что под окном ступают босые ноги, что открывается дверь в сени...

А Юлины не было, и все больше и больше сушила сердце печаль, сильнее и сильнее седели волосы. И постарела, и исхудала, и вовсе измучилась бедная Гафия.

И вот однажды ночью, совсем выбившись из сил, вздремнула вдова. А в это время тихие шаги на самом деле прозвучали под окном, потом открылась дверь в сени.

Когда Гафия внезапно проснулась от легкого шума и оглядела спросонья хату, то даже приподнялась на дощатом ложе, схватила за сердце, проговорила:

— Кто это? Кто это?

В черном квадрате отворенной входной двери кто-то стоял — и это был не сон, не видение, потому что фигура шевельнулась в сером призрачном свете, легко струившемся из окна.

— Да кто же это? Матерь божия, кто там?

— Не бойтесь, — донесся с порога тихий и спокойный голос. — Это я, хозяин.

— Какой хозяин? Откуда?

— Кирило Полонинец.

— Кирило! — прошептала Гафия. — Откуда же ты, человек добрый? Да иди же! Иди сюда, садись к столу!.. Я разбужу деток. Или нет, не стану будить их! Иди, человек добрый, садись!

Она подбежала к дверям, вплотную к Кирилу Полонинцу, в полумраке разглядела очертания его головы, плеч, груди.

— Вот я и здесь, — прозвучал в хате тихий голос Полонинца. — Боже, какая дальняя дорога! Но я тут... А ты, Гафия, не буди детей. Сколько их у тебя?

— Двое деток... Дочки... Но откуда ж ты знаешь, как меня зовут?

Он сел в темноте на скамью у стола.

— Как же мне не знать Михайла Тиснянца? А о том, что ты здесь, еще в Рахове сказали мне.

- Ты, видать, издалека?
- Очень издалека, Гафия.
- Так небось и есть хочешь?
- Признаюсь, хочу. Но найдется ли что у тебя?
- Найдется, дорогой! Хлеб да картошка...
- Спасибо... Когда б еще немножко воды.
- Пей, человек добрый.

Он долго и с охотой пил из деревянного ковша, словно узнавал и смаковал родную воду. Ведь криница, из которой вдова вечером набирала воду, вырыта была его руками. Потом он поел — мало и медленно. «Ослабел, сердечный, так, что уж и есть не может», — подумала Гафия, сочувственно поглядывая на Кирило.

Пока Кирило Полонинец ел, вдова вышла во двор и долго прислушивалась, не слышать ли голосов в Бочарах, а возвратясь в хату, заперла ее на засов, да еще и палкой заложила дверь.

— Так вот, видишь, как вышло, Кирило, — несколько виновато заговорила она, высказывая мысль, которая все время ее мучила, — жила я до сих пор здесь, при мне, как я тебе говорила, двое деток — София да Настя. Прости, что так вышло, не спросилась я у тебя.

— О чем спрашивать? — тихо засмеялся Кирило. — Вот и хорошо, что жили, — не пустовала хата. Кабы не вы, спалили бы, пожалуй.

— А теперь мы пойдем, — проговорила Тиснянчиха.

— Пойдете? Зачем?

— Да ведь ты воротился... Будешь дома теперь.

— Воротился?! — громче засмеялся Полонинец. — Ой, Гафия, не так. Сбежал я оттуда, месяца два сюда добирался. И пришел я не домой. Дома у меня нет, Гафия. Скрываться должен...

— погоди! — сказала вдова. — Что-то я в толк не возьму. Так зачем же, прости на слове, человек добрый, ты шел сюда?

На этот раз Кирило не засмеялся, а повернулся лицом к окну и долго глядел на улицу и на верховинские хаты, чуть видневшиеся в серой мгле.

— Ты спрашиваешь, зачем я шел сюда? — тихо проговорил Кирило. — А куда же мне идти, как не сюда? Я, Гафия, только здесь и должен быть теперь. Здешние люди меня знают. Знаю и я наших людей. И я им еще понадоблюсь. Ведь сейчас пришла такая пора, когда мы

должны нашу маленькую пуговицу пришивать к той большой свитке, что за горами.

У Гафии захватило дыхание. Она припомнила, как когда-то, в такую же темную ночь, сидела она со своим мужем Михайлом Тиснянцем в убогой хате в Кленах и как он говорил ей те же самые слова, какие сейчас повторяет Кирило.

«Малую пуговицу к большой свитке... Хотим к Советской Украине!»—так говорил ей когда-то муж—Михайло Тиснянец, так сказал только что ей Кирило Полонинец.

А у нее — Михайловой вдовы, матери двух сыновей, один из которых борется за горами, а другой скрывается здесь, в лесах,— неужто не такое же сердце, как у них?

— Чем же тебе помочь, Кирило? Скажи?

Он встал со скамьи и прошелся по хате. Гафия поняла, почему Кирило это сделал. Он хотел пройтись по хате, где ходил всю жизнь, он хотел притронуться к вещам, которые видел с детства. И он притрагивался к окну, посудной полке, дверям.

— Словно бы моя крисаня,—вырвалось у Кирила.

— Твоя, человек добрый,—на чердаке лежала. А я нашла ее и на колышек повесила.

— А это, я вижу, твои девочки спят?

— Да, Кирило, спят. Что детям — набегаются за день.

И это уже был не сон, потому что Гафия своими глазами видела, как Кирило Полонинец склонился над дощатым помостом, на котором лежали ее малолетки, и, казалось, послушал, как во сне дышат девочки, а может быть,— такое уж сердце у доброго человека! — может, и прикоснулся Кирило губами к головкам детей. Он тоже был когда-то отцом!

— Ты мне, Гафия,—сказал, возвратясь к столу, Полонинец,—очень крепко можешь помочь и, наверно, можешь. Слушай, Гафия! Никто в селе не должен знать, что я пришел. Но несколько человек, которых я сейчас назову, должны узнать, что Кирило Полонинец тут. Ты сможешь днем повидать этих людей?

— Говори! Все сделаю!

— Скажи Петру Товбею, Миките Светличному и Панасу Рыбке, что Кирило здесь и зовет их к себе. Пускай приходят завтра ночью сюда. Или, может, Гафия, обратиться нам где-нибудь в другом месте?

— О нет, Кирило! Не ходи никуда. У меня эти проклятые не бывают. А теперь, когда Ярослав привез бирову леса на хату, и подавно.

— На первый раз пускай, будет так. Послушаюсь тебя, Гафия. Где только мне этот день перебыть?

— На чердаке — не дальше...

— Ладно, Гафия! Так я полезу туда. Спать я хочу. Дальняя была дорога. Боже мой, какая дальняя!

А между тем уже начало светать, и перед Гафией, точно из темной воды, выступило лицо Кирила Половинца. Она не знала, как он выглядел раньше, а только слыхала от людей, что Кирило красивый, сильный, веселый человек. Но что это? Перед ней возникало из полутьмы обезображенное, страшное лицо — глаза глубоко запали, кожа присохла к костям; на обеих щеках Кирила чернели глубокие рубцы от раскаленного железа, шрам пересекал его лоб...

— Матушка моя! — воскликнула Гафия. — Что они, Кирило, с тобой сделали!

— Не пугайся, Гафия! — попытался он улыбнуться, отчего лицо его стало еще страшнее. — Мы заплатим им за все! И за это также. Не плачь же, не плачь, Гафия.

2

Антон Тиснянец быстро оправился после ранения. Победила молодость, юные силы, а лучшим врачом для Антона было неудержимое желание снова стать в строй, браться вместе с родными людьми, мстить за их муки.

Он командовал одним из небольших отрядов, действовавших в Турянской долине. Часть людей в отряде прибыла из-за Карпат, — в давние годы, еще юношами, они бежали на восток; большинство партизан пристало к ним уже здесь, в горах.

Добраться им сюда и соединиться было нелегко. По главному хребту Карпат на десятки километров проходила линия Арпада. С высоких полонин, где сооружены были пункты наблюдения и связи, просматривалась вся окружающая местность; подходы к горам и выходы из них были заминированы, огорожены колючей проволокой, закрыты завалами.

На первых шагах партизаны несли большие потери. Это их заметили с пункта воздушного наблюдения и связи на Полонине Руно. Девушка, которую гонведы нашли мертвою на дереве, принадлежала к отряду Антона Тиснянца. Партизаны не отдали тела партизанки фашистам. Могилку ее и теперь можно увидеть в крутой расщелине за Полониной Руно, где из-под земли бьет горячий ключ. Звали ее Зиновия Силукова.

Не одна она погибла в ту ночь и в последующие дни, когда отряд Антона Тиснянца начал действовать в Карпатах. В отряде у Антона было шестнадцать человек, но девять из них погибло, четыре партизана долго блуждали в горах и, не найдя друзей, перешли назад через линию фронта; только трое вместе с Антоном спустились в долину, где присоединились к отряду Косыка.

В отряде Косыка осталось тоже три человека. Теперь их стало уже шестеро, и они пробились к товарищам, уцелевшим из отряда Любчина... Это уже была сила, и они почувствовали тогда, что не погибнут.

Разумеется, если бы отряд Тиснянца был только один в горах, его быстро выявили бы и разгромили гонведы. Что могут сделать десять человек, если вокруг тысячи врагов? Но отряд Антона был лишь одним из многих отрядов, которые появились в это время в Закарпатье, и к этим отрядам непрерывно шли люди с Верховины и из долины.

На Карпатах среди громад серого камня часто бывают вкраплены камни красноватого оттенка. Местные люди говорят, что это кровь партизанская их напоила.

Конечно, это не так. — кровь высыхает на земле и на скалах; но если бы кровь, которую пролили люди в горах, не высыхала, она покрыла бы все Карпаты!

Сколько народу шло тогда в горы! В отряд Антона Тиснянца пришел хлопец из долины — Микола Рубай. Хлопец как хлопец, высокий, широкоплечий, правда несколько мрачноватый, молчаливый. В этом не было ничего странного, много таких приходило в горы.

Микола Рубай принес и оружие с собой. Поглядели на него — и руки развели: винтовка не винтовка, карабин не карабин.

— Где ты такую дубину раздобыл? — шутили партизаны.

— Это, знаете, не дубина, — хмуро ответил Рубай, — а жандармское ружье.

— Постой, Микола! Когда же тот жандарм жил?

— А! — понял Рубай, чего от него хотят люди. — Жандарм-то был цесарский, а убил его и забрал это ружьецо дед мой — Максим Рубай.

Дед Максим жил чуть ли не сто лет назад, не выносил и духа имперских жандармов; одного из них он и убил, а ружье спрятал на чердаке, откуда его по временам доставали Миксимовы дети и внуки.

На этот раз ружье Максима Рубая не понадобилось — длиною оно было с хорошую оглоблю, да и где Микола достал бы для него патронов? Ружье закинули в пропасть, а Микола Рубай в первом же бою добыл автомат. Новым оружием он мужественно мстил за деда, за отца и за весь народ. А сколько таких хлопцев приходило в отряды!

На Карпатах много речек, потоков, ручьев, они текут с гор в долины. На Карпатах тогда было также много партизан, партизанских отрядов, только все они шли не с гор, а в горы — против армии, против вражеской силы.

И там, в горах, возникло наконец целое партизанское соединение, со своим командованием, штабом, всеми необходимыми службами. Нити от соединения сами собой потянулись за Карпаты, на восток, к Советской Армии. Для советских войск Карпаты и склоны гор за ними были не тылом фашистской армии, а захваченной и поработанной фашистами землей братьев.

Турьянская долина и горы над нею стали местом яростных боев с фашистами, очагом партизанского движения. Пламя непримиримой борьбы ширилось по всему Закарпатыю. С неслыханной силой вспыхнул гнев народа, а его поддерживала и помогала ему Советская Армия.

Весь день шел бой у горы Руно Плай. Гонведы разворачивались цепью, минометы и пулеметы прикрывали их наступление, но тем не менее гонведы не могли пробиться к вершине горы и неизменно отступали, усевая все склоны трупами. Только ночь приостановила эту отчаянную битву в горах. Все затихло окрест, из-за гор выплывал месяц, горы и долины лежали настороженные, немые.

В штабе соединения было известно, что фашистское командование кинуло против партизан десятую пехотную дивизию, придав ей несколько минометных частей. Десять тысяч гонведов против тысячи партизан!

Партизаны организовали круговую оборону по хребту горы, приняли бой, за день уничтожили свыше пятисот гонведов; а еще сотни две врагов подорвалось на минах, заложенных партизанами. У Антона, который весь день выстоял со своим отрядом на южном склоне, горело все тело, напряженно билось сердце, звенело в ушах.

Бой закончился. Гонведы стоят у подножья горы Руно Плай. Ночью они не осмелятся подняться на склоны. Внизу слышны голоса — это они убирают убитых; прозвучала пулеметная очередь, в небе выписала след ракеты — это делается со страху. Теперь они полезут на гору только утром.

А наутро они здесь уже ничего не найдут. Отряды получили из штаба приказ перейти на другое место. Только минные поля оставят после себя партизаны.

Краткая передышка. Партизаны лежат под открытым небом, прямо на земле. Упадет какой-нибудь — и тут же засыпает. Пускай спят! Впереди длинная ночь, крутые склоны гор, тропы и мосты над безднами, подготовленные для них местными людьми.

Антон Тиснянец не спал. Он прилег под молодой пихтой, слушал, не раздастся ли где-нибудь подозрительный шум, смотрел на юг, где в лунном сиянии прочерчивались южные хребты гор, думал о матери, о брате Павле. Видал Антон в эту минуту и Юлину, — она была для него как теплый ветер долин. Все дальше и дальше идут партизаны в горы. Когда же он встретит ее?

3

Среди ночи кто-то постучался к Ласло Потокки. Это не было новостью для механика — каждую ночь ломаются к верховинцам гонведы капитана Эндревди. Он поднялся и вышел во двор. Там у двери действительно стояло несколько гонведов.

— Здесь живет Ласло Потокки? — спросил по-венгерски один из них.

— Я Ласло Потокки.

— У вас кто-нибудь ночует?

— Нет, пан начальник, у меня никого нет.

— Веди в дом.

— Прошу уважаемых панов.

Гонимые вошли в дом. Испуганная Коти тоже поднялась и стояла возле печи.

— Это — моя жена, — сказал Ласло. — Может, зажечь свет?

— Не нужно зажигать, товарищ Потоки.

Спичечный коробок выпал из рук механика, спички рассыпались по полу.

— Так вы?..

— Давайте присядем, Ласло... Да, мы те люди, о которых вам говорил Гишка.

— Но я думал, что это будут здешние люди.

— А мы разве нездешние?

Жена Ласло, Коти, при первых же словах тихо вышла из комнаты. Она не хотела мешать беседе поздних гостей. Кроме того, она хотела послушать, что делается в селе. Кто же, если не она, знает Клёны?

— Не удивляйтесь, Ласло, — говорил венгерский командир, по имени Сандро Поймаш. — В Закарпатье действуют партизанские отряды из местного украинского населения, но наряду с ними сражаются и отряды венгерцев. До вас еще не дошел слух про отряд Уста Дьюло Яноша? Тогда вы скоро услышите о нем. Фашистское правительство Венгрии ведет преступную, захватническую войну против Советского Союза. Но народ Венгрии войны не хочет, ему она не нужна. И среди венгерцев на фронте нашлись такие, которые поняли, что этой грабительской войне нужно положить конец, что она несет несчастье нашему и всем другим народам. Они положили оружие и перешли через линию фронта к Советской Армии, ибо это единственная в мире армия, которая не только борется за освобождение советской земли от захватчиков, но и несет освобождение всем другим народам. Уста Дьюло Янош организовал свой отряд из пленных, из тех, кто понял, на чьей стороне правда, и они прибыли уже сюда, бороться вместе с закарпатцами за освобождение от фашизма и Венгрии и Закарпатья.

— Как мне выразить радость, — сказал Потоки, — которая наполняет сейчас мою грудь? Говорите, чем я могу быть вам полезен?

— Я вам кое-что сейчас скажу, Ласло, — сказал Сандро Поймаш. — Но еще больше, я уверен, вы сможете сообщить мне.

— Слушаю вас, Сандро!

Трудно было назвать обычной ту жизнь, какою жили в это страшное время Клены. Ранним утром, как всегда, завывала сирена на тартаке у Клумаков. На тартак пришел Гаврило Клумак — Потоки должен был ехать в Рахов, и он хотел сделать ему последние распоряжения. Потоки, может, и уехал бы, но почему-то не заводился мотор. Тем временем в сельскую управу пришел писарь Сучай, а позднее и Золтан Репаша. По селу промчался на мотоцикле пьяный Янош Репаша. Ударил колокол на звоннице, и в церковь прошествовал о. Федор Стрыпский.

В это самое время капитан Эндревди, который поселился в школе, в комнате учителя Короджия, уселся перед окном и приготовился есть жареную курицу. Он чувствовал себя недурно и был в хорошем настроении — накануне из Рахова пришла депеша о том, что в ближайшие дни в Клены прибудет батальон минометчиков. О, с минометчиками капитан готов был идти в горы. А пока что — поесть, поспать, ведь гвардейцы охраняют село.

В Кленах было тихо, спокойно. Гвардейцы капитана Эндревди развлекались на берегу потока. По дороге к перевалам брели, повесив на грудь автоматы, несколько гонведов. Это не удивило капитана — и на перевал и с перевала идут и идут военные. Возле сельской управы всех гонведов останавливал и проверял документы Янош Репаша. В последних приказах окружной комендатуры подчеркивалось, что нужно быть особенно бдительными и вылавливать дезертиров, которые бегут из армии. Увидав на дороге гонведов, Янош Репаша поворотил мотоцикл и примчался к сельской управе как раз в то время, когда они миновали школу. Держа в левой руке кусок жирной курицы, капитан Эндревди высунулся из окна. Ему показалось, что гонведы идут слишком уж медленно. Он даже кашлянул, чтобы привлечь их внимание. Гонведы действительно подняли головы и, как бы для того, чтобы подтянуться, схватились за автоматы: один из них — старшина или капрал — испуганно вытянулся и поднял руку, отдавая честь капитану.

Но рука его не дотянулась до козырька, а выписала широкую дугу в воздухе назад и еще дугу — вперед; затем от этой дуги оторвалось что-то черное, полетело в окно, и там, в школьной комнате, раздался такой взрыв, что весь дом содрогнулся; капитан Эндревди дернулся вперед, вывалился из окна и зарылся головой в песок возле дома.

В то же время слышались выстрелы в двух других концах Кленов, там, где за селом начинается безлесное взгорье, и у ручья. Гонведы, развлекавшиеся на берегу ручья, кинулись к сельской управе, откуда навстречу им мчался Янош Репаш.

Все произошло необычайно быстро, неожиданно, невероятно. В селе раздавались выстрелы, слышен был шум, крик. Гонведы, которые убили капитана Эндревди, добежали до Клумакова тартака прежде, чем подчиненные убитого капитана; здесь к ним присоединилось еще несколько военных, один из них кинулся к грузовику, стоявшему в воротах лесопилки, сразу завел его и подъехал к цейхгаузу, помещавшемуся в сарае за тартаком. В кузов машины полетели автоматы, патроны, пулеметы, жестянки с толом... Затем гонведы сами вскочили в грузовик и понеслись, как вихрь, в сторону Рахова. Только тогда к лесопилке подбежали гонведы покойного капитана.

Гаврило Клумак лежал, притаившись за кучей брезен, и поднял голову лишь тогда, когда увидел возле себя этих гонведов и когда шум машины уже затих вдали. Возле себя он увидел Ласло Потоки — тот тоже медленно поднимался.

— Пойдите! — растерянно воскликнул Клумак. — Что ж это случилось? Кто кого убивал?

— Гонведы гонведов били, пан хозяин, — ответил Потоки. — А после те гонведы, которые били, схватили нашу машину и бежали...

— Бежали на нашей машине? — завопил Гаврило. — Но ведь вы только что не могли ее завести?

— Я, пан Клумак, механик, а не шофер.

— Так почему ж вы тогда молчали?

— А что мне было делать?

— В сирену... в сирену нужно было гудеть...

— Ай, ай, — с затаенной иронией отозвался Потоки. — Тут такой шум был, что куда нашей сирене.

Но Клумак и сам сообразил, что порет чушь. Мимо тартака бежали перепуганные гонведы, кричали, что убит капитан Эндревди. И возле цейхгауза, как оказалось, были убиты.

— Мне до всего этого дела нет, — сказал Клумак. — Нам лишь бы машину вернуть. Слушайте, Ласло! Ступайте и ищите нашу машину. Слышите? Мне машина нужна...

Управляющий школой Василь Гербера всполошился, когда узнал, что селяне бежали из Кленов. Выходит, он не знал, что делается в селе, проглядел все, что делали коммунисты. Еще больше испугался Гербера после первой стычки гонведов с партизанами. Смотри-ка, эти верховинцы не только бегут, а и обороняются, убивают! И уж совсем растерялся Гербера, узнав, что погиб капитан Эндревди. Среди белого дня, на главной улице, что за гонведы?!

Гербера не спал дома, опасаясь, что кто-нибудь чего доброго вломится ночью и в школу, и ночевал в сельской управе. Не находил он себе места и днем — за каждым кустом ему мерещились партизаны, Ковач, Короджий, даже Ружена.

А главное было в том, что здесь, в селе, ему не к кому было обратиться. Чем могли ему помочь Репаша и Клумаки? И не идти же ему к панам из венгерской степи! Все они запираются на ночь в своих домах, все сидят под дверью с винтовкой... Союзники, кажется, а один другому враги!

И как раз тогда, когда Гербера впал в совершенное отчаяние и когда у него началась даже непрерывная дрожь в обеих руках, его пригласил к себе через церковного сторожа Кузьму о. Федор Стрыпский.

Василь Гербера облегченно вздохнул, получив это приглашение. Священник Стрыпский — а к кому же еще на самом деле и обратиться управляющему в эти грозные дни? И еще лучше, что не он обратился к преподобному отцу, а верховинский благочинный сам обращается к нему.

И беседа у Василя Герберы со священником получилась непринужденная, сердечная, искренняя. Куда девались подозрительные взгляды, какими некогда обменивались учитель духовный и учитель гражданский, куда девались резкие слова и многозначительные паузы, какими они некогда угощали друг друга...

— Рад видеть вас у себя, пан управитель, — приветствовал Герберу о. Федор в своем кабинете. — Как поживаете, как ваше здоровье?

— Не говорите! Страшное время и страшные люди, — указал Гербера за окно.

— Да, да,— согласился Стрыпский.— Про верховинцев вы справедливо сказали — истинно страшные люди...

— Вижу, преподобный отец получил свежий номер «Литературной недели»,— указал Василь Гербера на стол, где лежала тоненькая тетрадка в розовой обертке.— Неужели, духовный отец, в наши дни существуют еще люди, которые печатают свои фантазии?

— А почему фантазии? — засмеялся о. Федор.— Возьмите и почитайте,— это не фантазия, пан управитель.

В кабинет духовного отца заползали сумерки, но здесь было еще достаточно светло для чтения. И Василь Гербера взял журнал, перевернул страницу-другую, остановился на статье о. Федора и прочитал ее от первой до последней строчки.

— Так что же вы скажете, пан Гербера, об этой статье?

Управляющий школой исподлобья поглядел на горы, леса и ущелья за окном.

— Статья тонкая и остроумная,— медленно ответил он.— Русины — не русины, если ими не управлять — погибнут, исчезнут. Отсталость, бескультурье, бунтарство...

— Особенно последнее,— заметил священник.— И об этом нужно кричать на весь мир. Это не фантазия, пан Гербера, здесь в горах полно бунтовщиков; либо они нас, либо мы их...

Гербера молчал. Мысленно он полностью соглашался со священником.

— Я сделал то, что мог,— сказал о. Федор и подошел ближе к Гербере.— Эту статью прочитают всюду, и даже за океаном. Святая католическая церковь вносит свой вклад в дело борьбы со схизматиками и бунтовщиками. Но каждый ли из нас выполняет свой долг до конца?

Управляющий школой поднял голову и посмотрел на священника. И хотя он прежде много раз наблюдал о. Федора, но таким, казалось, никогда его не видел. Верховинский благочинный стоял перед ним, сложив руки на груди, нахмуренный и грозный, отсвет угасающего дня переливался в его глазах...

— Духовный отец,— встал и Гербера.— Что вы думали мне сказать?

— А мне нечего говорить,— ответил священник.— Я жду вашего слова.

— Пойдите! Какого слова? — вконец растерялся Гербера.

— Нам, церковникам, все известно, — открыто сказал о. Федор. — Святая католическая церковь имеет глаза и уши. Ваша супруга Ружена работает совокупно с коммунистами и бунтовщиками, вы, пан Гербера, не были тверды, колебались...

— Я никогда не колебался! — вскричал Гербера. — Я всегда был с властями и церковью.

— Вот вы и должны это доказать, — сухо сказал Стрыпский. — То, что я вам сейчас скажу, идет от Рима и из-за океана. Мы не можем долее ждать ни одного дня. В наших руках оружие, а за непослушание есть только одна кара...

— Но что я должен делать? — спросил Гербера.

— Ничего особенного... Пойти к партизанам в горы, побыть там несколько дней, собрать нужные нам сведения и возвратиться назад.

— Духовный отец! Они меня убьют...

— Вы шутите, — засмеялся Стрыпский. — Они вас примут как своего, и вам нечего бояться за жизнь. Но мы вас, безусловно, уничтожим, если вы не выполните нашего требования, пан управитель.

— И когда я должен идти?

— Завтра утром, пан Гербера. Все уже готово...

Гербера пошел в горы. Никто не остановил его при выходе из села. Гонведы даже не окликнули управителя школой, когда он вышел за околицу, постоял несколько минут на развилке и направился тропой направо, в горы. Они были предупреждены, кто именно пройдет в этом месте.

Управляющий школой толком не знал, куда ему нужно идти. Прожив много лет на Верховине, он так и не был в горах. Его не привлекали леса и полонины, горные потоки и лощины, чудесные виды, открывавшиеся с отвесных скал, вершины гор, где небо, точно гигантский купол, висит над головой. Он совсем не знал тропинок и переходов в горах.

Но ему и не пришлось искать каких-нибудь стежек-дорожек. Едва он миновал безлесные взгорья за селом и подошел к лесу, впереди раздалось грозное:

— Стой! Руки вверх!

Гербера остановился и поднял руки. Из кустов вышли два партизана. Наверно, в кустах стояло еще несколько

человек — оттуда доносился шум и голоса. Управляющий узнал тех, что вышли. Это были Андрей Глодан и Кирило Панчишин, сплавщики леса, но они делали вид, будто не знают Герберу, и тщательно обыскали его.

— Это куда вы направляетесь, пан? — спросил Кирило Панчишин.

— А к вам, — ответил Гербера хриплым, точно не своим голосом.

— Ладно, — сказал Панчишин. — Сейчас отведем.

Панчишин собрался было идти, но из кустов раздался голос, показавшийся Гербере очень знакомым.

— Кирило! Посматривай!

— И правда, — усмехнулся Кирило, вынимая из-за пазухи черный от пыли рушник. — Вы уж извините, пан, но я должен глаза вам завязать. У нас так заведено...

— Да прошу вас, — не стал возражать Гербера.

И они пошли, сначала твердой каменистой тропой, потом лесом, где пахло смолой и мохом, позже поднялись на скалы, где в лицо ударил свежий холодный ветер. Прошло немало времени, может и несколько часов, потому что партизаны даже останавливались на отдых.

Когда же Гербере развязали глаза, он увидел, что очутился в лесу. Перед ним стояли Данило Ковач, Иосиф Короджий, несколько селян, лесорубов, сплавщиков.

— Вот и хорошо! — радостно промолвил Гербера. — Наконец я среди вас.

— Но зачем вы попали в горы, пан управитель? — сухо и жестко спросил Данило Ковач.

— А где же мне быть? — даже всплеснул руками Гербера. — Ведь я всегда, с вашего позволения, вопреки требованиям и домогательствам властей, стремился к справедливости и свободе. И пан Короджий, надеюсь, может подтвердить...

— Как? — спросил Ковач Короджия. — Подтверждаешь, Иосиф?

— Многое мог бы я подтвердить, — сказал Короджий. — Но сейчас не время говорить об этом. Много вы сделали, пан управитель, для наших людей недоброго и злого. Хотите помочь теперь — помогайте, а если затаили злой умысел — не выйдет, сами пеняйте потом на себя.

— Избави бог, — заторопился Гербера. — Я всей душой, всем сердцем.

— Добро! — прервал его Ковач. — Ведите нового партизана в лагерь.

Когда Герберу увели в лагерь, Ковач и Короджий долго еще стояли вдвоем под деревьями.

— Так зачем он, думаешь, пришел? — спросил Ковач. — Сердце?

— Сердце! — многозначительно улыбнулся Короджий. — Нет, Данило, в такие сердца я не верю и тебе не советую верить. Но я уж сам присмотрю за ним. Не верю, нет, не верю!

Глава седьмая

1

Первую ночь беглецы ночевали в лесу на ближних взгорьях, еще ночь провели в другом лесу за Бжезской полониной и наконец расположились лагерем в ущелье у горы Зеленый Стог. Отсюда уже не видно было ни Кленов, ни долины, где вьется Черная Тисса.

Тяжела жизнь в горах, да еще осенней порой! Люди спали под открытым небом, на холодной земле, день для них не был днем, потому что скрывались они под скалами или деревьями. Их едой был кусок сухого, твердого, вымоченного в воде студеной ключей овсяного хлеба. Правда, Сегинь ухитрился подогнать ночью к лагерю несколько коров и овец, но молоко давали не всем, а только маленьким детям да больным.

А болезни сыпались на людей, как из мешка. Уже когда выходили из села, было холодно, а спустя несколько дней, проснувшись поутру, кленовчане увидели, как забелели горы, снежная изморозь долетала и до них, с деревьев опадала последняя листва, вялая травка полегла на промерзшей земле.

Все это, разумеется, давало себя знать, усталые люди выбивались из последних сил; особенно тяжело было глядеть, как горят в лихорадке малые дети. У Катри Березняковой в лагере умер ребенок. До самой ночи Катря сидела, обхватив колени руками, у черного холмика...

Но страшнее всего для людей была неизвестность. Повсюду, каждую минуту им мерещился враг — в кустах, которые чернели пятнами на взгорьях, на вершинах без-

лесных холмов, затянутых туманом, в темном лесу, в чаще.

Особенно тяжело было по ночам, когда ветер стонал в ущельях, сильнее бушевали потоки, в лесах просыпался хищный зверь, отовсюду доносились звуки и шумы.

Одного только шума и звука не боялись беглецы; они даже вздрагивали от радости, когда из-за перевалов доносилось эхо канонады. Тогда люди выходили из укрытий, выпрямлялись, говорили: «Смотрите, ведь стучат, стучат в двери!»

Но как раз в эти дни и ночи эхо стало все реже долетать из-за перевалов; бывали часы, когда там стояла настороженная, напряженная тишина. Что же случилось там? Неужели на хребте Карпат останутся освободители, а им — погибать в горах?!

Дни проходили за днями, совсем забелели вершины, уже не дождь, а снег сеялся над ущельями, задувал северный ветер, и тонким льдом затянуло ямки, выбитые водой в камнях у родничков.

Пожалуй, труднее всех было Данилу Ковачу. Говоря по правде, в ту ночь, когда люди выходили из Кленов, он не знал — что же они будут делать завтра? Данило даже боялся этого завтрашнего дня — был он для него неясен и хмур, как осенние горы. Сердце и мозг подсказывали ему, как и прочим коммунистам, что они должны призвать людей бежать из села, должны возглавить беглецов.

Позже, когда люди стояли, выйдя из села, на безлесных взгорьях и смотрели, как гибнут в огне их лачуги, Данило Ковач понял: они поступили так, как нужно было.

Но вместе с тем его тревожили другие чувства. Сжигши село, фашисты наверняка пойдут и в горы. А чем и как бороться здесь с врагами?

На взгорье за селом у Кирила Тупчика вырвались слова о том, что, может, не стоило им уходить из Кленов. Данило понимал: они вырвались у Кирила в трудную минуту — ведь на глазах у всех пылало их родное село.

Ровнее забилося сердце Данила, когда произошла первая стычка с врагами. На них шло тогда, как подсчитал он, с сотню человек, а их было только шестеро. Они под-

пустили врага так близко, что были без промаха. Данило выбрал себе Яноша Репаша, потому что давно хотел с ним поквитаться. Янош, как думал Данило, и погиб там, на безлесной вершине. В конце концов шестеро выстояли против сотни, фашисты оставили на месте боя несколько трупов, а партизаны не получили даже царапин. Первая стычка наполнила Ковача силой, она показала, что беглецы из Кленов должны бороться, а могут и побеждать.

Но это была только первая стычка. Тишина кругом, в горах беглецы получили передышку, но там внизу, в долине, собираются и собираются силы. И они двинутся в горы — уничтожить здесь все живое.

Данило заботился о том, чтобы связь с долиной у них не обрывалась, — он должен знать, какие силы собирают враги, что они собираются делать.

В одну из первых же ночей после бегства Ковач спустился в Клены с расторопным и смелым партизаном Хомой Змерзлым. Он оставил Хому сторожить на склоне горы, а сам пошел в село.

Была ветреная, холодная ночь. Над ущельем, высоко в небе, ветер гнал обрывки туч. Над горами висел молодой месяц; когда он выплывал из-за туч, вокруг него разливалось слабое зеленоватое сияние. В долине клубилась мгла, и Данило в полной безопасности подошел почти к самой лесопилке Клумака.

Там он немного постоял, прислушиваясь. На лесопилке было темно и тихо; откуда-то долетел простуженный голос Гаврила Клумака; из окна дома о. Федора лилась молитвенная мелодия. Данило свернул назад от лесопилки и берегом горного потока подошел к домику Ласло Потоки.

Ласло Потоки, заслышав стук в окошко, сразу вышел во двор.

— Кто там?

— Это я, Ласло!

Потоки рассказал Данилу все, что произошло в Кленах после ухода жителей. Он рассказал, как погибло трое селян, как фашисты жгли хаты, как капитан Эндревди водил солдат в горы и как трупы убитых гонимых и Марадика зарыли возле сельской управы.

— Так это был Марадик, а не Янош? — раздраженно проговорил Данило.

— Марадик. Янош еще жив.

— Жаль,— сказал Данило.— Желтые жандармские мундиры у обоих одинаковы, да и сами они похожи один на другого. Ничего, для Яноша пуля найдется.

Еще рассказал Ласло о том, как ночью в Клены проникли венгерские партизаны и как расправились с капитаном Эндревди.

— Я сам и подготовил им Клумакову машину. Захваченное оружие спрятано в ущелье на Раховской дороге. Есть два пулемета, несколько автоматов, есть тол. Так мне и сказали — для отряда имени Олексы Борканыюка.

— Спасибо товарищам венгерцам,— сказал Данило.— Завтра же приду в ущелье с партизанами. Сможешь ли ты нас встретить?

— Я буду ждать.

Была, однако, одна вещь, о которой Ласло Потски не хотелось говорить.

— Ярослав,— медленно начал он,— рассказал мне, что один карательный отряд гонимых побывал в Бочарах и угнал оттуда всех юношей и девушек...

— И Юлину?

— И Юлину угнали.

Данило печально глядел на месяц, ныряющий меж туч. Ему показалось, что это не тучи плывут в небе, а месяц мчится между ними.

— Что только делается! — прошептал он.— Сколько людей погибает.

Данило вполголоса рассказал о том, как живут беглецы в горах, как борются с голодом и холодом, терпеливо сносят все муки. Рассказал и о том, что некоторые беглецы, вроде Кирила Тупчика, ропщут и смущают людей; сказал, что пришел к ним в горы и Василь Гербера.

— Странно,— заметил Потоки.— По селу ходят слухи, что он выехал в долину. Присматривайте за ним, Данило, как бы не проник враг в наши ряды.

— Присматриваем,— ответил Данило.

Еще говорили о том, как наладить связь между Кленами и лагерем беглецов.

— Каждую ночь приходит ко мне Павло Тиснянец,— сказал Ласло.— Ты его знаешь, хлопец хороший. Работает он теперь на том берегу, в лесничестве. Проворный хлопец, если что, сумеет вас известить.

— Добро,— согласился Данило.— Павло ловок и смел,

знает горы и долины. Присылай его к нам. Мы стоим у Зеленого Стога.

Молча поднимался Данило Ковач с Хомой Змерзлым в горы. Заходил месяц. Над селом плыла тишина. Когда месяц закатился, на небе некоторое время еще светилась яркая щелка. Фигуры двух партизан исчезли во мгле.

2

Данило проснулся, едва начало светать. Он спал, может быть, всего час, лежа прямо на земле и подложив под голову кулак. Но и этот час спал он очень тревожно, просыпался и схватывался, едва до слуха его долетал слабый звук. Теперь он окончательно проснулся, потому что услышал далекий, но сильный гул.

Ветер шуршал травой. Вот-вот должно было взойти солнце, о чем свидетельствовало розовое сияние в небе. От самого края темно-голубого неба нависали тяжелые, розоватые с одной стороны и темно-синие с другой, облака.

Из-за одного облака, застывшего над долиной, должно быть от Рахова, выплывали самолеты. Их было шесть. Сперва самолеты напоминали маленькие черные черточки, но очень быстро они увеличились и стали похожи на хищных птиц. Они летели очень высоко над горами, на какой-то миг крылья одного из них блеснули, точно там вспыхнули и погасли две звезды — это заиграл отблеск солнца, его уже видно было с самолетов.

Данило, который, как и все партизаны, научился распознавать вражеские самолеты, оглядел безлесные склоны гор, лощину, в которой этой ночью расположились люди. Нет, там никого не было видно, только он один лежал на холмике; Данило отполз в сторону, лег под кустом.

Самолеты проплывали над Кленами, направляясь к перевалам. Сердце у Данила сжалось, он подумал, что пройдет, может, всего несколько минут и от этих самолетов оторвутся, полетят вниз, взорвутся, переворачивая скалы и землю, бомбы, что там, за горами, в это утро будут погибать советские люди. Как бы хотелось ему перелететь через Карпаты, стать там, на линии фронта, и подать сигнал, как плотогонь на горных реках: «Берегись... враг!»

Но самолеты почему-то не дотянули до перевала и начали круто сворачивать влево. «Заметили, должно быть,— думал с радостью Ковач,— советские самолеты впереди, вот и заворачивают, чтобы избежать боя».

Это заметили и другие партизаны — они лежали под скалой недалеко от Данила и тоже следили за самолетами.

— Значит, боятся ассы даже русского духа,— говорил один из них.

Шесть самолетов развернулись и летели, выстроившись в один ряд, над правым берегом Тиссы и близкими горами.

— Ложись,— крикнул Данило Ковач,— они пролетят над нами!

Самолеты быстро приближались и вдруг круто пошли к земле, точно падали с неба. Данило Ковач заметил яркие вспышки на самолетах, еще через миг вместе с омерзительным воем моторов до его слуха долетела трескотня пулеметов. Пули со свистом летели на взгорок, где лежал Данило Ковач, свистели кругом и вбивались в землю, взбивая пыль.

Ковач почувствовал удар в левую руку выше локтя. Он даже оглянулся. Но к нему никто не подходил, партизаны по-прежнему лежали под скалой.

А в это время самолеты развернулись, задрав крылья с намалеванными на них пауками, и в тот же миг от них оторвались и полетели вниз бомбы. На склонах и вершинах гор вставали черные столбы пыли и дыма, содрогнулась земля вокруг, воздух прорезало свистом и треском.

— Проклятье! — крикнул Данило Ковач.

Сперва он думал вскочить, но вместо этого плотнее прижался к земле и поднялся только тогда, когда самолеты исчезли в розовом мареве над горами.

— Данило! — растерянно выговорил Кирило Лелекач.— Да на тебе кровь!..

— Где? — даже удивился Данило.

Только теперь он припомнил, как его ударило в левую руку. Как бы не доверяя, посмотрел на руку и увидел: из-под белой вышитой сорочки по пальцам стекала кровь.

Что значит рана на руке, если у человека ранено сердце? Данило промыл рану водой из родничка, завязал ее платком, который нашелся у одного из партизан, и направился к ущелью, где укрывались люди, потому что над ущельем, как он заметил, рвались бомбы и там еще стлался дым.

Едва Данило начал спускаться к ущелью, как тут же услышал отчаянное рыдание женщины и детский плач. Он остановился на минуту, держась правой рукой за деревце, потому что земля качнулась у него под ногами.

По всему ущелью заметны были следы разрывов бомб, на земле лежали сбитые ветви, в воздухе сладковато пахло порохом. На дне ущелья, невдалеке от горного потока, неумолчно журчавшего меж камней, лежала София Трояновна. Ее убило на месте. Смерть еще не коснулась девичьей красы: София лежала, как живая, кожа на ее щеках еще розовела, казалось — она вот-вот встанет, скажет слово, ласково улыбнется.

Чуть поодаль, среди увядшего папоротника лежал сплавщик Семен Лелекач. На нем незаметно было ран, только необычайная бледность лица и неподвижность вытянувшегося тела, ставшего длинным и ровным, говорили о безжалостном конце. Отважный плотогон, который не раз глядел в глаза смерти и который так много помогал Данилу в его работе, был мертв.

— Звери! — проговорил Ковач. — Терзают наших людей в долинах, пытаются уничтожить нас и в горах. То воевали там, на перевалах, теперь кидают бомбы здесь, в беззащитных людей.

— А может, лучше было бы, — сказал кто-то в толпе, — если бы мы не ходили сюда, в горы? Ведь сам видишь, что делается?

Данило посмотрел на того, кто кинул эти слова. Это был Кирило Тупчик, а с ним еще несколько человек, которые жались и жмутся к нему с первого дня. Они даже здесь, в ущелье, держатся особняком, заняли уголок под скалой, все время словно чего-то ждут.

Он отвел взгляд, оглядел всю толпу, увидел Короджия, Сегиня, они смотрели открыто и прямо. Среди этих людей стоял и Василь Гербера.

— Нет, люди,— решительно проговорил Ковач.— Есть у нас убитые, но все равно лучше, что пошли мы в горы. Там, в долине...

— Что у тебя с рукой, Данило? — крикнула в это время одна из женщин.— Тебя ранило?

Он сказал:

— Что значит эта рана? Сердце ранено! Кто это говорил, что лучше бы нам не ходить в горы? Это ты, Кирило? Так чего же ты сидишь здесь? Ступай туда, или в долину, но слышите, мы отвечаем только за тех людей, что с нами здесь, в горах. А за тех, кто уйдет в долину, мы отвечать не будем. Кто хочет возвратиться туда? Говорите, ну, говорите же!

Но никто не откликнулся. Кирило Тупчик тоже стоял молчаливый, задумчивый. Только взгляд его все скользил по склонам ущелья и полоске неба над ними.

Ночью кленовчане хоронили погибших. Когда совсем стемнело, из ущелья вышла похоронная процессия. Тело Софии Трояновны положили на гибкие, сделанные из молодых березок, носилки, тело Семена Лелекача несли на рядне.

Тихо было кругом. Только ширококрылые ночные птицы с печальным стоном носились над толпой. Всхлинула, но сразу затихла мать Софии — Домаха Трояниха. Под множеством ног глухо стонала гора, и камни, сдвинутые с тропинки, скатывались в ущелье.

Впереди шел Данило Ковач, рядом с ним еще несколько партизан. Если бы знали, как болело сердце у Данила и как тяжек был ему каждый шаг! Как много печальных вестей принесли ему последние дни! Где-то среди темной ночи ведут под кнутом сестру его Юлину. А вот еще одной девушки не стало.

София Трояновна была подругой Юлины, приходила на взгорье к ним в хату. Данилу страшно было думать, что голоса Софии он никогда уже не услышит.

Не стало и Семена Лелекача. Как много сделал этот тихий на первый взгляд, но смелый человек и как много мог он еще сделать! А вот смерть бродит и бродит по Карпатским горам, уносит людей.

На вершине горы меж двумя елями вырыли могилу.

Чудесная, величавая, плыла ночь над землей. Это была, должно быть, одна из тех ночей, которые приходят, как дорогой подарок, и завершают осень. Окрестные горы

напоминали гигантские корабли; звезды над ними были как огни, горящие на мачтах; вечерний ветер утих. Тем больнее было, что в такую чудесную ночь приходится опускаться в землю безвременно погибших родных людей.

Долго стояли люди над могилой, смотрели на горы и долины, и у многих из глаз катились тяжкие слезы.

4

Был поздний час ночи, когда в лагерь пробрался Павло Тиснянец. Смелый, подвижной юноша нашел среди непроглядного мрака тропинку в горах, поднялся почти к самой расщелине, встретил дозорцев, они и привели его к Ковачу.

— Что за хлопец? — спросил Данило, увидав перед собой стройного юношу, которого привели дозорные.

— Из нашего села, — начали они.

— Вуйко Данило! — крикнул Павло. — Да это я, Павло Тиснянец. Беда, вуйко Данило! Механик с тартака приказал мне скорее бежать в горы и сказать, что в село прибыл батальон пехоты, еще и минометчики. Они уже выступили из села, идут по взгорью.

— А ты видел, куда они направляются?

— Видел, вуйко Данило, — ответил Павло. — Я нарочно задержался. У Гнездиловой скалы разбились на двое, часть пошла направо — Сухим плаем, часть свернула на Волчью стежку. А минометы стоят под скалой.

Через несколько минут в землянке у Данила Ковача собрались члены Народного комитета. Не было на собрании Семёна Лелекача, но на отцовское место сел его сын — Кирило. Ковач приказал по всему лагерю будить тех, кто мог держать оружие в руках; часть партизан уже двинулась на горные тропы и взгорья.

Вход в землянку был завешен флангом. На деревянном чурбане посреди землянки горела плошка. Слабый свет ее озарял стены, покрытые росой, встревоженные лица людей.

— Что ж, друзья, — спокойно и совсем тихо сказал Ковач, оглядев Короджия, Сегиня, Кирила Лелекача. — Думаю я, что ночью они в горы не пойдут, добрались до Гнездиловой скалы, там и будут стоять. Однако спать нам и нынче не придется.

Никогда до этой поры Данило не был военным человеком. Он, наверно, и не захотел бы стать военным. Но он вынужден был бежать в горы, в горах вынужден был обороняться от врагов, после стал во главе партизанского отряда и думал о том, как защитить родных людей. Так его и учила жизнь. Он учился, когда за ним гнались враги, учился, когда в первых стычках пробовал свою силу, а вместе с тем он испытывал и силу людей, которые боролись рядом с ним здесь, в горах.

Вот почему Данило Ковач, не будучи военным, в эту ночь хорошо понимал, что делается в окрестных горах, он знал, как им нужно действовать, чтобы с малыми своими силами одолеть врага, сила которого превышала их силу в десять — двадцать раз. Для победы над врагами у Ковача было первое и основное — он понимал, откуда и как идут вражеские отряды, знал, где и почему они остановились, знал, какими силами располагает враг, изучил все тропы, по которым он мог двинуться.

Фашисты же не знали, где притаились партизаны, — так откуда же им было еще знать, сколько их! Задумав внезапно напасть на партизан, они сами каждую минуту ожидали, что партизаны как гром нагрянут на них. Оттого они и побоялись идти ночью в горы, а добравшись до горных тропинок над селом, остановились там. Им страшны были Карпатские горы и люди, живущие здесь. Имея подробные планы «Рутении», как называлась тогда на военных фашистских картах Закарпатская Украина, они, однако, повсюду шли как в тумане и на подробных этих картах видели только смерть.

У Данила Ковача не было никаких карт. Но даже будь они у него, вряд ли он смог бы их прочитать. Но ему и не нужны были карты, он знал все горы здесь, леса, ущелья, тропы как родной дом, как родное гнездо.

Он не только знал горы, но и все то, что могло пригодиться для обороны. Знал, на каких тропах сделаны были завалы и где столетние буки и ели преграждали пути к надежным укрытиям. Во многих местах на безлесных вершинах и над пропастями партизаны Данила Ковача подготовили кучи камней, которые в любую минуту могли неудержимой лавиной ринуться вниз. От ущелья, где скрывались кленовчане, тропинки вели в Ясени, в Квасы, к северным перевалам и за Черную Тиссу, а там действовали другие партизанские отряды.

На рассвете гулко ударили минометы. Возле Сухого пляя рассыпались дугой гонведы. Еще одна группа гонведов двинулась в горы от Волчьей стежки.

Горы не отзывались на выстрелы минометов. Тишина встречала гонведов, которые перебежали от леска к леску и от скалы к скале. Горы молчали, и только эхо рождалось там, где взрывались мины, а лес повторял и повторял неистовые крики гонведов.

Уже солнце сильно припекало, когда гонведы добрались до Красной Новицы и все разом кинулись к студеному ключу, который бил там из-под скалы...

На вершине Красной Новицы слышался шум, словно от порыва бешеного ветра; эхо покатилося горами, и раздался тяжелый треск и гул движущейся массы; над деревьями вдруг возникла и начала подниматься к небу туча черной пыли.

Через минуту грозный грохот слышался на крутых склонах горы; кто из гонведов поднял глаза, тот увидел, как там шатались, трескали и ломались столетние деревья и как все ниже и ниже сползало темное облако.

С вершины Красной Новицы катились десятки и сотни огромных камней-кругляков; падая, они сдвигали с места другие камни; вся эта лавина ломала и дробила деревья, захлестывала неудержимой волной весь склон горы, крушила все на своем пути, ревела, как табун бешеных быков, и, наконец, обрушилась черной тучей к подножью горы и затопила все под собою.

Как бы откликаясь на грохот этой каменной лавины, ударили пулеметы на высотках возле Сухого пляя, и ударили именно из тех мест, откуда видны были как на ладони все гонведы. Пулеметы били до тех пор, пока гонведы, потеряв почти половину своего состава, не кинулись назад.

Горы и люди! Они сражались в тот день рядом.

5

Василь Гербера тоже проснулся, услышав тревогу в лагере, и сел возле своего шалаша. Все уже знали, что к лагерю хотят прорваться гонведы. Кто мог, тот брал оружие, кто не мог держать его, думал о том, как быть

полезным в лагере, где оставались женщины, больные и дети.

Управляющий школой и не подумал о том, что ему следовало бы взять в руки оружие. О нет, он с первого часа, как очутился среди партизан, заявил, что не хочет и не может никого убивать...

Но, сидя в темноте у шалаша, он все же думал об оружии. Представлял себе, как под покровом ночи крадутся гонведы, представлял себе их лица, видел сверкающее оружие в их руках.

Одного только боялся он в эту ночную пору: чтобы не пробрались сюда, к лагерю, гонведы и не начали истреблять всех.

Ведь они могут нечаянно убить и его, Герберу!

Перед ним возникло во мраке лицо о. Федора Стрыпского, и он, казалось, услышал слова священника: «Не бойтесь, не бойтесь, сыне! В горах вас не убьют, а гонведы тоже не тронут, ведь они знают вас, сыне! Хайль Гитлер, хайль Хорти!»

Сидя возле шалаша и вздрагивая от холода, Гербера беззвучно шелестел сухими губами: «Я выполнял специальное задание, я не мог раньше вырваться из этого лагеря, я служу вам, хайль Гитлер, хайль Хорти!» Кроме того, он был убежден, что там, где гонведы, будет и о. Федор Стрыпский. А для Стрыпского у Василя Герберы было много материалов. Гербера знал теперь всех руководителей партизан и мог по пальцам пересчитать коммунистов.

В одну из таких напряженных и весьма неприятных минут Василь Гербера заметил, что кто-то сел на камень близко от него.

— Кто это? — спросил Гербера.

— Это я, пан управитель, — узнал он голос Кирила Тупчика. — Слышите, какая тревога?

— Да, Кирило, тревога большая. Что-то, видно, должно случиться. Боюсь, худое может быть.

Кирило Тупчик подсел ближе к управителю.

— Так, может, лучше, — прошептал он в самое ухо Герберы, — удрать отсюда?

Василь Гербера и сам думал о бегстве. Но эту мысль он сразу же отбросил. Бежать в ночь вместе с Тупчиком, опасаясь и гонведов и Кирила тоже, — о нет!

— Что вы, что вы? — зашептал Гербера. — И в мыслях у меня такого нет. Будем держаться до конца.

— Как хотите, — сердито сказал Тупчик. — У меня про вас была другая думка, пан управитель... Прощайте!

Он отошел от Герберы, исчез в темноте.

Наутро Гербере не пришлось пожалеть, что он сделал такой шаг. Гонведы к лагерю не пробились. Как это случилось, толком никто объяснить не мог. Такие события нужно видеть своими глазами! Оттого эта операция партизан и не произвела на Герберу надлежащего впечатления.

Несравненно больше поразило его то, что произошло после этой операции. Как только закончилась стычка с гонведами, по лагерю прошел слух, что партизаны на одном из взгорий поймали Кирила Тупчика, который пытался бежать из лагеря и ранил одного из партизан, задержавших его. Гербера видел, как Тупчика со связанными руками провели мимо ущелья. Потом с дальнего склона долетело несколько выстрелов.

Тогда Василь Гербера пришел к окончательному выводу: довольно играть с огнем! Он должен как можно скорее бежать из лагеря! Но бежать не так, как Тупчик. Тот бежал на северные склоны, у него в руках было оружие. Нет, бежать нужно на юг, прямо в долину. Оружие? О нет! Оно ему не нужно!

Василь Гербера ждал. Он вел себя с достоинством, как полагается, раздобыл где-то русинский букварь и в свободные минуты учил детей. И никто не знал, что из тех букв, каким обучает детей кленовчан управляющий школой, можно сложить только одно слово — смерть.

«Довольно! Довольно играть с огнем!» — твердо решил Василь Гербера.

6

Прошло уже много времени, а рана на руке Данила Ковача гноилась и нарывала, он весь горел, ходил как в тумане. Но он никому не признавался, что занемог и что его мучит рана. Да и кто бы помог ему в этих горах? Ведь здесь только слыхали про врачей, но никогда не видели их в глаза.

Опасаясь, как бы ему не стало еще хуже, Данило готовился, всячески старался наладить связь с другими селами, где, как ему было известно, тоже существовали

партизанские отряды. Ему удалось наладить связь с Ясенями, с Квасами, с другими селами. А все это укрепляло в командире партизанского отряда уверенность, что сообщая они победят.

Однажды ночью Ковач собрал своих помощников, членов Народного комитета, командиров.

— Какие вести из Кленов? — спрашивал Ковач разведчиков.

— Стоят фашисты на месте, в горы как будто не собираются выступать.

— А что слыхать из Рахова?

— Они и в Рахов подтянули силы, а после остановились...

— Остановились! — раздраженно сказал Ковач. — И остановились, и скоро двинутся назад. А вот здесь в лагере кто-то распространяет слухи, будто они так и будут стоять. Советская Армия, мол, через Карпаты не пойдет, мы в горах пропадем.

— Этот Тупчик... — начал Короджий.

— Нет, Иосиф, не один только Тупчик. Есть и другие среди нас, есть враги — и они вредят и вредят.

Ковач махнул здоровой рукой и продолжал:

— На фронте тихо, но скоро начнется великий бой! Слышите, скоро будет великий бой! Надежда только на Советскую Армию. Я много думал — только она спасет нас. Но и сами мы должны бороться. Нынче ночью мне что-то не спалось, лежал и слушал, как на севере за Синевирским озером, в Турянской долине, бьют орудия. Нет, вряд ли, чтобы туда уже вышла Советская Армия. Будь она там, горы загремели бы и здесь. Но там гремит, премело с самого утра до вечера.

Он посмотрел на членов Народного комитета, сидевших вокруг него. Взгляды командиров были обращены на север.

— А что, — спросил Данило Ковач, — если бы мы послали несколько человек на север? Там бьются наши люди, мы должны пробиваться к ним.

— Это было бы хорошо, — отозвался Иосиф Короджий. — Но в горах нет дорог. Кто туда пройдет?

Наступило долгое молчание. А затем в землянке прозвучал голос:

— Я пойду в Турянскую долину.

Опираясь на посошок, посреди землянки стоял чабан Юрко Сегинь. Он смотрел на огонек коптилки и тихо говорил:

— Пройду, если нужно, люди. Уж я-то эти горы хорошо знаю. И в сторону Турянины не раз в жизни ходил. Если б только дали со мной кого-нибудь помоложе.

Охотники нашлись. Но Данило Ковач этим не ограничился.

— Еще есть дело,— сказал он собравшимся.— Может, мы сейчас через хребет пошлем весточку Советской Армии и будем просить, чтобы наши братья скорее шли сюда?

Сегинь все стоял, опираясь на свой посошок. Рядом с ним поднялся юноша,— все узнали Павла Тиснянца.

— Вот и хорошо, Павло,— сказал Ковач.— Ведь ты как будто работал когда-то на линии Арпада?

— Работал и все помню, вуйко Данило,— живо ответил Павло.

— И через линию пройти сможешь?

— Смогу,— сказал Павло.

— Ну, так пойдешь,— сказал Ковач,— а с тобой еще несколько наших партизан.

7

Еще серый сумрак полз над полонинами и долины закрывал густой туман, когда дозорные на далеких западных тропах обнаружили женщину с двумя девочками. Это были Гафия Тиснянчиха с Настей и Софией.

— Так это вы, Гафия? — пригляделся к ней Иосиф Короджий.— Откуда ж это вы, как попали к нам в горы?

— Пришла,— усталым голосом ответила она.— А как не пойти? Там, в Бочарах, мне нечего делать,— хозяин, Кирило Полонинец, вернулся. Я и пошла. Услыхала, что все из Кленов вышли в горы, иду вслед; не долиной, а горами, с горки на горку. Ведь мы тут все знаем, везде родная земля...

— Вы сказали про Бочары,— спросил Иосиф Короджий,— и про какого-то Полонинца.

— Да, да, милый мой, про Полонинца,— заторопилась Гафия Тиснянчиха.— Я ведь в Бочарах в его хате

жила, а он был на каторге. Ждала я, что воротится он, и дождалась. Воротился он, а уж на следующую ночь я ему собрала немножко людей; потом пришло их еще больше. А там, когда приехали в село фашисты и хотели выгнать людей, Кирило Полонинец собрал их и повел в горы, дай боже ему счастья и здоровья. С ним и я вышла, а как же; а уж потом, через Черную Тиссу, перебралась и сюда.

Потеплело в груди у Иосифа Короджия. Тиснянчиха принесла радостную весть — и за Черной Тиссой, где вьется Белая Тисса, в лесах ходит партизанский отряд, им руководит Кирило Полонинец, а поблизости от него ходят, наверно, еще и другие отряды. Не только на севере, а и на юге все растут и растут партизанские силы.

Гафия Тиснянчиха спросила:

— А где Данило?

— Спит наш командир, — ответил Короджий. — У него теперь, Гафия, много дел.

— И пускай спит, — промолвила усталая женщина. — Пускай спит, когда у него такое большое горе.

— А что, Гафия? Скажите!

— Юлину забрали, — залилась слезами старуха. — Забрали ее и всех дивчат и хлопцев из Бочаров. Горе мое, горе, как сказать об этом Данилу, не знаю.

— А вы и не говорите, Гафия, — зашептал Короджий. — Скажите, что она там, в Бочарах. Он болен сейчас, Гафия.

— Хорошо, — согласилась она. — Верно, не скажу... Не нужно говорить, зачем терзать сердце. И она придет, ей-ей, чует мое сердце, скоро должна прийти.

Так они сидели рядом на холодной сырой земле, беседуя меж собой. Но сердце Короджия хотело сказать матери еще одну новость — про Павла, ее сына. И он сказал:

— А Павло ваш, Гафия, пришел к нам, а вот несколько дней назад подался за перевал, чтобы сказать там, что делается у нас на Карпатах. Через линию Арпада, на восток...

Он ждал, что старая женщина заплачет, и готов был утешить ее самым сердечным словом.

Но Тиснянчиха не плакала. Серая, предрассветная мгла стлалась над землей, и в этой тусклой мгле Иосиф Короджий увидел изможденное лицо старой женщины,

увидел ее ласковые материнские глаза, глядевшие на восток. В глазах этих не было слез, в них отражался огонек звезды,— она висела низко над Карпатами.

— Антон где-то там,— шелестела сухими губами вдова.— Павло тоже пошел туда. Мы — здесь. Кирило Полопинец — там, за речкой. Юлина вернется. И мы сойдемся! Слышишь, Михайло!

8

Хлопцев и дивчат из Бочаров некоторое время держали в концлагере за Раховым. О бегстве из концлагеря нечего было и думать — клочок земли, на котором они ютились, обнесен был в несколько рядов колючей проволокой, а по углам построены были еще и вышки, и на них день и ночь дежурили жандармы. Несколько хлопцев пытались подрывать ход под колючей проволокой и бежать на волю,— жандармы убили их на месте. День проходил за днем, ночь за ночью.

Вместе со всеми в лагере была и Юлина. Долгими, бессонными ночами, сидя на холодной земле, глядя на горы и перевалы, на звезды, горящие в небе, она думала, как спастись ей и как спасти хлопцев и дивчат, вместе с которыми она делила муки и издевательства. Нет, надежды на спасение здесь у них не было.

Эта надежда появилась только тогда, когда однажды вечером всех подняли, выстроили посреди лагеря, приказали взять свои торбочки. Значит, их поведут дальше, а дальше — это дорога, это возможность бегства!

Но куда они могли бежать? Им только казалось, что они смогут убежать, если вырвутся за колючую проволоку. Но едва они вышли из лагеря, их стеной окружили жандармы, страшной и безжалостной стеной.

Сперва они шли в серых сумерках, потом нырнули в ночной мрак, поздно ночью дошли до Дилового и свернули вправо, к Великому Бычкову. Жандармы ни разу не разомкнули своей живой стены, а шли, сменяя друг друга, отдыхая по очереди на машине, которая тихо прохотала сзади.

Надежда исчезла! Кто-то из тех хлопцев, которым часто приходилось бывать в этих местах, сказал, чтобы все были настороже, когда подойдут к мостку через гор-

ную речку у Великого Бычкова. «Там,— шептали хлопцы,— можно будет кинуться врассыпную, в реку, а дальше пробираться по одному вправо, в горы».

Как трудно было передать по колонне эти слова о бегстве! Как трудно было сговориться об этом за один шаг от жандармов, которые шли с автоматами в руках! Как вздрогнули все, когда начали подходить к горной речке и когда прохладой повеяло из ущелья!

Но и жандармы были настороже. Когда колонна была уже совсем близко от мостика, они послали вперед грузовик. Грузовик стал по ту сторону мостика, над обрывом, шофер, несмотря на строжайшее запрещение зажигать огни, все же зажег фары, и широкие зеленоватые лучи так осветили мостик и оба клочка дороги перед ним и за ним, что стало видно все, как днем — до последнего камешка. Все узники знали также, что там, где обрываются лучи света и стеной стоит мрак, стерегут с автоматами наготове жандармы. Узники подумали даже, не привели ли их жандармы к этому мостику умышленно, чтобы здесь перестрелять, сбросить в реку.

Жандармы пропустили всех узников одного за другим через реку. Узники не знали, но жандармам было известно, что несколько дней назад на этом самом месте разбежалась ночью колонна людей, выведенных из Кобылецкой Поляны. Жандармы боялись ночи, темноты, узников, оттого они и зажгли яркие огни, оттого терпеливо ждали, пока все узники не перейдут мост.

У юношей и девушек из Бочаров исчезла последняя надежда. Недалеко Солотвин, за ним Сигот,— значит, либо страшная тюрьма, либо еще более страшный путь — по железной дороге на запад, в новые концлагери, в огненные печи. И жандармы оживились, повеселели, заговорили: они уже предвкушали веселый вечер, какой они проведут в Сиготе.

Солотвин был совсем близко; узники шли по длинной ровной дороге, обсаженной через одинаковые промежутки деревьями; вдали во тьме угадывались очертания солотвинских копей. Вдруг деревья вдоль дороги словно ожили, удвоились, утроились; вокруг поднялась такая стрельба, что глаза слепило вспышками выстрелов, а дышать было трудно от порохового дыма.

Узники слышали отчаянные крики жандармов, виде-

ли, как некоторые из них пытались отбиваться, но падали наземь; они слышали из тьмы родные голоса:

— Эй, хлопцы, дивчата! Разбегайтесь по сторонам! Сворачивайте ущельем к поляне! К Тиссе! Рассыпайтесь шире! Не подавайте голоса! Мы идем с вами! Живее, хлопцы, живее, дивчата!

Юлина всегда бегала быстрее всех дивчат в селе. Теперь она прямо летела! Туман сгущался над болотом, темнели тучи в вышине, темно, темно было вокруг. Но ей казалось, что она вырвалась из когтей смерти и на крыльях летит к счастью.

Глава восьмая

1

Утром, едва разомкнув тяжелые веки, Данило Ковач увидел невдалеке от себя знакомую женщину.

— Погодите! — сказал он. — Да это, кажись, Гафия Тиснянчиха? Как вы попали сюда, Гафия?

— Ой, и не говори, — запричитала она. — Пробилась, пришла, да вот уже и дома. А где ж мне быть?

Подошел Иосиф Короджий. Он рассказал, какие вести принесла Тиснянчиха.

— Это хорошо, — обрадовался Ковач, услышав про отряд Кирила Полонинца. — Собираются наши силы. За эту новость спасибо вам, Гафия.

Данило хотел спросить у Гафии про Юлину. Он знал уже правду про сестру, но Гафия все это видела своими глазами.

— Гафия, а как Юлина? — спросил с волнением.

Тиснянчиха краешком платка вытерла рот, но сказала не то, что ожидал и хотел узнать Данило.

— В долине Юлина. Жива и здорова.

Данило взглянул на Тиснянчиху, прустная улыбка пробежала по его губам. Мать верховинка! Откуда у тебя берутся силы поддерживать других? Что ж, пускай будет так, будем верить, что Юлина жива и здорова.

Между тем Гафия Тиснянчиха позвала к себе на помощь еще одну женщину из лагеря, вынула из-под полы головку чеснока, три иголки.

— Ты вот, Данило, я вижу, хворый,— начала она.— Рана у тебя на руке... Мы тебя с Катериной по-
чим.

— Лечить? — улыбнулся Ковач.— А вы разве умеете, Гафия?

— Да кто знает,— искренне призналась она.— А по-
пробовать можем. Ведь не помешает.

— Ну так лечите,— согласился Данило.

Катерина, которую привела с собой Гафия, подошла ближе к Данилу, начала топтаться на месте и пригова-
ривать:

Йшла Маруня,—
Йшла Якуня,
Йшла пищачи,
Йшла кричачи...

Все это было такое извечное и древнее, как окрестные леса, как Карпатские горы. А как быть, если других ле-
карств здесь, в горах, люди почти не знали. Но что это? В старые древние слова внезапно вплелось то, чего ни-
когда не говорила раньше ни одна знахарка:

Не пищіть, гишиги,
Не кричіть, притруди,
Ідіть до фашиста,
Там його візьміть!

Данило Ковач от всего сердца засмеялся:

— Вот это лекарство! Ей-богу, сразу выздоровею!

А старухи между тем достали приготовленные листки, не то белены, не то подорожника, обмыли их в студеной воде, приложили к ране. Данилу и вправду стало легче, рука его перестала гореть.

Внезапно он забыл про рану. Среди тишины, какая стоит обычно в горах на рассвете, до него долетело эхо далекой канонады. Ковач приподнялся и прислушался. Нет, его слух не мог изменить ему. Там, на севере, где кончается Нижний Бескид и где начинаются Средний и Высокий Бескиды, земля содрогалась от канонады. Гремели орудия и на юге, где тянутся Гуцульские Бескиды, и всюду — на севере и на юге — слышно было бесконечное гудение самолетов; воздух содрогался над горами и долинами; в предрассветном светлеющем небе кипел бой.

Гул далекой канонады слышал и Василь Гербера, но воспринял это, разумеется, не так, как Данило Ковач. «Это,— подумал он,— началось то наступление на севере и на юге Карпат, о котором писали все газеты». Перед глазами его стояли те армии, которые он видел в долине.

Гербера беспокоился. Если наступление началось, он должен немедленно вернуться в долину. Он знает теперь, где в горах скрываются партизаны. За каждое его слово заплачено будет золотом, значит нужно как можно скорее бежать отсюда.

Начинало смеркаться, когда, возвращаясь с группой партизан, ходивших за водой и за дровами, Гербера отстал от них. Было ветрено, накрапывал мелкий дождь, небо заволокли густые тучи. Притаившись под кустом боярышника, Гербера долго слушал, как затихают вдали шаги партизан; он вздрагивал и озирался, когда на него падали тяжелые осенние листья, а шею секли дождевые капли. Постояв так немного, Гербера кинулся в сторону от лагеря.

Сперва он бежал в сумраке лесной чащи, спотыкаясь об истлевшие пеньки, разрывая одежду, окровавив руки колючками терна и боярышника. Потом пошел медленнее.

Все время, пока он пробирался лесом, у него неистово билось сердце, его кидало в пот, подгибались ноги. Он даже не представлял себе, что ему будет так страшно... Лес, которым Гербера еще недавно шел спокойно с партизанами, теперь, казалось, наполнили какие-то страшные лица. Он побежал, теряя последние силы.

Гербера остановился и перевел дух только на опушке, откуда начинался крутой каменистый склон, а за ним — долина. Осталось найти тропку на этой крутизне и спуститься.

Он остановился над бездной и долго присматривался, наконец нашел такой уголок, где по обрыву, спадая вниз, тянулась расщелина, густо поросшая деревьями и кустами. Гербера кинулся к этой щели.

Но в этот миг прозвучало короткое и суровое:

— Стой!

Гербера узнал этот голос и того, кто стоял в сумерках

под деревьями. Это был Короджий. Он тихими шагами, держа в руках автомат, приближался к Гербере.

— Как будто собирались спускаться, пан управитель, — с ударением на каждом слове проговорил Короджий. — Что ж, спускайтесь. Я обожду.

— Упаси бог! — крикнул Гербера. — Я никуда не думал спускаться, только смотрел в долину. Я...

— Смотрели? — улыбнулся Короджий и сделал еще шаг в его сторону. — Что ж вы высматривали здесь, так далеко от нашего лагеря?

— Я ходил с партизанами за дровами и водой. Вон они пошли. Если нужно, я их позову.

— Не кричите! — сурово сказал Короджий. — Партизаны давно уже в лагере. Звать их незачем. Мы их скоро увидим.

— Прошу вас! Прошу вас! Идемте в лагерь, пан Иосиф!

Но Гербера со всей очевидностью понимал, что в лагере его ждет суд, а за ним смерть.

Дальше все произошло в одно мгновение. Кинув взгляд на Короджия, Гербера сделал прыжок, вцепился в автомат со всей силой, какая была в его теле, схватил его и вырвал. А дальше, не помня себя от страха и не зная, что делать с автоматом, он поднял его над головой и швырнул в бездну.

Высокий, бледный, с искаженным отвращением лицом, стоял Короджий над кручей. В нескольких шагах от него — Василь Гербера. Смерть и только смерть видел Гербера в эту минуту перед собой. Любой ценой он стремился спастись. Взмахнув руками, он снова кинулся вперед, стараясь сбить с ног и столкнуть Короджия в пропасть.

Борьба шла в одном шаге от бездны, каждый из них знал, что все решают краткие мгновения и что первое неудачное движение будет стоить жизни. Были секунды, когда казалось, — оба они вместе сорвутся в пропасть.

В следующую секунду, почувствовав, что руки Герберы на миг ослабели, Короджий изо всей силы оттолкнул его от себя.

В бездне родился и затих безумный крик. Где-то внизу, на дне, прозвучал короткий удар. Долго еще после этого в расщелине и по всей круче осыпались камни.

Прижавшись горячим лбом к стеклу окна, Гаврило Клумак смотрел на запад. Солнце багрово заходило за тучи — на ветер.

Но не ветер тревожил Гаврила Клумака. Его беспокоило другое: положение на фронте, последние события в горах, собственные дела.

На фронте творится что-то непонятное, орудия глухо гремят где-то на севере Карпат и далеко на юге. Но что случилось с гонведами, которые охраняли линию Арпада? С самого утра с перевалов идут и идут гонведы, и все они — растерянные, испуганные. Вот уже вечер, заходит солнце, а на улице все режут машины, все топают кованые сапоги. Про пехотинцев и минометчиков, приехавших в Клены воевать с партизанами, и говорить нечего, — они стремглав кинулись в Рахов.

Несколько раз Гаврило выходил на улицу, пытался завести разговор с офицерами или хотя бы с солдатами, но тем было, видно, не до того. Побывал Гаврило и у о. Федора, но благочинный тяжело заболел — лежит в постели, слушает радио из Рима, а что это радио передает — ни гугу.

От священника Гаврило направился к Репаше. Там он от неожиданности остолбенел — окна и двери в доме Репаше были закрыты ставнями, да еще забиты досками. Гаврило даже зубами заскрежетал — уехали, вот тебе и власть! А поток гонведов катился и катился с гор, они уже не умещались на шоссе, брели окольными тропами вдоль реки и выше, по всем склонам гор. В Рахов, в Рахов!

Но окончательно вывело из себя Гаврила то, что он увидал в конце села, где жили Цайлик и Немец. В красноватом предвечернем свете паны из венгерской степи запрягали лошадей, в фургонах уже сидели их жены и дети, а между ними Гаврило увидел не кого-нибудь другого, а жену своего брата Дмитра — Варвару.

— Вы куда же, уважаемые господа? — спросил Гаврило, став посреди двора у Немета и заложив руки за спину, чтобы хоть теперь показать свое превосходство над венгерскими панами. — Собираетесь, я вижу, в дальний путь?

— Едем, пан Клумак, домой. Хватит, будь они прокляты, эти ваши горы!

— Они такие же мои, как и ваши,— оскалил зубы Гаврило.— Ждите меня в степи, моя очередь к вам в гости ехать.

Это была злая шутка! Гаврило Клумак терял рассудок от того, что видел.

— А вы куда? — подойдя к фургону, спросил он Варвару.

— В Рахов,— нехотя ответила она.— Да что ж вы стоите? Погоняйте скорее, милостивые господа! — взмолилась она.

— Дмитро дома? — не отставал от нее Гаврило.

— Дома,— ответила она, точно собаке кость кинула.

Венгерские паны замахали кнутами, из-под колес брызнула грязь, фургоны выехали на улицу и там влились в поток, катившийся с гор.

А Гаврило Клумак долго стоял посреди улицы, глядя вслед венгерским панам. Тихими шагами возвратился он в дом, присел к столу в кабинете. Немого Осипа не было дома, он ушел за паленкой. В углу кабинета стояла неубранная постель, три стула торчали вдоль стены. В красном углу висело несколько икон, а между ними образ архангела Гавриила. На буковом непокрытом и грязном столе посреди комнаты стояла сковорода с объедками колбасы, в миске лежал нарезанный толстыми ломтями хлеб, возле миски поблескивал складной нож — «золинген».

Сидя у стола, Гаврило ненароком глянул на сковороду, колбасу, нож. Ему стало жалко, что еда зря пропадает. Медленно доел колбасу, хлеб, вытер руки о штаны, сложил и спрятал в карман нож. А тогда опустил голову на руки и долго сидел так, уставясь взглядом в образ архангела Гавриила. И казалось ему, что архангел подмигивает: «Вот так-то оно, тезка!»

Потом Гаврило тяжело вздохнул, встал из-за стола и вышел на крыльцо. Слава богу, поток на улице редел и скоро должен был оборваться. «Нет,— подумал Гаврило,— так легко они линию Арпада не сдадут. Ну-ка, схожу я к Дмитру. Может, вместе что-нибудь придумаем?»

— Я к тебе в гости,— сказал брату Гаврило, войдя в дом.

С первого взгляда было видно, что Дмитро не ждал брата: он возился возле большого сундука, стоявшего в углу комнаты, и, заметив Гаврилу, сразу прикрыл крышку. Все же наметанным своим глазом Гаврило успел заметить — в сундуке лежало много свертков. «Деньги, непременно деньги», — решил он про себя.

И еще одно успел заметить Гаврило: возле сундука с правой стороны стоял маленький чемоданчик и обыкновенная, покрытая черным платком, плетеная корзинка.

«Значит, — подумал Гаврило, — братуха собрался вынуть деньги из сундука и переложить в корзинку и чемодан. А там — и в долину! Варвара раньше поехала, он следом за ней! Ну, до чего хитер Дмитро!»

Гаврило промолчал, ни слова не сказал об этом брату. Он завел разговор совсем о другом.

— Что ж это ты Варвару отпустил?

— Пускай едет, — махнул рукой Дмитро. — Чего ей тут сидеть?

— А ты?

— Что я?

— Сам тоже, я вижу, собираешься.

— Э, нет, я никуда отсюда не поеду. Меня и силком от этого места не оторвешь.

— Бреешь! — рявкнул Гаврило, точно в колокол ударил. — Накопил денег, наготовил свертков. А теперь пятки смазываешь!..

Дмитро испуганно положил руку на крышку сундука, растерянно заморгал своими водянистыми глазами и запищал тонким голосом:

— Я денег не копил, а свертки не готовил, я никуда не собираюсь!

Гаврило не отрывал теперь глаз от Дмитра. Тот сидел на широкой постели, не отнимая рук от крышки сундука. Гаврилу показалось — никогда он не видел своего брата таким гадким и отвратительным. Перед ним сидел, казалось, не человек даже, а какое-то чудище — водяник, лесовик или что-нибудь иное из дьявольской нечисти. Чудище легонько шевелилось, тяжело сопело и дышало, почесывалось, что-то бормотало.

— Может, и лунше было бы, — сказал Гаврило брату, — если бы ты отсюда выехал. Ведь ты слабодушный, не выдержишь — и загубишь все дело. У нас ведь и оружие есть. Я тоже уеду, но деньги у тебя...

— Нет у меня денег, Гаврило,— твердил свое Дмитро.

В этот миг Гаврило понял: больше говорить ему нечего и не нужно. Деньги у Дмитра есть. Выпустить его с ними в долину? А с чем тогда останется Гаврило? С тартаком да делянками? О нет!

Гаврило действовал хладнокровно и спокойно; очень медленно поднялся с места, засунул руку в карман, в его руке блеснул нож; шаг вперед, рука поднялась и со всей силой, на какую был способен Гаврило, опустилась. Послышался удар, точно топор впился в днище бочонка; в комнате родился, но сразу же оборвался крик; ударились о спинку кровати ноги.

— Вот и убил! — хрипло сказал Гаврило, отирая холодный пот со лба.

Затем он опрометью кинулся к сундуку, поднял крышку и дрожащими руками принялся перебирать свертки.

Но денег в сундуке не было! Там лежали аккуратно перевязанные, заверенные писарями и нотариусами бумажки на скупленную Дмитром за бесценок землю.

— Так вот он куда вгонял свои деньги,— злобно прошептал Гаврило Клумак.— Земли захотел — вот и получил свою землю.

Он вышел из дома брата, огляделся, не видно ли кого, плотно прикрыл дверь. Кто пойдет в эту пору к Дмитру? А если и придет — пускай смотрит! Гаврило не причастен к смерти брата. Дмитро сам наложил на себя руки!

Дома его уже ждал немой Осип. Он принес паленки, приготовил закуску. Впервые, пожалуй, за всю жизнь Гаврило Клумак приказал Осипу сесть за стол, налил ему стакан паленки, а сам напился так, что когда позднее вышел из дому, то огненные круги так и вертелись у него перед глазами.

В темном небе над перевалами пылало зарево — там непрерывно шел бой, рвались мины, бомбы, снаряды, там горело все — даже камень.

На лесопилке Гаврило нашел одного только Ласло Потоки.

— А ты чего тут? — крикнул Клумак.

— А как же, хозяин! — ответил Потоки.— Пришел выполнить ваш приказ, гудки давать сиреной.

— Брось,— перебил Клумак.— Нынче гудеть не будем.



— А почему, пан?

— Сдается, мы свое здесь уже отгудели,— угрюмо ответил Клумак.— Но я им не оставлю ни одной щепки.

— Что вы надумали делать, пан?

— А' что делать хозяину, когда его добро погибает?

Гаврило шагнул в чуланчик, где хранилось горючее, возвратился оттуда, держа в руках жестянку бензина и большой обрывок пакли, кинул паклю на землю под дощатой стеной тартака и принялся поливать ее бензином.

— Вот мы им и присветим,— хищно говорил он, все ниже и ниже наклоняя жестянку.

Ласло Потоки шагнул вбок, протянул руку к вороху лома; чрез мгновение, вооружась железным прутком, он подскочил к Клумаку и изо всех сил ударил его по затылку. Хозяин пошатнулся, но устоял на ногах, отступил на шаг, а потом, как медведь, полез вперед, смял, тяжело навалился на Ласло Потоки.

На этот раз, оказалось, Ласло не учел своих сил. Крепок был кленовский богач. Через минуту Гаврило скрутил руки Ласло, прижал его к земле.

— Вот ты какой, голубь,— яростно шипел он.— Ишь какого механика держал я в своей фирме! Ну, погоди, погоди, голубь. Если так, пойдешь к богу вместе с тартаком. Пускай все пропадает!

Утомленный схваткой, Гаврило Клумак сел на скамейку у дощатой стены и принялся искать в карманах спички. Но их там не было.

— Осип! — закричал Гаврило, боясь оставить даже связанного механика.— О-сип!..

Но слов его никто не слышал. Бой на перевале достиг наивысшей точки. Все кругом гудело, ревело, сверкало.

4

Поздней ночью к северу от полонины Бжезка партизаны обнаружили группу людей. В сполохах тревожной этой ночи партизаны заметили их под деревом, возвышавшимся посреди полонины. Едва группа вышла из леса, партизаны окружили ее.

— Руки вверх! — крикнул Хома Змерзлый, начальник дозора.— Руки вверх! Кому говорю? Руки вве-е...

Вдруг голос его оборвался.

— Вот провалиться на месте,— радостно проговорил он,— если это не наш чабан Сегинь...

— Эй-эй,— откликнулся и чабан.— Что ж это ты, Хома, слаб глазами стал, что ли, своих не узнаешь?

— Ночь темная, вуйко! — ответил Хома.— Только и огня, что над перевалом.

— Зато и присвечивают крепко,— засмеялся Сегинь.— Мы вот с вечера идем, а все точно среди бела дня. Ну, води живее к Ковачу. И людей всех, что со мной, пропускай.

Данило с Короджием сидели в землянке, вход в нее был плотно завешен рядом. Сгорбясь у коптилки, они ужинали и совещались о делах.

— Тут к вам люди пришли,— слышался голос возле землянки.

— А кто там? — спросил Ковач.

Рука осторожно раздвинула рядом, и в землянку вошли Сегинь и молодой человек в военной форме.

— Вуйко! — радостно воскликнул Данило.— Так вы уже вернулись?

— И не один,— ответил Сегинь.— Смотри, Данило, узнаешь?

Ковач взглянул на юношу, и далекое воспоминание молодости возникло в его памяти.

— Наверно не скажу,— медленно проговорил он.— Но похож как будто на Михайла Тиснянца.

— Это мой отец, товарищ Ковач! — сказал Антон.— Прибыл к вам со своим отрядом.

— С отрядом? Постой, но откуда?

— Из Турянской долины, из штаба партизанского соединения. Там про ваш отряд, товарищ Ковач, давно знали, только связаться не могли. Но теперь связались.

Данило шагнул вперед, обнял Антона.

— Тут и мать твоя, и сестрички.

Но мать уже услышала про сына, прибежала в землянку, стала перед Антоном.

— Сын мой, сын! — проговорила радостно и кинулась ему на грудь.— Я же знала, что ты вернешься! И такой, как снился мне. Какой же ты красавец, любимый мой, сладкий! Теперь все мы будем вместе. Наш Павло ушел за перевал, но он скоро воротится.

— Мы его послали туда для связи,— вставил Ковач.

— Воротится! — уверенно сказал Антон. — И не один воротится. Ведь наступление на Карпатах уже началось. Должны и мы действовать здесь.

— Действуйте, сыны мои, действуйте! — проговорила Тиснянчиха. Она вышла из землянки, бережно опустив за собою рядно.

— Садись, — пригласил Антона Ковач, — говори, что будем делать.

— Пожалуй, некогда нам рассиживаться, — ответил Антон. — На фронте началось наступление, будем отрезать путь фашистам.

Два командира стояли друг перед другом, оба мужественные, крепкие, разве что Данило Ковач чуть постарше.

— Мы здесь многое можем сделать, — говорил Антон. — Со мною радисты, связные, мы свяжемся со штабом соединения, свяжемся с партизанским штабом за перевалом. Но что у тебя с рукой, Данило?

— Так... царапина, — ответил Данило.

— Наш лагерь бомбили фашистские самолеты, — пояснил Иосиф Короджий.

— Так что же вы молчите? — потемнел Антон. — Олена! Олена! — позвал он кого-то со двора.

В дверях землянки появилась женщина, одетая как простая верховинка.

— Пани Ружена! — вырвалось у Короджия.

— Ружена... но не пани, — ответила она с достоинством. — Добрый вечер, товарищи. Вы звали меня, командир?

Ковач тоже узнал Ружену. Но ведь она — жена Герберы. А Гербера лежит на камнях в пропасти. Ковач молчал.

— Что ж вы стали? — удивленно проговорил Антон. — Товарищ Ковач ранен. Осмотрите его руку, Оленка.

Короджий тихо вышел из землянки, сразу же за ним вышел и Антон. В землянке остались только Ружена и Ковач.

— Что у вас такое? — встревожено заговорила Ружена. — Какой-то рушник, да еще и трава. Карпатская травка?

Перевязывая рану, Ружена один только раз взглянула в лицо Ковачу, и ее глаза встретились с его взглядом.

— Товарищ Ковач,— смущенно проговорила она,— я хотела вас спросить... Где сейчас Гербера?

— Гербера? — Ковач пристально смотрел ей в глаза.— Его здесь нет.

— Так,— вздохнула Ружена.— Я понимаю, что здесь ему нет места. Значит, он остался с ними?

— Не совсем так,— сказал Ковач.— Он остался с ними, а после пришел к нам в горы, несколько дней пробыл здесь, хотел бежать. Его поймали недалеко от лагеря, над пропастью...

— Я понимаю,— перебила его Ружена,— так и должно было случиться. Он только этого и заслуживал. Значит, круг все равно замкнулся,— добавила она задумчиво. Ковач так и не понял последних ее слов.

Когда они вышли из землянки, вокруг нее уже собралось много людей.

— И когда ее схватили? — слышен был в темноте взволнованный голос Антона Тиснянца.

— Уже давно, сын. Но верь мне, Юлина такая дивчина, что ее не удержат. И ты не тужи, не горюй, сладкий мой, любимый.

Ружена стояла в темноте, слушала эти слова, понимала их, видела перед собой темные очертания людей. И почему-то она подумала о том, что не только здесь, а повсюду, во всем мире, пути людей сходятся и расходятся, некоторые пути обрываются, но если люди мечтают и ищут друг друга, то они издалека идут навстречу друг другу и пути их неминуемо должны сойтись.

Она увидела рядом с собой Иосифа Короджия. Он стоял, опершись на винтовку. Темная фигура учителя отчетливо вырисовывалась на фоне серого неба. Ружена вспомнила давно прошедшие дни в Кленах, долгие вечера в Хусте и один из них, когда она, возвратясь домой, как привыкла называть дом доктора Доломаша, встретила Короджия, вспомнила ночи в Турянской долине, когда сердцем была здесь, в горах,— и все это как бы раскрыло ей смысл того, что только что сказал ей Ковач. Ружена подошла ближе к Короджию.

— Вы чем-то взволнованы?

— Да,— ответил Короджий.— Мне выпала недобрая участь. Я должен вам сказать...

— Ничего не нужно говорить,— ответила Ружена.— Мне обо всем рассказал Ковач. В жизни каждому

из нас пришлось испытать много горя, но я верю, Иосиф, что здесь, в горах, скоро расцветет радость.

Ружена взяла его руку и крепко пожала.

Через какой-нибудь час партизаны начали спускаться с гор. Готовились все в лагере. Кленовчане рвались в родное село. На перевале ни на минуту не замолкали отголоски боя. Далекие вспышки озаряли тропинки на склонах гор, и людям, шагавшим среди ночной темноты, казалось — огромные огненные клещи охватывают Карпаты.

Невдалеке от Кленов партизаны остановились. К селу направлялись разведчики. Возвратившись, они доложили, что в селе никого не видно и ничего не слышно, но сразу за селом в блиндажах засели фашисты.

— Что ж, — сказал Антон Тиснянец. — Пойдем в село. Оттуда и ударим в спину врагам. Пускай они попробуют по ущелью вырваться с Карпат.

Антон Тиснянец и Ковач шли во главе отряда партизан, вступавших в Клены. Они, крадучись, тихо прошли по улице, часто останавливались, наконец остановились возле тартака, откуда слышался крик.

— Вы подождите меня на улице, — сказал Ковач, — а я с несколькими людьми пройду на тартак от речки.

Партизаны пришли вовремя. Гаврило Клумак, связав механика, сходил домой и хлебнул для смелости добрую порцию паленки. Теперь он собирался поджечь лесопилку.

Клумак зажег спичку, вторую, а когда вспыхнула третья, что-то вдруг навалилось на него, прижало к земле, и как он ни барахтался, но вскоре был связан и вытянут, как бревно, под стеной.

Только тогда понял Гаврило, что с ним случилось. Узнал он и того, кто говорил с ним.

— Смотри, кого мы тут повстречали! — услышал он голос Данила Ковача. — Пан Гаврило Клумак, хозяин!

— Это ты, Данило! — прохрипел Клумак. — Вот и хорошо! Развяжи-ка мне руки. Неужто я тебе не пригожусь? Очень хорошо, что это вы, землячки.

— Развязать? — гневно крикнул Ковач. — Тебя? Живьем ел наших людей, а теперь надумал еще их и жечь?

— Я не жгу своих людей,— крикнул Клумак.— Это — Ласло Потоки, венгерец, оккупант!

— Потоки — оккупант? Слыхали вы такое, товарищи? Ой, нет, не туда гнешь, пан, уж мы знаем, кто такие оккупанты! Ласло Потоки — друг наш, товарищ, слышишь?

— Да неужто я ошибся? — бормотал Клумак.— Послушай, Данило. Ну, хорошо! Еще одна ошибка, последняя. А ты отпусти меня, Данило, я тебе много дам за эту услугу. Хочешь — пенге, хочешь — кроны, могу дать и доллары.

— Доллары? — засмеялся Данило.— Слушай, собака, да понимаешь ли ты, что сейчас творится на этом свете? Это тебе не Нью-Йорк, а Карпаты. Лежи, проклятый, жди народного суда! Друг Ласло, давай руку! Смотри, что делается!

На перевале, у самой линии Арпада, били орудия; по всему хребту стоял сплошной, непрерывный гул, леса от края до края стонали, эхо заполнило все ущелья и долины.

Отдельные вспышки, мерцавшие то здесь, то там на перевале, слились и превратились в сплошную огненную стену, стена эта неудержимо поднималась выше и выше, достигла туч над горами, зажгла их, окрасила багрянцем и поднялась в самую глубину бездонного неба.

Это Советская Армия штурмовала перевалы, это начинался бой за лучшее будущее тех людей, которые сотни лет были оторваны от родного народа, это сюда, на Карпаты, перебросился бой за счастье всего человечества.

— Пора идти,— сказал Антон Тиснянец.

Бойцы отряда — мстители с Карпат — в темноте крались горными тропами к блиндажам и окопам на склонах гор. Там, на Карпатах, тысячи советских воинов шли на смертный бой с фашистскими ордами, здесь — за Карпатами — от окраины Кленов пробиралась в темноте сотня людей. Но капля, говорят, пробивает камень. И чем горячее будет капля, тем скорее она пробьет камень. У непокоренных людей огнем пылали сердца, и неугасимая ненависть вздымалась бурным валом, который подмывает и рушит самые крепкие стены.

Бродий выпустил наконец из тайника свою карманную партию. Ему казалось, что настало подходящее время. Советская Армия прорвала фронт и быстро спустилась в долину. Куда девались полковник Кричфалуши и генерал Винце? Радио из Будапешта сообщало, что полковник Кричфалуши пошел в гору. Он был назначен секретарем Верхней палаты. О судьбе генерала Винце Андрей Бродий ничего толком не знал. Генерала как ветром вымело из Ужгорода, и пан Бродий имел все основания полагать, что, если не считать высоких особ из епископского капитула, у него не осталось соперников. Пришел, как казалось Бродию, час, когда он мог и должен был объявить о существовании новой партии и захватить власть в свои руки.

Пан Бродий, разумеется, помнил про обещание, данное им когда-то партизанам. Обещание? Ха-ха, игрушки! Разве Бродий когда-нибудь смотрел на это серьезно? Напротив того, он сделал все, чтобы как можно больше навредить партизанам Закарпатья, чтобы подорвать силы трудового народа. О партизанах он не мог спокойно думать, ему страшно было даже вспоминать о встрече с ними. Как воспитанник европейских дипломатов, он считал, что для подлинного политика и стратега существует лишь один рецепт: нужно искать вооруженную силу, на которую можно было бы опереться, идти любым путем к власти, а потом — править народом. Мысль о том, что народ сам может править собою, что он создаст собственные вооруженные силы и власть, была чужда продажной душе. Стремясь к власти, он лихорадочно думал о том, на какую вооруженную силу сможет опереться? Агенты его уже вели переговоры в Риме, Лондоне, Нью-Йорке. Сам Бродий действовал в Закарпатье.

В Мукачеве, на квартире у Демка, он провел собрание руководителей Автономного земледельческого союза.

— Наш союз, — объявил Бродий, — на сегодня уже не может удовлетворить нас. Калаи и вся партия венгерских национал-социалистов слишком много говорили о своей связи с нами. Наша партия должна сменить форму и название.

— Пан Бродий, — возразили ему, — но возможно ли

за один вечер создать такую партию и зарегистрировать ее в Будапеште?

— А ее и не нужно создавать, она уже существует! — выкрикнул Бродий. — Вот она! «Автономное объединение подкарпатских русинов». Подписали все члены угро-русского клуба в Будапеште. Зарегистрировано в канцелярии совета министров. Мы только добавляем свои имена.

— Гениально! — восхищались вчерашние члены президиума Автономного земледельческого союза.

— Вот только как быть с правительством? — сверкал глазами Шпак.

— Есть и список членов правительства. — Бродий вынул бумажку из кармана. — Читайте, пан Жегора.

— Минуточку. — Жегора надел очки и начал вычитывать, точно поп из поминальной записки: — Бродий Андрей — премьер-министр, Демко и Шпак — заместители премьер-министра, Жегора — министр внутренних дел... А знаете, знаменито! — закончил Жегора. — Подкарпатское объединение! Республика! А мы ее дети.

В ту же ночь Андрей Бродий возвратился в Ужгород. Это была небезопасная поездка, но ради такого случая Бродий решил даже рискнуть. Он должен быть этою ночью в Ужгороде связаться с Будапештом, послать всему миру радиogramму.

Но ничего этого Андрей Бродий сделать в Ужгороде не смог. Здесь уже не существовало никакой власти; вооруженным силам, которые отступали через Ужгород, было не до новых правительств. Связь с Будапештом была прервана, радио также не действовало.

И тогда, глядя из окон своей виллы на горизонт, пылавший огнями, слыша, как в вышине гудят и гудят самолеты, вздрагивая от грохота орудий, стрелявших за городом, и тесно прижимаясь к стене в ту минуту, когда снаряды с гор рвались в соседних кварталах, Андрей Бродий решил, что при данных обстоятельствах ему остается сделать одно: — бежать.

У него все было уже приготовлено для бегства. Во дворе виллы стояли две легковые машины, еще раньше в Будапешт выехало несколько грузовиков. Чего только не вывез уже Бродий! Вывез картины и мрамор, бронзу и старинную мебель, все, что мог наgrabить, наворовать в Закарпатье. В Будапеште Бродий заблаговременно приготовил дом с подвалами и погребамн. Там, наверно,

все уже завалено его вещами, вывезенными на грузовиках. На двух легковых машинах он хотел вывезти теперь с собой самые ценные вещи. Что ж, пану Бродию будет с чем пересидеть в Будапеште.

А если не удастся пересидеть в Будапеште, если и там начнется такое же, как в Закарпатье? И об этом думал Андрей Бродий, даже готовился к этому. Тогда — в Рим, Лондон, Нью-Йорк. Связи с влиятельными особами и там были установлены у него с давних пор, эти связи не прерывались до последнего времени. Если бы только вырваться из этого ада!

В комнатах виллы было темно, но он даже в темноте узнавал картины, канделябры, старинные подсвечники и иконы из храмов Закарпатья. Ах, вилла, вилла, как чудесно и уютно было здесь еще не так давно! Разве поджечь ее? Но Бродий отбросил эту мысль — он должен возвратиться в Закарпатье.

Машины уже были заведены. Раздраженный и растерянный, подошел он к передней машине, шагнул в услужливо раскрытую шофером дверцу, сел и сразу погрузился в тревожные думы.

Когда машина тронулась, он даже не посмотрел на окна виллы. Бродий поинтересовался только тем, идет ли за ним вторая машина. Машина шла — на стекле перед глазами вспыхивали отблески фар.

Под колесами прошумел дощатый настил моста. На площади за ним ревели воинские грузовики. Скорее бы вырваться из города, выехать в долину и мчаться, мчаться, мчаться! Бродий не чувствовал страха, позади него сидели два жандарма, которым он обещал крупное вознаграждение за рейс до Будапешта.

Когда выехали за город, пану Бродию стало так легко и приятно, что он решил даже закурить. Вынул сигаретку, вставил ее в мундштук, зажег спичку.

Но что это? Когда вспыхнула спичка, Бродий увидел рядом с собой другого, не своего шофера. Машину вел незнакомый ему человек в зеленой фуражке и кожаной куртке.

— Что это? — вырвалось у отставного премьера.

Он обернулся назад и при свете гаснущей спички успел увидеть, что там сидят не жандармы, а двое неизвестных ему людей в фуражках и шинелях без знаков различия.

— Кто вы? Куда мы едем? — холодеющими губами еле выговорил Бродий.

— Сидите спокойно, Бродий, — властно прозвучал голос позади него. — У вашего затылка — дуло пистолета. Лучше не оборачивайтесь к нему лицом. А едем мы туда, где вы уже однажды бывали, — к партизанам.

6

На Карпатах долгое время было тихо. Молчала по всему горному хребту линия Арпада, молчали земляные и бетонные укрепления на склонах, только птицы кружились над рядами проволочных заграждений, висевших вдоль пропастей и расщелин, а две группы армий под названиями «Юг» и «Ф», как похвалялось фашистское командование, были нацелены для удара.

Это была не совсем понятная тишина. Когда утром дул ветер с юга, слышно было эхо далекой канонады, с вечерними ветрами долетали отголоски боя на севере. Казалось, огромные ножницы с обеих сторон охватывают Карпатские горы и режут, режут укрепления, леса, горы.

Неожиданный и страшный для фашистского командования удар Советской Армии, вошедший в историю освободительной войны советских народов как девятый удар, начался к югу от главного хребта Карпат, в районе Арпад. Этой глубокой осенью в горах и в долинах размыло все дороги, никакая сила, казалось, не смогла бы одолеть бездорожье, ущелья, где были сорваны все мосты, быстрые горные реки, катившие тяжелые волны... Надеялось фашистское командование и на вооруженную свою силу — ведь именно в этом районе все города и села забиты были частями группы «Юг».

И вот на огромном пространстве ударили орудия — и земля содрогнулась от оглушительного грохота, одновременно в небо поднялись тысячи самолетов, и там тесно стало от ширококрылых птиц, а следом за огненным валом по земле двинулись воины Советской Армии — долгожданные освободители!

Им в лицо бил снег и дождь, путь им преграждали быстрые реки, земля, по которой они ступали, густо была засеяна минами, на них обрушилась вся сила фашистского оружия.

А они все шли и шли вперед и уже на третий день появились на берегах реки Тиссы, форсировали ее, взяли с боем город Сегед — один из крупнейших городов Венгрии. В это же самое время воины Советской Армии освободили и столицу Трансильвании — город Клуж.

Позднее гул боя перекатился на север от главного хребта Карпат. Там тоже была создана фашистским командованием мощная линия обороны, там тоже тянулись и завалы, и минные поля, и целая система земляных сооружений.

Но и там, когда началось наступление частей Советской Армии, не оказалось и не могло оказаться силы, которая смогла бы задержать девятый удар, — и падали форт за фортом, освобождались от фашистской неволи город за городом. Двадцатого октября знамя Советской Армии гордо взвилось над стенами Дебрецена.

И в то же время, когда началось наступление на юге и когда Советская Армия стремительно двинулась вперед, на север, бой начался и на Карпатах, по всей линии Арпада.

Такого боя, какой произошел на Карпатах в октябре 1944 года, местные люди не знали и не слышали.

Осенним утром, когда дул резкий северный ветер и тучи катились по горам и яругам, где-то далеко по ту сторону гор загрохотали орудия, в небе появились тысячи самолетов, грозная лавина огня и металла обрушилась на линию Арпада, и сотнями волн покатилося эхо в долину.

Это Советская Армия наносила свой девятый удар, это советские люди гнали врага с родной своей земли, это братья с востока спешили на помощь родным людям за Карпатами, это вместе с солнечными лучами понеслась на запад весть об освобождении.

Всю ночь в горах за Кленами не утихал бой, гремели орудия. Небо светилось, как раскаленный металл. Бой шел на огромном пространстве в несколько сот километров, по всей линии Арпада в длину и в глубину.

Третью ночь партизаны не спали. В блиндажах за селом, в окопах, раскиданных повсюду на склонах, несколько раз возникали жестокие, кровавые стычки.

Особенно упорно шла борьба возле одного дота. Несколько раз подбирались партизаны к нему и каждый раз откатывались под ливнем пулеметного огня. На самой заре три партизана подползли с северной стороны, ворвались в дот, перебили весь его гарнизон... В этой стычке погиб шофер с клумаковского тартака, веселый, смелый Хома. Так и лежал он под бетонной стеной дота, раскинув руки, — залитый кровью юноша верховинец.

Но Хома погиб не напрасно. Теперь высоты за селом и несколько огневых точек на них были в руках партизан. Когда с зарею с гор в долину двинулись остатки недобитых вояк с линии Арпада, партизаны метко расстреливали их и не пустили в Клены.

За ночь с далеких полонин возвратились в село все кленовчане. Они знали, что в долине еще может быть бой, что озверелые гонведы способны на любые злодеяния. И все же они не могли в этот час остаться вдали от села. Утро встретило мужчин, женщин и детей на безлесных взгорьях и в лесах под Кленами.

Бой на перевалах уже стих. Солнце позолотило вершины Карпат, и они вырезывались на чисто-голубом, ясном небе, как сказочные дворцы. Понемногу лучи солнца залили леса и чащи, озарили высокие полонины, согрели безлесные взгорья. Заглянуло солнце и в долину, осветило там развалины и пепелища, лазурные воды потоков, яркие осенние цветы, зеленую траву на лужайках. Солнце светило весело, не по-осеннему тепло.

Вслед за лучами солнца с перевалов Карпат в долины двинулись воины Советской Армии. Первыми их встретили высоко в горах партизаны.

— Братья наши! Освободители! — раздавалось там, где еще ночью лилась кровь, где всего несколько часов назад слышались крики и рев битвы, где земля и камни горели под ногами.

Сплетались в братских пожатиях крепкие руки воинов Советской Армии и лесорубов, чабанов; гуцульский цветастый киптарь принимал к орошенной кровью шинели солдата, горячие поцелуи подтверждали слова, шедшие от самого сердца.

Воины Советской Армии останавливались на скалах, за которые они боролись, не щадя жизни. Перед ними открывались теперь западные склоны Карпат, отмеченные багрянцем осени леса, горные пастбища с увядшими

травами, глубокие ущелья, голубые реки, села, сады. Так вот он — столетиями порабощенный, захваченный врагами край, откуда доносился зов о помощи, о воссоединении с братьями, с Советской Украиной. Здравствуй, Закарпатье, здравствуйте, горы и долины, как хороши вы в неповторимой красе своей!

В Кленах с нетерпением ждали освободителей, своих братьев. Люди надели лучшее из того, что у них еще оставалось, вынесли все, что только имели; в центре села, где высоко на ясене поднят был красный флаг, в праздничной одежде стояли мужчины, женщины, дети, а на столах, покрытых домотканой холстиной, лежали хлеб и соль, брынза, стояли горшки с молоком, — а больше ничего не было у нищих обитателей богатого края.

— Идут! Идут! — вдруг прокатилось в толпе. Мужчины оправили киптари, женщины — платки, дивчата — монисты и кораллы на шеях, а малыши вскарабкались на плетни и деревья.

— Берите, Гафия, хлеб-соль, — тихо проговорил Данило Ковач и вышел вперед.

Растерянная, но счастливая мать взглянула на людей, на Антона, положила на рушник хлеб с комочком соли и пошла тихими шагами рядом с Данилом Ковачем.

Воины Советской Армии шли в боевом порядке, под развернутым знаменем, во главе — седой командир. Увидав людей, собравшихся возле дома, над которым реял красный флаг, командир отдал приказ, и воины остановились.

Данило Ковач снял войлочную шляпу и сделал несколько шагов вперед. Справа от него шла Гафия Тиснянчиха. Старая мать не чувствовала своих шагов, а еще больше растерялась, когда увидела среди воинов сына Павла. «Мой славный легинь, сладкий, хороший!» — кричало сердце, шептали уста.

— Дорогие братья! — сказал Данило Ковач, и каждое слово его было слышно в напряженной тишине. — Мы долго ждали вас, и если бы не вы, то пришел бы конец нашему обездоленному краю. Оглянитесь кругом, на леса наши и горы, на потоки и скалы, на села и сады. Ведь все это принадлежало не нам, а панам, и они пили нашу кровь год за годом, век за веком. Только вчера здесь ходила смерть. Она заглядывала в каждую хижину, она висела над каждой головой. Наши отцы всегда

смотрели на восток, за Карпаты, и нас тому учили. Мы боролись и верили, что спасенье придет к нам с востока. Вот оно и пришло! Просим вас принять от нас хлеб-соль, просим к нам в дом...

Мать передала хлеб-соль командиру и чайкой метнулась на грудь сыну, обливаясь слезами.

Командир посмотрел на Данила Ковача, на вдову, на всех, кто стоял за ними, поглядел и на перевалы — они были знакомы ему с давних лет. Он сделал шаг вперед, снял фуражку, принял хлеб и поцеловал его.

— Спасибо вам, люди, за хлеб, за соль и за гостеприимство. С победой поздравляем вас, с освобождением! Мы все, — улыбнулся командир, — готовы побыть с вами и зайти в каждую хату. Но мы спешим вперед, товарищи, нужно гнать врага дальше, добивать его в логовище.

— Слава! — закричали люди. — Слава нашей армии-освободительнице! Слава вам, советские люди! Слава великому русскому народу! Слава трудящимся Советской Украины! Привет вам и слава, братья!

Все, кто стоял возле управы, кинулись вперед, и впервые за сотни лет здесь, на западных склонах Карпат, над Черной Тиссой брат обнялся с братом, мать обняла сына, люди говорили о любви, о дружбе и о крепком, нерушимом братстве.

Павло Тиснянец обратился к командиру:

— Товарищ командир, — кричал он, размахивая своей крисаней. — Но вы позволите нашим легионам идти с вами бить фашистов?

Возле Павла толпилось десятка два молодых верховинцев.

— Примем! — сказал командир, подошел к Павлу, обнял его. А Гафия Тиснянчиха, стоя рядом с Павлом, проговорила:

— Иди, сынок! Идите, дети мои! Благословляю вас!

Солнце вставало над горами. Победа спускалась с гор. Юлина — она шла к селу по Раховской дороге — на минуту остановилась. Увидав людей возле сельской управы и услышав радостные возгласы, она изо всех сил побежала вперед.

— Мой любимый! Дорогой Антон! — крикнула она, приближаясь.

— Юлина! — кинулся вперед Антон Тиснянец.

— Невесточка! — утирала слезы Тиснянчиха.

— Сестра! — воскликнул Данило Ковач.

Солнце! Ты описываешь много кругов на небе, ты озаряешь печаль и радость, иди дальше и дальше, туда, где брат обнимает освобожденного брата, где сливаются в любви сердца, где поседевшая от горя мать благословляет счастливых своих детей.

Свети, солнце!

Глава десятая

1

Советская Армия быстро продвигалась на запад. Линия фронта сразу передвинулась в глубину Трансильванских Альп, в венгерскую степь, в Татры.

Правда, время от времени доносилось беспорядочное эхо близкой канонады — от Чопа, но это была уже агония смертельно раненного зверя — там сомкнулись клещи еще одного окружения, там суждено было лечь в землю последним из тех вояк, которые гордо называли себя когда-то завоевателями гор. Вместе с ними издыхали и те, кто служил фашистам, — охвостье волошинцев и бродиевцев.

Иногда еще над долиной и Карпатами появлялись и вражеские самолеты. Они беспорядочно сбрасывали бомбы откуда-то из-за осенних туч, в воздухе вспыхивали бои, и немало «кондоров» и «хейнкелей» валилось вслед за своими бомбами на холодные скалы. Теперь уже сила и мастерство фашистских ассов измерялись тем, насколько быстро каждый из них умеет убежать.

Действовала еще в городах и селах Закарпатья и оставленная фашистами агентура. Прозвучал выстрел провокатора в Рахове — стреляли в работника народной милиции; то и дело по ночам вспыхивали пожары, рвались мины; в небо взвивались ракеты — это действовали недобитые бандиты.

Но это были только отдельные случаи в бурливой и по-настоящему новой жизни Закарпатья, в жизни людей, которые впервые за семьсот лет твердо стали на ноги и почувствовали, что пришло к ним то, о чем мечтали поколения, — завоеванная кровью лучших сынов народа,

добытая с помощью народов-братьев за высокими Карпатами — пришла победа.

Победа! Это короткое слово было как молния, которая громом сотрясает горы и долины, а светом своим озаряет самые дальние просторы; это слово будило, укрепляло, вдохновляло, звало. «Победа!» — поздравляли друг друга люди. «Победа!» — гудели весело улицы. «Победа!» — пели высоко в горах трембиты.

Сколько знаменательных встреч — и каких! — произошло в эти неповторимые дни, сколько трудящиеся Закарпатья перечувствовали в эти дни такого, что не могло и сниться им раньше, сколько радости вошло в эти дни в дома на долине, в убогие хижины верховинцев!

Из-за высоких гор возвратились десятки тысяч закарпатцев, которым до сих пор не было места на своей родной земле, которых здесь раньше ждали только муки, пытки, смерть. Они возвращались уже не как изгнанники, а как хозяева, творцы новой жизни. Матери плакали, встречая своих, как бы вторично рожденных сыновей, жены с несказанной радостью любовались своими мужьями, дети протягивали отцам свои руки. Люди знали, что им придется встретить дома, в ограбленном, разоренном крае, но они также знали, что нужно делать.

Вышла из подполья коммунистическая организация Закарпатья. По всей долине и в горах — на фабриках, заводах и лесоразработках, в городах и селах проходили первые, после многих лет открытые партийные собрания. Люди узнавали друг друга и убеждались, какими незримыми нитями были связаны они между собой. Каждый из них видел, сколько весила его небольшая, казалось бы, работа в общем великом деле освобождения народа и как много сделали те простые люди Закарпатья, кого уже не было в живых, но чьи имена вечно будут жить в памяти народа.

Какой чудесной ни казалась действительность, а все же это был только первый день новой жизни. Впереди предстояло еще так много борьбы, так много работы!

Власть принадлежит народу! Это почувствовал каждый в Закарпатье. Теперь уже никакая сила на свете не смогла бы отнять у народа завоеванную им власть.

Разворачивали деятельность Народные комитеты. Многие из них были созданы еще в дни всенародной борьбы с фашизмом. Теперь комитеты избирались по-

всюду. Это были выборы, каких не знали и никогда не видали на Закарпатье. На выборы приходил и стар и млад, приходили украинцы, венгерцы, чехи, словаки, на собрание пришла, утирая слезы в уголках глаз, гордая женщина Верховины!

Людям теперь незачем было таиться, всех их объединяла борьба за освобождение из фашистского рабства, они избирали в Народные комитеты достойнейших, закаленных борьбой товарищей, которым можно было доверить свое будущее.

Правда, нужно сказать, что во время выборов волошинцы, бродиевцы и обломки прочих разношерстных партий существовавших когда-то в Закарпатье, напрягли все силы, чтобы провести в состав комитетов свою агентуру, прикидывались овечками, клялись в любви к народу. Кое-где им удалось обмануть избирателей, пролезть в органы народной власти, и потом закарпатцам пришлось раскаленным железом выжигать этих предателей и иуд. Но это были лишь отдельные случаи. Трудовой народ взял в свои руки власть крепко, навсегда.

Освобожденные люди Закарпатья не только избирали органы народной власти, а стремились выразить свою единодушную волю, объявить на весь мир о том пути, каким намерены идти к светлому, счастливому будущему. Народный комитет Ужгорода обратился к Мукачевскому Народному комитету с предложением созвать представителей Народных комитетов всего Закарпатья на съезд. Эта переключка трудящихся двух старейших городов Закарпатья нашла восторженный отклик повсюду, в долинах и в горах. От города к городу, от села к селу, в самые отдаленные уголки в горах, в каждую хижину покати́лась весть: двадцать шестого ноября в Мукаче́ве состоится съезд Народных комитетов Закарпатья.

Никогда еще сельский бохтарь Савва Шепа не барабанил так торжественно и победно, как в этот день. Он шел из конца в конец села, останавливался на пригорках, бил в барабан, громко кричал:

— Вечером, граждане, возле помещения Народного комитета состоится общее собрание селян... Раз!

На собрание должны прийти старики и молодежь, мужчины, женщины, юноши, дивчата... Два!

Народный комитет просит граждан не опаздывать... Три!

И в каждое из сказанных слов, а особенно в слова «граждане», «народный», Савва Шепа вкладывал особый смысл, выкрикивал их вдохновенно, гордо. Так подсказывало сердце — оно освободилось, так говорили уста — они разомкнулись, так должен был поступать человек, который сам много сделал для великого дела. Старый бохтарь шел по селу, будил, звал людей, ему казалось, что вышел он на широкую ниву и сеет отборное зерно счастья.

Савва Шепа мог, говоря по правде, и не барабанить — все в Кленах уже знали, что должно быть вечером. Люди знали — и готовились. Мужчины брились, надевали кожаные лапти, накидывали на плечи спрятанные прежде от вражьего глаза киптари, женщины надевали, как на праздник, темные шали, чистые сорочки, дивчата доставали цветные платочки, лучшие плахты, вся молодежь собирала осенние цветы, рвала хвою, вязала венки и букеты.

Когда солнце стало над горами, к середине села неудержимыми потоками, с веселым гомоном двинулись со взгорий и изо всех концов люди — мужчины, женщины, старики, дети. Даже дед Герасим Ладуха, — а было ему больше ста лет и жил он на дальнем взгорье, — сказал своим детям: «Нет, вы уж меня не обижайте, ведите с собой». Ему хотели помочь сын Павло, который в былые времена семь лет просидел в Мараморош-Сиготе, внук Семен, недавно лишь вернувшийся из-за гор, правнук Федор, что партизанил в горах, да еще и праправнук Яков-школяр. Но дед Герасим выпил ради дальнего и непривычного для него похода в село стаканчик вина, набил трубку крепким табаком, какого никто в семье, кроме него, не мог курить, отвел руки Павла, Семена, Федора и Яшкѧ. «Не хлопчите, дети, — сказал он, — нынче я и сам дойду, для такого дела у меня сила найдется!» И действительно, опираясь на посох, он бодро спустился с гор — торжественный, взволнованный, величавый.

Был поздний осенний, но все же теплый вечер. В горах и в долине стояла тишина, словно все здесь внимательно прислушивалось к каждому звуку, рождавшемуся в селе. На востоке густо синело небо, и в нем непо-

движно висели ярусами облака — розовые, вишневые, пурпурные; а на западе точно костер зажегся в небе, и солнце уже зацепилось краешком за верх горы. В сиянии погасающего, но все еще исполненного ослепительным сиянием дня высились окрестные горы: голубые вдали, сиреневые и темно-синие ближе, зеленые и оранжевые там, где их пересекали леса и полонины. А в долине, как в чаще, рисовались село, хаты, извилистое русло горного потока. Всюду, точно мак, цвели знамена. Больше всего знамен было возле Народного комитета, где шумела многолюдная толпа.

На собрание приехал Степан Шегута — как представителю Организационного комитета по созыву съезда в Мукачеве, ему было поручено провести собрание в Кленах и еще в нескольких селах Верховины.

Когда члены Организационного комитета и партийного актива Ужгорода и Мукачева совещались, куда его направить, чтобы собрания на месте прошли как можно лучше, Степан Шегута сам выразил желание поехать в верховинские села по Черной и Белой Тиссе. С этими селами у него было связано так много воспоминаний, он столько лет прожил здесь с простыми людьми, выполняя партийные задания.

Теперь он стоял на крыльце, смотрел на людей, а они подходили и подходили к Народному комитету, и мысли, как осенние листья, что срываются с ветвей, давая место почкам, из которых по весне пробьется свежая поросль, — непрерывно плыли одна за другой.

Он знал этих людей, стоявших теперь вокруг дома Народного комитета, знал их помыслы и стремления. Вот прошел и поклонился ему Герасим Ладуха, который не спускался с гор больше полустолетия. А для чего ему было спускаться и что он здесь увидел бы?

Сколько еще людей шло и шло со всех концов села?! Степан Шегута увидел рядом с собою Данила Ковача и его сестру Юлину, Антона Тиснянца с матерью, учителя Короджия, чабана Сегиня, Ласло Потоки с женой Коти, веселую румяную Ружену, лесорубов, бокорашей, вчерашних батраков, у которых сегодня, казалось, распрямились плечи, выше поднялись головы.

Поодаль стоял съезжившийся и неприметный верховинский благочинный о. Федор Стрыпский. Он не разговаривал с людьми, а только слушал, что они скажут, он

непременно хотел присутствовать на этом многолюдном собрании.

Еще несколько человек стояло возле священника — кто-то из Клочуряков, Осип Кикерчин — богачи и их прислужники. Но теперь они молча прислушивались, со страхом глядели на шумную толпу.

Собрание открыл, взойдя на крыльцо, председатель Народного комитета Данило Ковач. Он сказал, что двадцать шестого ноября в Мукачеве состоится съезд Народных комитетов и что кленовский комитет получил приглашение прислать своих делегатов.

— Этот вопрос,— сказал Данило,— наш комитет не взялся решать сам. Он решил созвать вас на это первое наше широкое народное собрание, чтобы вы выделили лучших людей, высказали им свою волю и чтобы они передали ваш наказ съезду Народных комитетов.

Данило Ковач передал слово Степану Шегуте.

— Дорогие товарищи, граждане, друзья! — начал Шегута.

— Меня послали к вам жители древнего нашего Ужгорода, трудящиеся Мукачева, чтобы передать вам свой привет, поздравление и наилучшие пожелания!

Это были, казалось, очень простые, совсем обычные слова, но здесь их никогда не слышали. В Клены приезжали правительственные чиновники из Ужгорода и Мукачева: они кричали на людей, ругались, приказывали, мучили. А этот человек привез привет от трудящихся, поздравления и пожелания. Некогда такие далекие, Ужгород и Мукачев стали сразу близкими. Зашевелились, зашумели люди.

— Вижу, что вы с чистым сердцем принимаете привет от наших городов,— продолжал Шегута,— но думаю, что в эту минуту люди Верховины и долин обращаются в мыслях прежде всего к тем, кто помогал и всегда будет помогать нам в нашей борьбе, к тем, кто протянул нам через высокие Карпаты братскую руку и принес освобождение, кто прогнал прочь душегубов и убийц, кто обеспечил нам возможность свободно собираться и подумать о нашем будущем. Слава советским людям и армии-освободительнице, слава великому русскому народу, слава нашим братьям — людям Советской Украины!

Рукоплескания звучали неудержимо и долго, их, казалось, повторяют горы. Люди и вправду хотели бы,

чтобы горы повторили и передали на восток голос их взволнованных сердец.

Когда Степан Шегута закончил свою речь и предложил называть кандидатов — кого бы кленовчане хотели послать на съезд Народных комитетов, — кругом слышались голоса:

— Данила Ковача!

— Юрка Сегиня!

— Короджия!

Клочуряк подошел к о. Федору Стрыпскому, что-то сказал ему на ухо, но тот безнадежно махнул рукой.

— Если бы вы позволили, — сказал тут Шегута, — я бы назвал еще одного кандидата — Гафию Тиснянчиху.

Старая женщина всполошилась, замахала руками.

— Куда меня? — причитала она. — Ведь там же говорить надо. А я не умею, ничего не умею, люди. Куда мне?

— Ничего вам и не нужно говорить, — ответил Шегута. — Все, что есть в вашем сердце, скажут люди. Но разве может быть такое, чтобы на нашем съезде не было матери верховинки?

— Верно, верно, — зашумели вокруг.

2

Двадцать шестое ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года! Никогда труженики Закарпатья не забудут этот первый за семьсот лет день, когда их избранники в городе Мукачево заклеями позором вековое насилие над народом и когда полным голосом, от всего сердца, никого не боясь, они сказали, каким путем желают идти дальше и как хотят жить.

Со всего Закарпатья съезжались и сходились в Мукачево делегаты. В горах уже выпал снег, в ущельях меж гор кипели напоенные осенними водами потоки; отступая, фашисты разрушали дороги и мосты, — тяжело было в эту пору добраться до Мукачева.

Но они шли сквозь снег и туманы, через пропасти и потоки, шли днем и ночью. Они должны быть в Мукачево, куда послал их народ. Вместе со всеми пришли в Мукачево и делегаты из Кленов — Данило Ковач, Короджий, Сегинь, Гафия Тиснянчиха.

Съезд Народных комитетов Закарпатья начался в два часа дня. Делегаты съезда уже задолго до начала заполнили зал, чтобы не пропустить ни слова из того, что здесь будет сказано; репродукторы были установлены по всему Мукачеву, во всех городах и селах Закарпатья; когда в зале кинотеатра, где происходил съезд, раздавались рукоплескания, их повторяли горы и долины. Как не похоже все это было на старое Закарпатье, где все дела, все жизненные вопросы решались за спиной у народа, тайком от него, во вред ему. Свою судьбу теперь решал сам народ!

Большой зал и сцена утопали в ярких осенних цветах, над ними вздымались, как волны, красные знамена, те знамена, с которыми труженики Закарпатья выходили когда-то на демонстрации против угнетателей, которые, как негасимые огни, светили людям в годы оккупации, с которыми трудящиеся Закарпатья встречали свою освободительницу — Советскую Армию. Знамена борьбы и победы переплелись сегодня с цветами Верховины.

Было уже около двух часов. В зале стоял живой, возбужденный говор. Кто же мог молчать в эту неповторимую минуту? Здесь встретились люди, которые боролись в годы оккупации в подполье, и те, кто был оторван все эти годы от родного края; здесь были родные тех, кто смертью храбрых poleg в боях с врагами, — вдова Олексы Борканюка, родичи Логойд, Сирка, Василя Жупана, братьев Чижмарей... И те, кого уже не было в живых, как бы жили здесь, между живыми, потому что здесь было воплощение того, за что они боролись, здесь было начало новой жизни, в которой и они были бессмертны.

Среди делегатов в зале сидели Данило Ковач, Сегинь и Тиснянчиха. Иосифа Короджия узнали и позвали к себе ужгородские художники — делегаты съезда. У них было о чем поговорить, они делились друг с другом своими планами, говорили о выставке в Ужгороде, где Короджий собирался показать новые свои картины.

Данило Ковач поддерживал Тиснянчиху, которая совсем обессилела. Она все еще не могла понять, как попала в этот большой светлый зал, ей казалось, что все смотрят на нее, одетую по-верховински женщину. Разве бывало когда-нибудь, чтобы женщина верховинка сидела на таком собрании! Не по себе было и чабану Сегиню, но держался он спокойнее, увереннее.

Но и Тиснянчиха и Сегинь совсем растерялись, когда на сцену вышел председатель Народного комитета города Мукачева, открыл собрание и предложил избрать президиум. Тиснянчиха внимательно слушала имена, какие объявляли со сцены. Она не знала этих людей, но голосовала за них, поднимая свой делегатский билет. И вдруг она услышала:

— Чабан Юрко Сегинь!

В зале дружно захлопали; пожалуй, сильнее всех хлопали Данило и Тиснянчиха. А чабан встал и не знал, что ему делать, как вести себя.

В следующий миг у Гафии Тиснянчихи похолодело в груди, вся кровь, казалось, прихлынула к сердцу.

— Гафия Тиснянчиха, вдова погибшего подпольщика, партизанская мать!

В зале загремели голоса:

— Слава! Слава! Слава матери партизанской!

Гафия встала и увидела, как изо всех концов зала к ней тянутся руки,— казалось, каждый из этих людей хотел ее обнять, поцеловать.

Что творилось в эту минуту с нею? Она встала, поклонилась попросту, по-селянски на все стороны, не знала, что дальше делать, и вдруг почувствовала, как из глаз у нее упало несколько тяжелых, жарких слез. Это были слезы несказанной радости, наивысшего счастья, и по-своему, по-человечески Гафия поняла: все то, что ей и всем людям Верховины довелось пережить, было очень тяжело и страшно. Ей не стыдно было, что из глаз у нее упали эти слезы, которые она всю свою жизнь носила у сердца. Выпали — и пускай. Но почему же слезы блестят на глазах у многих? Стоя посреди зала, она сама захлопала в ладоши, вместе со всеми повторяя: «Слава нашим партизанам!»

И, сидя в президиуме, Гафия Тиснянчиха еще долго чувствовала на себе взгляды сотен людских глаз: ласковых, родных.

Член Народного комитета города Мукачева и один из руководителей коммунистической организации Закарпатья, с юных лет отдавший все свои силы борьбе за лучшее будущее своего народа, много лет проведенный в тюрьмах, человек, имя которого знали все делегаты съезда, обратился к собранию:

— Тяжкий, неимоверно тяжкий путь пройден наши-

ми людьми, путь, который уходит в глубину столетий. Веками мы были оторваны от родного народа, от наших братьев, и вся наша историческая жизнь — это непрестанная, тяжелая борьба против всяческих насильников, захватчиков, которые стремились убить нашу мечту о воссоединении с родными братьями — русским и украинским народами.

Это говорил не один человек — это говорила вся Закарпатская Украина.

— Наши отцы, деды и прадеды всегда завещали нам: в тяжкую годину обращать свои взоры на восток, где живут родные нам люди, напоминая этим, что наше порабощение не будет вечным, что братский народ на востоке придет нам на помощь, вызволит нас из неволи!

Как легко дышалось сейчас людям в этом зале! Сколько воспоминаний и мыслей возникало перед каждым делегатом в неповторимые эти минуты!

— И вот этот час настал. Столетиями боролись наши люди за волю свою, за освобождение и воссоединение. В самую трудную пору нашей жизни, когда фашистская лавина собиралась нас уничтожить, нам на помощь пришли народы-братья, нам принесла освобождение Советская Армия, мы свободны стали сегодня и с надеждой, уверенно смотрим в завтрашний день!

— Хотим воссоединения! К родной Украине хотим! Волим! Просим! Волим к матери — Советской Украине! — раздались голоса в зале.

Один за другим на трибуну выходили делегаты: работник-подпольщик из Иршавы, перечинские рабочие, селяне из Великого Бычкова и Боронявы, учитель гимназии из Ужгорода, вдова Олексы Борканюка.

Вдруг руку поднял чабан Сегинь. Он просил слова. Старый чабан с Верховины Юрко Сегинь вышел вперед, остановился, обвел взглядом всех сидевших в зале. Он не умел говорить. К кому он мог обращаться у себя в горах? К тучам? К звездам? К небу? Так ведь они не понимают человеческого голоса! А здесь он стоял перед людьми, перед своими земляками и хотел говорить, — так приказывало ему сердце.

— Где я стою и что вижу, люди? — начал Сегинь. — Здесь сидят генералы, здесь сидят ученые, здесь сидят люди с Верховины — лесорубы, чабаны, бокораши... Где ж это я? И не сон ли это?

Все в зале молчали — ведь так, как этот чабан, думали все люди.

— Нет, не сон,— продолжал чабан с Верховины.— Это правда — пришла наша воля, наша правда, наше право. Воля! О, какая она сладкая, добрые люди! Поглядите на меня! Здесь товарищ голова сказал, что я — Сегинь Юрко с Верховины, чабан. Но я не сегинь¹ и не хочу сегинем быть. Злые паны меня, как того бедняка, как нищего, презрительно называли сегинем — нищим, бедняком! Так поймите, что я сейчас чувствую! Волю, правду, право! Будем же беречь эту нашу желанную волю, скажем открыто всю правду, будем бороться за наше справедливое право. Я говорю вам как украинец, как освобожденный человек Верховины: волим к родной матери — Советской Украине.

Стояла напряженная тишина, когда читалось постановление — Манифест первого съезда Народных комитетов о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.

— Вся история Закарпатской Украины говорит, что наш народ, лишенный национальной независимости, пребывая веками в рабстве, погибнет, если останется в пределах чужой державы. Либо воссоединение с Советской Украиной и национальное возрождение, либо гнет, бесправие и постепенное вымирание народа Закарпатской Украины.

— Теперь, когда народы Европы борются против нацизма и гитлеровской тирании, против расовой ненависти, за свою национальную независимость, было бы величайшею несправедливостью, если бы наш народ и дальше остался продолжать жалкое существование, оторванный от своей родной матери — Советской Украины! Только воссоединившись с Советской Украиной в семье братских народов Советского Союза, мы обеспечим свободу национального развития, внутренний и хозяйственный расцвет и внешнюю безопасность.

В зале звучало победно, уверенно, гордо:

— Первый съезд Народных комитетов всей Закарпатской Украины постановляет:

Воссоединить Закарпатскую Украину со своею Великою матерью — Советской Украиной.

Слава великому русскому народу! Слава Советской Украине! Слава Коммунистической партии! Да здравствует великое братство! Слава! Слава!

Киев, 1952—1954

¹ Бедняк, нищий (венгерск.).

СЕМЕН СКЛЯРЕНКО

Украинская советская художественная проза пользуется заслуженным признанием и любовью читателей не только на Украине, но и за ее пределами. В списке любимых книг наших читателей значится целый ряд талантливых книг о современности и историческом прошлом украинского народа, о его борьбе за свободу, о его дружбе с великим русским и другими народами нашей страны.

Заметное место среди этих книг занимают два романа Семена Скляренко «Путь на Киев» и «Карпаты».

Автор этих романов Семен Дмитриевич Скляренко родился 1 сентября 1901 года в селе Прохоровке (ныне — Черкасской области). Детство будущего писателя прошло на живописном побережье Днепра (отец его служил матросом, а потом — начальником пристани Прохоровка). Учился Скляренко в прохоровской сельской школе, а затем в гимназии в городе Золотоноша.

Еще в гимназии, которую окончил он в 1919 году, С. Скляренко стал печататься в газетах, сначала как поэт. В двадцатых годах творческое самоопределение писателя завершилось переходом к прозе. Его первым значительным успехом на этом поприще была повесть «Тихая пристань» (1929). С этого времени Скляренко становится профессиональным писателем. В тридцатые годы он создает и публикует несколько повестей и романов, среди которых значительное место занимает роман-трилогия «Путь на Киев».

После окончания Великой Отечественной войны читатели имели возможность познакомиться с произведениями писателя: с романом «Хозяин» и романом в двух книгах «Карпаты». В настоящее время он закончил новый роман об историческом прошлом Киевской Руси — «Святослав».

В историю украинской советской литературы С. Скляренко вошел прежде всего как автор романов «Путь на Киев» и «Карпаты». Оба они представляют своего рода художественную летопись борьбы украинского народа за победу Октября, за советскую

власть на Украине и за воссоединение украинских земель в одной социалистической державе.

В романе «Путь на Киев», как признает сам автор, он хотел «показать героинку прошлых лет». Правдиво отображены в трилогии подвиги легендарного героя гражданской войны прославленного полководца Николая Щорса и его боевых соратников. Но главный герой романа — это народ, борющийся за освобождение от гнета немецких оккупантов и утверждение советской власти на Украине.

К работе над романом «Карпаты» С. Скляренко пришел обогащенный большим творческим опытом в жанре военно-исторического романа и военной журналистики. Как журналист фронтовой прессы прошел он по дорогам Отечественной войны, здесь вступил в ряды Коммунистической партии, награжден боевыми орденами и медалями. О подвигах советских людей, о проверенной в боях братской дружбе советских народов писал он в своих фронтовых корреспонденциях и очерках, а также в рассказах, собранных позже в книге «Репорт» (1946).

Здесь же, в огне наступательных боев последних месяцев войны, родился замысел двухтомного романа «Карпаты». Этот роман помогает глубже постичь освободительную роль Советской Армии в жизни народов Европы и вместе с тем знакомит читателя с одним из важнейших периодов в истории Закарпатья — с героической борьбой закарпатских трудящихся в 1938—1944 годах за свободу от фашистского гнета и воссоединение закарпатских земель с Советской Украиной.

Фашистские захватчики надеялись на Карпатские горы как на последний рубеж, перед которым остановится Советская Армия. Здесь ими была построена так называемая «Линия Арпада». Она должна была превратить Карпаты в неприступную твердыню.

Советская Армия взломала эту линию, с боями прошла Карпаты, освободила закарпатских украинцев от фашистской оккупации и предоставила им возможность самостоятельно решать свою судьбу. С великой радостью встретили трудящиеся украинцы Карпат и Закарпатья своих братьев-освободителей. Они давно ждали их, партизанскими боевыми действиями стремились ускорить их приход. Радостью победы и освобождения освещена и согрета вторая книга романа Семена Скляренко «Карпаты».

Первая книга романа начинается событиями 1938 года, изображением той политической игры фашистских правительств Германии и Италии, предметом которой стали Карпаты и так называемая «автономная» республика «русинов» — Карпатская Украина.

Один за другим проходят перед глазами читателя наемные агенты фашистских разведок, агенты Ватикана и капиталистических правительств (Андрей Бродий, Августин Волошин, Федор Стрыпский).

Обширная галерея отрицательных образов романа пополняется множеством других стервятников, слетевшихся на поживу. Здесь мы видим и кулака из Буковины, ставленника Уолл-стрита Геровского, акклиматизировавшегося в Соединенных Штатах и посланного в Карпатскую Украину во главе так называемой «американской трехчленной делегации»; и таинственного мистера Стога, теперь тоже «американца», а раньше — Стогорчука. Сюда устремляется и мистер Гарри Клумп, который раньше был и по возвращении снова становится Гаврилой Клумаком. В Америке ему выгодно было стать мистером Клумпом. По тем же мотивам в Италии он стал бы Клумполетто, а во Франции — де Клумпи. И домой его ведет отнюдь не тоска по родине. Он свободен от этих «сантиментов». Выгода, нажива — вот его бог, вот стимул всех его побуждений, поступков и преступлений — политических и уголовных (в конце романа, собираясь бежать за границу, он убивает родного брата с целью ограбления).

Таковы все они — министры, депутаты и отцы церкви, чья беззастенчивая, циническая торговля краем и интересами его жителей многосторонне разоблачается в романе.

В ряде случаев это разоблачение достигает большой глубины и художественной силы. Но публицистический пафос романа порой диктует писателю слишком прямолинейные авторские характеристики этих «деятелей». Не всегда эти характеристики органичны в художественной ткани романа, не всегда они художественно реализованы в поступках и переживаниях отрицательных персонажей.

К сожалению, этот недостаток замечен и в образах некоторых положительных героев, прежде всего в образе основного героя романа — Олексы Борканюка. Коммунист, герой революционного движения, пламенный публицист и агитатор, человек богатой души, простой крестьянин по происхождению, силой своего ума и таланта поднявшийся до вершин человеческого духа и культуры, он изображен в романе главным образом средствами публицистики. Особенно заметно это в первых главах книги, где Олекса предстает преимущественно как агитатор. Его речи и политические высказывания — вот то, едва ли не единственное, средство раскрытия образа, которым пользуется автор. Только во второй половине первой книги, где Олекса Борканюк показан в тюремном заключении, на суде и перед смертной казнью, образ главного героя как бы оживает, становится дорогим и близким сердцу читателя.

Волнующие строки предсмертного письма Олексы Борканюка звучат верой в дело, за которое он умирает, верой в жизнь: «Я умираю и буду жить».

В конце первой книги погибает ее центральный герой Олекса Борканюк, зверски замученный фашистскими палачами. Но сила таких людей в единстве с народом, в памяти и борьбе которого они продолжают жить. Эта борьба и показана на страницах второй книги романа «Карпаты».

Круг ее героев очень широк. Некоторым критикам он показался даже слишком многолюдным для одного произведения. Но здесь это не случайно. Автор хотел показать, как поработанный оккупантами, но не покорившийся народ на место одного погибшего героя выдвигает десятки и сотни новых, готовых продолжать его дело до победного конца. Во второй книге дело Олексы Борканюка продолжают лесоруб Данило Ковач, его красавица сестра Юлина, братья Чижмари, учитель Короджий, профессор Иосиф Гланц и его дочь Ружена, чабан Юрко Сегинь и многие, многие другие лесорубы и бокораши (сплавщики леса), крестьяне и интеллигенты-патриоты. Эту поистине всенародную борьбу возглавляют коммунисты — друзья и братья, ученики и последователи Олексы Борканюка — и среди них Степан Шегута, с наибольшей полнотой унаследовавший черты и взгляды погибшего Олексы. Очень многозначительно в романе то, что именно Степан Шегута напоминает товарищам самые важные заветы погибшего вожака о мужестве и стойкости, о бдительности. Не менее многозначительно и то, что лесоруб Данило Ковач — один из ближайших соратников Степана Шегуты, наиболее выразительно типически представляющий главные черты национального характера карпатских украинцев, — был принят в партию коммунистов «в ту ночь, когда фашисты забрали Олексу...»

Хорошо показана в романе боевая дружба украинцев, чехов и венгров. В переднем ряду борцов вместе с украинцами идут чешские и венгерские коммунисты: Франтишек Поспишил, доктор Арпад Доломаш и механик Ласло Поток.

Правдиво изображает Семен Скляренко героическую борьбу закарпатских подпольщиков и партизан. Не уходит он и от показа трагических ее моментов. В первой книге гибнет Олекса Борканюк. Страницы второй книги романа густо политы, как была полита и закарпатская земля, горячей кровью героев. Преданные доносчиком, погибают в неравной схватке с полицией Степан Чижмарь и Франтишек Поспишил, Степан Лизанец, Юрко и Оленка Логойды.

Раненных в той же схватке Василя Чижмаря и Гаврила Логойду, а с ними и доктора Арпада Доломаша по приговору фашистского суда, согласованному с самим Хорти, расстреливают во дворе сикотской тюрьмы. Но и на этом не ограничиваются жертвы, понесенные партизанским подпольем. Некоторые страницы второй книги романа напоминают печальный мартиролог: «Затем жандармы остановились в Севлюше и свели с машины Марию и Сирену Фаркаш, Олену Гендеру и Марию Шварц, доктора Лезмана и Михайла Гичку. Залп — не стало и этих людей!

В Текове они расстреляли еще троих — Михайла Панька и Юрия Уйфалуши, отца, вместе с сыном его, также Юрием Уйфалуши...»

За многими из этих имен встают образы людей, подлинно живших и не ушедших из памяти закарпатцев; с некоторыми из погибших читатель успел познакомиться на страницах романа и полюбить их той тревожной любовью, в которой смешаны преклонение перед мужеством и подвигом с опасением за жизнь любимшегося героя. И в этих случаях горечь утраты особенно велика.

И все же «Карпаты» — роман не о жертвах, а о победах народа и коммунистов; это роман о тяжелом и героическом, мужественно пройденном пути закарпатских трудящихся к свободе. Первый съезд Народных комитетов всей Закарпатской Украины постановляет: воссоединить Закарпатскую Украину со своею великой матерью — Советской Украиной. Вместе с другими депутатами голосуют за это и герои книги. Голосуют с глубоким сознанием своего права решать судьбу родного народа и родного края, за который они до этого голосовали своим мужеством, своими подвигами, своею кровью.

Роман «Карпаты» написан по живым следам минувших событий. Глубоко современный, он вместе с тем является историческим романом. И не только потому, что среди его героев мы видим подлинно историческую личность — народного героя Закарпатской Украины Олексу Борканюка, а прежде всего потому, что в романе изображены события, сыгравшие поворотную роль в истории народа, события, открывшие закарпатским украинцам свободную дорогу к коммунизму.

М. ПАРХОМЕНКО

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая .	5
Часть вторая	152
Часть третья	284
<i>М. Пархоменко. Семен Скляренко</i>	<i>427</i>

Семен Дмитриевич Скляренко
КАРПАТЫ, кн. 2

Редактор Г. Фальк. Художественный редактор Г. Кудрявцев.
Технический редактор Н. Соколова. Корректор Т. Лукьянова

Сдано в набор 24/XI 1959 г.
Подписано к печати 6/I 1960 г. Бумага 84 x 108¹/₃₂—13,5
п. л.= 22,14 усл.-печ. л. 22,7 уч.-изд. л. Тираж 75.000 экз.

Зак. № 1873. Цена 8 руб. 30 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Книжная фабрика им. Фрунзе Главполиграфиздата Мини-
стерства культуры УССР. Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.



